

Н О В Ы Й  
М И Р

Адрес  
"Стелара"

Н О В Ы Й  
М И Р

1969

6



1969

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 6

Июнь, 1969 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
БАГРАТ ШИНКУБА — Чанта приехал, повесть. Перевел с абхазского Е. Герасимов	3
ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ — Три стихотворения	29
-ФЕДОР АБРАМОВ — Пелагея, повесть	31
Н. ЗЛОТНИКОВ — Два стихотворения	71
АЙБЕК — Из лирики, стихи. Перевел с узбекского А. Наумов	73
СТИХИ ПОЭТОВ АФРИКИ. Леопольд Седар Сенгор. Из книги «Ноктюрны». — Малик Фаль. Между нами. — Антуан Роже Боламба. Локолё. Перевели с французского Морис Ваксмахер, Евгений Бовкун	76
ЛАО ШЭ — Записки о Кошачьем городе, повесть. Перевел с китайского В. Семанов. Предисловие А. Желоховцева	83

### ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

М. КУНЕЦКАЯ, К. МАШТАКОВА — Встречи и находки	154
---	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА

В. МОЕВ — Обслуживание и индустрия	161
------------------------------------	-----

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЦЕЦИЛИЯ КИН — Страницы прошлого. Окончание	177
--	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. СУРВИЛЛО — Звонит труба Мещерякова	216
Академик В. ЖИРМУНСКИЙ — О творчестве Анны Ахматовой (К восьмидесятилетию со дня рождения)	240

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	252
<b>К. Икрамов.</b> От своего имени.— <b>А. Каждан.</b> Забытая литература.— <b>Ст. Рассадин.</b> Подводя итоги.— <b>Л. Осоват.</b> Как становятся Рафаэлем Альберти.	
<i>Политика и наука</i>	268
<b>О. Лацис.</b> Пути реформы.— <b>А. Петухов.</b> Бумажные цветы.— <b>А. Иванов.</b> Утопизм реакции.— <b>Г. Сиводедов.</b> История исторических исследований.	
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b> — <b>В. И. Ленин</b> об организации советской статистики.— <b>Михась Стрельцов.</b> Что будет сниться.— <b>О. Ланге.</b> Введение в экономическую кибернетику.— <b>Ю. Андреев, Г. Воронов.</b> Багряная летопись.— <b>А. Шаров.</b> Приключения Ежиньки, или Рассказ о нарисованных человечках.— <b>И. А. Латышев.</b> Японская бюрократия	283
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	287

---

---

БАГРАТ ШИНКУБА

★

## ЧАНТА ПРИЕХАЛ

*Повесть*

I

Старик вышел из-под крытого брезентом навеса, где справлялись поминки, и прошагал к висевшим на заборе умывальникам; поставив в угол свою палку, он вымыл руки и пошел дальше, мимо толпившихся во дворе людей — к скамейке, кторая стояла под тутовым деревом возле ворот.

«Неужели от каких-то несчастных трех стаканов вина земля могла закачаться у меня под ногами?» — подумал он и, чтобы никто не заподозрил его в такой слабости, стал еще тверже тыкать палкой в землю; дойдя до скамейки, он повернулся и сел. Сдвинув папаху слегка набок, старик потербил свои жесткие, совсем уже седые, но еще достаточно густые волосы. Затем заложил ногу на ногу и, сунув гнутую рукоятку палки под мышку, оперся на нее.

Это был Чанта Чрыгба, старик лет семидесяти, худощавый, с большими серыми, задумчиво смотрешими глазами, с красивым, чуточку сгорбленным носом, с коротко подстриженной бородкой; кончики усов его были закручены вверх, и поэтому, может быть, щеки его казались глубоко запавшими.

Небольшой двор не вмещал всех, кто пришел оплакать покойницу, многие толпились на улице. Из-под навеса глухо доносился сдавленный говор людей, сидевших за поминальным столом. А люди все шли и шли. Вот во двор вошли еще какие-то женщины и сразу же, заголосив, направились к гробу. Мужчины, которые шли следом за ними, положили на столик свои папахи и шапки, а потом, подождав, пока женщины отойдут от покойницы, тоже двинулись к ней медленно, с громким плачем. Порядок наводили двое, ходивших по двору с посохами в руках: пожилой в коротком пальто, который встречал и провожал людей к гробу, и другой, в пиджаке и мягких кавказских сапогах, — этот сейчас же, как только люди отходили от гроба, настойчиво приглашал их к поминальному столу. После поминок, выходя из-под навеса, люди останавливались кто тут, кто там и, конечно, сами того не замечая, разговаривали более возбужденно, чем подобает в таком случае: видно было, что хватили лишку.

Чанта сидел, прислонившись спиной к тутовому дереву. Было уже за полдень, стояла ранняя, но более холодная, чем обычно, весна — небо часто заволакивали тучи, то моросил дождь или падал мокрый снег, а то вдруг солнце проглянет и все заблестит. Но сегодня облака разошлись, на почти чистом небе ясно вырисовывались горы, покрытые тяжелыми снежными шапками. Ничего этого не замечал Чанта. Пригравшись на

солнце, он сидел не шевелясь, как пригвожденный, и даже не обернулся, когда сидевшие рядом с ним мужчины заговорили.

— Вино было отличное, — сказал один.

— Какое это вино? Водичка. Пусть Лад оставит его на свои поминки, — ответил другой — молодой человек в черной шляпе, смотревший куда-то в сторону.

— Это ты, братец, зря. Я же видел, как ты живо выхлестал пять стаканов, а говоришь — водичка! Спасибо Ладу, что с таким почетом хронит свою тещу.

— Конечно, все было бы хорошо, если бы не эта попойка. Какой может быть почет там, где выпивают? — заключил молодой человек в черной шляпе.

— Кому-кому, а Ладу все под силу. Ты только посмотри на его дом! Такого на всей улице не сыщешь больше. В торговле работает. Недаром говорят: «Кто сам из улья мед достает, тот и палец в него сам первый обмакивает», — усмехнулся рослый человек с черными усиками, постукивавший кнутовищем по сапогу.

В другое время Чанта не промолчал бы. Ему давно уже не по душе были поминки с попойками, сегодня его едва заставили сесть за стол, и он поднялся раньше всех. Но сейчас, сам не понимая почему, старик не в силах был говорить о поминках. Покойница, теща Лада — Селха, как и Чанта, раньше жила в селе Лашкыт. Когда она осталась одна в своем родном доме, единственная ее дочь, жена Лада, взяла Селху к себе в город. Последние годы она лежала больная, не поднималась с постели, но люди говорят, что ей грех было бы жаловаться на Лада — зять делал все возможное, чтобы продлить жизнь своей тещи.

Чанта думал о горевестниках, которые были посланы в села оповестить людей о смерти Селхи. Они, наверное, всем говорили: умерла теща Лада, похороны будут тогда-то. И, конечно, человек, посланный в Лашкыт, говорил то же самое. А ведь что лашкытцам до Лада? Многие ли там знают его? Не так надо было оповестить, не так. Плохо оповестили, иначе почему же только один-единственный из Лашкыта Гидж прискакал на своей кляче, а других не видно и вряд ли уже приедут. Что могло задержать людей, если бы они знали, что умерла Селха?

Обидно старику, ох, как обидно за покойницу. Разве все достоинства ее состояли в том, что она была тещей Лада? Нет, это просто неуважение к человеку, и какому человеку — Селхе из рода Кайтан! В молодости она блистала, как звезда на небе. Многие юноши вздыхали по ней и готовы были жизнь свою отдать за нее. И потом, когда она стала замужней женщиной, красота ее не померкла, а, наоборот, разгорелась еще ярче. Немало детей она вскормила и выходила — к несчастью, сейчас только одна дочь осталась в живых. Сердечная, совестливая была женщина, кто не помнит ее хлеб-соль! Сколько добра она принесла лашкытцам, горько плакать должны они, провозжая ее в последний путь. Ох, как все это печально и несправедливо.

Так думал старик. С утра он сидел здесь, поджидая приезда своих односельчан. Когда Гидж спешился, Чанта сейчас же подошел к нему.

— Что случилось, лашкытцы? Беда какая-нибудь стряслась? Или вас слишком поздно оповестили о похоронах? Жду, а вас все нет и нет.

Гидж замаялся, а потом сказал:

— Да нет, ничего особенного не случилось. Наверное, еще приедут. Я рано выехал, кое-какие дела в городе есть.

Чанта давно мог бы встать и уйти, он мог даже совсем не приходиться на похороны. Ну кто бы осудил за это старого, больного человека?

Конечно, Чанта питал к Селхе самые нежные чувства, и смерть ее очень взволновала старика, но были и особые причины, заставившие его

прийти на похороны. Он был уверен, что оплакивать Селху придут многие его односельчане. А что бы сказали лашкытцы, если бы не увидели на похоронах никого из семьи Чанты Чрыгбы? На всю семью пал бы позор. А так бы и случилось, не приди он сегодня на поминки.

Тут надо иметь в виду испортившиеся с некоторых пор отношения между невесткой Чанты Леной и Ладом, в чьем доме происходило оплакивание Селхи. Несколько лет назад, когда Лена работала в одном с Ладом промтоварном магазине, ревизия обнаружила растрату. Лад, будучи заведующим, пытался свалить всю вину на Лену, но она, тоже женщина не робкого десятка, сумела как-то выйти из воды сухой. Правда, и Лад ухитрился вывернуться, но говорят, что это обошлось недешево. Испортившиеся с тех пор отношения между ними и привели к тому, что Лена отказалась идти на похороны тещи Лада и мужа своего не пустила. Чанта один пошел.

Помимо всего прочего, старику хотелось встретиться со своими односельчанами. Давным-давно не видел он их, и у него много накопилось в душе, о чем нужно было поговорить с ними.

Окончательно убедившись, что никто больше из Лашкыта не приедет, Чанта Чрыгба тяжело поднялся и направился к сидевшим в стороне от гроба родственникам покойной. Подойдя к Ладу, который сидел у всех на виду в своем сшитом в обтяжку кожаном пальто, он сказал ему:

— Что же, пойду домой. Чего мне занимать место, раз все равно никому ничем помочь не могу? Пусть пройдет печаль и люди соберутся на твоём дворе в другой, счастливый для тебя день.

Крепко опираясь на палку, чуть прихрамывая на левую больную ногу, Чанта дошел до ворот и тут замешкался, словно что-то забыл, обернулся и окинул взглядом двор. Он должен был еще раз поглядеть на гроб, вокруг которого сидели женщины, все с ног до головы в черном. Потом, выйдя из ворот, старик пошел по шоссейной дороге. «Да, не всегда, оказывается, справедливость торжествует,— думал свою тяжкую думу он.— Селха, которая была так добра ко всем, умерла не у своего родного, дедовского очага, а в далеком от него, чужом доме. Как же это так могло случиться, что ее близкие, родные, соседи, с которыми она делила горе и радость, слезинки не пролили у ее гроба? Это, может быть, еще и не так страшно, хуже всего, что похоронят ее не там, где она родилась, как это полагается по извечному закону наших предков. И тут не повезло ей, несчастной. Очень жаль, что из Лашкыта не приехал никто, с кем надо было бы поговорить об этом».

Чанта остановился, оперся на палку и опустил голову, будто на плечи его свалился непосильный груз. Острая боль кольнула сердце, он схватился за грудь и дернул рукой, словно хотел стряхнуть с груди вцепившуюся в нее колючку. Солнце уже закатилось, пал весенний туман, и стало быстро темнеть: свет фонарей, висевших вдоль широкой дороги, расплывался в тумане мутными пятнами. Снизу, с железнодорожной станции, доносились гудки паровозов. А здесь, на шоссе, по которому понуро плелся старик, постукивала только одна его палка.

«Сколько дряхлых стариков ходят по земле и в надежде, что еще поживут, не помышляют о смерти,— продолжает свои раздумья Чанта и сам себя перебивает: — Да чего говорить о других, если ты сам такой же?»

С тех пор, как Чанта покинул свой родной Лашкыт, дня не проходит, чтобы он не подумал о том, где его похоронят, но разве он когда-нибудь говорил об этом с кем-либо всерьез? Нет, никогда не говорил: рассчитывал, что успеет еще.

Вчера еще рассчитывал. А сегодня его ударила в голову мысль, что он — старик, больной человек — может умереть в любую минуту и тогда

его, как несчастную Селху, похоронят на чужой земле, среди чужих могил. Он, конечно, понимает, что и там, на общем кладбище, хоронят уважаемых людей, но ему бы хотелось, чтобы его похоронили в родном селе, в пригорье, где прошла его жизнь, где он трудился в поте лица своего, где он полюбил ту, которую и по сей день любит.

Памятника ставить ему не надо, да никто и не подумает, что это нужно ему. Он не мечтает даже о простой каменной ограде. Вырос бы только цветок на могиле, чтобы путник, проходя мимо, заметил его и остановился. Ему будет достаточно и одного этого.

Да, на вечный покой он обязательно должен лечь в Лашкыте. Таков завет Чанты. Выполнят ли его люди? Вот что больше всего волнует старика. Если до сих пор он хранил свой завет про себя, то теперь он не успокоится, пока не объявит о нем, и он сделает это сегодня же — придет домой и скажет сыну и невестке, чтобы они сели и выслушали его завещание. Невестка — он отлично представляет себе это — сначала делает удивленное лицо, потом покачает головой и, украдкой подмигнув мужу, скажет: «Иной плод зеленый падает, а другой уже переспел, но все висит и висит» — и, больше ничего не добавив, юркнет в свою комнату. Представляет он себе и как сын его, Сатбей, оставшись с ним наедине, поддержит жену: «Давай-ка лучше поговорим о чем-нибудь другом, а эти мрачные мысли выкинь из головы. Все мы когда-нибудь умрем, и всех нас так или иначе похоронят».

Нет-нет. Что бы там они ни говорили, Чанта все равно сегодня же выскажет им свою волю.

\* \* \*

Уже совсем стемнело, когда Чанта Чрыгба, твердо решив, что больше нельзя откладывать неизбежного разговора, огляделся и заметил, что стоит у дверей своего дома. На высоком, освещенном электричеством крыльце он увидел своего сына Сатбея, который, облачившись в черный выходной костюм, усердно начищал щетками туфли. Рядом с ним, опираясь на перила, стоял какой-то незнакомый молодой человек в тонком плаще.

«Все им нипочем — молодые», — подумал он, поднимаясь на крыльцо. Поздоровавшись с ними, он вошел в дом. В узком коридоре он услышал женские голоса и запах духов. «Лена собирается куда-то, а куда — бог ее знает!» — буркнул он про себя. Обернувшись, Чанта увидел в шелку неприкрытой двери свою невестку. Стоя перед зеркалом, она примеряла новую шляпку, а какая-то молодая нарядная дамочка, сидевшая за круглым столиком, закинув ногу на ногу, внимательно глядела на нее издали.

Входя в свою комнату, старик услышал их громкий смех. «Беда с этими женщинами — не оторвешь их от зеркала», — подумал он и чуть было не произнес это вслух.

Сняв пальто и папаху, Чанта повесил их на вешалку, а потом, кряхтя, долго снимал сапоги. Наконец, переобувшись в домашние туфли, он взял свежие, не просмотренные им еще сегодня газеты и поудобнее уселся на диване. Обычно Чанта внимательно читал газеты, особенно его интересовали сообщения из-за рубежа, а в первую очередь, развернув газеты, он искал телеграммы о боях во Вьетнаме. Он очень переживал, что там льется кровь безвинных людей, а он тут живет как ни в чем не бывало, ест и пьет. Однако сегодня он не развернул ни одной газеты — подержал их и отложил в сторону; голова кружилась, и вроде как бы клонило ко сну.

Вдруг, раскрыв наполовину дверь, появилась Лена, щелкнул замок ее большого ридикюля с зеркальцем внутри, и, глядя на себя в это маленькое зеркальце, она сказала:

— Чанта Абасович, если вы не возражаете, мы ходим к Сандре — сегодня день рождения его жены... Может, кушать хотите? Все на кухне в шкафу, не скучайте без нас — послушайте радио, включите телевизор. Мы постараемся не задерживаться.

Прикрыв за собой дверь, она тут же в коридоре оживленно заговорила о чем-то со своей подругой. То, что Лена спросила, не хочет ли он есть, Чанта пропустил мимо ушей: не до еды ему было. Равнодушно отнесся он и к тому, что Лена назвала его по имени и отчеству, — привык уже, что его невестка не считается с обычаем, который запрещает ей это, но ее подчеркнутая уважительность («если вы не возражаете») и заботливость («не скучайте») сильно покоробили его, так как он отлично понимал, что все это говорится только ради подруги, чтобы та подумала: вот с каким почтением в этом доме относятся к свекру — без его разрешения шага не ступят.

В доме стояла глухая тишина, и ее только изредка вспугивали проходящие мимо машины. Чанта не прочь был бы, пока никого нет, послушать радио или включить телевизор, но он не мог оторваться от своих мыслей. Они, как волны, накатывались и захлестывали его одна за другой, без передышки, унося все дальше и дальше.

Думая о лашкытцах, он невольно вспоминал свое детство, отца, мать, а затем в памяти встали и молодые годы, когда он сходил с ума от Селхи из рода Кайтан. Три года добивался он ее руки. Немилой становилась ему жизнь, если он не видел ее день, другой, третий. Однажды вопреки воле отца он продал дойную буйволицу и, добавив немного, купил редкой красоты коня иссиня-белой масти, чтобы в праздники, когда Селха выезжает на скачки, покрасоваться на нем перед своей возлюбленной. Он никогда не упускал случая появиться там, где была она. Когда на скачках или джигитовках победа доставалась ему, он непременно подъезжал к Селхе и говорил ей: «Без тебя у меня бы сердце разорвалось на части, а конь мой сбился бы с ног». И Селха в ответ говорила ему ласковые слова. Но шли годы, а согласия своего выйти за него замуж она не давала, и кончилось тем, что судьба развела их: она вышла замуж за другого, а через некоторое время и он женился. Но еще долго после того он мучительно переживал каждую случайную встречу с Селхой.

Измучили Чанту бросавшие его в жар воспоминания. Устав расхаживать по комнате, он присаживался на диван, наливал стакан холодной воды и отпивал несколько глотков. Иногда ему чудился стук в коридоре, он вставал, открывал дверь, но в густой тьме никого не было видно.

Поздно уже было, но все равно, если бы сын с невесткой вернулись, Чанта заставил бы их сесть и высказал им все, без чего он не мог спокойно уснуть, но они, как назло, не возвращались.

## II

Пока жена была жива, Чанта Чрымба не жаловался на свое здоровье, хотя годы, конечно, давали о себе знать. Его единственный сын уже давно жил с женой в городе, но сам он и помыслить не мог, что когда-нибудь тоже покинет свой родной очаг. Все в Лашкыте было ему по душе, и все его тут почитали, но после неожиданной смерти жены Чанта как-то сразу надломился: жизнерадостный, веселый, умевший свернуть к месту шуточку, он превратился вдруг в бирюка.

Сначала соседи частенько заглядывали к нему, всячески старались развлечь, чтобы он не чувствовал себя одиноким, но это не помогало. Чанту все больше и больше стали одолевать недуги. Однажды, простудившись зимой, он слег и вскоре почувствовал себя так плохо, что ему пришлось попросить соседей вызвать сына. Сагбей приехал на машине с

женой и врачом. В тот день решилась судьба Чанты. Сын с невесткой увезли старика в город, поручив присмотр за его короной и всем хозяйством соседям. В городе его сразу положили в больницу. Жизнь его висела на волоске, врачи уже не рассчитывали, что он выживет. Три месяца пролежал Чанта в больнице; когда ему стало немного лучше, сын взял его к себе, и он еще с полгода пролежал в постели дома.

И надо же было так случиться, что как раз в то время, когда жизнь Чанты висела на волоске, ревизия обнаружила в магазине у невестки довольно крупную недостачу. Если бы не это, то, конечно, сын и невестка, хотя бы уже только ради соблюдения приличия, не решились тронуть хозяйство старика. Но им понадобились деньги на покрытие недостачи, да и смазать надо было кое-кого, чтобы дело не дошло до огласки.

Лежавший в постели Чанта просил: «Обождите, дайте мне умереть, оплачете меня в моем каштановом доме, а потом хоть сжигайте его!» Не подействовало это на невестку и сына: сначала они продали скот, а потом и дом — словом, разорили старика, ничего не осталось у него в Лашкыте.

Он и сейчас не может взять в толк, как это случилось, что его каштановый дом, именно каштановый, а не какой-нибудь, его корова с белой отметкой на лбу, его ладный бычок — все было продано за какие-то непостижимые уму долги. «Как-никак, а хозяйство было, и вдруг все словно в пропасть сгинуло» — до сих пор не может он примириться с этим. Лена на первых порах, хотя и делала вид, что ничего не произошло, была в большом расстройстве, даже заметно похудела, но потом, когда неприятности остались позади, быстро пришла в себя. Из магазина она ушла по собственному желанию и теперь работает директором единственного в городе ателье мод.

Оправившись после болезни, Чанта волей-неволей должен был остаться в городе: в деревне уже негде было жить. Он был бы рад съездить в Лашкыт, взглянуть на родные места и хотя бы только переночевать у своих старых соседей, но не мог решиться и на это. Он хотел заставить себя примириться с жизнью в городе, считая, что привычная с детства деревенская жизнь заказана ему теперь навсегда.

Он жил в доме у своего сына Сатбея. Не дом этот, в котором ему была отведена одна из четырех комнат, принадлежал Лене, был получен ею по наследству. Значит, не только он, свекор, но и сын его жил в доме невестки. «Не дай бог обозлится и выгонит нас обоих», — не раз приходила в голову Чанты такая мысль.

Справедливость требует сказать, что старику жилось в городе не так уж и плохо. Пусть у невестки и были свои недостатки, но о свекре она заботилась. Вот уже восьмой год, как Чанта здесь, но ему еще ни разу нельзя было пожаловаться, что у него постель грязная или что его забыли покормить. Если его что-нибудь мучило, то только болезнь, но больше всего — одиночество. И не потому, что вокруг него не было людей: в доме часто бывали гости, по субботам всегда собирались товарищи сына, подруги Лены. «Добро пожаловать», — с улыбкой встречал он их и, чтобы угодить невестке, садился с ними за стол, выпивал два-три стакана вина, но потом извинялся, говорил, что неважно чувствует себя, и уходил.

Чанта знал, что невестка в душе довольна тем, что он не засиживается. Ей бы только приличие соблюсти. Да, собственно говоря, и не в невестке-то дело, просто старик не находил общего языка с сидевшими за столом людьми. Иногда Чанта Чрыгба брал свою палку с гнутой ручкой и отправлялся погулять. Прежде всего он заходил в табачный магазин, покупал табак для трубки, а потом шел в парк. Там под старей-

пой, вокруг которой стояли скамейки, обычно собирались его приятели, старики пенсионеры. Поговорив, а то и поспорив о чем-либо, что было в старое время и что сейчас, они всей компанией шли на берег реки в кофейню и пили черный кофе.

Заходил Чанта и в книжный магазин — поинтересоваться, нет ли новых книг по истории Абхазии. Такие редко попадавшиеся ему книги он собирал и хранил у себя в комнате на этажерке. Не случайно Чанта подружился с учителем средней школы, историком Леваном Николаевичем. По крайней мере раз в неделю, подойдя к двери в его комнату, можно было услышать их оживленный разговор, иногда переходивший в такой горячий спор, что казалось, они сейчас навсегда разругаются; в комнату лучше не заходить — там их не увидишь в табачном дыму; увлеченные историей бог знает какого века, они забывали открыть окно.

Чанта хорошо знал сказания о древнем абхазском царстве, и он был бы счастлив, попади ему в руки какой-нибудь исторический документ, подтверждающий достоверность этих сказаний, но, к сожалению, ничего такого не находил. И еще один исторический вопрос хотел он выяснить — вопрос, относящийся к событиям всего лишь столетней давности, из-за которых часть абхазского народа оказалась обреченной на изгнание. Чанта отказывался понять, как прадеды и деды могли променять свою родную землю на бесплодные пустыни Турции. Его несчастный дед Джаним со своими тремя братьями и двумя сестрами погиб там. Хорошо еще, что отцу Чанты, который во время переселения был мальчиком и гостил у своего дяди по матери, посчастливилось потом, когда он стал взрослым, вернуться на землю своих предков. Нет, не пошли бы абхазцы на верную гибель, если бы они крепче любили и ценили свою родину; несчастные, они думали, наверное, что земля всюду такая же благодатная, как в Абхазии. Избалован был, наверно, абхазец своей райской землей. Как ребенок, избалованный в семье, в конце концов теряет привязанность к ней, так, наверное, и с переселенцами получилось, раз они покинули свою землю, — вот к какому выводу приходил Чанта, когда он думал о давней трагедии абхазского народа.

Но все это было в первые годы городской жизни Чанты, а потом его интерес и к таким вопросам стал остывать. В последнее время он вообще отгонял от себя всякие мысли, боялся уже их и если оставался в доме один, то брался за любую книгу или принимался жадно курить. Ему казалось, что жизнь его пронеслась, как сладкий сон. Он ведь все делал так, как завещал отец, — вечная память ему! Правда, несколько лет он учился в городе и вкусил городской жизни, но родной очаг всегда был ему дорог. Иные, едва научившись грамоте, начинают забывать, как работают на земле, они думают легко прожить жизнь, а Чанта не был похож на них. И вот сейчас, когда односельчане вкушают плоды труда своего, сохранил ли он то, что оставил ему дед Чрыгба Джаним? Все вокруг преобразилось, но его родной двор в живописном предгорье Лашкыте, вокруг которого все еще растут те же самые большие ореховые деревья, что росли в его детские годы, — этот двор опустел, нет каштанового дома, стоит одна жалкая, похожая на сгорбленную старушку пацха, хатенка, сплетенная из рододендровых прутьев, и ветер насквозь продувает ее, беднягу. Там остался давно остывший, заросший зеленым хмелем очаг его предков. А он, внук Джанима, забывший свой очаг, живет в городе в доме невестки на всем готовом, в полном довольствии. Конечно, он уже стар, но ведь пока еще держится на ногах. Так что же это происходит?

«Эх ты, потомок Чрыгбы Джанима! Жив ли ты еще или уже испустил дух?» — раздавался вдруг его голос в комнате, и он быстро, словно на чей-то зов, подымался с кровати, если был уже в постели. И сегодня

так случилось с ним, когда он, дожидаясь возвращения сына с невесткой, прилег на диван. Поднявшись, он взял стакан, жадно глотнул и взглянул на часы — шел второй час ночи.

«Скоро утро, а их все нет и нет», — подумал он и открыл окно, чтобы подышать свежим воздухом. Высунув голову во двор, он увидел во тьме только одиноко горевший фонарь на углу улицы, где дети обычно играли в мяч.

«Ну что же, надо ложиться спать, только вряд ли засну», — подумал Чанта и подошел к кровати, откинул одеяло, стал раздеваться. Вот он уже разделся, но в предвкушении удовольствия растянуться в постели Чанта обязательно должен покурить, и старик берет трубку, набивает ее табаком, чиркает спичкой, и пока она не погаснет, смотрит, как при ее свете дым серыми клубами плывет к полуоткрытому окну.

Потом мысли снова стали одолевать его. Ему пришло в голову, что понятие домашнего очага в наше время изменилось. Про того, кто вчера был крестьянином, а сегодня работает в городе, живет в многоэтажном доме с паровым отоплением и газовой плитой, нельзя сказать, что он лишен очага, конечно, если это человек семейный. Где семья, там и очаг, хотя бы его и не видно было. Но вот когда у крестьянина, который всегда жил и сейчас живет в деревне, у настоящего очага, остынет любовь к нему, тогда плохи его дела.

— Ой, ой! И что это со мной? Скоро уже светать начнет, — невольно вырвалось у него вслух.

Выбив из трубки пепел, он кладет ее на поставленную у изголовья кровати табуретку, рядом с коробкой табака; капают в стакан лекарства, выпивает его, затем тушит свет и ложится в постель.

День сегодня был тяжелый, и ночь оказалась не легче.

Прошло с неделю. Мысли, мучившие старика дни и ночи, он наконец высказал сыну и невестке, посадив их возле себя. И они, к его удивлению, на этот раз поняли его и дали обещание, что если, не дай бог, с ним случится беда, то он будет похоронен в своем родном Лашкыте. Казалось, конец всем тяжелым раздумьям. Однако прошла еще неделя — и сомнения одолели Чанту; а вдруг сын с невесткой не выполнят обещания? «Можно ли им верить, если они вопреки моей воле продали мое хозяйство, когда я стоял на краю могилы?» — подумал он.

И как-то вечером объявил, что он завтра едет в Лашкыт.

— Вы же знаете, как я давно не был там. День ото дня все больше тянет туда. Погощу немного у наших соседей, вы не беспокойтесь...

Сын и невестка переглянулись, не нашли сразу, что ответить. Они были уверены, что старик не помышляет уже больше о поездке в Лашкыт. Сатбей чуть было не сказал: «С чего это тебе взбрело опять?» — но, что ни говори, Сатбей был сыном Чанты, и он постеснялся так сказать.

— Придется ехать на попутной машине, трудно тебе будет, отец, — сказал он.

— Зачем на попутной? В Лашкыт теперь ходит автобус. Дни стоят погожие, не беспокойтесь.

— Еще простудитесь, по вечерам прохладно, — сказала Лена. Она не выносила разговоров о деревне. — И не забывайте, что у вас большое сердце, как бы вам там, в гористой местности, снова не стало плохо.

— Что же, тогда бы и оплакали и похоронили в одном месте.

— Всегда вот так, как только заговорите о Лашкыте — обязательно услышишь какие-нибудь неприятные вещи, — сказала Лена, сердито вскочила с дивана и ушла в свою комнату.

## III

Весна, еще недавно шагавшая боязливо, уже набрала силы, прогнала зиму и, став полновластной хозяйкой на земле, щедро одаряла людей теплом. Первые ласточки, которые на своих крыльях принесли весть о торжестве весны, весело щебетали и взмывали в поднебесье, и, кроме них, на сияющем небосводе не видно было ни единого пятнышка.

Солнце стояло высоко, но лучи его еще не жгли, а только ласково грели, и поэтому тень еще никого не манила к себе.

Так было и в тот час, когда во дворе Лашкытского сельсовета остановился прибывший из города автобус. Последним вышел из автобуса старик Чанта Чрымба. Двое знакомых мужчин подошли к нему поздороваться, а одна молодая женщина в черном платье, робко подойдя, поцеловала его в грудь и сейчас же так быстро отошла, что он не успел узнать, кто она такая.

Чанта задержался у орехового дерева, под которым с двух сторон по бокам стояли скамейки; он хорошо помнил это дерево, тянувшееся к небу двумя пышно разветвленными стволами; крона одного из них заметно усохла, и это немного огорчило старика. Выйдя из-под дерева, он медленно зашагал под гору — там Чанта приметил какое-то новое здание; подошел к нему и остановился, положив руки на невысокую стенку ограды.

«Молодцы лашкытцы, смотри, какую хорошую школу отгрохали. При мне о ней еще только разговоры шли», — с удовольствием отметил про себя Чанта, глядя на двухэтажное красивое здание новой школы.

Из классных комнат доносились голоса детей; услышав их, Чанта заулыбался. И вдруг выплыл из памяти небольшой двухкомнатный дощатый домик на сваях — первая в селе школа, где в самом начале нашего века учился Чанта. Она стояла на этом же самом месте, и ему как-то жалко стало ее, захотелось, чтобы она и сейчас стояла тут, рядышком с новой школой.

Немного дальше, там, где кончался длинный ряд кипарисов, строилось какое-то другое большое здание. Над ним высился подъемный кран, подававший на стройку кирпич. Каменщики выкладывали стены. Чанта подошел к воротам, в которых толклись грузовые машины — одни заезжали, другие выезжали. Пока он решился войти в эти ворота, из них вышел высокий худощавый молодой человек, что-то тихонько напевавший себе под нос.

— Скажите, пожалуйста, что здесь такое строится? — спросил Чанта, поздоровавшись с ним.

Молодой человек оказался очень словоохотливым и к тому же склонным пошутить. Вытянувшись перед стариком, как солдат перед командиром, он сказал:

— Здесь, уважаемый дедушка, строится доселе не виданный нигде Дворец культуры села Лашкыт! — Молодой человек не ограничился этим. Он будто вышел со двора специально для того, чтобы встретить Чанту Чрымбу и сообщить ему, каким будет Дворец культуры села Лашкыт. — Он будет, дедушка, трехэтажным, с большим залом на шестьсот посадочных мест и отдельным кинозалом на двести мест. Одна стена будет вся стеклянная. Всего довольно будет — и воздуха и света... Ложи, фойе — куда там Сухумскому гостеатру до него, и не подумайте, дорогой мой дедушка, сравнивать! К весне будущего года строительство должно быть закончено. Этот день, конечно, будет торжественно отпразднован. Открывается новая страница в истории Лашкыта. Лашкыт! Лашкыт! Пусть все знают, что это центр земли! Не подумайте, что шутки шучу — все так и будет: песни, танцы, скачки... Может быть, вы спросите, с кем имеет дело? Я представляю вам: фамилия — Лашунба,

отец Бадра, дед Казаху. Как вы понимаете, я имею и собственное имя, но здесь все из уважения к деду, царство ему небесное, называют меня внуком Казаху.

Чанта с удивлением смотрел на этого парня в клетчатой блузе, не зная, что подумать о нем. А тот, подбоченившись, продолжал в том же духе:

— Не считите это за хвастовство, но строительство, которое вы видите, возглавляется лично мною, то есть я являюсь его прорабом. Как только этот объект будет закончен, мы сразу возьмемся за другой. Посмотрите: там вон, где старая ольха, будет детский сад, чуть дальше за поворотом дороги — торговый центр и комбинат бытового обслуживания. А в долине реки раскинется ипподром и стадион... Эй, эй! Постой!

Сунув пальцы в рот, он свистнул и сорвался вдогонку за проехавшей грузовой машиной. На ходу схватившись за борт, он вскочил в кузов, обернувшись, замахал рукой и крикнул оставшемуся на дороге старику:

— Простите меня, дедушка, простите, тороплюсь!

Чанта, опершись на палку, долго стоял, не сходя с места, и думал: что за парень этот внук Казаху? Трещал без умолку и вдруг на тебе — сорвался и взмыл, как ястреб. Все же видно, что дельный молодой человек, хотя и большой шутник, решил он, наконец, и направился в магазин, чтобы купить спичек — он забыл запастись ими в дорогу.

Старик хорошо знал Лашунбу Казаху. Щупленький был старикашка, а к тому же большой лентяй—куда уж ему было строить что-нибудь, когда калитку никак не мог собратья приладить на место. А смотри, какой внук у него сегодня! Должно быть, не все идет от отца с матерью — многое зависит и от воспитания, подумал Чанта и тяжело вздохнул: неужели ему суждено сойти в могилу, не дождавшись внука, — какой бы внук ни был, а все же внук!

Магазин, в который зашел старик, понравился ему: аккуратно убран. Какой-то мужчина с женщиной стояли у прилавка и что-то рассматривали. В стороне от них девушка-продащица проигрывала на радиоле двум парням абхазские пластинки. Чанта, купив спички, задержался у прилавка, облокотившись на него, послушал знакомую песню:

Уа, райда, радгуша,  
Хват-хват герой.  
Я же говорил тебе,  
Что они убьют тебя.

Эту старинную героическую песню Чанта знал с детства и сам часто пел ее звонким, казалось ему, доходившим до самых небес голосом. Но сегодня она прозвучала в его ушах уныло, скорбно.

Площадь сельсовета и магазин остались позади. Чанта шел по дороге, которая перерезала ольховую рощу. В конце ее, там, где эта дорога сходилась с другой, сгарика догнала грузовая машина. С нее спрыгнул на ходу молодой человек, стоявший на подножке кабины шофера. Это был тот самый внук Казаху, с которым Чанта только что познакомился сегодня. Молодой человек еще раз извинился перед стариком, сославшись на срочное дело, о котором чуть было не забыл, а потом сказал:

— А я узнал вас, вы — Чанта Чрымба. В детстве я с матерью заходил к вам, и, кажется, не раз. Помню. пала у нас дойная корова и надо было акт составить, чтобы получить страховые. Вы тогда помогали нам в этом деле, заявление писали. Помню. вы жили, кажется, по соседству с Мачагвой? Неподалеку от развалин старой крепости? Все вас помнят Жалеют, что уехали... Наверное, к себе на гору подыметесь?

— Да, сынок, подымусь на день-другой. И Мачагву надо пови-  
дать,— сказал Чанта.

Долго шли они вместе. Большой завязался у них разговор. Старик поинтересовался, какое образование получил внук Казаху и по своему ли желанию вернулся в Лашкыт. Оказалось, что молодой человек, окончив Харьковский строительный институт, два года проработал в стройтресте Абхазии, а оттуда уже попал в свое село.

— Понимаете, здесь я нужнее, тут работы по горло,— сказал он и опять стал перечислять все, что предстоит построить в Лашкыте.

— Все это хорошо,— сказал Чанта,— но справится ли колхоз с таким строительством?

— А почему нет?!—воскликнул внук Казаху.— Вот вы сами подумайте: тысяча двести тонн чайного листа в год, стс тонн высококачественного табака — разве это мало? Забудьте, что было. Колхоз наш сейчас богатый стал: посмотрите, как колхозники живут — повсюду белеют новые дома. Вон калитка — там строится Шалва Псардна. Когда-то он уехал, а недавно вернулся, опять вступил в колхоз. А на той стороне, видите, фундамент заложен, это — вы, конечно, знаете его — Баджга Шат-ипа строится, рядом с обеих сторон — его сыновья...

Увлечся внук Казаху, торопится, с одного перескакивает на другое, сам того не замечая, начинает шагать быстрее старика, а потом спохватывается и извиняется.

— Одно плохо — нет у нас архитектора,— продолжает он.— Люди селятся, где им вздумается, кто что захочет, то и строит. Посмотрите вон на тот дом, что направо,— там живет семья Зафаса. Древнее крепостное сооружение да и только, а внутри и того хуже — окна узкие, лестница занимает половину двора, о террасе и не подумали, где сушить белье — сами не знают. Зимой холодно, а летом духота...

Прервав разговор на полуслове, он, будто споткнувшись, остановился возле одной калитки, опротясь кинулся к ней и, показывая кому-то на стоявший в углу двора красный мотоцикл, крикнул по-русски:

— Давай, давай, заводи! Скоро приду.

Вернувшись к старику, внук Казаху объяснил ему, что он со своим другом, работником гаража Адгуром, в складчину купили мотоцикл и вот сегодня вечером собираются поехать в Сухуми послушать югославский джаз.

— Вдвоем одну лошадь оседлали,— посмеялся он.

— Хорошо ехать вдвоем, можно вдоволь наговориться,— ответил Чанта и от души посмеялся, вспомнив, как издевались некогда над теми всадниками, которые ездили вдвоем на одной лошади.

Когда они стали прощаться, внук Казаху сказал:

— Если будете у Мачагвы, мы с вами еще увидимся. Завтра я, наверное, загляну к нему по дороге в ущелье, где у нас заготовлен лесоматериал для стройки.

Поблагодарив друг друга за приятную встречу, они расстались, и Чанта пошел дальше по издавна знакомой ему дороге. Не сочтешь, сколько раз он мерил ее своими шагами. Еще десятилетним мальчиком, вскоре после того, как в Лашкыте открыли школу, он уже вышагивал по этой дороге.

Спустя три года он окончил школу, и отец послал его учиться в город. Дорога стала более длинной. По несколько раз в году ходил он по ней, пока смерть отца, болезнь матери, нужда не закрыли ему этот путь. Той же дорогой он вернулся в Лашкыт, чтобы вести оставленное отцом хозяйство. После революции свалилось на него много других дел. Сначала он был писарем в своем селе, потом его постоянно выбирали в сельсовет, затем и в правление колхоза. Какие бы поручения ему ни

давали, он не отказывался ни от одного. Много пота было пролито им на этой дороге за общее дело.

Медленно шагает сейчас Чанта. Да, он хорошо знает эту дорогу, но нынче она несет на себе куда большие тяжести, чем прежде. Бывало, арба проедет, верховой проскачет, пешеход пройдет, а сейчас один за другим идут тяжелые грузовики, автобусы, летят легковые машины. Трудной стала жизнь дороги.

Дорога, дорога! А кто провел ее с одного конца до другого? Да и имеет ли она начало и конец? Нет, идет через высокие горы, бурные реки, дремучие леса, сыпучие пески, и ничто, даже море не остановит ее, идет и идет без конца, подымаясь в сияющую даль неба.

Все живое имеет свою дорогу и движется по ней к своей цели. Вот муравей ползет, таща груз вдвое тяжелее, чем он сам. Чанта чуть не наступил на него, но муравья спас камень, возле которого он оказался в тот момент, переползая через шоссе. Вот верткая ласточка, на лету схватив с обочины дороги комочек глины, унесла его к своему гнезду, и так она делает из года в год. Неподалеку гремит ручеек. Он тоже куда-то спешит своей дорогой; тут срывается с обрыва, скачет по камням весь в пене, как загнанная лошадь; там разливается тихим, отражающим небо озерком; передохнув, снова бежит, извиваясь, то солнцу улыбнется, то скроется в тени леса; все дальше, и дальше, и дальше спешит — к морю.

Человек не может охватить взглядом весь свой жизненный путь, но все оставляет на нем свои следы — вот они: шрам от тяжелой, полученной на войне раны, преждевременная седина, морщины, избородившие лоб. Смотришь на человека и видишь, что он прошел нелегкий путь.

У каждого своя дорога. Один счастливо проходит ее, а другого с детства преследует беда за бедой, и он до конца жизни шагает в слезах. Везут на кладбище гроб с покойником и говорят, что человека провожают в последний путь. Ребенок родился, его несут из родильного дома завернутого в пеленки и говорят, что человек начинает свой путь. Конец и начало — не так ли? Но разве, когда на крышку гроба падает земля, тем и кончается жизненный путь человека? Разве тот ребенок, что только что родился, не может продолжить жизнь умершего? Нет, дорога жизни не имеет конца. Пройденный, оставшийся позади путь — это прошлое. Прошлое не повторяется, а будущее безгранично, конец его и представить себе нельзя.

Размышляя так, Чанта Чрымба шагает по старой знакомой дороге, проходящей через село Лашкыт. По обеим сторонам ее раскинулись усадьбы колхозников. Увидев у одной калитки хозяина, Чанта здороваются с ним.

— Добро пожаловать, — говорит тот в ответ и выходит со двора на дорогу; узнав Чанту, он заводит с ним дружеский разговор:

— Вспомнил о нас? Дай бог тебе здоровья! — и просит зайти к нему.

— Спасибо, да будет богат ваш дом, но я спешу — дела! — отвечает Чанта.

— Тогда, может быть, здесь, у ворот, выпьем по стаканчику, — предлагает хозяин, и на его зов из дому выходит жена с кувшином вина и тарелкой с нарезанным сыром и аджикой. Чанта выпивает стакан за здоровье хозяев, выпивает и второй. Хозяин просит выпить еще, но старик ставит стакан на гарелку и, поблагодарив, шагает дальше.

Навстречу ему идет по дороге человек с цалдой (топориком) на плече. С ним Чанта гоже здороваются и вступает в разговор, в котором прошлое переплетается с настоящим. О многом им хочется поговорить, но, увы, Чанта не может задерживаться, он спешит. Однако, пройдя еще

немного и заметив двух парней, усердно перекапывающих свой огород, он все же подходит к забору и приветствует их:

— Да спорится ваш труд, сыночки.

— Спасибо, здравствуйте!— отвечают ему парни, разогнув спины. Опираясь на лопаты, они смотрят на старика и не узнают его.

— Продолжайте свое дело, сыночки. Приятно поглядеть, как вы дружно работаете. Пусть счастлива будет ваша жизнь,— говорит Чанта, прощаясь с ними.

Потом он замечает на своем пути костер — жгут кукурузные корни; останавливается, смотрит, как колышется пламя. Никогда еще доносящийся до него запах дыма не казался старику таким сладостным. Пройдя еще немного, он снова останавливается посмотреть, как люди, забравшиеся высоко на деревья, ловко орудуя своими цалдами, расчищают загустившуюся ольху, по которой вьются виноградные лозы; обрубленные ветки падают бесшумно.

Вскоре дорога приводит Чанту к чайной плантации. Старик любит ее кудрявым зеленым ковром; неподалеку блестит диском стоящий на обочине культиватор; немного дальше девушка в пестрой косынке ведет машину, которая подрезает чайные кусты; еще дальше от дороги люди очищают плантацию от расплзшейся по ней кое-где колючки; где-то далеко идут грузовые машины; пыль подымается столбом и медленно оседает.

Некогда эта зеленая равнина, которой Чанта любит сейчас, была сплошь покрыта сорным кустарником, папоротником и колючкой. Лет тридцать пять назад лашкытские колхозники решили заложить здесь чайную плантацию. Чанта хорошо помнит день, когда он с цалдой под мышкой первым появился на рассвете в кустарнике. Было тихо, моросил мелкий дождик, легкой дымкой стлался утренний туман. Размахнувшись цалдой, Чанта всадил ее в ствол молодой ольхи, а затем достал из кармана портсигар. Не успел он закурить, как к нему со всех сторон начали подходить колхозники. Все они, будто заранее сговорившись, поздравляли его с началом большого дела.

— Раз ты первый пришел, значит, можно не сомневаться, что нас ждет удача. Ты — человек добрый, и рука твоя должна быть счастливой,— говорили они.

Выкорчевали кустарник, сухой папоротник сожгли, обнесли плантацию крепкой оградой из каштановых кольев, окружили канавой. А потом пришел диковинный для лашкытцев трактор, и за одну неделю поле было вспахано, проведены борозды и посажен чай. Это была первая чайная плантация в Лашкыте. С тех пор эта зеленая плантация стала щедрой кормилицей села.

Кто еще жив из тех, что вместе с Чантой закладывал эту плантацию? Очень мало кто; одни умерли своей смертью, другие погибли на войне. А сам Чанта хоть и жив, но уже чужой здесь. Сколько труда вложил он, чтобы эта равнина стала такой, какая она сейчас. Нет здесь ни одной пяди земли, где бы не ступала его нога, где бы он не проливал свой пот. А сегодня он пришел сюда, как гость. «Отчего же это так случилось? — спрашивает он себя. — Конечно, я уже немощный старик, — отвечает он себе, — но в старости ли только дело? И старый человек может быть полезен в хозяйстве. Скажем, ворота остались открытыми — он их закроет, отгонит скот от посева, присмотрит за домом, а если вылетел молодой рой пчел, он его выследит и посадит в улей. Так почему же я стал тут чужим человеком?» Этот вопрос, как острое лезвие кинжала, колет старика на каждом шагу, и он не знает, куда ему деваться от него.

Дорога незаметно приводит Чанту в лес. Чтобы отогнать от себя тяжелые мысли, он начинает поглядывать вокруг. В лесу здесь, как и

раньше, чаще встречаются каштан и граб. Чанта помнит, как лашкытцы берегли свой лес, без большой нужды никому не позволяли рубить его. Однако сейчас он сразу замечает, что лес сильно поредел. Тут и там по канавам валялись обрубки, навалом лежали сплошь вырубленные грабы. Дальше лес стоял нетронутый.

Свернув с дороги, Чанта сел на пень под приглянувшимся ему молодым грабом, снял и положил рядом с собой свою круглую папаху, закурил. Глядя, как сизый табачный дым клубится вокруг тонкого ствола граба, старик что-то сердито бормотал себе под нос.

Лес застыл в сонном покое; только что распутившиеся зеленые листья, казалось, ждали, когда пробудится ветер. Тишину, в которой покоился лес, иногда вспугивало только щебетание птиц.

«Что же это я уселся тут, скоро начнет вечереть, если люди увидят, могут сказать, что старик, наверное, не в своем уме», — подумал Чанта, однако не встал. Он уже не спешит. Хорошо в лесу, все здесь ласкает его взор.

Одиноко сидит старик на пне, весь отдавшись лесной тишине. Он думает о том, кто защитит лес, если человек его не пожалует. Что будет с этим зеленым нагорьем, если его оголят? Никто не остановит тогда бешеные дождевые погоки, и они смоют весь земляной покров; черными тучами пыли подымется земля к облакам, и ветер унесет ее бог весть куда; скот останется без пастбища голодный, с мычанием будет бродить по голой, бесплодной земле; к потрескавшимся от пыли соскам коров нельзя будет прикоснуться рукой. Тихо журчащие ручейки, шумно падающие со скал потоки, чистые, как слеза, реки исчезнут навсегда, словно их никогда и не было. И как это некоторые не понимают, что нельзя безнаказанно расхищать то, чем нас так щедро одарила природа...

#### IV

Когда ярко горящий солнечный шар, насквозь прожигая протянувшиеся полосами по горизонту облака, начал опускаться в море, Чанта, тяжело шагая, поднялся на гору и остановился, опершись на свою походную палку. Вечерняя заря осветила его седую бородку. Он стоял, прерывисто дыша, приложив руку к учащенно бьющемуся сердцу. Потом он двинулся дальше по горе, и рядом с ним заскользила его тень, выросшая до гигантских размеров.

Вот он, этот старый, заросший кустарником овраг. Над ним длинным рядом стоят пышно цветущие акации, от которых издали веет густым и сладким, как мед, ароматом. Неподалеку — полянка с одинокой сосной. Там могилы его предков, там же похоронена его жена Шарифа. Там уголок земли, к которому так часто последнее время были обращены мысли Чанты. Пока старик жил в Лашкыте, он ежегодно весной расчищал эту полянку, срезал с сосны сухие ветки, красил скамеечку у дороги, поставленную здесь, чтобы путник мог отдохнуть под деревом.

Чанта остановился на дороге, не решаясь свернуть с нее к священным для него могилам. Что там сейчас? Наверное, все заросло бурьяном, тяжело будет смотреть. Нет, сегодня он заночует у Мачагвы, завтра возьмет у него цалду, придет сюда, расчистит полянку, а потом позовет своих сверстников-стариков, чтобы показать им избранное для своей могилы место на поляне положит на него камень.

Опираясь на палку, Чанта пошел дальше быстрее. Вскоре, свернув с дороги, он вышел на другую полянку, вернее, на пустырь. Да, теперь это пустырь, а раньше тут был двор его собственной усадьбы. От нее сохранился один-единственный, торчащий, как гвоздь, столб, на котором некогда висела калитка. Внизу он облеплен грязью — свиньи, на-

верное, чесали об него свои бока. Старик потрогал рукой столб, то ли хотел убедиться, что это действительно все, что осталось от калитки, то ли вздумал проверить, прочно ли стоит еще этот столб. Потом он прошел к обломанной и наполовину засохшей айве и, поглядев на нее, конечно же, подумал, что она, бедная, постарела и сгорбилась так же, как человек горбится в старости. Но лоза еще жива! Отличный белый виноград давала эта лоза толщиной с ногу человека, обвивавшая ствол айвы.

Когда-то под этим тенистым деревом росла мягкая травка-муравка, и Чанта, вернувшись с работы, засыпал на ней, как на пушистом ковре. Теперь тут рос бурьян.

Выйдя на середину своего бывшего двора, Чанта снова остановился и огляделся вокруг. «Боже мой, — подумал он, — как все изменилось, не узнать двора! Какое запустение! Земля всюду изборождена, вся в морщинах, как лоб старика. И откуда появились здесь болотные растения? Грустно, печально, когда человек забрасывает землю, она теряет всю свою красоту».

Затем Чанта направился к пацхе — единственной сохранившейся на дворе постройке, к которой он сразу не решился подойти. Да разве можно назвать пацхой то, что осталось от этой старой хатенки-плетушки. Задней стены ее как не бывало, на ее месте зиял проем, остальные стены были все в щелях. Дранковая крыша уцелела, но издали уже не разглядишь, дранковая она или соломенная — какая-то черная, прокопченная гниль. Спереди крыша покосилась, но еще крепко держалась на кривых дубовых столбах.

«Эх ты, бедная моя хатенка! Я живу среди людей как ни в чем не бывало, а старая пацха моего отца, где я родился, где горел очаг моих предков, гниет, покинутая, брошенная мною!»

Чанта долго рассуждал так, стоя перед старой пацхой, но не заходил в нее, пока что-то вдруг не толкнуло его к двери. Переступив порог, он подошел к очагу. Выбитый из скалы надочажный камень с двумя выемками по краям, где на вертеле жарят мясо, и сам очаг, выложенный из плоских каменных плит, остался таким же, каким был. По обуглившимся сучкам на очаге видно было, что в этой старой, заброшенной пацхе не так давно кто-то разжигал огонь. Неизвестно, кому и для чего это нужно было, но у старика потеплело на душе, когда он увидел на своем сохранившемся в целости очаге недогоревшие головешки. Он опустил на свою ветхую тахту и, упершись палкой в подмышку, долго не сводил глаз с очага. Видение давнего предстало перед ним: огонь шумит в очаге, над огнем висит большой черный котел, в котле закипает вода; мать сыплет в кипящую воду кукурузную муку, берет деревянную лопаточку и, придерживая котел за ручку, начинает варить мамалыгу. Чанта слышит приятное его слуху постукивание лопаточки в котле. Семья еще не собралась, все ждут, пока мамалыга будет выложена из котла, но маленького Чанту уже начинает одолевать сон, и мать торопится накормить его; до старика доносится ее голос: «Покушай, роденький, покушай», — и ему чудится, что мать гладит его по голове.

Оглянувшись, Чанта заметил в углу пацхи два камня: один — большой, плоский, другой — маленький, круглый, которыми мать толкла аджику. Не так просто было приступить к этому, прежде надо было много чего приготовить — красный перец, чеснок, кинзу и другие пахучие растения. И тогда уже, повязав голову белым платком и засучив рукава до локтей, мать начинала толочь аджику.

И это все встает перед глазами старика. Очнувшись от своих видений, Чанта увидел у порога старой пацхи двух стоявших рядом ребятшек.

Старшему было лет семь, младший, засунув палец в рот, стоял прижавшись к нему. Оба, не отрывая глаз, смотрели на старика.

— Вы чьи, дети?— спросил Чанта. Они не ответили.— Может быть, скажете, как вас зовут?

Ему очень хотелось услышать в этой пустой, холодной пацхе звонкие детские голоса.

— Меня зовут Алешей, а его Эдиком,— ответил старший и ударил хворостинкой по стене.

— Дай бог вам счастливой жизни,— сказал Чанта, но он уже смотрел на мальчиков невидящими глазами: взор его снова был обращен в прошлое. Ему привиделся его старший, погибший на войне сын Лаварс, вот он в серой черкеске с плеткой в руке садится на лошадь. Кажется, и он тоже родился в этой пацхе. В этот день кто-то из соседей дважды выстрелил из ружья, и Чанта понял, что у него родился сын.

«Если бы Лаварс был жив, то и без Сатбея здесь не было бы пусто»,— думал Чанта, и ему казалось, что он видит на дворе кучу весело играющих детей, среди которых могли быть и его внуки.

Ребятишки, стоявшие в дверях, поняв, что старику сейчас не до них, убежали куда-то.

Много приятных воспоминаний вызвала у Чанты старая, заброшенная им пацха. Глянув под потолок, он вспомнил, что там, за корзиной с красными кружками копченого сыра, висел бурдючок, в который жена собирала сметану. Опустив глаза, он увидел, что земляной пол за очажным камнем стал рыхлым, и вспомнил, что там всегда стояла бочка с квасом — жена делала его из лавровишни или абаца. В памяти встали зимние вечера, когда в его пацхе у пылающего очага собирались соседи — и мужчины и женщины — и он читал им газету или какую-нибудь интересную книгу, после чего начинались разговоры, иногда вспыхивали и споры — так коротали они вечера.

Уже стемнело, когда донесшиеся до Чанты голоса вывели его из раздумья. Услышав, что кто-то подходит к пацхе, старик поднялся, опершись на палку. Не успел он и шага ступить, как в пацху с коптившим фонарем в руке вошла пожилая полнотелая женщина небольшого роста, а из-за ее спины выглянул мальчик.

Увидев стоявшего в темноте старика, она робко попятилась, а потом, подняв фонарик, осветила его и воскликнула:

— Так это вы, Танас!<sup>1</sup> Как же это мы прозевали вас? Ребятишки прибежали и говорят, что в разваленной пацхе появился кто-то чужой и, кажется, больной. Я и побежала. Откуда им знать вас...

Поставив фонарик на землю, она округлым взмахом руки поприветствовала старика, а потом обняла его.

— Дорогая Гулиза,— глухим, сдавленным голосом заговорил Чанта,— ну как ты живешь и как у тебя дома, все ли живы и здоровы? Этот мальчик и тот, что заглянул с ним сюда, наверное, твои внуки? Конечно, как они могли узнать меня, если никогда в глаза не видели. Боюсь, что даже те, кто знал меня раньше, сейчас не узнают. Твои внучата, дорогая моя Гулиза, правы: я действительно болен, очень болен, и нет, должно быть, лекарства от моей болезни.

— Мало на свете людей, которые не болели бы чем-нибудь,— сказала Гулиза.— Бог даст, здоровы будете. Надо думать, ничего серьезно нет... Ну чего же мы стоим? Идем к нам. Как это вы нас вспомнили? Не пришлось нам навещать вас, а вы вот приехали.

— Я, дорогая Гулиза, хотел сегодня переночевать у Мачагвы.

<sup>1</sup> По абхазскому обычаю, невестка не может назвать брата мужа его настоящим именем.

— Успеете еще и у него побывать. Наш дом рядом, грех обойти его. Жаль только, что Махты нет дома. В Тбилиси поехал, к старшей дочери — она там на врача учится. Ждем, если не сегодня, так завтра утром вернется.

— Хорошо, дорогая Гулиза, побуду сегодня у вас, может, и Махта подоспеет. Хотелось бы повидать твоего сына. Очень соскучился я по всех вас. Одному недосуг, и другой выбраться не может — так люди постепенно и забывают друг друга. Когда птицы возвращаются к нам из чужих стран, они редко селятся в своих старых гнездах. Но человек не птица, его тянет в свой родной дом, в чужом ему тяжело, особенно в старости.

Разговаривая так с Гулизой, Чанта вошел к ней во двор. Ее старший внук освещал им путь.

Гулиза была не только соседкой, но и родственницей Чанты по мужу: покойный муж ее был из рода Чрыгба.

\* \* \*

— А вы, видно, недавно новоселье справили, — сказал Чанта, войдя в дом.

— Ох, и не говорите! Махта намучился, пока строились. Только прошлой осенью переселились. Пожалуйте сюда, к камину. Подойди же, поздоровайся — это ведь наш дорогой сосед, — обратилась Гулиза к невестке.

Молодая, высокая, стройная женщина, пышные волосы которой были подобраны платком, подошла к старику, низко поклонилась и поцеловала его в грудь. Вернувшись к камину, она стала помешивать лопаточкой в котле. Она варила мамалыгу, стараясь не поворачиваться к старику спиной, хотя это и трудно давалось ей.

Пол в комнате первого этажа, куда вошел Чанта, был на одной половине деревянный, а на другой земляной. В углу той половины, где пол дощатый, стоял включенный сейчас телевизор. Четверо сидевших перед ним дегей тихонько посмеивались.

Размягший и притихший в тепле старик, посмотрев на ярко горящую лампу, а потом и на телевизор, вздохнул про себя: Гулиза одного с ним поколения, но ей, слава богу, есть чем гордиться — новый дом, дети, внучата, достаток и благополучие во всем.

Гулиза словно прочла мысли старика. Расставив тарелки на столе, она села на стул против Чанты и, завязав головной платок узлом на затылке, заговорила:

— Конечно, сейчас уже не то, что было, легче стало жить. Вы же знаете, как мне трудно было, когда помер мой муж и я одна осталась с детьми. Спасибо вам большое за то, что вы мне помогли. Разве я могу это забыть? Забыть не забыла, может быть, подумаете вы, а вот навестить не удосужилась.

Пока Гулиза вела со своим гостем этот разговор, невестка ее хозяйничала. Потом старику дали помыть руки и его посадили за стол.

— Что же я один буду? Давай вместе поужинаем, Гулиза, — предложил Чанта. Как он ни настаивал на этом, Гулиза не согласилась нарушить обычай, запрещающий женщине садиться за стол со старшим по летам родственником мужа.

— Вы уж извините нас. Если бы сын был дома, он бы зарезал барашка. А мы, женщины, что сумели, то и приготовили от души. Кушайте на здоровье, — говорила она, сидя в сторонке от гостя.

Чтобы никого не обидеть, Чанта, подняв стакан, провозгласил общий тост:

— За благополучие этого дома! Ни с чем не сравнить здешнее вино. Только у нас на горе оно и родится. Сколько лет я уже не пил его.

— Это у вас было самое крепкое вино,— сказала Гулиза.

— Да, дорогая Гулиза, было время, когда и у меня горел свой очаг, хватало всего—и вина, и хлеба-соли, а теперь я как бы приживальщиком стал.

— Да что вы, дорогой! Какой вы приживальщик! Сын и невестка, слыхала я, на руках вас носят.

— Да, я не жалуясь. Вот уже восьмой год живу у них и ни в чем не нуждаюсь, все имею в достатке.

Разговаривая за столом, Чанта время от времени вытирал руки салфеткой, покручивал усы, поглаживал бородку и снова подымал стакан. Прежде чем выпить за здоровье Гулизы как старшей в семье, он долго говорил о том, как ей трудно жилось, пока дети не выросли, и как уважают ее все родные и знакомые, а затем, обращаясь к ней, сказал, имея в виду, что ее муж был из рода Чрыгба:

— Не сомневаюсь, что, когда я умру, ты выполнишь долг невестки, но я прошу тебя, чтобы ты заменила мне и сестру, когда меня будут оплакивать. Как знаешь, были у меня братья и сестры, но их уже нет в живых. Встань над моим гробом и оплакивай меня, как ты это умеешь, чтобы люди надолго запомнили.

В знак особого почтения к своей бывшей соседке Чанта пил за ее здоровье стоя. Она подошла к нему встревоженная, взяла его за руки и усадила:

— Что с вами? Чего вам пришли в голову такие мысли?

Чанта едва успевал осушить стакан, как невестка Гулизы снова наполняла его, и старик не отказывался. Видно было, что он пьет не просто так, а из уважения к дому и ради душевного разговора. Ел он аппетитно, так, что, глядя на него, и сытый захотел бы есть, но неторопливо; пока не проглотит кусок, слова не скажет; мамалыгу набирал рукой только с одной стороны тарелки, сколько бы ни подымал стакан, всякий раз двумя пальцами, а не всеми пятью; за столом сидел выпрямившись, ни разу, даже случайно, не поставил локти на стол, не кашлянул, не закурил.

Тосты были провозглашены уже за всех, в том числе и за детей, которые, поужинав раньше, все еще сидели у телевизора, но Чанта не поднимался из-за стола. То и дело обочиваясь к камину, он протягивал руки к огню, словно только что пришел с улицы озябший. От жарко пылающего камина и крепкого вина лицо его стало красным, как перец. Но по всему видно было, что вино не возбуждало старика, а, наоборот, действовало на него угнетающе: голос его стал глуше и в нем появились унылые нотки.

Невестка хозяйки, весь вечер прислуживавшая старику, почувствовав это, подошла к детям, что-то шепнула и увела их спать. Когда воцарилась тишина, совсем расчувствовавшийся от вина Чанта, снова заговорив с Гулизой, поминутно спрашивал ее: «Слышишь ты?»

— Когда я жил здесь и имел свой очаг, слышишь ты, дорогая, сердце у меня было горячее и кровь горячая. А сейчас я остыл, охолодел, ничто не греет уже мне душу, слышишь ты? Смерть неотступно, как волк, идет за мной, хотя пока и не трогает, но я не боюсь ее, иногда даже думаю, скорее бы уж умереть. Кому я нужен? Живой, но уже вроде как мертвый. Хлеб ем, а стою ли я его? Один сын у меня и тот бездетный, кому его наследство достанется, слышишь ты? Вот сижу у горящего камина и до утра могу просидеть — так соскучился по нему. Пламя, как сердце человека: всегда шумит, чем-то недовольное.

Замолкнув, Чанта неотрывно смотрел на огонь. Хозяйка, в расте-

рянности не находя слов, налила старику еще один стакан вина, и он выпил его, не провозглашая больше тоста, как пьют последний стакан.

— Что меня ждет? Могила, слышишь ты? Но где она будет — вот вопрос! — Старик произнес это громко, и голос его ни с того ни с сего прозвучал вдруг сердито.

Гулиза не удивилась: она хорошо знала, что у ее соседа бывают иногда такие гневные вспышки, когда он изрядно выпьет. Улучив момент, она стала успокаивать и подбадривать его:

— Не падайте духом, до смерти вам еще далеко, молодцом выглядите.

Но старик прервал Гулизу и продолжал свое: конечно, ему очень хотелось повидать своих соседей, однако он приехал не только для этого. Он должен сообщить всем в Лашкыте о своём завещании. Он нисколько не сомневается, что Гулиза оплачет его от души, но сыну своему и невестке, которые продали его хозяйство, он не может верить и боится, что они похоронят его в городе на общем кладбище.

— Слышишь ты, Гулиза? Я этого очень боюсь. Прошу тебя, ради прожитой нами рядом жизни сделай все, чтобы я был похоронен здесь, слышишь ты? Если нужно будет, не пожалей себя, обратись за помощью ко всем родственникам. Я думаю, что ты найдешь поддержку, слышишь ты? Завтра я пойду по селу, соберу всех стариков и скажу им...— Тут голос его задрожал; явно готовый разрыдаться, Чанта вынул из кармана платок, поднес его к глазам, опустил и снова поднес; и у Гулизы появились на глазах слезы. Помолчав, Чанта продолжал:

— Одиночество — это самое страшное. Может, оно и не убивает, но и жить не дает. В наше время, когда, скажут мне, только манны небесной не хватает, Чанта плачет, слышишь ты? Пусть бог избавит тебя от одиночества, Гулиза! Тут не помогут ни телевизор, ни радио, даже книги. Я, дорогая моя Гулиза, был землепашцем, меня кормила земля. А сейчас где земля, а где я? Непонятное что-то случилось. Я всегда жил для людей, а люди меня забыли.

Камин уже угасал, только угли еще тлели. Серый кот, пригревшийся у огня, умывался лапкой. Гулиза, сняв с головы свой белый платок, разглаживала его на коленях ладонью. Чанта, опустив голову, сидел с закрытыми глазами; встрепенувшись, он глубоко вздохнул; взялся за палку, и рука задрожала.

— Эх, дорогие, утомил я вас, спать не даю, — сказал Чанта, сдерживая зевоту. — Пора уже ложиться, находился я сегодня за день, все тело ломит.

— Постель готова, идемте! — сказала хозяйка, и Чанта пошел вслед за ней, опираясь на палку.

Они поднялись на второй этаж.

\* \* \*

В комнате было темно; Чанта Чрыгба сидел на кровати в одном белье и, как всегда перед сном, жадно курил. Докурив свою трубку, он облегченно вздохнул, лег и сладко вытянулся в постели... «Как бы там ни было, но сегодня на родной земле я, наверно, спокойно засну», — подумал он, почувствовав, что тяжесть спадает с него и по всему телу разливается тепло. Чтоб скорее заснуть, старик повернулся лицом к стене.

Стояла темная весенняя ночь, луна еще не всходила. Чанте казалось, что сон уже одолевает его, однако он еще долго лежал в полудреме, на грани сна и яви. Потом вдруг будто ураган пронесся и мгновенно развеял сон, оставив старика в постели разбитым. Трудно сказать, сколько времени он пролежал, чувствуя себя беспомощным. Но вот он уже сидит в постели, курит трубку и смотрит в окно. Облака разошлись,

выглянула луна, подул ветерок, заблестели вывернутые наизнанку листья. Две трубки подряд выкурил старик, потом подошел к окну, открыл его, сел на табуретку, облокотился на подоконник и стал смотреть во двор. Взгляд его ни на чем не задерживался — скользил по деревьям, по забору, по траве. Ему хотелось пить, пересохло во рту, и голова слегка кружилась.

«Не видно ли отсюда мою старую пацху?» — подумал он и, вздрогнув, словно его зазнобило, стал всматриваться в просвет между тузовыми и ольховыми деревьями. «Сколько бы наговорила мне горьких вещей моя пацха, если бы могла говорить,— думал он.— Оставил ее на произвол судьбы, а теперь приехал посмотреть, как она доживает свой век, и избалованный городской жизнью, даже не соизволил переночевать в ней, лежу у соседей на перине. Но где же она, моя пацха? Прячется, что ли, от меня?»

Вытянув голову, Чанта вглядывается в темноту, и вдруг — что такое? Старик дрожащей рукой, приподняв полы рубашки, протирает ею глаза — не верит он им. «Непостижимо!» — думает он, и на его лице появляется улыбка. Приподнявшись, он все смотрит и смотрит. Он видит крышу своего каштанового дома. Да-да, это его крыша, последний раз он сам покрывал ее сосновой дранкой. Старик еще больше высовывается в окно: он хочет увидеть балкон своего дома, но ветвистое дерево мешает ему. И надо же было кому-то выдумать, что невестка за бесценок продала его каштановый дом на слом. Слава богу, оказывается — это вранье! Теперь ему нечего беспокоиться — когда он умрет, его оплачат в родном доме, как это и полагается. Даже самый маленький воробышек имеет свое гнездо.

Старик смотрит в окно, и ему уже кажется, что видит белеющую на крыше трубу камина. А вот и пацха видна. Она в два раза старше его, но все еще стоит на своем месте. Конечно, он увидел бы и сарай, и амбар, но их, должно быть, заслоняет цветущая алыча. Луна светит, в доме все спят, так почему бы ему не спуститься потихоньку со второго этажа, не пройти по росе, не подышать свежим воздухом? И вообще, зачем ему оставаться здесь, если у него есть свой дом?

Вернувшись к кровати, Чанта стал одеваться. Натянул брюки, потом рубашку, но вот никак не может застегнуть пуговицы. Ах, вот в чем дело — он надел ее наизнанку, догадался старик, но переодеться не стал. «И так сойдет, я же к себе домой иду», — подумал он, накинул пальто, сунул в карман коробку с табаком и трубку, взял палку, другой рукой подхватил за голенища сапоги, вышел из комнаты и потихоньку спустился вниз по лестнице. Пройдя несколько шагов по росе, он вернулся, сел на ступеньку, надел сапоги. Теперь, чтобы попасть на свой двор, ему осталось только выйти за калитку. Деревья тонули в ночном тумане, между ними чернела похожая на большой куст пацха, в которой он побывал уже вечером. Но где же его каштановый дом? Где амбар и сарай?

Старику стало не по себе, он не понимал, что с ним происходит — не спятил ли уж с ума? Почему-то — наверное, и сам не сказал бы почему — он оглянулся назад, но и там ничего не увидел. Что же это значит? Неужели дом только примерещился ему? Ну, конечно же! Нечего ему было спешить сюда. На свое воровски проданное хозяйство он мог бы с таким же успехом вдоволь насмотреться и из окна. «Да,— подумал старик,— кажется, я действительно одурел — вчера же я был здесь при свете дня и видел, что от моего каштанового дома следа не осталось».

Чанта зашагал к пацхе. Позади туман сгущался, а впереди рассеивался, как это казалось ему. Открыв дверь пацхи, он чиркнул спичкой, увидел свою ветхую тахту и тяжело опустился на нее.

Было за полночь. Не надеясь уже заснуть, Чанта решил дожидаться здесь утра. Старик рассудил, что соседке, когда она утром проснется, не придет в голову, что он провел ночь в своей старой пацхе,— подумает, что встал спозаранку и пошел прогуляться. Озябнув вскоре, он забеспокоился, не заболел ли уж. Опять чиркнул спичкой, увидел у очага кучу хвороста, собранного, наверно, ребяташками, игравшими тут в ненастные дни, привстав, наломал сухих веточек и, положив под них на очаг три коробки спичек, разжег огонь. Яркое пламя озарило пацху, темнота разошлась и задрожала по углам. Выбрав из кучи хвороста сучья потолще и подкинув их на очаг, старик пододвинул к нему колоду, которую, наверно, тоже затащили сюда дети, и сел на нее у огня. Набив трубку, он прикурил от уголька, как делал это некогда, с наслаждением глубоко затянулся и медленно выдохнул дым тонкой струйкой.

— Приятно посидеть у своего очага, какой бы он ни был,— подумал Чанта вслух, и его голос громко прозвучал в тишине.

Потрескивает хворост на очаге, шумит огонь, языки пламени, подымаясь, гонят дым к потолку и ведут свой сердитый разговор. Время от времени, подкидывая в огонь сушняк, старик смотрит, как разгорается пламя, прислушивается к его говору и думает, что огонь только еще занялся, а вот уже расшумелся отчего-то. Может быть, недоволен, что он сказал «приятно посидеть у своего очага». Какой он твой? Он давно уже чужой тебе. И горящий в очаге хворост не твой, его собрали соседские детишки. Твои только спички, но и те ты купил в магазине. Пусть тут все погибнет — тебе наплевать, будешь сидеть у себя в городе сложа руки. Нет, это не твой очаг, между ним и тобой нет ничего общего.

Так, казалось Чанте, осуждал его шумевший в очаге огонь.

По черному от сажи потолку над очагом пробегали отблески огня. Старик смотрел на них, потом взгляд его упал на рукав рубашки. Увидев, что она надета наизнанку, он снял ее, вывернул и снова надел. Когда огонь стал жечь ему колени, Чанта глубоко вздохнул, поднялся с колоды и пересел на тахту. Приятно было прислониться спиной к стене. Перед ним горел очаг, он глядел на него и думал...

Покойная мать не раз говорила ему, показывая налево от очага: «Ты родился тут, с левой руки, а твой отец — с правой. Правая рука всегда сильнее левой, но и ты не будь слабым». Чанта помнил это. Отцу его трудно жилось, однако очага своего отец не бросил и кое-чего достиг в жизни, да и сам он сначала с жаром взялся за хозяйство, но кончил-то чем — в город перебрался на готовые харчи! И это сейчас, когда люди в Лашкыте зажили так, как его отец и мечтать не мог.

Отец, бывало, говорил: «Если ты хорошо кормишь скот, то и он тебя прокормит». Ежегодно, когда начиналась зима, он зарезал двух или трех больших, разжиревших на горной траве козлов; посолив мясо, он коптил его здесь вот, над очагом. Всю зиму мать жарила на вертеле эту жирную копченую козлятину. Чанта до сих пор помнит ее вкус, будто только вчера ел. Все богатство, вся радость отца была в скоте.

Сейчас лашкытцы живут много лучше, они выращивают чай, табак, сады... Всюду электрическое освещение... Все новые и новые подымаются дома. А скота вот стало много меньше. В чем дело? — размышляет Чанта. Говорят, что места не осталось для пастбищ и кормовой базы нет — всюду чайные, табачные плантации и сады. Это, конечно, верно, если иметь в виду крупный рогатый скот, а для мелкого скота разве нет пастбищ? Мало ли их пропадает зря в лощинах и на склонах гор, где пасли коз и овец наши предки?

Нет, не в пастбищах, наверно, дело; есть и другие, более глубокие причины тому, что перевелся в Лашкыте мелкий рогатый скот. Раньше одни только братья Мдарцы имели до тысячи голов коз и овец, сами

пасли их, пастухов не нанимали. Три брата их было. Если бы и сейчас на колхозной скотоферме работали такие, как они, то сколько бы паслось коз и овец на горных пастбищах Лашкыта! Конечно, Мдарцы не чета нашим чаеводам — те были люди неграмотные, ни одной буквы не знали, только на тысячелетнем опыте и держались.

Чанта был в глубоком раздумье, однако заметил, что очаг гаснет. Поднявшись, он подкинул в огонь охапку хвороста и несколько сучьев потолка, а затем снова сел на тахту, прислонился к стене и, вытянув большую ногу, подложил под нее свою палку.

Сидя так, он вспомнил старшего из братьев Мдарцев — Шагу: высокий, мохнатые брови свисают на черные глаза, густые усы опущены книзу. В сельсовете идет заседание, сам Чанта ведет протокол. Шагу объявляют:

— Мы лишаем тебя голоса.

Он не понимает, что это значит — лишить голоса.

— Как вы можете это сделать? Даже осел мой и тот имеет голос,— говорит он.

Его не слушают, ему велют сдать свой скот, говорят:

— Ровно через неделю пригонишь своих коз сюда во двор.

Шагу сердится, кричит:

— Я буду жаловаться!

— Не имеешь права — ты лишен голоса,— отвечают ему.

Поднимается галдеж. Громче всех кричит задиристый Хизан, нацепивший на себя командирскую портупею:

— Тебя к свету тянут, а ты, дурак, упираешься, одичал в лесу. Выйдешь из леса — и от тебя в крайней мере не будет нести козлом.

Много лет прошло с тех пор, но Чанта все это вспомнил сейчас.

Шагу ответил тогда Хизану:

— Видно, что ты сын Маса, известного всем лодыря. Важничаешь, учишь людей жить по-новому, а сам только и умеешь, что трепать языком.— А потом, обратившись ко всем, сказал: — Уважаемые односельчане, не чужими руками вырастил я свой скот — все соседи это знают, но если есть такая нужда, то я не пожалею его.

Через неделю Шагу пригнал свой скот во двор сельсовета.

— Берите на здоровье! — сказал он.— Одно прошу только — не поручайте мой скот таким людям, как Хизан, иначе он весь передохнет.

Сказав это, он поспешил уйти, чтоб не слышать жалобного блеяния сгрудившихся коз. За пастухом побежала его большая собака. За собакой кинулся и старый бородатый козел, а за козлом бросились к воротам и козы. Целый день люди гонялись за ними.

Кажется, еще в том же году Шагу восстановили в правах, но он уже распродал оставленный ему скот и больше не подымался в горы. Сильно тосковал он по ним, потом его стала мучить злая малярия, и года через четыре он помер.

«Сплоховали мы тогда все, и я тоже,— думал Чанта, вспоминая все это,— не разобрались в человеке, лишили его голоса, причислили к чужакам да еще насмехались над ним, а такого пастуха, как он, где найдешь сейчас?»

Подкинутый в очаг хворост уже сгорел, но толстые сучья, лежавшие на надочажном камне, еще жарко пылали. А Чанта все размышлял, как это случилось, что многие крестьяне оторвались от земли, доискивался до самого корня причин тому. «Теперь положение изменилось,— думал он,— многие из тех, что уехали из Лашкыта в город, вернулись назад, строят новые дома». И это радовало его. «Это хороший признак»,— решил он, и на этом его размышления оборвались: старика стало клонить

ко сну. «Может быть, удастся вздремнуть», — подумал он, протяжно зевнул и закрыл глаза. Немного спустя старик стал тихонько похрапывать; должно быть, от тяжелых снов иногда вздрагивал, постанывал; лежавшая на груди рука падала, но он подымал ее во сне и снова клал на грудь.

Уже занимался рассвет. Все чаще и чаще кричали петухи. Где-то длинно промычала корова. Залаяли собаки, одна из них глухо, как из бочки, гавкала и время от времени выла.

Вдруг горевший на надочажном камне сук рухнул, и верхняя, слегка обуглившаяся часть его упала на кучу хвороста. Может быть, эта головешка и потухла бы, но в хворосте оказался сухой папоротник, и он мгновенно вспыхнул. Огонь охватил хворост. Пламя разгорелось, подобралось к торчавшим из развалившейся стены пацхи сухим прутьям и стало подниматься по ним к прогнувшейся дранке крыши. Бахрома спускавшейся из-под дранки паутины колыхалась, зазывая огонь к себе: скорее, скорее! И вскоре пламя, разгоравшееся вместе с утренней зарей, пробилось из-под крыши. В пацхе клубился дым, с потолка падала горящая сажа. Чанта ничего не видел и не слышал — он спал. Начав задышаться от дыма, старик поднялся, сел. Он ничего не понимал, ему казалось, что он захлебывается водой. Кинувшись к двери, он споткнулся о чурбан и упал, застонав, с трудом встал на ноги, схватил свою палку и, отмахиваясь от сыпавшихся на него искр, вырвался во двор.

— Эй, что там? Что случилось? — раздался поблизости чей-то зычный голос, поднялся лай, и Чанта услышал топот бегущих людей.

Первым прибежал соседский парень Шарах. Подхватив по пути бревно, он приставил его к крыше пацхи, чтобы подняться на нее.

— Какой сумасшедший поджег? — прокричал он.

— Оставь, милый, оставь! Ее не спасешь уже, — сказал Чанта, подходя к нему.

— Как?! Откуда вы, Чанта? — удивленно смотрел парень на старика, хозяина горячей пацхи, которого он не видел уже восемь лет. — Вы приехали, а она горит? — Больше Шарах ничего не мог сказать.

Подбежали еще два парня с ведрами воды.

— Оставьте, сыночки, оставьте! Все равно пользы от нее мало, матерьял весь гнилой, — говорил Чанта, прикрывая глаза от едкого дыма.

Подбежал Мачагва с цалдой в поднятой руке, словно намеревался с ходу что-то рубить.

— Что такое? Спим, просыпаюсь, гляжу — пожар рядом! — Заметив Чанту, он воскликнул: — Ого! Кого вижу! Доброго тебе здоровья! — Бросив цалду, Мачагва крепко обнял старика.

Собралось уже немало соседей.

— Что же вы стоите? Тушить надо! — крикнул Мачагва.

Подошла и Гулиза.

— И кому помешала эта пацха? — заговорила она, а потом, увидев Чанту, сказала ему: — Заспалась я и не заметила, как вы вышли. И нужно же было, чтоб это случилось как раз в тот день, когда вы приехали!

Вскоре почти все жители села — мужчины, женщины, дети, кто одиночке, кто толпами — сбежались к горячей пацхе. Многие стояли в растерянности, не зная, что делать: то ли приветствовать приехавшего из города Чанту, то ли выражать ему свое сочувствие в постигшей его беде.

Люди пожимали плечами, разводили руками, не понимая, что могло вызвать пожар. А огонь жадно поглощал все, что можно было еще поглотить. Он мигом испепелил полуистлевшую дранковую крышу; быстро сгорели и сплетенные из прутьев стены; подняв облако сажи и дыма, рухнул обуглившийся скелет пацхи. Все, что мальчишки не успели рас-

тащить на дрова, сгорело дотла, остался только покрытый мертвенно-белым пеплом надочажный камень, поднимавшийся, как снежная вершина горы, над струившимися еще кое-где дымками.

На дороге остановился красный мотоцикл; примчавшийся на нем внук Казаху направился к пожарищу. Было ясное и свежее утро, ветер еще не успел разнести запах гари. Чанта стоял, как всегда, опираясь на свою палку, и смотрел на одиноко торчавший на пожарище надочажный камень. Утомившая его вчера дорога, бессонная ночь, пережитый пожар — все это наложило на него свою тяжелую печать.

— Друзья мои! — сказал он, подняв голову. — Не доискивайтесь до причины пожара, он произошел по моей неосторожности.

Люди удивленно переглядывались: говорит сам хозяин — как ему не поверить?

Высокий статный мужчина с закинутым за плечо черным башлыком потер лысую голову и, обращаясь к Чанте, сказал:

— Как же это так: восемь лет тебя не было, не успел приехать и устроил пожар! Может быть, ты не хотел, чтоб старая пацха напоминала нам тебя? Очень странно с твоей стороны.

Чанте больно было слушать это, но он не стал отклоняться от того, что хотел сказать людям, и продолжал:

— Вчера вечером я приехал сюда из города. Очень соскучился по вас и хотел побыть здесь два-три дня. Гулиза встретила меня и пригласила к себе. За ужином я порядком выпил ее чудесного вина, и мы долго беседовали с ней. Ночью я не мог заснуть, оделся, вышел подышать свежим воздухом и оказался возле своей пацхи — какая-то сила потянула меня к очагу моих предков. Мне стало холодно, я зажег огонь, от тепла меня потянуло ко сну, я пересел на тахту и скоро заснул. Проснулся от дыма и вижу — вся крыша в огне. Вот как сгорела моя пацха, построенная моим дедом Джанимом.

Замолкнув, старик оглядел стоявших вокруг него людей и, ткнув в землю палкой два или три раза, сказал:

— По правде говоря, никому она уже не нужна. Грешно сказать, но, может быть, и хорошо, что ее уже нет. Куда ни посмотришь — всюду новые дома. Моя пацха была бельмом на глазу у нашего села.

Кто-то стоявший поодаль, рядом с бригадиром, сказал ему:

— Не сам ли он и поджег? Если пацха была застрахована, притянет нас в свидетели и денежки получит.

Бригадир покачал головой: все, мол, может быть. Но многим это не понравилось, люди недовольно загудели.

— Послушайте, чего вы там? — раздался голос молчавшего до сих пор Мачагвы. — Друг мой Чанта! Ты говоришь, что к очагу своих предков потянула тебя какая-то сила. А скажи, мне интересно знать, исчезла эта сила вместе с пацхой или нет?

Чанту словно обдало жаром, он снова возбужденно стал тыкать палкой в землю, и взгляд его забегал от одного к другому, точно он только сейчас увидел собравшихся на дворе людей. «Будет ли еще такой удобный случай сказать всем о моей последней просьбе?» — подумал он и громко заговорил:

— Дорогие соседи и братья! Что бы ни привело вас сюда, я счастлив, что вижу вас всех вместе — и старых, и малых. С тех пор, как я уехал отсюда, не было ни одной ночи, чтоб я спал спокойно. Душа моя все время тут, и ум, и сердце тянут сюда, но силы мои уже на исходе. Последнее время я чувствую себя плохо, боюсь, что могу умереть, не успев сказать вам о том, что меня мучит.

Чанта уже не в силах был сдерживать себя. До сих пор он крепился, но сейчас эта встреча на пожарище с соседями и родными, которых

он не видел много лет, этот грустный разговор с ними так разволновали его, что он совсем размяк; голос его становился все глуше, потом задрожал, оборвался, и из глаз старика брызнули слезы. Он торопливо полез в карман, чтобы достать носовой платок, палка выпала у него из рук. Мачагва быстро поднял ее, подал ему, а затем, положив на плечо Чанты руку, заговорил с ним:

— Не узнаю тебя, Чанта, что с тобой? Не ты ли говорил нам: «Мужчина слезы не уронит». С тех пор ты ослаб духом, и это понятно. Но теперь, Чанта, ты должен взять себя в руки.— Сказав это, Мачагва окинул взглядом толпу и поднял голос: — Мужчины и женщины, всех вас прошу выслушать меня. Помните, как нашего дорогого соседа и верного друга Чанту ночью увезли в город? Помните, как в ту ночь, собравшись здесь на дворе, мы молча стояли, словно на похоронах родного человека? Вскоре после этого, проснувшись однажды утром, мы увидели, что люди разбирают каштановый дом Чанты. Тогда мы тоже собрались здесь и долго толковали, не понимая, как Чанта мог покинуть нас. И потом при каждой встрече мы говорили об этом. Гулиза, ты здесь? — спросил Мачагва.

— Здесь я, дорогой, говори, чем могу быть полезной, — отозвалась Гулиза, опустив руку, которой она горестно подпирала голову.

— Дай бог тебе доброго здоровья. Ты была самой близкой соседкой Чанты, но по родству у тебя были более близкие люди и тоже твои соседи, однако после смерти твоего мужа больше всех помог тебе Чанта. Не так ли, милая Гулиза?

— Пусть бог даст ему долгую жизнь. Мне и детям моим, сколько бы ни прожили, не отплатить ему за все, что он сделал для нас.

— Это ты верно говоришь.

— Озган Кауста! — крикнул Мачагва.

— И я здесь! — отозвался рослый мужчина, который стоял, заложив руки за спину.

— А тебе и твоей семье разве не помогал Чанта, когда ты, упав с дерева, три года лежал в постели, вспомни-ка! Справедливость требует признать, что Чанта себя не жалел, помогая другим. А теперь, друзья мои, как говорится, «река возвращается в старое русло» — Чанта приехал домой! Вместе с этой пацхой сгорела и дорога, которая должна была увести его обратно в город. Нет ему уже возврата туда, он должен остаться у нас. Что вы на это скажете, дорогие соседи?

— Правильно!.. Верно! — раздались голоса.— Все в Лашкыте будут рады этому.

— А ты, бригадир, почему молчишь? Подходи сюда ближе! Ждем твоего слова! — крикнул Мачагва.

Бригадир был сыном Озгана Каусты, о котором Мачагва только что говорил. Низкорослый, толстый, с тоненькими, как кантик, черными усиками, он стоял, засунув за пояс пальцы, и разговаривал, обернувшись к соседу, тому самому, что сказал про Чанту: «Не сам ли он и поджег?» Он пожал плечами и, не глядя на Мачагву, кинул в ответ ему:

— А что я скажу? Человек не посчитался ни с кем, бросил колхоз, уехал в город. Никто не виноват, сам себя разорил. Явился сегодня, как проснувшийся после многолетнего сна. Ничего не могу сказать. Меня это не касается. Пусть подает заявление в колхоз, правление рассмотрит, поставит вопрос на общем собрании. Сочтут возможным — дадут право жить здесь.

— Боже мой, что он говорит?! — возмущенно вскрикнул Мачагва.— Чанта родился на этой земле. Вся жизнь его прошла здесь. Какое еще право ему нужно! Может, внук Казаху скажет нам это? Он хотя и молодой, но понимающий человек. Чанта не дряхлый старик, сам пешком

поднялся к нам на гору, и все вы слышали, какие он умные слова говорит. Разве такой человек не нужен нам? Вот, например, пчелы у нас пропадают — почему бы не поручить их Чанте? Если Чанта останется у нас, он еще долго проживет.

Внук Казаху, подходя к Мачагве, сказал ему:

— Да, Чанте надо помочь. Я думаю, что правление колхоза не откажет ему в этом. Когда он будет строиться, то пусть только покажет мне место, а я уж постараюсь с вашей помощью.

— Молодец, пусть твоя жизнь будет долгой! Недаром мы прозвали тебя Айнар-кузнец! — сказал Мачагва.

— Дорогие мои! — заговорил Чанта со слезами на глазах и дрожью в голосе.— Я прошу немного: три аршина земли у сосны на поляне, рядом с могилой отца. На это-то я уже, наверно, имею право.

— И на это надо получить разрешение,— дернув головой, буркнул бригадир и, снова заговорив со своим соседом, пошел с ним прочь со двора.

По толпе прошел гул возмущения, и в нем едва слышно прозвучал голос Мачагвы:

— Вот беда! Оказывается, у нашего бригадира сердце очерствело, а мы и не замечали этого.

\* \* \*

Не знаю, может быть, это только приснилось или примерещилось мне. Чанта Чрыгба стоит у меня перед глазами в ярком свете утреннего солнца, уже обсушившего землю и свежую листву белых акаций, которые окружают расположенную на склоне горы колхозную пасеку. С цалдой в руке он идет от улья к улью вдоль изгороди и останавливается у пышно цветущей яблони, такой же белой, как и рукоять его новой цалды. Вот он уже поднял цалду, чтобы отсечь цепко обвившуюся вокруг яблони ветку колючки, и вдруг до слуха его доносится снизу, из долины, гул идущей в гору машины. Старик оглядывается и замечает, что грузовик с наваленными выше кузова досками въезжает в ворота его заново огороженного двора. Кто-то — наверное, внук Казаху и соседские парни — один за другим спрыгивают на ходу с машины.

Чанта с размаху обрубаёт колючку. С задрожавшей ветки густо сыплется белые, как снежинки, лепестки цветов, они припорошивают его седые волосы, и земля под ногами старика тоже становится снежно-белой.

*Перевел с абхазского Е. Герасимов.*



---

ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ

★

## ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

\* \* \*

Дайте вновь оказаться  
В сорок первом году —  
Я с фашистами драться  
В ополчение пойду.

Все, что издавна мучит,  
Повторю я опять.  
Не обучен — обучат.  
Близорук — наплевать.

Все отдам, что имею,  
От беды не сбегу,  
И под пули сумею,  
И без хлеба смогу.

Мне там больше не выжить —  
Не та полоса.  
Мне бы только услышать  
Друзей голоса.

\* \* \*

Мне говорили: может, гладь озерная,  
А может, сосен равномерный шум,  
А может, море и тропинка горная  
Тебя спасут от невеселых дум.

Природа опровергла все пророчества,  
Пошли советы мудрые не впрок:  
Она усугубляет одиночество,  
А не спасает тех, кто одинок.

\*~\*

Кто-то скажет, пожалуй,  
про цыганскую грусть:  
мол, товар залежалый.  
Что с того? Ну и пусть.

Я люблю его очень,  
тот цыганский романс:  
«Наглядитесь, очи,  
на меня про запас».

Наглядитесь, очи,  
на меня про запас...  
Но ведь я тебя вижу  
каждый день, каждый час!

Нам неведомы сроки.  
Где-то кони пылят.  
И печальные строки  
расставанье сулят.

Наглядитесь, очи,  
про запас... Видно, так.  
Дело близится к ночи.  
Надвигается мрак.

Никуда тут не деться,  
и пока не погас  
свет в глазах,— наглядеться  
я спешу про запас.



---

---

ФЕДОР АБРАМОВ

★

## ПЕЛАГЕЯ

*Повесть*

1

**В**гром со свежими силами Пелагея легко брала полутораверстовый путь от дома до пекарни. По лугу бежала босиком, как бы играючи, полоща ноги в холодной травяной росе. Сонную, румяную реку раздвигала осиновой долбенкой, как утюгом. И по песчаной косе тоже шла ходко, почти не замечая ее вязкой, засасывающей зыби.

А вечером — нет. Вечером, после целого дня хлопот возле раскаленной печи, одна мысль о возвратной дороге приводила ее в ужас.

Особенно тяжело давалась ей песчаная коса, которая начинается сразу же под угором, внизу у пекарни. Жара — зноем пышет каждая накалившаяся за день песчинка. Оводы-красики беснуются — будто со всего света слетаются они в этот вечерний час сюда, на песчаный берег, где еще держится солнце. И вдобавок ноша — в одной руке сумка с хлебом, другую руку ведро с помоями рвет.

И каждый раз, бредя этим желтым адищем — иначе не назовешь, — Пелагея говорила себе: надо брать помощницу. Надо. Сколько ей еще мучиться? Уж не такие это и деньги большие — двадцать рублей, которые ей приплачивают за то, что она ломит за двоих — за троих...

Но так говорила она до той поры, пока пересохшими губами не припадала к речной воде. А утолив жажду и сполоснув лицо, она начинала уже более спокойно думать о помощнице. А на той стороне, на домашней, где горой заслоняет солнце и где даже ветерком слегка потягивает, к ней и вовсе возвращался здравый смысл.

Неплохо, неплохо иметь помощницу, рассуждала Пелагея, шагая по плотной, уже слегка отпотевшей тропинке вдоль пахучего ржаного поля. Худо ли — все пополам: и дрова и вода. И тесто месить — не надо одной руки выворачивать. Да ведь будет помощница — будет и глаз. А будет глаз — и помои пожиже будут. Не набахтаешь в ведро теста — попаешься. А раз не набахтаешь, и борова на семь пудов не выкормишь. Вот ведь она, помощница-то, каким боком выйдет. И поневоле тут поразмыслишь да пораскинешь умом...

У мостков за лыву — грязную осотистую озерину, в которой, отфыркиваясь, по колено бродила пегая кобыла с жеребенком, — Пелагея остановилась передохнуть. Тут всегда она отдыхает — и летом и зимой, с сорок седьмого. С той самой поры, как работает на пекарне. Потому что деревенская гора немалая — без отдыха не осилишь.

На всякий случай ведро с помоями она прикрывала белым ситцевым платком, который сняла с головы, поправила волосы — жиденькую бес-

цветную кудельку, собранную сзади в короткий хвостик (нельзя ей показываться растрепой на люди—девья мать),—затем по привычке подняла глаза к черемухову кусту на горе — там, возле старой, прокоптелой бани, каждый вечер поджидает ее Павел.

Было время, и недавно еще,— не на горе, у реки встречал ее муж. А осенью, в самую темень, выходил с фонарем. Ставь, жена, ногу смело. Не упадешь. А уж по дому своему — надо правду говорить — она не знала забот. И утром печь истопит, и корову обрядит, и воды наносит, а ежели минутка свободная выпадет, и на пекарню прибежит: на неделю — на две дров наготовит. А теперь Павел болен, с весны за сердце рукой хватается, и все — и дом и пекарня,— все на ней одной.

Глаза у Пелагеи были острые — кажется, это единственное, что не выгорело у печи,— и она сразу увидела: пусто возле куста, нету Павла.

Она охнула. Что с Павлом? Где Алька? Не беда ли какая стряслась дома?

И, позабыв про отдых, про усталость, она схватила с земли ведро с помоями, схватила сумку с хлебом и звонко-звонко зашлепала по воде шатучими жердинами, перекинутыми за лыву.

## 2

Павел, в белых полотняных подштанниках, в мягких валеных опорках, в стеганой безрукавке с ее плеча — она терпеть не могла этого стариковского вида! — сидел на кровати и, по всему видать, только что проснулся: лицо потное, бледное, мокрые волосы на голове скатались в кощицы...

— На, господи, не вылежался! — выпалила она прямо с порога.— Мало ночи да дня — уже и вечера прихватываешь.

— Нездоровится мне ноне,— виновато потупился Павел.

— Да уж как ни нездоровится, а до угора-то, думаю, мог бы дойти. И сено,— Пелагея кивнула в сторону окошка за передком никелированной кровати,— срам людей — с утра валяется. Для того я вставала ни свет ни заря? Сам не можешь — дочи есть, а то бы и сестрицу дорогую кликнул. Невелика барыня!

— День андела у Онисьи сегодня.

— Большой праздник! Отпали бы руки, ежели бы брату родному пособила.

Хлопая пыльными, все еще не остывшими сапогами, которые плотнее обычного сидели на затекшей ноге, Пелагея оглянула комнату — просторную, чистую, со светлым крашеным полом, с белыми тюлевыми занавесками во все окно, с жирным фикусом, царственно возвышающимся в переднем углу. Взглядом задержалась на ярко-красном платье с белым ремешком, небрежно брошенном на стул возле комода, на котором сверкали новехонькие, еще ни разу не гретые самовары.

— А та где, кобыла?

— Ушла. Девка — известно.

— Вот как, вот как у нас! Сам весь день на вылежке, дочи дома не оследится, а мати хоть убейся. Одной мне надо...

Пелагея наконец скинула сапоги и повалилась на пол. Без всякой подстилки. Прямо на голый крашенный пол.

Минут пять, а то и больше лежала она недвижно, с закрытыми глазами, тяжело, с присвистом дыша. Потом дыхание у нее постепенно выровнялось — крашенный пол хорошо вытягивает жар из тела,— и она, повернувшись лицом к мужу, стала спрашивать его о домашних делах.

Самая главная и самая тяжелая работа по дому была сделана — Алька и корову подоила, и травы на утро принесла. Еще ей радость доставил самоварчик, который, поджидая ее, согрел Павел — не все, оказывается, давил койку человек, справил свое дело и сегодня.

Она встала, выпила подряд пять чашек крепкого чая без сахара — пустым-то чаем скорее зальешь жар внутри,— потом приподняла занавеску на окне и опять посмотрела в огород. Лежит сено, целый день лежит, а ей уж не прибрать сегодня — отпали руки и ноги...

— Нет, не могу,— сказала она и снова легла на пол, на этот раз на ватник, услужливо разостланный мужем.— За вином-то сходил — нет? — спросила она немного погодя.

— Сходил. Взял две бутылки.

— Ну, то ладно, ладно, мужик,— уже другим голосом заговорила Пелагея.— Надо вино-то. Может, кто зайдет сегодня. Много ноне вина-то закупают?

— Покупают. Не все еще уехали к дальним сенам. Петр Иванович много брал. И белого и красного.

— Как уж не много,— вздохнула Пелагея.— Большие гости будут. Антонида, говорят, приехала, учење кончила. Не видал?

— Нет.

— Приехала — поминал даве начальник орс. Из района, говорит, на катере вместе с военным ехала, с офицером,— вроде как на природу поинтересоваться захотела. А какая природа? Жениха ловит, взамуж выскочить поскорее хочет.— Пелагея помолчала.— А тебе уж ничего не говорил? Не звал на чашку чая?

Павел пожал плечами.

— Вишь вот, вишь вот, как время-то бежит. Бывало, какое угощенье у Петра Ивановича обходилось без нас? А теперь Павел да Пелагея не в силе — не нужны.

— Ладно,— сказал Павел,— у нас у сестры праздник. Была даве — звала.

— Нет уж, не гостья я ноне,— строго поджала губы Пелагея.— Рук-ног не чую — какие мне гости?

— Да ведь обида ей будет. День андела у человека...— несмело напомнил Павел.

— А уж как знает. Не подыхать же мне из-за ейного андела.

Как раз в эту минуту на крыльце зашаркали шаги, и — легка же на помине! — в избу вошла Анисья.

## 3

Анисья была на пять лет старше своего брата, но здоровьем крепкая, чернобровая, зубы белые, как репа, и все целехоньки — не скажешь, что ей за пятьдесят.

Замуж Анисья выходила три раза. Первого мужа, от которого у нее был ребенок, умерший еще до года, убили на войне. Со вторым мужем ей пришлось расстаться в сорок шестом году, когда она попала в заключение (сноп жита унесла с поля). А третий муж — из вербованных, приехавший на лесозаготовки с Рязанщины (она его больше всех любила) — пропил у нее все до нитки, избил на прощанье и укатил к законной жене. После этого она уж больше семейного счастья не пыталась. Жила вольно, мужиков от себя не отпихивала — но и близко к сердцу не подпускала.

Брата своего Анисья любила — и за то, что он был у нее единственный, да к тому же хворый, и за то, что по доброту да по тихости своей никогда, ни разу не попрекнул ее за беспутную жизнь. Ну, а перед

невесткой, женой Павла, — тут прямо надо говорить — просто робела. Робела и терялась, так как во всем признавала ее превосходство. Домовита — у самой Анисьи никогда не держалась копейка в руках, — жизнь загадывает вперед и в женском деле — камень.

Провожая мужа на войну — а было ей тогда девятнадцать лет, — Пелагея сказала: «На меня надейся. Никому не расчесывать моих волос, кроме тебя». И как сказала, так и сделала: за всю войну ни разу не переступила порог клуба.

И, сознавая превосходство невестки, Анисья всякий раз, когда разговаривала с нею, напускала на себя развязность, чтобы хоть на словах стать вровень. Так и сейчас.

— Чего лежишь? — сказала Анисья. — Вставай! Вино прокиснет.

— Все ты со своим вином. Не напилась.

— Да ведь как. В такой день насухо! — Анисья кивнула брату. — Давай, давай — подымай жену. И сам одевайся.

Павел потупился. Анисья по-свойски взялась за его брюки, висевшие на спинке кровати.

— Не тронь ты его, бога ради! — раздраженно закричала Пелагея. — Человек не в здравье — не видишь?

— Ну тогда хоть ты пойдем.

— И я не пойду. Лежу как убитая. Еле ноги из заречья приволокла. Меня хоть золотом осыпь — не подняться. Нет, нет, спасибо, Онисья Захаровна. Спасибо на почести. Не до гостей нам сегодня.

Анисья растерялась. По круглому румяному лицу ее пошли белые пятна.

— Да что вы, господи! Самая близкая родня... Что мне люди-то скажут...

— А пушай что хошь, то и говорят, — ответила Пелагея. — Умный человек не осудит, а на глупого я век не рассчитываю. — Затем она вдруг посмотрела на Анисью своими сухими строгими глазами, приподнялась. — Ты когда встала-то нынче? А я встала, печь затопила, траву в огороде выкосила, корову подоила, а пошла за реку — ты еще кверху задницей, дым из трубы не лезет. Вот у тебя на щеках и зарево.

— Да разве я виновата?

— А я на пекарню-то пришла, — продолжала выговаривать Пелагея, — да другую печь затопила — одно полено в сажень длины, — да воды тридцать ведер подняла, да черного хлеба сто буханок налила, да еще семьдесят белого. А уж как я у печи-то стояла да жарилась, про то я не говорю. А ты на луг-то спустилась, грабелками поиграла — слышала я, как вы рбили, за рекой от ваших песен стекла дрожали — да не успела пот согнать — машинка: фыр-фыр. Домой поехали... — Пелагея перевела дух, снова откинулась на фуфайку, закрыла глаза.

Павел, избегая глядеть на сестру, примирительно сказал:

— Тяжело. Известно дело — пекарня. Бывал. Знаю.

— Дак уж не придете? — дрогнувшим голосом спросила Анисья. — Может, я не так приглашаю? — И вдруг она старинным, поясным поклоном поклонилась брату: — Брателко Павел Захарович, сделай одолженье... Пелагея Прокопьевна...

Пелагея замахала руками:

— Нет, нет, Онисья Захаровна! Премного благодарны. И сами никого не звали, и к другим не пойдем. Не можем. Лежачие.

Больше Анисья не просила. Тихо, с опущенной головой вышла из избы.

— Про людей вспомнила! — хмыкнула Пелагея, когда под окошком затихли шаги. — «Что люди скажут?» А то, что она за каждые штаны имеетя, про то не скажут?

— Что уж, известно,— сказал Павел.— Не везет ей. А надо бы маленько-то уважить. Сестра...

— Не защищай! Сама виновата. По заслугам и почет...

Павел на это ничего не ответил. Лег на кровать и мокрыми глазами уставился в потолок.

## 4

Таких домов, как дом Амосовых, теперь уж не строят. Да их и раньше, до войны, не много было в деревне.

Великан дом. Двухэтажный шестистенок с грудастым коньком на крыше, большой двор с поветью и сенником и сверх того еще боковая изба-зимница.

Вот с этой-то боковой избы-зимницы и начали разламывать дом — ее в сорок шестом году отхватила старшая сноха (у Захара Амосова четыре было сына, и только один из них, Павел, вернулся с войны). Затем потребовала своей доли вторая сноха — раскатали двор. И наконец последний удар нанесла Пелагея, решившая заново строиться на задах. По ее настоянию шестистенок разрубили пополам. И старого дома-красавца не стало...

Безобразная хоромина, напоминающая громадный бревенчатый аналой, стоит на его месте. В непогодь скрипит, качается, несмотря на то, что с двух сторон подперта слегами, а зимой еще хуже: суметы снега набивает в сени, кое-как прикрытые сзади старыми тесницами, и Анисья всю зиму держит в избе деревянную лопату.

И все-таки что там ни говори, а весело на Анисьиной верхотуре (нижняя изба, доставшаяся третьей снохе, заколочена), и Алька любила бывать у тетки.

Высоко. Вольготно. Ласточки у самого окошка шныряют. И все видно. Видно, кто идет-едет по деревенской улице, по подгорью, видно, как весной, в половодье, большие белопалубные пароходы выплывают из-за мыса. А кроме того, у тетки всегда люди — не то что у них на задворках. Бабы тащатся из лавки — кому похвастаться покупкой? Тетке. Рабочие на выходной пришли из заречья — где посидеть за бутылкой? У тетки. Все к тетке — и проезжая шоферня, и свой брат колхозник-пьяница, и даже военные: без году неделя как понаехали, а к тетке дорожку уж протоптали.

В этот праздничный вечер Альку так и кидало из избы на улицу, с улицы в избу. Хотелось везде ухватить кусок радости — и у тетки и на улице, где уже начали появляться первые пьяные.

— Ты ведь уже не маленькая сломя-то голову летать,— заметила ей Анисья, когда та — в который уже раз за вечер! — вбежала в избу.

— А, ладно! — Алька вприпрыжку, козой перемахнула избу, вонзилась в раскрытое настежь окошко. Самое любимое это у нее занятие — оседлать подоконник да глазеть по сторонам.

Вдруг Алька резко подалась вперед, вся вытянулась.

— Тетка, тетка, эвон-то!

— Чего еще высмотрела?

— Да иди ты, иди скорей! — Алька захохотала, заерзала по табуретке.

Анисья, наставлявшая самовар у печи, за занавеской, подошла к ней сзади, вытянула шею.

— А, вон там кто,— сказала она.— Подружки.

Подружками в деревне называли Маню Большую и Маню Маленькую. Две старухи-бобылки. Одна медведица, под потолок,— это Маня Маленькая. А другая — ветошная, рвань-старушонка, да, как говорится, себе на уме. Потому и прозвище — Большая. К примеру, пенсия. Дож-

дется Маня Большая этого праздника — сперва закупит чаю, сахару, крупы, буханок десять хлеба, а потом уж пропивает что останется. А Маня Маленькая не так. Маня Маленькая, как зубоскалили в деревне, жила одну неделю в месяц — первую неделю после получки пенсии. Тут уж она развертывалась: и день и ночь шлепала в своих кирзовых сапожищах по улице, да с песнями, от которых стекла лопались в рамках. А потом Мани Маленькой не видно и не слышно было три недели. Холодная печь, три кота голодных вокруг да уголь на брус, которым она отмечала на потолке оставшиеся до получки дни.

Подружки стояли посреди пыльной улицы, по которой только что прогнали колхозное стадо. Маня Маленькая невозмутимо, в своем всегдашнем синем платке, повязанном спереди наподобие двускатной крыши, а Маня Большая, задрав кверху голову и слегка покачиваясь, что-то втолковывала ей, для убедительности размахивая темным пальцем у нее под носом.

— Чего-то вот тоже маракуют меж собой, — усмехнулась Алька.

— Люди ведь, — сказала Анисья.

— Манька-то Маленькая вроде не в духе. Горло, наверно, сухое.

— С чего быть не сухому-то. У ей самая трезвость сейчас. Это та хитрюга с толку сбивает. Вишь ведь пальцем-то водит. Наверно, траву подговаривает продать.

— Какую? — Алька живо обернулась к тетке. — Это в огороде-то котора? Надо бы маме сказать. Сейчас за винище-то она дешево отдаст.

— Ладно, давай — чего старуху обижать. Не сейчас надо торговать.

— Тетка, — сказала немного погодя Алька, — я позову их?

— Да зачем? Мало они сюда бродят?

— Да ведь забавно! Со смеху помрешь, когда они начнут высказываться.

Анисья не сразу дала согласие. Не для них, не для этих гостей готовилась она сегодня — в душе она все еще надеялась, что невестка одумается — придет, а с другой стороны, как отказать и Алке? Пристала, обвила руками шею — лед крещенский растопит.

Первой впорхнула в избу Маня Большая — легкая, в пиджачонке с чужого плеча, в мятых матерчатых штанах в белую полоску, женского — только платок белый на голове да платье поверх штанов, а Маня Маленькая в это время еще бухала своими сапожищами по крутой лестнице в сенях. В дверях согнулась пополам. Затем, перешагнув за порог, начала отвешивать поклоны в красный угол.

— Давай, не в монастырь пришла, — съязвила Маня Большая, намекая на давнишнее прошлое своей товарки, когда та стирала на монахов.

— А что? — пробасила Маня Маленькая. — И не в сарай.

— Дура слепая! В углу-то у ей Ленин.

Алька захохотала.

— Ничего, — все так же невозмутимо ответила Маня Маленькая. — Власти от бога.

— Верно, верно, Егоровна, — сказала из-за занавески Анисья. — Пензию-то вам не бог платит. Проходите к столу.

— А стол-то у тебя не шатается, Ониса? Нет? — спросила с намеком Маня Большая.

— У тебя в глазах шатается, — усмехнулась Алька.

Тут с улицы донеслось чиханье и фырганье мотоцикла, и она быстро вскочила на табуретку у окна. При этом шелковое, в красную полоску платье сильно натянулось сзади, и белая ядреная нога открылась поверх чулка.

— Алька, — любопытствовала Маня Большая, — какое у тебя там приспособлень? Под самый зад чулок заправляешь.

— Пояс. Неуж не видала? — Алька удивленно выгнула круглую бровь — бровями она была в тетку, — спрыгнула с табуретки, приподняла подол платья.

— Ловко! — одобрительно цокнула языком Маня Большая.

— Како тако поесье под платьем? — Маня Маленькая, близоруко щуря и без того узкие монгольские глаза, вытянула шею. — Нуто те — трусики.

— Трусики! Пень бестолковый! Вот где у меня трусики-то. Смотри! — И Алька со смехом оттянула тугой розовый пояс.

— Тоже кабыть шелковые, — пробурчала Маня Маленькая.

— Я вся шелковая, — хвастливо объявила Алька и, придерживая руками подол платья, игриво повернулась на высоких каблуках.

— Алька, Алька, бесстыдница! — крикнула из-за занавески Анисья. — Разве так баско?

— А чего не баско-то? Не съедим.

— Нельзя так. Она еще ученица, — сказала Анисья и строго посмотрела на Маню Большую.

— Ученица! Нынешняя ученица — знаем: рукой по парте водит, а ногой парня ищет. Алька! Кого я вчерась видала — огороду с солдатом подпирает?

Алька нахмурилась:

— Ври, вралья! Буду я с солдатом. Я с солдатом-то и близко никогда не стаивала.

— Ну, тогда с золотыми полосками. Так?

Против этого Алька возражать не стала.

— Вишь ведь, вишь ведь, — опять зацокала языком Маня Большая, — кровь-та в ей ходит! А колобашки-то! Колом не прошибешь!

— Хватит, хватит, Архиповна. Я отродясь таких речей не люблю.

— И я не люблю, — подала свой голос Маня Маленькая. — У ей все срам на языке. Я тоже девушка.

Тут Алька от смеха повалилась грудью на стол. А у Мани Большой так и запылал левый глаз зеленым угарным огнем — верная примета, что где-то уже подзаправилась. И поэтому Анисья, не дожидаясь самовара, вынесла закуску — звено докрасна зажаренной трески, поставила на стол четвертинку — поскорее бы только выпроводить такую гостью.

— Пейте, кушайте, гости дорогие.

— Тетка сегодня именинница, — сказала Алька, вытирая слезы.

— Разве? — У Мани Большой от удивления оттянулась нижняя губа. — А чего это брата с невесткой нету?

— Не могут, — ответила Анисья. — Прокопьевна на пекарне ухлопалась — ни ногой, ни рукой пошевелить не может. А сам известно какой — к кровати прирос.

Маня Большая ухмыльнулась.

— Матреха, — закричала она на ухо своей глуховатой подружке, — мы кого сейчас видели?

— Где?

— У Прошичей на задворках.

— О-о! Нуто те — Павел Захарович с женой. В гости направились. У Павла сапоги сверкают — при мне о третьем годе покупал. И сама на каблучках, по-городскому... Богатые...

Больше полугода готовилась Анисья к этому празднику. Все, какие деньги заводились за это время, складывала под замок. Сама, можно сказать, на одном чаю сидела. А стол справила — пальцев не хватает на руках, чтобы все перемены сосчитать.

Три рыбы: щука свежая, речная, хариусы — по фунту каждый; сем-

га; три каши; три киселя; да мясо жирное, да мясо постное — нельзя Павлу жирного есть; да консервы тройные...

И вот сердце загорелось — все выставила. Натe, жрите! Пускай самые распоследние гости стравят, раз свои побрезговали. Правда, звено красной — три дня мытарила за него на огороде у Игнашки Денежки — она сперва не вынесла. А потом, когда опоясала с горя второй стакан, и семгу бросила на поправу...

Не стесняясь чужих людей, она безутешно плакала, как малый ребенок, потом вскакивала, начинала лихо отплясывать под разнобойное прихлопыванье рук, потом опять хваталась за вино и еще пуще рыдала...

Маня Большая, как кавалер, лапала раскрасневшуюся Альку. Та со смехом отпихивала ее от себя, била по рукам и под конец пересела к Мане Маленькой, которая низким, утробным голосом выводила свою любимую «Как в саду при долине...».

Вдруг Анисье показалось — в руках у Альки рюмка.

— Алька, Алька, не смей!

— Тетка, мы траву спрыскиваем. Я траву у Мани Маленькой торгую.

— Траву? — удивилась Анисья. И махнула рукой: а, лешак с вами! Мне-то что.

— Да я не обманываю, Онисья,— с обидой в голосе заговорила Маня Маленькая.— Когда я обманывала? У меня трава-то чистый шелк.

Алька начала трясти ее пудовую руку. К ним потянулась Маня Большая.

— Ну-ко, я колону. Может, и мне маленько отколется. Отколется, Матреха?

— Куда от тебя денешься? Выманишь...

Маня Большая, довольная, подмигивая, закурила, а Маня Маленькая опять зарокотала:

— Травка-то у меня хорошая, девка. Надо бы до осени подождать. В травке-то у меня котанушки любят гулять...

— Да твоим котанушкам по выкошенному-то огороду еще лучше гулять,— сказала Алька.

— Нет, не лучше. Травка-та им надо. Они из травки-то птичек выглядывают...

Маня Маленькая тяжело покачала головой и, обливаясь горячими слезами, затрубила на всю избу:

На мою на могилку,  
Знать, никто не придет.  
Только раннею весною  
Соловей пропоет...

Ее стала утешать Маня Большая:

— Давай дак не стони. Расстоналась... Вон к Ониске и брат родной не зашел... В рожденье...

— Не трожь моего брата! — Тут к Анисье сразу вернулась трезвость. Она изо всей силы стукнула кулаком по столу, так, что посуда зазвенела.— Знаю тебя. Хочешь клин меж нас вбить. Не бывать этому!

— Алевтинка! Чего это она? Какая вожжа под хвост попала?

— А ну вас! — рассердилась Алька.— Натрескались. Одна белугой воет, другая чашки бьет.

Окончательно пришла в себя Анисья несколько позже, когда в избу вломилась празднично разодетые девки в сопровождении трех военных.

Тот, у которого на плечах были золотые полоски, быстрыми блестящими глазами обежал избу, воскликнул, подмигивая Мане Большой (за хозяйку принял):

— Гуляем, тетушки?

— Маленько, товарищ... Старухи-пенсионерки...— Маня Большая икнула для солидности.— Советская власть... Крепи оборону... Правильно говорю, товарищ?

— Уполне,— в тон ей ответил офицер, затем стал со всеми здороваться за руку.

— По-нашему, товарищ,— одобрила его Маня Большая и, повернувшись к Анисье, круто распорядилась: — А ты чего глаза вылупила? Не знаешь, как гостей принимают?

## 5

Место им досталось неважное — с краю, у комода, и не на стульях с мягкой спиночкой, а на доске — скрипучей полатнице, положенной на две табуретки.

Но Пелагея и этим местом была довольна. Это раньше, лет десять — двенадцать назад, она бы сказала: нет, нет, Петр Иванович! Не задвигай меня на задворки. На задворках-то я и дома у себя насажусь. А я хочу к оконышку поближе, к свету, чтобы ручьем в оба уха умные речи текли. Да, лет десять — двенадцать назад и напоминать бы не пришлось хозяину — сам стал бы спрашивать. А она бы еще так и покуражилась маленько.

Но ведь то десять — двенадцать лет назад! Павел тогда бригадир, самой ей в рот каждый смотрит — не перепадет ли буханка лишняя. А теперь незачем смотреть, теперь в магазинах хлеб не выводится. А ведь какова цена хлебу — такова и пекарихе. На что же тут обижаться? Спасибо и на том, что вспомнил их Петр Иванович.

Когда от Петра Ивановича прибежал мальчик с записочкой, они с Павлом уже ложились спать. Но записочка («Ждем дорогих гостей») сразу все изменила.

Петр Иванович худых гостей не позовет, не такой он человек, чтобы всякого вином поить. Перво-наперво будут головки: председатель сельсовета да председатель колхоза, потом будет председатель сельпо с бухгалтером, потом начальник лесопункта — этот на особицу, сын Петра Ивановича у него служит.

Потом пойдет народ помельче: пилорама, машина грузовая, Антоха-конюх, но и без них, без шаромыг, шагу не ступишь. Надо, скажем, дом перекрыть — походишь, поклоняешься Аркашке-пилорамщику. А конюха взять. Кажись, теперь, в машинное время, и человека бесполезнее его нету. А нет, шофер шофером, а конюх конюхом. Придет зима да прижмет с дровами, с сеном — не Антохой, Антоном Павловичем назовешь.

Антониду с Сергеем, детей Петра Ивановича, они за столом уже не застали: люди молодые — чего им томиться в праздник в духоте?

Хозяйка, Марья Епимаховна, потащила было Пелагею на усадьбу — летнюю кухню показывать, — да она замотала головой: потом, потом, Марья Епимаховна. Ты дай мне сперва на людей-то хороших досыта насмотреться да скатерть-самобранку разглядеть.

Стол ломился от вина и яств. Петр Иванович все рассчитал, все усмотрел. Жена директора школы белого не пьет — пожалуйста шинпанского, Роза Митревна. Лет десять, наверно, а то и больше темная бутылка с серебряным горлышком пылилась в лавке на полке — никто не брал, а вот пригодилась: спотешила себя Роза Митревна, обмочила губочки крашенные...

Петр Иванович всю жизнь был для Пелагеи загадкой. Грамоты большой не имеет, три зимы в школу ходил, должности тоже не выпало — всю жизнь на ревизиях: то колхоз учитывает, то сельпо проверяет,

то орс, а ежели разобраться, так первый человек на деревне. Не обойдешь! И руки мягкие, век топора не держали, а зажмут — не вывернешься.

В сорок седьмом году, когда Пелагея первый год на пекарне работала, задал ей науку Петр Иванович. Пять тысяч без мала насчитал. Пять тысяч! Не пятьсот рублей. И Павел тогда считал-считал, до дыр бумаги вертел — с грамотой мужик, — и бухгалтерша считала-пересчитывала, а Петр Иванович как начнет на счетах откладывать — не хватает пяти тысяч, и все. Наконец Пелагея, не будь дурой, бух ему в ноги: выручи, Петр Иванович! Не виновата. И сама буду век бога за тебя молить, и детям накажу. «Ладно, говорит, Пелагея, выручу. Не виновата ты — точно. Да я, говорит, не для тебя это и сделал. Я, говорит, той, бухгалтерше, урок преподавал. Чтобы хвост по молодости не подымала». И как сказал — так и сделал. Нашлись пять тысяч. Вот какой человек Петр Иванович!

Самым важным, гвоздевым гостем сегодня у Петра Ивановича был Григорий Васильевич, директор школы. Его пуще всех ласкал-потчевал хозяин. И тут голову ломать не приходилось — из-за Антонида. Антониды в школе работать будет — чтобы у нее ни камня, ни палки под ногами не валялось.

А вот зачем Петр Иванович Афоньку-ветеринара отличает, Пелагее было непонятно. Афонька теперь невелика шишка, не партийный секретарь, еще весной сняли, шумно сняли, с прописью в районной газетке, — и когда теперь вновь подымется?

А в общем, Пелагея недолго ломала голову над Афонькой. До Афоньки ли ей, когда кругом столько нужных людей! Это ведь у Саркибрюшины, жены Антохи-конюха (вот с кем теперь приходится сидеть рядом!) никаких забот, а у нее, у Пелагеи, муж больной — обо всем надо самой подумать.

И вот когда председатель сельсовета вылез из-за стола да пошел проветриться — и она вслед за ним. Встала в конец огородца — дьявол с ним, что он, лешак, рядом в нужнике ворочается, зато выйдет — никто не переймет. А перенять-то хотели. Кто-то вроде Антохи-конюха — его, кажись, рубаха белая мелькнула — выбегал на крыльцо. Да, верно, увидел, что его опередили, — убрался.

Ну и удозорила — и о сене напомнила, и об Альке словцо закинула.

С сеном — вот уж не думала — оказалось просто. «Подведем Павла под инвалидность, как на колхозной работе пострадавши. Дадим участок».

А насчет Альки, как и весной, о первом мае, начал крутить:

— Не обещаю, не обещаю, Пелагея. Пушай поробит годик-другой на скотном дворе. Труд — основа...

— Да ведь одна она у меня, Василий Игнатьевич, — взмолилась Пелагея. — Хочется выучить. Отец малограмотный, я, Василий Игнатьевич, как тетера темная...

— Ну, ты-то не тетера.

— Тетера, тетера, Вася (тут можно и не Василий Игнатьевич), голова-то смалу мохом проросла (наговаривай на себя больше: себя роняешь — его подымаешь).

Председатель — кобелина известный — потянул ее к себе. Пелагея легонько, так, чтобы не обидеть, оттолкнула его (не дай бог, кто увидит), шлепнула по жирной спине.

— Не тронь мое костье. Упаду — не собрать.

— Эх, Польшка, Польшка... — вздохнул председатель. — Какие у тебя волосы раньше были! Помнишь, как-то на вечерянке я протаскил тебя от

окошка до лавки? Все хотелось попробовать — выдержат ли? Золото — не косу ты носила.

— Давай не пleti, лешак,— нахмурилась Пелагея.— Кого-нибудь другого таскал. Так бы и позволила тебе Полька...

— Тебя! — заупрямился председатель.

— Ну ладно, ладно. Меня,— согласилась Пелагея. Чего пьяному поперек вставать.

И вдруг почувствовала, как слегка отпотели глаза — слез давно нет, слезы у печи выгорели. Были, были у нее волосы. Бывало, из бани выйдешь — не знаешь, как и расчесать: зубья летят у гребня. А в школе учитель все электричество на ее волосах показывал. Нарвет кучу мелких бумажек и давай их гребенкой собирать...

Пелагея, однако, ходу воспоминаниям не дала — не за тем дожидалась этого борова, чтобы вспоминать с ним, какие у нее волосы были. И она снова повернула разговор к делу. Легко с пьяным-то начальством говорить: сердце напоказ.

— Ладно, подумаем,— проворчал сквозь зубы председатель (головой-то, наверно, все еще был на вечерянке).

А потом — как в прошлый раз: «Отдай за моего парня Альку. Без справки возьмем». Да так пристал, что она не рада была, что и разговор завела. Она ему так и эдак: ноне не старое время, Васенька, не нам молодое дело решать. Да и Алька какая еще невеста — за партиой сидит...

— Хо, она, может, еще три года будет сидеть.

Альке неважно давалось ученье: в двух классах по два года болталась.

Потом в психи ударился, в бутылку полез:

— А-а, тебе мой парень не гленется?

— Гленется, гленется, Василий Игнатьевич.

Тут уж Васей да Васенькой, когда человек в кураж вошел, называть не к чему. А сама подумала: с чего же твой губан будет гленуться? Ведь ты и сам не ягодка. Тоже губан. Помню, не забыла, как до моей косы на вечерянках добирался.

На ее счастье, в это время на крыльце показался Петр Иванович (хозяин — за всеми надо углядеть), и она, подхватив председателя, повела его в комнаты.

Так под ручку с советской властью и заявила — пускай все видят. Рано ее еще на задворки задвигать. И Петр Иванович тоже пускай посмотрит да подумает — умный человек!

А в комнатах в это время все сгрудились у раскрытых окошек — молодежь шла мимо.

— Пелагея, Пелагея! Алька-то у тебя...

— Апельсин! — звонко щелкнул пальцами Афонька-ветеринар.

— Вот как, вот как она вцепилась в офицера! Разбирается, ха-ха! Небось не в солдата...

— Мне как директору такие разговоры об ученице...

— Да брось ты, Григорий Васильевич, насчет этой моральности...

— Гулять с ученицей неморально,— громко отчеканил Афонька,— но которая ежели выше средней упитанности...

Тут, конечно, все заржали — весело, когда по чужим прокатываются,— а Пелагея не знала, куда и глаза девать. Сука девка! Смалу к ней мужики льнут, а что будет, когда в года войдет?

Петр Иванович, спасибо, сбил мужиков с жеребятины, Петр Иванович налил стопки, возгласил:

— Давайте, дорогие гости, за наших детей.

— Пра-виль-но-о! Для них живем.

— От-ста-вить!

Афонька-ветеринар. Чего еще цыган черный надумал? Вот всегда так: люди только настроятся на хороший лад, а он глазищи черные выворотит — обязательно поперек.

— Отставить! — опять заорал Афонька и встал. — За нашу советскую молодежь!

— Пра-виль-но!

— За молодежь, Афанасий Платонович.

— От-ста-вить! Разговорчики!

Да, вот так. Встанет дьявол поджарый и начнет сквозь зубы команды подавать, как будто он не с людьми хорошими разговаривает, а у себя на ветеринарном участке лошадей обьезжает.

— За всемирный форум молодежи! За молодость нашей планеты!

Вот и сказал! Начали было за детей, а теперь неизвестно и за что.

— Пить — всем! — опять скомандовал Афонька. Черной головней мотнул, как ворон крылом. Глазами не посмотрел — прошагал по столу и вдруг усталился на Павла — Павел один не поднял рюмку.

— Афанасий Платонович, — заступилась за мужа Пелагея, — ему довольно, у него сердце большое.

— Я на-ста-иваю!

Подбежал Петр Иванович: не тяни, соглашайся. А тот ирод как с трибуны:

— Я прыцыпально!

— Да выпей ты маленько-то, — толкнула под локоть мужа Пелагея и тихо, на ухо добавила: — Ведь он не отстанет, смола. Разве не знаешь? Да выпей, кому говорят! — уже рассердилась она (Афонька стоит, Петр Иванович в наклон). — Сколько тебя еще упрашивать? Люди ждут.

Павел трясушейся рукой взял за рюмку.

— Ура! — гаркнул Афонька.

— Ур-рра-а! — заревели все.

Потом был еще «посошок» — какой же хозяин отпустит гостей без посошка в дорогу, — потом была чарка «мира и дружбы» — под порогом хозяин обносил желающих, — и только после этого выбрались на волю.

На крыльце кого-то потянуло было на песню, но Афонька-ветеринар (вот где пригодилась его команда) живо привел буяна в чувство:

— Звук! Пей-гуляй — не рабочее время. А тихо, тихо у меня!

Следующий заход был к председателю лесхимартели, человеку для Пелагеи, прямо сказать, бесполезному. По крайности за все эти годы, что она пекарем, ей ни разу не доводилось иметь с ним дела, хотя, с другой стороны, кто знает, как повернет жизнь. Сегодня он тебе ни к чему, а завтра, может, он-то и встанет на твоей дороге.

В общем, не мешало бы и к председателю лесхимартели сходить. Но что поделаешь — Павел совсем раскис к этому времени, и она, взяв его под руку, повела домой.

## 6

— Летнюю-то кухню видел у Петра Ивановича? Сама говорит: рай. Все лето жары в доме не будет.

Павел ничего не ответил.

Пелагея рассказала мужу о своем разговоре с председателем сельсовета насчет сена и справки. При этом она не очень-то огорчалась, что председатель опять крутил насчет справки. Альке учиться еще год — в восьмой класс осенью пойдет, — и за это время можно найти ходы. Есть у нее кое-какая зацепка и в районе. Хоть тот же Иван Федотович из райисполкома. После войны сколько раз она выручала его хлебом — неужто ее добро не вспомнит?

Пелагею сейчас занимало другое — та загадка, которую задал ей Петр Иванович. Три года их в забытьи держал, а сегодня позвал — с чего бы это?

Сама она ему не нужна, рассуждала Пелагея, это ясно. Кончилось ее времечко — кто же нынче станет пекариху обхаживать? Давно люди набили хлебом брюхо. Может, на Альку виды имеет?

Слыхала она, что Сергей Петрович на Альку глаза пялит, и намекни ей Петр Иванович: так и так, мол, Пелагея, рановато мы с тобой компанию оборвали, кто знает, еще как жизнь-то распорядится,— да разве бы она не поняла?

Не намекнул.

Она думала: при прощанье шепнет. И при прощанье не шепнул. «Благодарю за уважение. Благодарю». И все. Иди, ломай себе голову.

Непонятым, подозрительным теперь казалось Пелагее и то, что позвали их к Петру Ивановичу второпях, когда все гости уже были в сборе. Неужто это не от самого Петра Ивановича шло, а от кого-нибудь другого?

От Васьки Губана? (Так по-уличному, сама с собою, называла она председателя сельсовета.)

Может, может так быть, решила Пелагея. Парень у Губана жених. Постоянно возле их дома мотается. Да нет, Васенька, больно жирно. По зубам кусок выбирай. Топором-то нынче жизнь не завоеешь, а что еще твой сын умеет? Смех! В город ездил, два года учился, а приехал все с тем же топором. На плотника выучился.

Павлу вечерняя свежесть не помогла. Он, как куль, висел у нее на руке.

Она сняла с него шляпу, сняла галстук.

— Потерпи маленько. Скоро уж. У меня у самой ноги огнем горят.

Да, чистое наказание эти туфли на высококом каблуке. Кто их только и выдумал! В третьем годе они справили всю эту справу — и шляпу, и галстук, и туфли с высокими каблуками. Думали: с культурными да образованными людьми компанию водят, надо и самим тянуться. А и зря: за три года первый раз в гости вышли.

У Аграфениной избы остановились — Павел совсем огрузнел,— и тут, как назло, Анисья. Выперла на них прямо из-за угла, да не одна — с беспутными Манями.

Павел только увидел дорогую сестрицу, закачался, как подрубленное дерево. А она, Пелагея, тоже поначалу ни туда, ни сюда, будто ум отшибло.

И еще одну глупость сделала — клюнула на удочку Мани Большой.

Та — шаромыжина известная:

— Что, Прокопьевна, вольным воздухом подышать вышли?

— Вышли, вышли, Марья Архиповна! Сам лежал, лежал на кровати: «Выведи-ко, жена, на чистый воздух»...

А как же иначе? Не у себя дома — на улице: хошь не хошь, а отвечай, коли спрашивают.

Об одном не подумала она в ту минуту — что бревно стоячее тоже иной раз говорит. А Матреха — мало того что бревно, еще и глуха — просто бухнула, а не заговорила:

— Почто врешь? Вы у Петра Ивановича были...

Вот тут и пошло, завертелось. Анисья — шары налила — давай высказываться на всю улицу: вы признавать меня не хотите... вы сестры родной постыдились... ты дом родительский разорила... — это уж прямо по ее, Пелагеинной, части. Каждый раз, когда напьется, про дом вспоминает.

Ну, понятное дело, Пелагея в долгу не осталась. А как же? Тебя по загревку, а ты в ножки кланяться? Нет, получай сполна. И еще с до-весом...

А тут Павлу сделалось худо, его начало рвать. А из окошка выглянула Аграфена Длинные Зубы — дождалась праздничка, есть теперь о что клыки поточить; Толя Воробышек прилетел... В общем, не надо в кино ходить. На всю улицу срамоту развели...

И только одно успокаивало Пелагею — не было поблизости хороших людей. Не было. А раз не было — пыль эта, поднятая у Аграфениной избы, до первого дождя.

## 7

— Ты как золотой волной накрывшись... Искры от тебя летят...

Так плел ей, рассказывал Олеша-рабочком про свою первую встречу с ней, про то, как увидел ее у раскрытого окошка за расчесыванием волос. А сама она из этой встречи только и запомнила что резкую боль в голове (лапу в волосы запустил, дьявол) да нахальные, с жарким раскосом глаза. И уж, конечно, никак не думала, не гадала, что ихние дороги когда-нибудь пересекутся. Какой может быть пересек у простой колхозницы с начальником из заречья? Шел мимо да увидел молодую бабу в окошке — вот и потешил себя, подергал за волосья.

А дороги пересеклись. Недели через полторы-две, под вечер, Пелагея полоскала белье у реки, и вдруг опять этот самый Олеша. Неизвестно даже, откуда взялся. Как из-под земли вырос. Стоит, смотрит на нее сбоку да скалит зубы.

— Чего платок-то не снимешь? Не холодно.

— А ты что — опять к волосам моим подбираешься? Проваливай, проваливай, покамест коромыслом не отватила! Не посмотрию, что начальник.

— Ладно тебе. Убыдет, ежели покажешь.

— А вот и убыдет. Ты небось в кино ходишь, билет покупаешь, а тут бесплатно хочешь?

— А сколько твой билет?

— Иди, иди с богом. Некогда мне с тобой лясы точить.

И в третий раз они встретились. И опять у реки, опять за полосканьем белья. И тут уж она догадалась: подкарауливал ее Олеша.

— Ну, говори, сколько твой билет стоит? — опять завел свою песню.

— Дорого! Денег у тебя не хватит.

— Хватит.

— Не хватит.

— Нет хватит, говорю!

— А вот устрой пекархой за рекой — без денег покажу.

Как уж ей тогда пришло это на ум, она не могла бы объяснить. И еще меньше могла бы подумать, что Олеша эти слова примет всерьез.

А он принял.

— Ладно, устрой. Показывай.

— Нет, ты сперва денежки на бочку, а потом руки к товару протягивай. — И тут Пелагея, к своему немалому удивлению, как бы рассмеялась и эдак шаловливо прискинула платок — дьявол, наверно, толкнул ее в бок.

И Олеша совсем ошалел:

— Ежели дашь мне выспаться на твоих волосах, вот те бог — через неделю сделаю пекархой. Я не шучу.

— А и я не шучу, — ответила Пелагея.

Через неделю она стала пекархой — сдержал свое слово Олеша.

Со скотного двора ее вырвал, все стены вокруг разрушил — вот как закружило человека.

Ну и она сдержала слово — в первый же день на ночь осталась на пекарне. А под утро, выпроваживая Олешу, сказала:

— Ну, теперь забудь про мои волосы. Квиты. И не вздумай меня снимать. Я кусачая...

Сколько лет прошло с тех пор, сколько воды утекло в реке! И где теперь Олеша? Жив ли? Помнит ли еще зареченскую пекариху с золотыми волосами?

А она уже забыла. Забыла сразу же, как только закрыла за ним дверь. Нечего помнить. Не для услады, не для утехи переспала она с чужим мужиком. И если сейчас этот топляк, чуть ли не два десятка лет пролежавший на дне ее памяти, вдруг и вынырнул на поверхность, то только потому, что, распуская на ночь свой хвостик на затылке — вот что осталось от прежнего золота, — она вспомнила про свой давешний разговор с Васькой Губаном.

Павел уже спал, похрапывая. Пелагея, как всегда, поставила кружку с кипяченой водой на табуретку, положила таблетки в стеклянном патроне и наконец-то легла сама. На перину, разостланную возле кровати, — чтобы всегда быть под рукой у больного мужа.

Она привыкла к храпу Павла (он и до болезни храпел), но нынешний храп ей показался каким-то нехорошим, будто душили его, и она, уже борясь со сном, приподняла свою отяжелевшую голову. Чтобы последний раз взглянуть на мужа. Приподняла и — с чего? почему? — опять ее, второй или третий раз сегодня, откинуло к прошлому.

Она подумала: догадался или нет тогда Павел насчет Олеша? Во всяком случае назавтра, утром, когда она пришла домой, он ничем не выдал себя. Ни единого попрека, ни единого вопроса. Только, может, в ту минуту, когда заговорил о бане, немного скосил в сторону глаза.

— У нас баня сегодня, — сказал ей тогда Павел. — Когда пойдешь? Может, в первый жар?

— В первый, — сказала Пелагея.

И в то утро она два березовых веника исхлестала о себя. Жарилась, парилась, чтобы не только грязи на теле — в памяти следа не осталось от той ночи.

Но след остался. И мало того, что она сейчас совсем некстати подумала о том, знал или не знал Павел про ее грех. Это еще пустяк — кому важно теперь то, что было столько лет назад. А как быть, ежели время от времени, глядя на свою дочь, ты начинаешь думать об Олеше, по-матерински высчитывать сроки?

Не спуская глаз с тяжело дышавшего мужа, Пелагея и сейчас была занята этими вычетами. На пекарню она поступила в сентябре, 11 числа. Алька родилась 15 апреля... Восемь месяцев... Нет, с облегчением перевела она дух, восьмимесячные не рождаются, рождаются семи месяцев, да и то еле живые. А про Альку этого не скажешь. Алька, как кочан капуста, выкатилась из нее. Ни одной детской болезнью не болела.

Однако закраиваясь в душу подозрение — не сорняк в огороде, который вырвал с корнем, и делу конец. Подозрение, как мутная вода, все делает нечистым и неясным. И сколько ни доказывала себе Пелагея, что Алька никакого отношения не имеет к Олеше, полной уверенности в этом у нее не было.

Конечно, восьмимесячные не рождаются, да и какая мать не знает, кто отец ее ребенка, но откуда у девки такая шальная кровь? Почему она смалу за гулянкой ionится? Раньше, до нынешнего дня, она не сомневалась: в тетушку Анисью Алька, от нее кипятков в крови, потому и невзлюбила ту, а сейчас и этой уверенности не было.

Пелагея полежала еще сколько-то, повертела подушку под разгоряченной головой и встала. Все равно не заснуть теперь. До тех пор не заснуть, пока не взглянет на Альку.

## 8

Белая ночь была на исходе. Уже утренняя заря разливалась по за-речью. А праздник был еще в полном разгаре. Наяривала гармошка в верхнем конце деревни (неужели все еще у председателя лесхимартели гуляют?), голосили пьяные бабы (эти теперь ни в чем не уступят мужикам)...

Пелагея пошла полев: не дай бог нарваться на пьяного. Заговорит. Домой потащит. А то и лягнет — не теперь сказано: пьяному море по колено. Правда, за себя она не опасалась — даст сдачи. А что делать, когда дочь твою начнут в грязи валять?

Первый раз Пелагея накрыла Альку за шалостью, когда та училась еще в пятом классе. Зимой, в женский день. В тот день как раз случилась у них беда — Манька, корова, заболела. Ветеринара дома нету — в районе. Что делать?

Вспомнили про молодого зоотехника — все больше понимает, чем они сами.

И вот с этим-то молодым зоотехником Пелагея и накрыла свою дочь. Целуются! В хлеву у коровы. В то самое время толковались, покамест мать за пойлом выходила. И добро бы только парень Альку лапал, а то ведь нет. То ведь Алька, как травина, оплела парня. Привстала, на цыпочки приподнялась, чтобы понадежнее к губам припасть, да еще обеими руками за шею ухватила. Вот что поразило тогда Пелагею.

С зоотехником разговор был короток. Зоотехника заслали в самую распродажную дыру в районе — в силе она в ту пору была. А дочь родную куда сошлешь?

Била, говорила по-хорошему — все напрасно. Кого где не видели под углом да за огородой, а Альку обязательно. И если бы сейчас, к примеру, Пелагея натолкнулась на нее с парнем возле бани или амбара, она бы не подняла крик от неожиданности...

У клуба стоном стонала земля — такого многолюдья она давно уже не видела в своей деревне. А со стороны подгорья подходили все новые и новые люди. С лесопункта, из-за реки, из других деревень — моторы, начавшие завывать на реке с полудня, все еще не смолкли, — и были гости из района.

Тихонько и незаметно перебравшись через жердяную огорода, она хотела так же тихонько и незаметно подойти к крыльцу, возле которого танцевала молодежь, да не тут-то было!

— Сватья, сватьюшка! Ух, как хорошо! А я ведь к тебе собралась. Где, говорю, у вас Прокопьевна? Куды вы ее подевали?

Пелагея готова была разорвать свою сватьюшку, сестру жены двоюродного брата из соседней деревни, — так уж не к месту да не ко времени была эта встреча! А заговорила, конечно, по-другому, так, как будто и человека для нее дороже на свете нет, чем эта краснорожая баба с хмельными глазами.

— Здорово, здорово, сватьюшка! — сказала нараспев Пелагея да еще поклонилась: вот мы как свою родню почитаем. — На привете да на памяти спасибо, Анна Матвеевна, а худо, видно, к нам собиралась. Не за горами, не за морями живем. За ночь-то, думаю, всяко можно попасть...

В общем, сказала все то, что положено сказать в этом случае, и да-

же больше, потому что та дура пьяная кинулась обнимать да целовать ее, а потом потащила в круг.

— Посмотри, посмотри на свою дочь! Я посмотрела — глазам легче стало. Вот какая она у тебя красавица!

Так Пелагея и въехала в молодежный круг в обнимку со сватьей-пьяницей. Не закричишь: «Отстань, дура пьяная», когда народ кругом. А через минуту она, хоть бы и по своей доброй воле, сама обнимала сватью. Не думала, не думала, что у нее в таком почете Алька.

Антонида Петровна с высоким образованием, а где? На закрайке. С родным братцем топчется. А другая горожаха, председателя лесхим-артели дочь, тоже ученая, та и вовсе не при деле — на выставке, а попросту сказать, со стороны смотрит.

А ее-то Алька! В самой середке, на самом верховище. Да с кем? А с самим секретарем комсомольским из заречья. Какая еще характеристика требуется? Разве станет партийный человек себя марасть — с худой девкой танцевать?

Но и это не все. Только Савватеев отвел Альку к девкам — офицер подошел. Тот самый, которого они видели давеча из окошек у Петра Ивановича. Молодой, красивый, рослый. Идет-выгибается, как лоза. А уж погоня на плечах горят — за десять шагов жарко.

— Солнышко, солнышко на кругу взошло!

Ну, может, и не солнышко, может, и через крайхватила сватья, а не одна она, Пелагея, засмотрелась. Вся публика стоячая смотрела. И даже молодежь: три раза Алька с офицером круг обошли, только тогда вышло еще две пары.

А Антонида Петровна так и осталась на бобах. Стоит в сторонке да ногти крашенные кусает. И вот как все одно к одному — Петр Иванович подошел. Не усидел в гостях, захотелось и ему на свою дочь посмотреть.

Смотри, смотри, Петр Иванович, на своего ученого воробья (чистый воробей, особенно когда из-за толстых очков глазки кверху поднимет), не все тебе торжествовать. А я буду на свою дочь смотреть.

И Пелагея смотрела. Смотрела, высоко подняв голову. И как-то сами собой отпали все заботы и недавние тревоги. Ее дочь! Ее кровинушка верх берет!

Танец кончился быстро — короткий век у радости, — и Пелагея знаком подозвала к себе Альку: Петр Иванович стоит рядом с дочерью, а ей нельзя?

Алька подбежала скоком — глупа еще, чтобы девичьей поступью, но такая счастливая! Как если бы автомобиль выиграла по лотерейному билету.

А может, и выиграла, подумала Пелагея и незаметно для других скосила глаза на круг: где офицер? Что делает?

Офицер шел к ним. Шел не спеша, вразвалку и слегка обмахивая разогретое лицо белым носовым платком.

— Аля, познакомьте меня с вашей мамой.

Пелагея протянутую руку пожала, а чтобы сказать нужное слово — растерялась. Замолола что-то насчет жары. Жарко, мол, нынче. И работать жарко, и веселиться жарко.

— Ничего, — сказал офицер, — мы свою программу выполним. Верно, Аля?

Алька разудало тряхнула головой: какое, мол, может быть сомнение. Выполним!

Пелагея еще не успела собраться с мыслями: как ей посмотреть на Алькину выходку? не пожурить ли для ее же пользы? — подошла Антонида Петровна.

— Аля, Владислав Сергеевич, не хотите ли чаю? У нас самовар готов...

Пелагее показалось чудным: с каких это пор у Петра Ивановича по ночам самовары стали греть? А потом сообразила: да ведь это Петр Иванович ради своей дочери старается.

— Нет, нет, Антонида Петровна,— быстро ответила за дочь Пелагея.— К нам милости просим. У нас гостя не поена, не кормлена — вот где пригодилась сватьяшка! — Алевтинка, чего стоишь? Приглашай молодежь. Будь хозяйкой.

Все это Пелагея говорила с улыбкой, а у самой земля качалась под ногами: что задумала? На кого руку подняла? И до самой школы не смела оглянуться назад. Шла и затылком чувствовала разгневанный взгляд Петра Ивановича.

## 9

Раньше, до войны, дома в деревне стояли что солдаты в строю — плотно, почти вплитык друг к другу, по одной линии. А чтобы при доме была баня, колодец, огород — этого и в помине не было. Все наособицу: дома домами, колодцы колодцами, бани банями — на задах, у черта на куличках.

Пелагея Амосова первой поломала этот порядок. Она первая завела усадьбу при доме. Баня, погреб, колодец и огород. Все в одном месте, все под рукой. И под огородой. Чтобы ни пеший, ни конный, никакая скотина не могла зайти к ней без спроса.

Позже, вслед за Пелагеей, потянулись и другие, и сейчас редкий дом не огорожен.

Но сколько она вынесла понапраслины! «Кулачиха! Деревню растоптала! Дом родительский разорила!..» Ругали все. Ругали чужие. Ругала Павлова родня. И даже в Москве ругали. Да, да, нашелся один любитель чужих домов из столицы. Пенял, чуть ли не плакал: дескать, какую красу деревянную загубили. Особенно насчет крыльца двускатного разорялся. Что и говорить, крыльцо у старого дома было красивое, это и Пелагея понимала. На точеных столбах. С резьбой. Да ведь зимой с этим красивым крыльцом мука мученская: и воду и дрова надо как в гору таскать. А в метель, в непогодь? Суметы снежные накладет, да так, что и ворота не откроешь.

Владислав Сергеевич, даром что молодой, сразу оценил усадьбу.

— Шикарно, шикарно живем! — сказал он, когда они шумной гурьбой подошли к дому.

Да, есть на что взглянуть. Углы у передка обшиты тесом, покрашены желтой краской, крыша новая, шиферная (больше двухсот рублей стоила), крылечко по-городскому, стеклом заделано — да с таким домком и в городе не последним человеком будешь. А уж привольно-то! Ширь-то кругом!

В сельсовете, когда Пелагея попросила пустырь за старым домом, ее на смех подняли: чудишь, баба. Даже Петр Иванович, при всем своем уме, усами заподергивал — не сумел на пять лет вперед заглянуть. А она заглянула. Разглядела на месте пустыря лужок с душистым сеном под окошками. И теперь кто не завидует ей в деревне!

За рекой всходило солнце, когда она с гостями вошла на усадьбу. И, боже, что тут поделалось! Все засверкало, заиграло вокруг, потом, как в волшебной сказке, все стало алым: и лица, и крыша, и белые занавески в окнах.

Владислав Сергеевич то ли по недомыслию — городской все-таки человек, — то ли ради шутки схватил у крыльца железную лопату и начал загребать сено. Гам, визг поднялся страшный. А тут еще жару под-

бросила сватья. Сватья зачерпнула ковшом воды в кадке у крыльца, подбежала к Владиславу Сергеевичу: водой их, водой! И через минуту-две ни одного человека сухого не было. Все были мокры. И сено было мокро. Его свалили да вытоптали хуже лошадей. Но ничего ей не было сейчас жалко. Душа расходилась — сама смеялась пуще всех.

Смеялась... А в это время совсем рядом, за стеной в избе, без памяти лежал Павел, и смерть ходила вокруг него...

Нет, нет! Она не снимала с себя вины. Виновата. Нельзя было оставлять больного мужа без присмотра. Нельзя ходить по гулянкам да офицеров в гости зазывать, когда муж хворый. Ну, а с другой стороны, спрашивала себя Пелагея потом, много позже, что было бы тогда с Павлом, не окажись в ту минуту рядом Владислава Сергеевича? Алька перепугалась насмерть, у самой у ней ум отшибло, фельдшер пьяный, без задних ног лежит у себя на повети... А Владислав Сергеевич будто только тем всю жизнь и занимался, что помогал таким бедолагам, как они.

— Петренко! Тащи фельдшера к колодцу и до тех пор положи, пока он, сукин сын, в себя не придет. Федоров! Бери машину и на всех парах в район за доктором. Живо!

А кроме того, он и сам не сидел сложа руки, пока не подспела к Павлу медицина. Ворот у рубахи расстегнул, впустил в избу свежий воздух, все окна приказал раскрыть и еще капли Павлу в рот влил — да разве бы она, Пелагея, догадалась до всего этого?

Нет, нет, хоть и судачили, перемывали ей потом бабы косточки за этого офицера, а надо правду говорить: тогда, в то утро, если кто и спас от смерти Павла, так это он, Владислав Сергеевич.

## 10

Нынешняя болезнь Павла поначалу казалась Пелагее погибелью, крахом всей ее жизни.

Немыслимо, невозможно одной управиться и дома и за рекой. Надо прощаться с пекарней. А без пекарни какая жизнь? Залезай, как улитка, в свою скорлупу на задворках да там и захорони себя заживо.

Но слава богу, пекарню она удержала за собой. Выручила Анисья. Она с Алькой встала к печи.

Быстрее пошел на поправку, чем раньше думали, и Павел. Попервости районный доктор, как обухом, оглушил Пелагею: «Паралич. Не видать тебе больше мужа на своих ногах...» А Павел поднялся — на пятнадцатый день в постели сел, а еще через три дня, опираясь на жену, вышел на крыльцо. В общем, устояли на этот раз Амосовы.

Днем и ночью две недели подряд сидела Пелагея возле больного мужа. Да вдобавок еще уйму всяких дел переделала: окучила картошку, лужок у Мани Маленькой выкосила... А корова и поросенок? А обед готовить? А стирка? Это ведь тоже не сердобольные соседушки за нее делали. А вот какой ужас эта пекарня — отдохнула! Как в отпуску побывала. Во всяком случае так ей казалось, когда она после трехнедельного перерыва отправилась за реку.

Все внове было ей в тот день. И то, что она идет на пекарню среди бела дня, порожняком. Идет не спеша, любуясь ясным, погожим днем, и то, что в поле пахнет уже не сеном, а молодым наливающимся хлебом. И внове ей была она сама — такая бодрая и легкая на ногу. Как будто добрый десяток лет сбросила.

Единственное, что время от времени перекрывало ей радость, были сетования Анисьи на Альку. Анисья, возвращаясь с пекарни, чуть ли не

каждый вечер заводила разговор об офицере. Зачастил, мол, в день не один раз заходит на пекарню. Нехорошо.

— Да что тут нехорошего-то? — возражала ей Пелагея. — Он ведь заказчик наш. С нашей пекарни хлеб для своих солдат берет. Почему и не зайти.

— Да не для заказа он ходит. Алька у него на уме.

— Ну уж, тетушка, осудила племянницу. Не осуждай, не осуждай, Онисья Захаровна. Чужие люди осудят. А хоть и пошालят немного, дак на то им и молодые годы дадены. Мы с тобою свое отшалили...

— Все равно не дело это — с сеном огонь рядом, — твердила свое Анисья.

И вот в конце концов Пелагея собралась на пекарню, решила своими глазами посмотреть, из-за чего разорется Анисья.

Река встретила Пелагею ласково, по-матерински. Оводов уже не было — отошла пора. Зато ласточек-береговушек было полно. Низко, над самой водой резвились, посвистывая.

Остановившись на утопанной тропке возле травяного увала, Пелагея с удовольствием наблюдала за их игрой, потом торопливо потрусилась к спуску: у нее появилось какое-то озорное, совсем не по возрасту желание сбросить с ног ботинки и побродить в теплой воде возле берега, подошвами голых ног поласкать песчаный накат у дресвяного мыска.

Однако вскоре она увидела Антонида Петровну, или Тонечку, как Пелагея привыкла называть про себя дочь Петра Ивановича, и к реке сошла своим обычным шагом.

Тонечка загорала. На подстилке. С книжкой в руках.

Подстилка нарядная — большая зеленая шаль с кистями, которую зимой носила мать, — книжка, как огонь, в руках красная. А вот сама Антонида Петровна будто из войны вынырнула. Худенькая, тоненькая и белая-белая, как сметана, — не льнет солнце. Правда, глаза у Тонечки были красивые. Тут уж ничего не скажешь. Ангельские глаза. Чище и нежнее неба. Но сейчас и они были спрятаны под темными очками.

— Что, Антонида Петровна, — спросила Пелагея, — все красу наводишь? Солнышко на себя имашь? Имай, имай. По науке жить надо. Только что уж одна? На картинках-то барышни все с кавалерами загорают...

Ужалила — и пожалела. Обоих детей у Петра Ивановича легко обидеть. И Антонида и Сережу. Бог знает в кого они — беззащитные какие-то, безответные.

Стараясь заглядеть свою вину, Пелагея уже искренно, от всего сердца предложила Тонечке поехать за реку.

— Поедем, поедем, Антонида Петровна! Не пожалеешь. Я чаем тебя напою, не простым, с калачами крупичатыми — знаешь, как в песнях-то старинных поется? А загорать на той стороне еще лучше.

— Нет, нет, спасибо... Мне домой надо... — скороговоркой пролепетала Тонечка.

Пелагея тихонько вздохнула и — что делать — пошла к лодкам.

## II

Все, все было на месте — и сама пекарня с большими раскрытыми окнами, и сосны разлапистые в белых затесах понизу, и колодец с воротом, и старая, местами обвалившаяся изгородь.

А она поднялась по тропинке к этой изгороди да почуяла теплый хлебный дух, какой бывает только возле пекарни, и расплакалась. Да так расплакалась, что шагу ступить не может.

У крыльца солдаты — дрова пилят — остановились: что это, тетка, с тобой? А разве тетка знает, что с ней?

Всю жизнь думала: каторга, жернов каменный на шее — вот что такое эта пекарня. А оказывается, без этой каторги да без этого жернова ей и дышать нечем.

И еще больше удивились солдаты, когда только что в голос рыдавшая тетка вдруг с улыбкой прострочила мимо них и без передышки вбежала на крыльцо.

А в пекарне — тоже небывалое с ней дело — не с чужим человеком, не с офицером сперва поздоровалась, а с печью, с квашней, со своими румянощековыми ребятишками — так Пелагея в добрый час называла только что вынутые из печи хлебы — всё так и обняла глазами.

И только после этого кивнула Владиславу Сергеевичу.

Владислав Сергеевич, всерьез ли, для собственной ли забавы, стоял у печи с деревянной лопатой. В трусах. Босиком. Но это еще ничего, с этим Пелагея могла примириться: городской человек, а сейчас и мужики в деревне запросто без штанов ходят. Но Алька-то, Алька-то бесстыдница! Тоже пуп напоказ выставила.

— Ты ошалела тут, срамница! — вспыхнула Пелагея. — Давай уж и это долой! — Она кивнула на Алькин лифчик и трусики из пестрого ситчика.

— Жарко ведь, — огрызнулась Алька.

— А жарко не жарко, да не забывайся: ты девушка!

Еще больше вознегодовала Пелагея, когда присмотрелась к пекарне. Попервости-то, ошалев от радости, она ничего не заметила: ни трех пригорелых противней, брошенных в угол за ведро с помоями (опять начет от бухгалтерии), ни забусевшей стены возле мучного ларя (сразу видно, что без нее ни разу не протирали), ни обтрепанного веника у дверей (какая польза от такого?).

Но самый-то большой непорядок — хлебы.

Одна, другая, третья... Двенадцать подряд буханок «мореных» и квелых, неизвестно где и печенных — не то в печи, не то на солнышке.

Но эти буханки еще куда ни шло: человек печет — не машина, и как совсем брака избежать? Да ведь и остальной хлеб у нее сиротой смотрит.

Пелагея заглянула в миску, из которой она обычно смазывала верхнюю корочку только что вынутой из печи буханки. Смазывала постным маслом на сахаре — уж на это не скупилась. Тогда буханку любо в руки взять. Смеется да ластится. Сама в рот просится. А эта чем смазывала? Пелагея метнула суровый взгляд в сторону Альки. Простой водой?!

— Да разве ты первый раз на пекарне? — стала она отчитывать дочь. — Не видала, как мать делает?

— Ладно, — отмахнулась Алька, — исть захотят — слопают.

— Да ведь сегодня слопают, завтра слопают, а послезавтра и пекарню взащей!

— Испужали... Нашла чем страшать...

Вот и поговори с ней, с кобылой. На все у ней ответ, на все отговорка.

Нет, хоть и сказано у людей: какова березка, такова и отростка, — а не ейный отросток эта девка. Она, Пелагея, разве посмела бы так ответить своей матери? Да покойница прибила бы ее. А людям, тем и вовсе на глаза не показывайся. Ославят так, что и замуж никто не возьмет. Раньше ведь первым делом не на рожу твою смотрели, а какова у тебя спина да каковы руки.

А у Альки единственная работа, которую она в охотку делает, это вертеться перед зеркалом да красу на себя наводить. Тут ее никакая усталость не берет.

Война у Пелагеи с дочерью из-за работы идет давно, считай с того времени, как Алька к нарядам потянулась, и сейчас, в эту минуту, Пелагея так распалась, что, кажется, не будь рядом чужого человека, лопату бы обломала об нее.

Все же она сорвала свою злость.

Алька нехотя, выламываясь — нарочно так делала, чтобы позлить мать, — стала натягивать на себя платье-халат.

И вот тут-то и подал свой голос до сих пор помалкивавший офицер.

— Мамаша не бывала в городе? — спросил он учтиво. — А там, между прочим, половина населения сейчас лежит у реки в таком же наряде, как Аля. И представьте, никто за это не наказывает.

— Дак ведь то в городе, Владислав Сергеевич, а то у нас... К нам городское житье неприменимо...

Офицер легонько пожал плечами (не мое, мол, дело указывать, не я здесь хозяин), но тоже привел себя в приличный вид — надел брюки.

Алька дулась. Забралась с коленями на табуретку, лицо в раскрытое окно, а матери — зад. Любуясь!

Пелагея быстро замыла забусевшую стену у мучного ларя, прошлась новым мокрым веником по пекарне — сразу пол заблестел, — прибрала на рабочем столе и вдруг подумала, а не зря ли она напустилась на девку. Девка, худо-хорошо, целыми днями работает. В жаре. В духоте. А главное, Пелагее сейчас страшно неловко было перед офицером — он как раз в то время вернулся с улицы. Офицер-то чем провинился перед ней? Тем, что Павла от верной смерти спас? Или, может, тем, что сейчас вот дрова им помогает распилить?

Пелагея живехонько преобразилась.

— Алевтинка, — сказала она ласковым голосом и улыбнулась, — ты хоть чаем-то напоила своего помощника?

— Когда чай-то распивать? Не без дела сижу...

— Да с делом ли, без дела, а помощников-то надо напоить-накормить. Ох, Алька, Алька! Захотела нынешних работников на колодезном пиве удержать... — Пелагея еще приветливее, еще задушевнее улыбнулась, потом разом выложила карты: — Ставь самовар, а я за живой водой сбегаяю.

## 12

Пелагея любила чаевничать на пекарне. Самые это приятные минуты в ее жизни были, когда она, вынув из печи хлебы, садилась за самовар. Не за чайник — за самовар. Чтобы в самое темное время — зимой — солнце на столе было. И чтобы музыка самоварная играла.

Бывали у ней на пекарне и гости. Особенно раньше. Кто только не забегал к ней тогда! Но -- что говорить — такого гостя, по душе да по сердцу, как нынешний, у нее, пожалуй, еще не было.

Красавец. Образованный. И умен как бес — через стену все видит.

Пелагея не покупила — две бутылки белого купила. Думала, пускай и у солдат праздник будет. Заслужили: целую кучу вровень с крыльцом дров наколили. Да потом и то взять: начальнику-то ставь, да и помощников не забывай. Потому как известно — через помощников ведут двери к начальнику.

В общем, сунула стриженным ребятам бутылку. На ходу сунула — никто не видал.

А вот какой у него глаз — увидел.

Только вошла она в пекарню с покупками, а он уж ей пальцем:

— А вот это, мамаша, непорядок! Солдат у меня не спаивать.

Сказал в шутку, с улыбочкой, но так, что запомнишь — в другой раз не сунешься.

Пелагея быстро захмелела. Не от вина — две неполные рюмки за компанию выпила. Захмелела от разговора.

Превыше всех благ на свете ценила она умное слово. Потому что хоть и малограмотная была, а понимала, в какой век живет. Видела, чем, к примеру, всю жизнь берет Петр Иванович.

Но рядом с этим быстроглазым шельмой — так любовно окрестила про себя Пелагея Владика (сам настоял, чтобы по имени звала) — и Петр Иванович не колокол, а пустая бочка. И все-то он знает, все видел, везде бывал, а если уж словом начнет играть — заслушаешься.

К примеру, что такое та же самая «мамаша», которой он постоянно величал ее?

А самое обыкновенное слово, ежели разобраться. Не лучше, не хуже других. Родная дочь так тебя кличет, потому что родная дочь, а чужой человек ежели назовет — по вежливости, от хорошего воспитания. А ведь этот, когда тебя мамашей называет, сердце от радости в груди скачет. Тут тебе и почтение, и уважение, и ласка, и как бы намек. Намек на будущее. Дескать, чего в жизни не бывает, может, и взаправду еще придется называть мамашей.

Неплохо, неплохо бы иметь такого сыночка, думала Пелагея и уж со своей стороны маслила и кадила, как могла.

Но Алька... Что с Алькой? Она-то о чем думает?

Конечно, умных да хитрых речей от нее никто не требовал — это дается с годами, да и то не каждому, — да ведь девушка не только речами берет. А глаз? А губы на что?

Или то же платье взять. Пелагею из себя выводил мятый, линялый халатишко, который натянула на себя Алька. Как можно — в том же самом тряпье, в котором мать возле печи возится! Или, может, нищие они? Платья приличного не найдется?

Она подавала дочери знаки — глазами, пальцами: переоденься, не срамись, а то хоть и вовсе растеляшься. Чего уж париться, раз недавно еще расхаживала в чем мать родила.

Не послушалась. Уперлась, как неук. Просто на дыбы встала. Вот такой характер у девки.

Но и это не все. Самую-то неприкрытую дурость Алька выказала, когда Пелагея стала разговаривать с Владиком о его родителях. Простой разговор. Каждому по силам пряжа. И Пелагее думалось, что и Алька к ним сбоку пристанет. А она что сделала? А она в это самое время начала зевать. Просто подавилась зевотой. А потом и того хуже: вскочила вдруг на ноги, халат долой да, ни слова не сказав, на реку. Разговаривай, беседуй мать с кавалером, а мне некогда. Я купаться полетела.

Пелагея от стыда за дочь глаз не решалась поднять на офицера. Но плохо же она, оказывается, знала нынешнюю молодежь!

Владик — и минуты не прошло — сам вылетел вслед за Алькой. И не дверями вылетел, а окошком — только ноги взвились над подоконником. Про все позабыл. Про мать, про отца...

И Пелагея уже не сердилась на дочь. Разве на кобылку молодую, когда та лягнет тебя, будешь долго сердиться? Ну, поворчишь, ну, шлепнешь даже, а через минуту-другую уже любишься: бежит, ногами перебирает и солнце в боку несет.

И Пелагея сейчас, с тихой улыбкой глядя в раскрытое окно, тоже любовалась дочерью. Красивая у нее дочь. Благословлять, а не ругать надо такую дочь. И если им, Амосовым, думала Пелагея, суждено когда-нибудь по-настоящему выйти в люди, то только через Альку. Через ее красу. Через это золото норовистое, за которым сейчас гнался офицер.

Пелагея за этот месяц помолодела и душой и телом.

Нет, нет, не отросли заново волосы, не налились щеки румянцем, а чувствовала себя так, будто молодость вернулась к ней. Будто сама она влюблена.

Да, обнималась и целовалась с Владиком Алька (как уж не целовалась с таким молодцом, раз для своих, деревенских, рот полым держала), а волновалась-то она, Пелагея. Так волновалась, как не волновалась, когда сама в невестах ходила. Да и какие волнения тогда могли быть? Павел хоть и из хорошей семьи (по старым временам у Амосовых первое житье по деревне считалось), а робок был. Сразу ей отдался в руки.

А этот вихрь, огонь — того и гляди руки обожжешь, и что у него на уме — тоже не прочитаешь. «Мамаша, мамаша...» — на это не скупится, сено помог с пожни вывезти на военной машине, а карты свои не открывает. Ни слова насчет дальнейшей жизни.

Конечно, Альке спешить некуда — другие в это время еще в куклы играют. Да разговоры. Кому это нужно, чтобы на каждом углу трепали девкино имя? А потом — ученье на носу. Не думает же он, что и со школьницей гулять будет?

В общем, думала-думала Пелагея и надумала — созвать у себя молодежный вечер. Уж там-то, на этом вечере, она сумеет выведать, что у него на уме.

Молодежные вечера нынче в деревне были в моде. Их устраивали и по случаю проводов сына в армию, и по случаю окончания детьми средней школы, а то и просто так, без всякого случая.

Всех лучше да памятнее вечера были, конечно, у Петра Ивановича — там уж всякой всячины было вдоволь: и вина, и еды, и музыки.

А Пелагея на этот раз решила и Петра Ивановича переплюнуть.

Слыхано ли где, чтобы не было вина белого на столе и чтобы гости были пьяны? А у нее так будет. Пять бутылок коньяку выставит — деньги немалые, коньяк почти в полтора раза дороже белого вина, да чего жадничать? Две-три буханки лишних скормить борову — вот и покрыта разница, зато будет разговоров у людей.

Постаралась Пелагея и насчет закуски. Рыба белая, студень, мясо — это уж ясно. Без этого по нынешним временам не стол.

А как насчет ягодок, Петр Иванович? Раздобыл бы ты, к примеру, морошки, когда ее еще на цвету убило холодом? А она раздобыла. За сорок верст Маню Маленькую сгоняла, и та принесла небольшой туесок, выпросила для больного у своей напарницы по монастырю — та, бывало, в любое лето должна была собирать морошки для архиерея.

О другой ягоде — малине — Пелагея позаботилась сама. Тоже и на малину неурожай в этом году — по угорам поблизости все выгорело, пришлось ей тащиться на выломки, за Ипатовы гари.

И ох же на какую ягоду она напала! Крупную, сочную, нетронутую — сплошными зарослями, как одеяла красные по ручью развешаны.

Она быстро надоила эмалированное ведро, потом — раззадорила — загнула коробку из бересты, да еще и коробку насобирала.

Домой пришла еле-еле — дорога семь верст, ноша в три погибели гнет и за весь день сухарик в ручье размочила.

— Отец, Онисья! — заговорила она с порога, через силу улыбаясь. — Ругайте меня, дуреху. Ежели сказать, куда ходила, не поверите...

Ее удивило молчание Анисьи, праздно, без дела сидевшей у стола с опущенной головой. Потом она разглядела мужа. Павел лежал с закрытыми глазами, и попервости она подумала: спит. Но он не спал. Ды-

шал тяжело, со всхлипами, лицо потное, и на сердце мокрая тряпица. Неужели опять приступ?

Пелагея быстро поставила ведро и коробку с ягодами на стол.

— Где Алька? Не за фершалом побежала?

Анисья опять ничего не ответила.

— Где, говорю, Алька? Вернулась с пекарни?

— Нету Альки...

— Н-не-ту-у? — У Пелагеи ноги подкосились — едва мимо стула не села.

Так вот кто ей махал с парохода, когда она вышла из лесу к реке! Родная дочь. А она-то по-хорошему подумала тогда: вот, мол, какая девка у чьих-то родителей — чужому, незнакомому человеку машет.

— С тем, пройдохой, уехала? — спросила глухо Пелагея.

— Одна.

— Одна? Одна в город-то уехала? А тот где?

— Тот еще вчера уехал.

— Отец, отец... — истощенным голосом заголосила Пелагея, — чуешь, что дочи-то у нас наделала?

Анисья вывела ее в сени и там окончательно добила: Алька в положении. Так по крайности она сказала тетке и отцу, когда днем, прибежав с пекарни, вдруг начала собираться в город.

## 14

...То не кустышки в поле расстоналися,  
Не кукушица серая на жизнь плачется,  
То у нас в селе вдова народилася...

Так, такими бы словами, запомнившимися с детства, хотелось Пелагее выплакать свое горе. А еще больше ей хотелось бухнуть прямо на колени и принародно покаяться перед мужем: «Прости, прости, Павел Захарович! Это я, я довела тебя до могилы...»

Но она не сделала ни того, ни другого.

Она стояла, пошатываясь, возле красного гроба рядом с рыдающей, распухшей от слез Анисьей и крик держала за зубами. Потому что кто поверит ей? Кого тронет ее плач?

Проводить Павла в последний путь собралась вся близкая и дальняя родня. Свои, деревенские, — это само собой, иначе и быть не может, но, кроме них, приехала из города двоюродная сестра Павла, приехал дядя-пенсционер из лесного поселка, прилетел Павлов племянник, офицер...

Не было возле покойного только его родного детища — Альки.

Павел помер на третий день после бегства дочери из дому, и где было ее искать? В городе? В дороге? А в общем, думала Пелагея, может быть, и лучше, что не торчит возле гроба Алька. Она, Пелагея, чувствует себя преступницей, не смеет глаза поднять на людей, а что сказать об Альке? Не хотела Алька смерти отца — это ясно, а все-таки после ее суматошного отъезда помер, она, единокровная дочь, помогла отцу сойти в могилу. И если теперь, в ее отсутствие, до слуха Пелагеи (она стояла в ногах у покойного) то и дело доходил пересудный шепот сердобольных баб: «Вот какие пошли нынче деточки... Живьем готовы закопать в могилу родителя... Рости их, дрожи над ними...» — то что было бы, если бы тут была Алька!

Хоронили Павла и по-старому и по-новому.

Дома все было по-старому. И власти, надо говорить правду, не мешали. Пока старушонки окуривали гроб ладаном да негромко тянули «Святый боже», власти стояли на улице у крыльца и покуривали. Прав-

да, Афонька-ветеринар влетел было по пьянке в избу, закричал, чтобы сейчас же прекратили издеваться над беспартийным большевиком, но его быстро утихомирили. Сами же власти, Василий Игнатьевич да Петр Иванович, просто вытолкали из избы.

Новый обряд начался на кладбище, когда над раскрытым гробом стали говорить речи:

— Беззаветный труженик... С первого дня колхозной жизни на трудовой вахте... Честный... Пример для всех... Никогда не забудем...

И вот тут-то Пелагея дрогнула. Все выдержала: причитания, осуждающие взгляды, пересудные шепотки — не пошевелилась, не охнула. Стояла у гроба как каменная. Так, как присоветовал Петр Иванович. А начали речи говорить — и земля зашаталась под ногами.

— Беззаветный труженик... С первого дня колхозной жизни... Честный... Пример для всех...

Пелагея слушала-слушала эти слова и вдруг подумала: а ведь это правда, святая все правда. Безотказно, как лошадь, как машина, работал Павел в колхозе. И заболел он тоже на колхозной работе. С молотилки домой на саях привезли. А кто ценил его работу при жизни? Кто сказал ему хоть раз спасибо? Правленье? Она, Пелагея?

Нет, надо правду говорить: она ни во что не ставила работу мужа. Да и как можно было во что-то ставить работу, за которую ничего не платили?

А вот сейчас Павла хвалили. И ей вдруг жалко стало, что Павел не слышит этих похвал.

А еще, глядя на покойника в гробу, на его неподвижное восковое лицо с закрытыми глазами, на его большие, очень бледные руки, скрещенные на груди, она подумала, что это ведь лежит Павел, ее муж, человек, с которым — худо, хорошо — она прожила целую жизнь...

И тогда она заплакала, заревела во все горло. И ей теперь было все равно, что скажут о ней люди, какую грязь кинут в Альку...

## 15

Вот и дождалась она долгожданного отдыха...

Утром вставала поздно, не спеша. Не спеша топила печь, пила чай, затем отправлялась в лес.

Грибы да ягоды были ее страстью смалу. И если кому и завидовала Пелагея все эти годы, работая на пекарне, так это грибницам да ягодницам. А теперь ей незачем было завидовать. Теперь она сама могла по целым дням ходить по лесу.

И она ходила. Ходила по знакомым с детства холмикам и верегийкам, по мызам, по старым расчисткам, отдыхала у ручейка, у речки, всматривалась в их густую осеннюю синеву, слушала крики журавлей, собачий лай...

Но много ли ей одной надо? Три раза сходила за солеными да два раза за обабками, натолкла ушатик ягод, а зачем еще?

Несколько дней у нее ушло на уборку картошки. Картошка уродилась ядреная, крупная — с двух грядок она набила погреб, а за баней оставалась еще грядка, и ей бы радоваться надо да бога благодарить, а она опять спрашивала себя: зачем? К чему ей столько картошки?

Она изнывала, изнемогала, ожидаючи писем от Альки. А та не писала. Уехала — и ни одной весточки. Как в воду канула. И она кляла, ругала дочь самыми последними словами: «Сука! Зверь бездушный! Мало тебе смерти отца, так ты и мать хочешь в могилу свести». А потом ожесточение проходило, и она еще пуще жалела дочь. Где она теперь? Что делает? В чужом городе... Без паспорта...

Однажды Пелагея, решив засолить для Альки ведро рыжиков — ведь должна же она когда-нибудь объявиться, — уплелась далеко, верст за пять от дому, и неожиданно для себя вышла на Сургу, к коровьему стаду.

День был сухой, светлый, солнце грело по-летнему, и вообще весь сентябрь был на редкость красивый, словно сам бог решил вознаградить ее за все те годы, что она провела на пекарне.

Сургу она знала вдоль и поперек — семь лет тут возилась с коровами до того, как стала на пекарню. И у нее и в мыслях не было, чтобы спуститься с лесистого ягодного угора вниз к дояркам. Зачем? Чего она там не видала.

Но тут вдруг затарахтел мотор, коровы, как по команде, потянулись к длинному двускатному навесу из белого шифера, под которым их доили, и она заколебалась: что такое эта электродоилка? Уже два года как установлена в колхозе, а она и не видала.

Скотницы встретили ее шутками:

— Дак вот почему мы без ягод да грибов! Вор повадился в наши леса.

— Нет, не потому, — возразил им пастух Олекса Лапин, который, сидя у огонька, попивал чаек, — а потому что много спите.

— А и верно, что много, — согласились скотницы.

Скотницы смеялись, скалили зубы. И не удивительно: машина доила коров, а они только подмывали вымя да приставляли к соскам резиновые наконечники с длинными шлангами, по которым молоко перекачивалось в морозные алюминиевые бидоны. Вот и вся работа ихняя.

А как они, бывало, работали! Руки выворачивали на этой дойке. А холод-то? А дождь? А какво это каждый день два раза мерять дорогу — от деревни до Сурги и от Сурги до деревни? Грязь страшная, до колена, — и где уж тут присесть на телегу. Хоть бы бидоны-то с молоком лошадь вытащила. А теперь — машина. С брезентовым верхом. И как тут не смеяться да не точить лясы!

Все, все было сейчас иным, чем раньше, в ее время. Даже коровы и те стали какими-то другими. Бывало, как на живодерню, тащишь буренку на дойку. Глотку сорвешь, пока подоишь. А сейчас она сама рвется к доильне, потому что там ее соль-лизунец да концентрат ждут...

— От Али новостей нету?

Если бы Лида Вахромеева не заговорила сама, Пелагея так бы и не признала ее. Красавица! Румянец во всю щеку. Да разве это та сопливая девчоночка, которая в прошлом году хотела нарушить себя?

Лиде Вахромеевой грамота, как и Альке, давалась туго, в седьмом классе была оставлена на осенние экзамены, и вот отец — чистый кипяток! — распорядился: «В скотницы! Раз человеческой грамоты не понимаешь, коровью учи!»

Лида плакала, умоляла отца, мать валялась в ногах у самого, из города дядю военного призывали — только бы не в навоз, не к коровам. А сейчас — посмотреть на Лиду — и человека счастливее ее нету. Смеется. Во весь рот смеется. От души. А уж одета — картина! Одни сапожки на ногах пятьдесят рублей стоят. Вот какие нынче деньжища огребают скотницы.

И тут Пелагея с тоской подумала об Альке. О том, что и Алька могла бы работать дояркой. А почему бы нет? Чем это не работа?

Всю жизнь, от века в век, и мать ее, и бабка, и сама она, Пелагея, возились с навозом, с коровами, а тут вдруг решили, что для нынешних деточек это нехорошо, грязно. Да почему? Почему грязно, когда на этой грязи вся жизнь стоит?

В этот день Пелагея много плакала. Плакала в лесу, когда рассталась с доярками, плакала по дороге домой. И особенно много плакала дома, когда вошла в пустую избу.

## 16

Болезнь подкралась к Пелагее незаметно, вместе с осенними дождями и сыростью, и она была для Пелагеи мукой. Не умела Пелагея болеть. Она была в мать. Та ведь за три дня до смерти попросила у нее работы: «Дай ты мне чего-нибудь поделать. Я ведь жить хочу».

Пелагея не думала, понятно, о работе на пекарне — где уж ей теперь тащить такой воз? — но об одной работе она думала всерьез. На другой день после встречи со скотницами на Сурге, утром, когда она еще лежала в постели, ей вдруг пришло в голову, а почему бы ей самой не стать снова дояркой. Работа на вольном воздухе, машина в помощниках, мотаться пешедралом не надо — да неужели не справится?

Три дня она жила этой мыслью. Три дня она, что бы ни делала, куда бы ни шла, только и думала о том, какой переполох в деревне вызовет ее возвращение в колхоз.

— Слыхали, что Пелагея-то выкинула?

— Ну и ну!

— Она может. Железная!

А на четвертый проснулась утром и — куда девалось хваленое железо? — не пошевелить ни рукой, ни ногой. И нет дыхания — сперло в груди.

К полудню она все-таки расходилась и даже погреб принялась утеплять, но с этого дня силы ее начали убывать.

Она сопротивлялась болезни, целыми днями делала что-нибудь возле дома — то прибирала дрова, то убирала и жгла мусор, то конопатила чулан — всегда зимой один угол промерзает — и часто-часто выходила на горочки — на угор, откуда хорошо видно пекарню.

Если была сухая погода, она садилась к черемуховому кусту, у которого раньше поджидал ее больной Павел, и подолгу глядела за реку.

О многом думалось тут, в душистом затишьи, многое вспоминалось — и хорошее и плохое, — но чаще всего Пелагея возвращалась к первым дням работы на пекарне, к той безрассудной, прямо-таки бесшабашной смелости, с которой она бросилась в бой за новую жизнь.

Нет, не в том она видела смелость, что переспала с чужим мужиком. Припрет нужда да голод — с самим дьяволом переспить. А уж они с Павлом хватили нужды да голода после войны. В сорок шестом году на глазах у них зачах их первенец, их единственный сын. Зачах оттого, что у матери начисто пересохли груди. И разве могла она допустить, чтобы и второго ребенка у них постигла та же судьба?

Смелость свою она видела в другом. В том, что не побоялась пойти против всех. Против председателя колхоза, который рвал и метал, что у него выхватили лучшую доярку, против колхозников («Это за какие-то заслуги такие корма Палаге?»), против Дуньки-пекарихи и ее родни.

И вот одолела. Всех положила на лопатки. Одна. За один месяц. А чем? Какой силой-хитростью? Хлебом. Теми самыми хлебными буханками, которые выпекала на пекарне. Их, свое хлебное воинство, бросила на завоевание людей. И они завоевали. Никто не мог устоять против ее хлеба — легкого, душистого, вкусного и сытного.

## 17

В октябре Пелагею дважды навещала фельдшерица и дважды уговаривала ехать в районную больницу. Но Пелагея в ответ только качала головой. Зачем она поедет туда? Чем помогут ей районные врачи? Да разве и сама она не знает, что у нее за болезнь?

Сколько раз за эти годы перекладывали печь на пекарне! А уж об отдельных кирпичих и говорить нечего — их меняли каждый год. Не выдерживали жары, лопались...

Так ведь то кирпичи — из глины, камень, можно сказать. А что же говорить о человеке? О ней, о бабе, которая за эти восемнадцать лет и одного дня не отдыхала? Вот и развалилась, распалась сейчас, вот и не может по целым дням оторваться от постели...

К Пелагее редко кто заходил. Маню Большую она выставила сама; с Анисьей, золовкой, рассчиталась сразу же после Павловых похорон: свыше сил было видеть ее, свидетельницу собственного позора; Петр Иванович не заглядывал — это само собой. К чему она ему теперь?

Единственно, кто навещал ее в эти холодные осенние дни — это Лида Вахромеева, Алькина подружка. Та забегала. И воды приносила, и дров, и всякие деревенские новости рассказывала. Но, по правде сказать, Пелагея не особенно зазывала Лиду. Потому что очень уж тоскливо было после ее ухода. Просто белый день сменялся ночью.

Днем Пелагея все помаленьку топталась по избе. Да днем и лежать повеселее. Днем за окошком жизнь. То кто-нибудь проедет на лошади или на тракторе, то соседка пробренчит ведрами, направляясь за водой к колодцу, то, на худой конец, ворона прокаркает — тоже жизнь. А ночью как в могиле. Ночью караул кричи — не докричишься. Только разве Афонька пьяный фарами поиграет на никелированных самоварах, что стоят на комодке.

Афонька, когда переберет, места себе не может найти. Всю ночь, как нечистая сила, разъезжает на мотоцикле. Из улицы в улицу, из заулка в заулок. И ох же как выходила из себя Пелагея, когда Афонькины громы среди ночи раскатывались под ихними окошками! Все, какие ни есть на свете, кары призывала на Афонькину голову. А теперь, в эти длинные осенние ночи, только и радости у нее было, когда на улице появлялся пьяный мотоциклист...

В Октябрьскую Пелагея чувствовала себя не лучше, не хуже, чем накануне. Но встала она в этот день задолго до рассвета. Затопила печь, напекла шанежек, ватрушек, пирожков с мясом и изюмом, закатала рыбник, затем подмыла пол, переменила скатерть на столе, принарядилась сама.

Больше всех праздников любила она Октябрьскую.

Целый день, бывало, с раннего утра звенит радость в ихнем доме. Сперва сборы на демонстрацию Павла да Альки, примерка обнов — это уж обязательно: к каждому празднику обнов! — потом, часов с одиннадцати, когда демонстрация появлялась в ихнем околотке, зайцы-сугревники (так Пелагея про себя называла начальство, которое забегало к ней пропустить рюмочку для тепла): Петр Иванович, председатель сельсовета, колхозный председатель... Да каждый тайком, с оглядом, чтобы разговоров лишних не было. А в избу-то забежали — тоже с потехой. Кто дьячком, кто козой проблеет от порога: «Не согреют ли в этом доме плоть мою промерзшую?»

Весь день просидела Пелагея у окошка, вглядываясь сбоку, из-за занавески, в деревенскую улицу.

Демонстрации в этом году опять не было. Три года назад умерла школьница от гриппа (будто бы ноги во время демонстрации промочила), и с той поры перестали ходить с красными флагами по деревне.

Поглядела-поглядела Пелагея на развеселых мужиков да баб — весь день гужом перли то к Анисье, то от Анисьи, — повздыхала, поплакала и в сумерках, не зажигая огня, прилегла на кровать.

И вот не успела сомкнуть глаз — шаги на крыльце, а потом кольцо брякнуло в воротах.

Она так и привсталала на кровати. Кто вспомнил ее в этот день?

Маня Большая. Ее бесовский глаз запылал в темноте под порогом.

Пелагея и раз и двахватила открытым ртом воздух, а сказать — и слов нету: до того поражена она была нынешним приходом Мани. Ведь это же надо: нарочно придумывать — не придумать такого оскорбления!

Наконец она собралась с духом.

— Не ошиблась адресом? — спросила она не своим, а чужим словом, запавшим ей в голову от кого-то из прежней компании. Потом, подумав, что до Мани такое не дойдет,хватила как обухом по голове: — А может, богатством Христовым пришла похвастаться? Обновами? Как сборы-то ноне?

Христово богатство — это платки, полотенца, одежонка некорыстная, отрезы ситцевые, шерсть овечья и даже кое-какая мелочишка из денег — в общем, все то, что верующие по обету вешают и кладут у «моленных» крестов.

Эти «моленные» кресты стали появляться возле деревень, в лесу, еще в военную пору. Устройства они самого простого. Тесаный и врытый в землю крест — редкость. А чаще всего так: срежут у нетолстой ели или сосны ствол этак метра на два, на три от земли, пролысят, как кряж, предназначенный на дрова, затем набьют поперечную перекладину — жердяной обрубок, бросят зачем-то к комлю несколько камней — и крест, напоминающий какое-то языческое, дохристианское капище, готов.

Местные безбожники, конечно, не дремали — беспощадно вырубали «моленные» кресты. Но разве вырубешь лес?

Маня Большая уже который год кормилась возле этих крестов. Она, как охотник свой путик, регулярно, под каждый праздник, обегала кресты в округе.

Однако напрасно взвинчивала себя Пелагея — не сорвала свою злость на старухе.

Маня Большая не только не бросилась опрометью вон из избы, как это сделал бы каждый на ее месте. Маня Большая даже не поморщилась. Села на прилавок к печи, сарафанишко поверх матерчатых штанов в белую полоску выше колена вздернула, нога на ногу, да еще и закурила.

Вот эта-то Манина наглость и отрезвила Пелагею, а то один бог знает, что и было бы: у нее хорошие-то люди без спроса не журили в доме, так разве позволила бы она какому-то огрызку!

Нет, подумала Пелагея, что-то у ней есть, не с пустыми руками пришла, коли барыней расселась. И этак издалека — на прощуп — спросила:

— Что в мире-то ноне деется? Какими новостями живут люди?

— Да есть кое-чего. Не без того же, — уклончиво ответила Маня.

— Грызут друг друга?

— Пошто грызут? Кто грызет, а кто и радуется.

— Да, да, — вздохнула Пелагея, — верно это, верно. Кто и радуется.

— Давай дак не вздыхай. Ты и сама не без радостей.

— Я? — Пелагея от удивления даже приподнялась.

— Знамо дело.

— Что ты, что ты, плетия... Мужа схоронила, сама не могу...

Маня против этого не возразила.

Значит, об Альке вести, догадалась Пелагея, и так ей вдруг легко стало, будто лето спустилось к ней в избу.

Она быстро встала с постели.

— Вот ведь какое со мной горе! Гостья пришла, а я лежу как бревно. Ты уж прости, прости меня, Марья Архиповна, недотепу,— неожиданно для себя заговорила она своим прежним, полузабытым голосом, тем самым обволакивающим и радушным голосом, против которого никто, даже сам Петр Иванович, не мог устоять.— Все одна да одна, совсем из ума выжила. Нет, нет, Марья Архиповна! Мы сейчас за самоварчик да за рюмочку — праздник сегодня. Да ты кури, кури, Маша, не стесняйся. Я, бывало, когда хозяин в здоровье был, сама покупала папиросы. Да сапожки-то, может, снять, не томи ты свою ножку, я валенки теплые с печи достану...

Новость, которую поведала Маня (конечно, после того, как опрокинула три рюмки,— Пелагея сразу поняла, что насухо из старухи ничего не вырвешь), превзошла все ее ожидания: Альке сельсовет выслал справку на паспорт.

— Да ты не врешь, Маша? Не перепутала чего? — переспросила Пелагея и — не могла удержаться — всплакнула: ведь из-за этой самой справки она жизнь себе укоротила, можно сказать, даже в постель слегла. К Губану ходила, колхозного председателя молила, Петра Ивановича жалобила — все без толку. «Не то время сейчас,— сказал ей Петр Иванович.— Поворот молодежи в сторону деревни даден. Подожди». А как же ждать? Девка в городе и без паспорта — да это хуже, чем в глухом лесу заблудиться.

И вот спала гора с плеч — Алька с паспортом.

— Да когда это было-то? — все еще до конца не веря, опять стала допытываться Пелагея.

— Позавчерась.

— Позавчерась? И у тебя хватило терпенья, Марья Архиповна, утаивать такую весть от матери?

— Мать-та эта еще не знаешь, как и встретит...

— Ну, ну,— живо замахала руками Пелагея,— чего старое вспоминать. На солнце и на то затемнение находит, а наш брат — баба глупая... Говори, говори, Марья Архиповна!

— Да чего говорить-то? Василий Игнатьевич вчера в лавке сказал. «Совсем, говорит, уплыла от нас девка. Военная часть справку требует...»

— Ну и дали справку-то?

— Да как не дашь-то? Говорю, армия требует...

— Армия?..— повторила с раздумьем Пелагея.— Да ведь это он, Владик, хлопчет... Ей-богу, Маша! Господи! — воскликнула Пелагея и прослезилась.— Вместях, значит? Вдвоем? А я-то все времечко убиваюсь, места не могу себе прибрать...

— Мать,— многозначительно заметила Маня.

— Хотела бы, хотела бы я на ихнее счастье посмотреть,— мечтательно разоткровенничалась Пелагея.— Да нет, не ускочишь. Как на привязи сидишь у болезни. А та сука сама не догадается письма написать. Вот ведь какие нынче деточки-то пошли. Мать вынь да положь, когда припрет, а когда у них все хорошо да ладно, они о матери-то и не вспомнят...

Маня, утешая Пелагею, сказала, что письмо придет, никуда не денется и что раньше Альке и писать было не о чем — только мать расстраивать, раз с паспортом нелады. Потом вдруг предложила:

— А терпенья нету — выписывай командировку. В два счета слетаю.

— Ты? В город?

— А чего? Обрисую положение. Все как надо.

Пелагея строго поджала губы — это уж всегда, когда ей надо было на что-то решиться. При этом она быстро прикинула, во что может обойтись ей Манина поездка. Рублей в сорок. Дорого. Чуть ли не месячная зарплата на пекарне. А с другой стороны, подумала она, что деньги? Неужели ее собственный покой ничего не стоит?

— Рублей двадцать пять дам,— сказала осторожно Пелагея.

— За четвертак в город? Шлепай сама! — Маня Большая быстро и деловито начала загибать пальцы: — Билет туда да обратно семнадцать шестьдесят. Так? Пить-исть надо? Фатера да суточные положено? Ну и хоть небольшие северные — на сугрев старухе... — Маня хихикнула.

После недолгих торгов сошлись на тридцати пяти рублях, не считая, конечно, дорожных, которые напечат Пелагея.

## 18

Маня ездила в город девять дней — на целых три дня больше, чем они договаривались, — и Пелагея последние ночи почти не спала. Все передумала. Самые худые мысли допускала об Альке.

А тут еще завернули морозы — где старушонка? Уехала в кирзовых сапогах, налегке — не свалило ли в дороге?

Наконец вернулась Маня.

В избу вошла — ни дать ни взять чучело огородное: фуражка военная со светлым козырьком поверх шали-завязухи, рукавицы — с крупного мужика — по локоть, какая-то шубешка драная шерстью наружу... В общем, как догадалась Пелагея, вешала на себя все, что давали сердобольные люди.

Пелагея вмиг преобразила старуху: на ноги теплые валенки с печи, телогрею собственную дала, тоже заранее нагретую на печи, а затем и стопку белой. Как самой дорогой и желанной гостье.

— Ну как она? — нетерпеливо спросила, когда сели к столу. (Самовар уж кипел — третий день с утра до ночи стоял под парами.)

— Хорошо живет. На большой! — ширнула простуженным носом Маня и для убедительности подняла прокуренный палец. — Фицианкой работает.

— Кем, кем?

— Фицианкой, говорю. С подносом со светлым бегают.

У Пелагеи погасли глаза.

— Ох, Алька, Алька! Нету у нас с тобой счастья. Что уж тут хорошего — с подносом бегать...

— А чего не хорошего-то? Там ведь не у нас — чего хватил, и ладно. Под музыку лопают...

— Под музыку?

— Ну! Поедят, поедят, попляшут, чтобы утряску продуктам в брюхе сделать, да снова за стол...

— Да что она не в том... не в сторани, где мужики выпивают?

Маня коротко кивнула:

— В сторани.

— Ну, а как она из себя-то? Видом-то как? — продолжала допытываться Пелагея.

— А чего видом-то... Работа не пыльная... И деньги лопатой загребают...

— Плети-ко... Кто это там такой щедрый?

— Есть в городах народ. А особенно ежели он выпимши да персд ним задом вертят...

— Задом вертят? И Алька вертит? Да что она, одичала?

— Сторан,— с умственным видом пояснила Маня.— Положено. Чтобы человек, значит, за свои любезные полное удовольствие получил...

— Ну уж это не дело, не дело,— сказала с осуждением Пелагея и, обращаясь не столько к старухе, сколько к себе, спросила: — Да куда Владик-то смотрит? Он-то как позволяет?

И вот тут-то и посыпалось на Пелагею одно за другим: Владика Маня не видала... На фатере у Альки не была... Как живут молодые — не знает...

— Да чего ты и знаешь-то? — возмутилась Пелагея.— Зачем я тебя посылала? Да ты, может, и в городе-то не была?

Нет, в городе, заверила ее Маня, была. И в «сторани» была. А ежели домой ее Алька не приглашала, то как будешь врать?

— Молодые...— по-своему объяснила Алькино негостеприимство Маня.— Не до старухи дело...

Да, не бог весть как много поведала Маня об Альке и ее городском житье-бытье (даже насчет беременности ничего толком не сказала), а вот что значит материнское сердце — успокоилось немного, и Пелагею снова потянуло на жизнь.

Первым делом она все перемыла да перечистила — самовары, ручной медный таз (любила, чтобы все в избе горело), — затем принялась за просушку нарядов.

Нарядов — ситцевых и шелковых отрезков, шалей летних и зимних, платков, платьев, юбок у Пелагеи были сундуки и лукошки, и для нее не было большей радости, чем летом, в солнечный день, все это яркое, цветастое добро развесить по своей усадьбе.

Нынче из-за болезни Павла наряды не «сушили». И вот пришлось это делать сейчас, в самое хмурое время, потому что нельзя откладывать до тепла — запросто может все пропасть.

В сильно натопленной избе было жарко и душно, пахло залежалой материей, красками, а Пелагея блаженствовала. Она вынимала очередной отрез из сундука, шумно развертывала его, пробовала на ощупь, на нюх, на зуб, затем вешала на веревку, натянутую под потолком.

А по вечерам у нее была другая радость — приходила Маня Большая пить чай, и они разговаривали. Обо всем. О том, что делается в большом мире, в районе, в своей деревне. Старуха все знала, везде бывала, а уж если начнет топтать да лягать кого — заслушаешься.

Больше всех от Мани Большой доставалось семье Петра Ивановича, ее она терпеть не могла, потому что, как ни старалась, как ни изворачивалась, не нашла лаза в ихний дом, и Пелагея не останавливала старуху. А чего останавливать? Не все в чести ходить Петру Ивановичу, пускай и ему маленько почешут бока.

Разговор у них обычно начинался так.

— Ну, видала нашу красавицу? — спрашивала Пелагея.

— Каку?

— Каку-каку... Ясно каку — Антонида Петровну...

Тут темное морщинистое лицо Мани передергивалось, как от изжоги: она почему-то особенно яростно невзлюбила тихую и беззлобную Тонечку.

— Нашла красавицу. Ни рожи, ни кожи... Как уклея сухая...

— Нет, нет. Марья Архиповна,— притворно возражала Пелагея.— Не говори так. Неладно. Всем любя Антонида Петровна. Кого хошь спроси...

— Да чего спрашивать-то, когда я сама ощупку сделала! Тут недавно в клуб зашла... Мельтешится с зажигалками...

— С кем, с кем? — переспрашивала Пелагея.

— С зажигалками, говорю, с девочками — ученицами... И сама-то зажигалка. За пазухой-то не больше. Разве что ватки сунет — какой бугорок подыметя...

— Ватки? — удивленно округляла глаза Пелагея. — Вишь ты, мода-то нынче какая. Ватку за пазуху суют... И красиво с ваткой-то?

Маня дальше не выдерживала — вскакивала, начинала плевать, бегать по избе, а уж насчет речей и говорить не приходится: всю грязь выливая на дочь Петра Ивановича.

Впоследствии, когда Пелагея опять отказала Мане Большой, она частенько и с раскаянием вспоминала эти постыдные разговоры со старухой, и ей все казалось, что именно за это злоязычие наказал ее бог. И как наказал? Через кого? А через ту же самую Тонечку.

Однажды в полдень, незадолго до Нового года, когда Пелагея развешивала у себя в комнате крепдешиновые отрезы — к этой материи она была особенно равнодушна, — к ней забежала продавщица Окся.

— По плюшевкам скучала — привезли! — с ходу объявила Окся.

Пелагея не знала, как и благодарить Оксю: у всех замужних женщин были теперь плюшевые жакеты, а она три года не может достать. Прошли те времена, когда продавцы сами на дом приносили ей товары.

На улице было холодно, северило, мела поземка, а она бежала легко, без усталости, так, как бегала в лавку раньше.

Она любила ходить в магазин. Для нее это был праздник. Праздник красок и запахов, от которых она просто пьянела. Ну, а что касается попок с мануфактурой, то она перед ними готова была простаивать часами.

Народу в магазине не было, и Окся сразу, без задержки выбросила плюшевую жакетку. Из-под прилавка. Так что Пелагея без слов поняла, какое одолжение делает ей Окся.

Жакет был в самый раз, может, разве чуть-чуть ширил плечи, да тут капризничать не приходилось, раз такой спрос на этот товар.

— А для Альки-то не возьмешь? — спросила Окся. — А то уж бог с тобой, разорый. Подождут другие.

И Пелагея, недолго раздумывая, взяла и для Альки. В ту, бабью сторону двигается Алька. И жакет пригодится.

— Спасибо, спасибо, Оксенья Ивановна! За мной не пропадет, в долгу не останусь, — поблагодарила прочувствованно Пелагея и, завязав жакеты в большой плат (нельзя подводить человека, который добро тебе сделал), отправилась домой.

И вот на обратном пути против клуба она и столкнулась с Антониной Петровной. Идет, сапожками модными поскрипывает, лицо уткнула в белый пушистый воротник — сто рублей, по словам матери, заплачено — и замечталась, ничего не видит.

Пелагея, как всегда, первая поздоровалась, чем страшно смутила Антониду Петровну, а потом — бес ее толкнул в бок! — не удержалась, развернула плат. Смотри, смотри, Антонида Петровна. Да не заносись больно-то. Еще кое-кто считается с нами.

Жакет Антониде Петровне понравился.

— Симпатичный... — протинькала.

— А вы-то купили? Нет? — поинтересовалась Пелагея.

— Нет... Кажется, нет... — замялась Антонида Петровна и глазки отвела в сторону.

Да ведь она, наверно, зимой-то, когда очки обмерзают, совсем ничего не видит, на ощупь ходит, подумала Пелагея, и ей опять, как тогда летом, у реки, вдруг жалко стало дочь Петра Ивановича.

На Пелагею доброта нахлынула: не подумавши, выхватила из пла-та жакет — красиво, росмахой выиграл черный плюш на белом снегу.

— На, забирай, Антонида Петровна! Я старуха, и без плюшевки проживу. Чего мне надо.

— Нет, нет, спасибо, что вы...

— Да чего спасибо-то! Что ты, Антонида Петровна... Разве я добра не помню? Разве я без сердца? Петр Иванович сколько раз из беды меня выручал... Нет, нет, Антонида Петровна, бери! И слушать не хочу...

Антонида Петровна совсем растерялась. Завертела каблуком, зашмыгала носиком, потом что-то забормотала насчет того, что плюшевки, мол, сейчас не в моде.

— Как не в моде? — удивилась Пелагея. — У нас который год на-расхват...

— То раньше... Вы, пожалуйста, извините меня, Пелагея Прокопьевна, но эти жакеты в магазине висят с лета прошлого года...

Тихо, с запинкой, из мехового воротника пролепетала эти слова Тонечка, а Пелагея пошатнулась от них.

## 19

Плюшевки все-таки у нее взяли — до самого председателя сельпо дошла.

Но это для нее был удар. Удар страшный. И не то ее повергло в изумление, что ее надули. Нет, об этом она не думала, это она приняла как должное — всегда кто-нибудь кого-то надувает. Покоя ей не давало другое — то, что она так легко опростоволосилась, попала в ловушку к этой Оксе. Значит, говорила она себе, ты уж не в ладах с жизнью, выпала из телеги. А как же иначе? Лейтенант приезжий надул, эта стерва надула... Да как тут жить дальше?

Нет, прошли ее денечки, и Петр Иванович, видно, не зря скинул ее со своего воза. Отстала. Вышла из моды. Как те плюшевки, на которые накинута сегодня...

Дома на веревках висели яркие пахучие отрезки крепдешина — ее любимой материи, а в раскрытом лукошке еще отреза два было не разобрано. А она сидела у стола, не раздеваясь, в той самой одежде, в которой ходила в магазин, и — ни-ни — пальцем не пошевелила. И даже не поглядела.

Она думала. Думала об этих злополучных жакетах, которые не могла достать три года, думала об отрезках — и о тех, что висели на веревках, и о тех, которые были в сундуках. Думала о прожитой жизни. Господи! На что ушла ее жизнь?

Жарилась, парилась у раскаленной печи, таскала ведрами из-за реки помой, выкармливала поросят, недосыпала, мужу отдыха не давала — и ради чего? А ради вот этих крепдешинов да ситцев, ради всего того, что нынче тряпками зовется... Да, да, тряпками. Зачем себя обманывать?

Пелагея вдруг зло расплакалась. А кто, кто виноват, что эти тряпки застили ей и жизнь, и мужа, и все на свете? Разве виновата она, что треть жизни своей голодала? В тридцать третьем году у кого померли отец и брат с голодухи? А во время войны? А после войны, когда на ее глазах исчах ее сын, ее первенец? И был один во все эти годы товар, на который можно было достать кусок хлеба, — тряпки. Потому что люди в те года обносились донельзя.

Ну и чему же дивиться, что она, как только стала на пекарню, начала обеими руками загребать мануфактуру? Годами загребала, не могла

остановиться. Потому что думала: не ситец, не шелк в сундуки складывает, а саму жизнь. Сытные дни про запас. Для дочери, для мужа, для себя...

С этого дня Пелагея опять слегла.

## 20

Всю зиму болела Пелагея. Правда, лежкой лежала немного, все по-маленьку топталась, но работать не могла. Да у нее, если говорить откровенно, теперь и сердце к работе не лежало...

От Альки изредка приходили письма. Короткие, неласковые — поклоны да «живу хорошо». А как хорошо? Одна? С Владиком? И сколько ни кричи — не докричишься. Как в глухом лесу.

Как-то зимой, недели две спустя после Нового года, к ней зашел Сережа Петра Ивановича — пьяный, еле на ногах стоит.

Сережа нравился Пелагее — простой, бесхитростный, — и она не ради Петра Ивановича, а ради самого Сережи стала вразумлять его: нехорошо, мол, Сергей Петрович, так за воротник закладывать, рано тебе еще с бутылкой дружить...

— Рано? — вспылил Сережа и задиристо, совсем как заправский пьяница, ударил себя кулаком в грудь. — А ежели у меня настроения нет? А ежели у меня душа со своей орбиты сошла?

— Да чего твоей душе надо? Человек с высоким образованием, у всех на виду, здоровьем, слава богу, не обижен — чего еще пытаться судьбу?

— Не понимаешь ты, Пелагея... Не понимаешь...

Да, Пелагея и в самом деле не понимала, из-за чего мучается человек. И добро бы он один, Сережа, а то ведь нынешняя молодежь только и знает, что на настроение жалуется. А почему? Отчего? Нет, ей, Пелагее, в их годы было не до настроений. Дай бог кусок хлеба добыть. Да с ними тогда и не церемонились. Утром в лес не вышел, а к вечеру тебя уж в суд повели.

— Не в отца ты, Сережа, не в отца, — сказала Пелагея. — Нету у тебя отцовской хватки...

— И слава богу! — петухом вскинул голову Сережа.

А чего же петушиться? Отец-то себя и с малой грамотой вон как в жизни поставил. А если ему бы да такое образование, как у сына!

— Жениться тебе надо, Сережа, — посоветовала Пелагея. — Да жену бери покрепче себя. Без настроений...

— Не буду я, Пелагея, жениться. Вовек! — наотрез заявил Сережа.

— Ну уж это не дело, Сергей Петрович, не дело... Надо жениться. Тогда и с бутылкой скорее расстанешься...

— Не буду! — опять с пылом вскричал Сережа. — У меня сердце разбито... Вдребезги!

— Да кто его разбил?

— Кто? Эх! — Сережа пьяно замотал головой, потом вдруг вскочил на ноги, забегал по избе, и только по тому, как он со вздохом посмотрел на переднюю стену, где рядом с зеркалом висела увеличенная Алькина карточка, Пелагея поняла, кого он имеет в виду.

Она, конечно, не очень верила Сережиным вздохам, мало ли куда занесет человека во хмелю. Но дочери написала: так и так, мол, Алюшка, дорога тебе домой не заказана. Заходил Сергей Петрович, хорошо говорил о тебе...

А Алюшка на это ответила: «Плевать я хотела на твоего Сергея Петровича!» Да еще добавила: «Хватит с меня и того, что ты всю жизнь на Петра Ивановича молишься...»

После этого Пелагея долго не могла успокоиться. Да что же это такое? — говорила она себе. Как жить дальше? Ведь что бы она ни делала, все невпопад, все мимо...

Но не Алькино письмо сокрушило Пелагею. Сокрушила Пелагею пекарня.

## 21

Ее давно тянуло на пекарню. Считай, еще с осени, с той самой поры, как заболела.

Думала: стоит только увидеть ей свою пекарню да подышать хлебным духом — и сразу хворь пройдет, сразу прорежется дыханье. И вообще она в жизни ни о чем и ни о ком так не тосковала, как о пекарне. Даже об Альке, родной дочери.

Первый раз за реку Пелагея отправилась было еще в феврале, когда впервые после долгой метели заледенелые окошки вызолотило красное солнышко. Но дальше спуска возле сельсовета не ушла. Из-за стужи. Из-за снежных заносов. Страхи страшные что намело. У сельсовета, под угором, на чистом месте лошади по брюхо ныряют — так что же говорить о ней, хворой бабе?

И вот дождалась она первой затайки.

Утром встала ни свет ни заря. Чистая, благостная — вечером накануне специально сходила в баню, будто к богомолью готовилась. Из дому вышла с батожком — тоже как богомолка. И люди попадались ей навстречу какие-то благостные, просветленные.

Антоха-конох догнал на санях перед самым спуском к реке — когда бы раньше остановился? А тут натянул вожжи:

— Ты ли это, Прокопьевна? — Да мало того, соскочил с саней, руки к ней протянул: — Ну-ко, поедем вместе. Скользко спускаться. — И так по-хорошему улыбнулся.

Пелагею до слез прошибла Антохина доброта. Она поблагодарила его, но на сани не села.

Всю дорогу какая-то незнакомая, но такая славная музыка нарастала в ее душе — так разве оборвет она ее сама?

И она легким осиновым батожком, который специально раздобыла где-то Маня Большая, шупала отмякшую дорогу, ловила губами теплый южный ветер, порывами налетавший из-за реки, и все ковыляла и ковыляла помаленьку туда, к желтому бревенчатому зданию на угоре среди сосен...

Зато уж домой она шла как пьяная, вся в слезах, не помня себя... И хорошо на реке ей опять повстречалась подвода — на этот раз бригадир из соседней деревни ехал, — а то бы пропадать ей, ни за что бы не добраться до дому...

Огорчения для Пелагеи начались, едва она подошла к пекарне. Помойка. Возле самого крыльца. Две вороны роятся...

Да куда это власти-то смотрят? — возмутилась она. Почему медицина-то спит? Нет, бывало, особенно в голодные годы, каждую неделю к ней фельдшер навдывался. Или сейчас и фельдшера перестали ходить на пекарню, раз сыты?

Она поднялась на крыльцо, открыла наружную дверь — и того чище: поросенок. Бросился ей под ноги с визгом, будто спасаясь от ножа.

Да как же так? — опять с недоумением спросила себя Пелагея. Она, бывало, руки выворачивала, таская домой помой, да с опаской, а тут прямо на виду у всех кормят поросенка. И опять она подивилась недоумотру санинспекции. Навоз, грязь, вонь от поросенка — да как его можно терпеть рядом с хлебом?

Но это еще все были цветочки, а ягодки-то пошли, когда она пересту-

пила порог пекарни. Господи! Куда она попала? В сарай грязный? В старую башню из-под силоса? В хлев? Все немыто, засалено, в окошке веник торчит — вот отчего весны в помещении нету.

Но больше всего Пелагею поразило помело.

Бывало, чтобы хлеб духовитее был, чего только она не делала! Воду брала на пробу из разных колодцев, дрова смоляные избави боже — сажа; муку, само собой, требовала первый сорт, а насчет помела и говорить нечего. Все перепробовала: и сосну, и елку, и вереск. А тут вместо помела рогожина. Черная, обгорелая рогожина, намотанная на длинную палку и погруженная в грязное ведро с водой...

Улька-пекариха стала угощать Пелагею чаем — только что сама села за стол, управившись с печью, а Пелагею едва не стошнило от одного Улькиного вида. Потная, жирная, волосы немытые блестят, будто она век в бане не бывала.

И Пелагея, так и не присев, вышла. А на нечищенный самовар и рукомойник, на печь грязную, ни разу не беленную после ее ухода, она не посмела бросить прощальный взгляд. Потому что все ей казалось, что и самовар, и рукомойник, и печь с тоской и укором смотрят на нее...

## 22

За окном кипела весна.

Всю зиму смотрела Пелагея на мир через копеечный глазок, продутый в обледенелой раме, а теперь половодье света заливало избу. Жить бы, шагать по оттаявшей земле босыми ногами да всей грудью вдыхать теплый ветер из заречья. А она лежала, и дыхание у нее было тяжелое, вздох, с присвистом. Точь-в-точь как у старых дырявых мехов в кузнице.

В доме, как в дни болезни Павла, хозяйничала Анисья. Пришла сама.

Но Пелагея не разговаривала с золовкой и не скрывала, что не любит ее. А за что же ее любить, когда она со всей семьей здоровье собрала? Умер молодым Павел, она, Пелагея, может, при смерти лежит, а этой ничего не дается — всё рожь заревом. Нет, если бы Маня Большая была немного почище на руку, она бы и дня не терпела возле себя этой здоровенной бабищи. Да что поделаешь — Маня стала прицеливаться к хозяйкину добру, когда хозяйка еще на ногах стояла.

Однажды поздно вечером — уже белые ночи на землю пали — к ней зашел Петр Иванович.

Сколько времени прошло с похорон Павла, с того дня, как они последний раз виделись? Года не будет. А Петра Ивановича так укутало, что она сдва и признала его. Осел, лицо запаршивело (кто видал его небритым?), в глазах — глянул — тоска волчиная. Но и это еще не все. Петр Иванович был под хмельком — вот что особенно удивило Пелагею. Слыхано ли, видано ли было такое раньше? Тем-то и силен был Петр Иванович, что власти над собой вину не давал. Выпить, конечно, выпивал, без этого нельзя, раз всю жизнь с начальством, но не качнется — столб железный. А тут от порога шагнул, так и обнесло — кулем шмякнулся на прилавок к печи.

— Зашел проведать. Болешь, говорят.

— Болсю, — ответила Пелагея.

Она попыталась встать: гость пришел, и гость немалый, — но Петр Иванович замахал рукой: лежи, не надо.

Первым словам Петра Ивановича она не придала значения. Петр Иванович, как всегда, заговорил петляво, издали: о колхозных делах, о том, что в колхозе сейчас жить можно, очень даже неплохо зарабаты-

вает наредишко. К примеру, Оська-пастух. Кто когда за человека считал? А ведь в прошлом годе за один сентябрь месяц двести с лишним рублей огреб.

— Да, так вот ноне,— вздохнул Петр Иванович.— А мы с тобой вроде и неглупые люди, а держали когда такие деньги в руках?

Пелагея кивала в ответ головой: все так, все это она и сама не раз передумала за время болезни — большие перемены в жизни,— и нетерпеливо ждала, когда же Петр Иванович заговорит о деле. Ведь не за тем же пришел, чтобы обсудить с ней колхозные дела?

— Не вовремя мы с тобой родились, вот что,— продолжал Петр Иванович.— Поторопились маленько. Вот Алька твоя, та в пору... Письма-то ходят?

У Пелагеи часто-часто забилось сердце: куда это он клонит? Не с Алькой ли что стряслось? Но ответила спокойно, не выдавая своего волнения.

— Ходят,— сказала она.

— А домой-то не собирается? Не нажилась еще в городе? Не знаю, я дак не уважаю городскую жизнь. Угоришь там от этого чада да шума...

— Да ведь угоришь не угоришь,— опять спокойно ответила Пелагея,— а надо жить. Не одна теперь, о двух головах.

Петр Иванович похрустел пальцами — знакомая привычка: всегда так, когда на что-нибудь решается. И вдруг хватил ее дубиной по голове:

— Имею сведенье: не живет она с этим военным... Одна живет...

По правде говоря, для Пелагеи это не было полной неожиданностью. Где-то в душе она и сама догадывалась, что у Алки по семейной части не все ладно. Но одно дело ее собственные догадки и другое — когда дочь твою валяют в грязи чужие люди. И она, несмотря на всю свою слабость, как зверь, кинулась на защиту родного детища.

— А хоть бы и одна, дак что! — с вызовом сказала Пелагея.— Моя дочь не пропадет. Ина березка и с ободранной корой красавица, а ина и во девичестве сухая жердина...

Намек был страшный — самый тупой человек догадался бы, что она хочет сказать. И она вся внутренне похолодела, даже дышать перестала: лежала и ждала, с какой стороны еще раз оглушит ее Петр Иванович.

А Петр Иванович молчал. Долго молчал. Потом Пелагея приподняла голову и совсем растерялась: у Петра Ивановича в глазу блестела слеза.

Заговорил он тоже необычно: Паладьей ее назвал. По-домашнему, по-деревенски, так, как звал ее когда-то покойный отец.

— Паладьа,— сказал каким-то глухим, не своим голосом Петр Иванович.— Я тебя выручал? Не забыла еще?

— Выручал, Петр Иванович... как забыть...

— Ну, а теперь ты меня выручи... Помогии... Ради бога, помогии...

Пелагея едва не задохнулась от удивления. Она еще не знала, о чем ее просят. Но кто просит? Петр Иванович... Ее, Пелагею...

— Парснь у меня погибает...— через силу выдавил из себя Петр Иванович.

— Сережа? Да с чего ему погибать-то? С высоким образованием, в почете...

Петр Иванович безнадежно махнул рукой:

— Змий этот зсленый сосет, вот что...— Потом вдруг шагнул к кровати, дрожащей рукой схватил ее за руку.— Ты бы написала Альке... Чего ей там на чужой шататься сторонс... Может, и получилось бы дело...

Так вот оно что, поняла наконец все Пелагея, Алькой спастись хочет... Чтобы Алька взяла в руки Сережу... Вот зачем пришел...

Темное, мстительное чувство захлестнуло ее. Она искоса глядела на небритый, вздрагивающий подбородок с ямочкой посредине, на жалкие

стариковские глаза, размягченные родительской слезой, и только теперь, только сию минуту поняла, как она ненавидит этого человека. Ненавидит давно, с того самого дня, когда он насчитал на нее пять тысяч рублей.

Господи, она с ума сходила из-за этих пяти тысяч, ночей не спала, чуть ли не в прорубь нырнуть хотела. А он, ирод проклятый, вишь, молодую бухгалтершу проучить решил. Чтобы нос не задирала. А заодно чтобы и хлеб даровой с пекарни получать. Да, да, хлеб! Погрел он руки от нее. Без булки белой за чай не садился. А за что? За какие такие милости? За то, что в компанию свою ввел, с хорошими людьми за один стол посадил? Да пропади она пропадом и компания евоная, и хорошие люди! Вся жизнь она тянулась к этим хорошим людям, мужика своего нарушила и себя не щадила, а чего достигла? Чего добились? Одна... Насквозь больная... Без дочери... В пустом доме...

И ей хотелось крикнуть в лицо Петру Ивановичу: так тебе и надо! На своей шкуре спознай, как другие мучаются...

Но вслух она сказала:

— Ладно, напишу. Может, и послушается...

Пелагея плохо помнила, как ушел от нее Петр Иванович. Ее душил кашель, она задыхалась. И в то же время ей было необычайно хорошо. Хорошо до слез, до знойного жара в груди. И она хватала запекшимися губами избяной воздух и все больше и больше распалая свое воображение надеждами. Теми радужными надеждами, которые заронил в нее Петр Иванович.

Она не сомневалась — придет Алька. Ведь не дура же она круглая. Как не понять, что это счастье. Правда, сам Сереженька, может, и не ахти что, хоть и инженер, да зато отец всем кладам клад. Ах ты господи, говорила мысленно себе Пелагея, в одной упряжке с таким человеком шагать... Да ведь это каких дел можно наворочать!

На какое-то мгновение она потеряла сознание, а потом, когда пришла в себя, ей показалось, что она стоит у раскаленной печи на своей любимой пекарне и жаркое пламя лижет ее желтое, иссохшее лицо.

Она задыхалась. Ей было нестерпимо жарко.

На пол, на пол надо, по старой привычке подумала она. Крашенный пол хорошо вытягивает жар из тела...

Так лежащей на голом полу возле кровати и нашла ее наутро Анисья. Она бросилась поднимать ее. И вдруг отшатнулась, встретившись с неподвижным, остекленевшим взглядом.

\* \* \*

Альки на похоронах не было — с открытием навигации она плавала буфетчицей на одном из видных пассажирских пароходов, ходивших по Северной Двине.

Приехала Алька лишь неделю спустя и первым делом, конечно, оплакала дорогих родителей, справила по ним поминки — небывалые, неслыханные по нашим местам. С участием чуть ли не всей деревни.

Потом два дня у Альки ушло на распродажу отрезов на платья, самовара и прочего добра, нажитого матерью.

А на пятый день Алька заколотила дом на задворках, возложила прощальные венки с яркими бумажными цветами на могилы отца и матери и к вечеру уже тряслась в районном автобусе. Ей не хотелось упустить вселое и выгодное место на пароходе.

1967—1969 гг.



---

---

Н. ЗЛОТНИКОВ

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

\* \* \*

Я шел холодным лесом  
По мокрому шоссе  
С бесцельным интересом,  
Как горожане все.

Недельная усталость  
Еще сильна была,  
И ощущал я жалость  
К деревьям без тепла.

Я слушал птичье пенье.  
Стоял. И шел опять.  
И головокруженье  
Не мог никак унять.

Но вот не шум охоты  
Меня к себе привлек —  
Учебный марш пехоты  
Дороги поперек.

Размерно и тяжело  
Шел взвод путем своим,  
И дымовая шашка  
Над ним вздымала дым

Средь тишины и мира  
В такие времена  
Команда командира  
Отчетливо слышна.

Походного порядка  
Был органичен строй,  
Как строй деревьев. Сладко  
Ломался сухостой.

Трещал сухой валежник  
Уж в глубине лесной,  
И белый, как подснежник,  
Дым рос передо мной.

Сверкнули карабины,  
Армейские ремни,  
Сверкнули из-за дыма,  
Как молодости дни,

Когда на батарее  
Среди лесной глуши  
Служил я, и добрее  
Был строй моей души.

Я был частицей леса.  
И шорохи ветвей,  
И скрежеты железа  
Слились в крови моей.

Пусть после залпа вата  
В ушах и в сердце — дрожь..  
Но голос у комбата  
Был молод и хорош.

Средь тишины и мира  
В такие времена  
Команда командира  
Отчетливо слышна.

Средь тишины и мира,  
Средь милой тишины  
От пуль зияют дыры  
В стволах с времен войны.

\* \* \*

Это лучшие, лучшие дни.  
Ты устала от их мельтешенья.  
Что сказать мне тебе в утешенье? —  
Словно поезд, промчатся они.

И растает последний из них  
Огоньком концевого вагона.  
Ты напрасно вздохнешь облегченно:  
— Вот и жизнь в тишине возле книг.

Только гул потрясенной земли,  
Только ветер на виадуке,  
Только горечь недалей разлуки,  
Только мертвый изгиб колени.



---

АЙБЕК



## ИЗ ЛИРИКИ

С узбекского

*Наследие Айбека огромно и разнообразно. Русскому читателю известны главным образом его романы, составившие эпоху в узбекской прозе. Но Айбек — один из самых тонких лириков в узбекской поэзии. В этом качестве его встречи с русским читателем были случайны. Пожалуй, можно вспомнить только классический «Наматак» в превосходном переводе Николая Тихонова. Лирика как бы обрамляет творческий путь Айбека. В этом номере журнала вниманию читателя предлагаются и самые ранние его стихи и стихи, написанные в последние годы жизни.*

ЗУЛЬФИЯ.

\* \*

Ах, ничто не забыто —  
ни боль, ни любовь, ни забота.  
Лишь калитка забита  
да птица в груди не забьется.  
И не слышно шагов,  
и не будет шагов у калитки.  
Только шорох шелков  
в тишине, темнотою налитой.  
Ах, ничто не забыто —  
и все же мы вспомнить не в силах.  
Та калитка забита,  
и память нас кинула, сирых.  
Там, где сердце болело  
под кожей  
горячею раной, —  
заросло, побелело.

Да вот — вспоминать еще рано.

1929.

\* \*

Стих ветер,  
звук шагов негромок;  
в саду становится светлей,  
Луны нечаянный обломок  
плывет, качаясь, меж ветвей.  
Как платья, пали тени с веток.

Все кругло! В мире — ни угла.  
 И ткань медлительного света,  
 как шелк, предметы облекла.  
 И времени исчезли чары,  
 и так мне просто и светло,  
 как будто будет все сначала,  
 что было  
 или быть могло.

1928.

\* \* \*

А вечер снова взнуздан жаждой счастья.  
 В пернатом сумраке летит звезда.  
 И тишина!.. Как будто бы напасти  
 и не гостили в мире никогда.

Как будто в мире беды не бывали.  
 Звезда летит. Поля небес пусты.  
 Летит звезда, и в сумрачном провале  
 ее поймать пытаются кусты.

Так ожиданье сладко и тревожно.  
 Горит звезда. Густеет гишью темь.  
 И черный ствол, как сломанный треножник,  
 дрожит, держась за собственную тень.

Звезда сгорает в сумраке пернатом,  
 и дым листвы дыряв, как решето,  
 и длится миг, и что-то выбрать надо,  
 и страшно выбрать что-нибудь не то.

1928.

\* \* \*

Огонь погас. остался лета жар,  
 но милости последние природы  
 год за долги у лета удержал —  
 и их сочли на пальцах счетоводы.

Повисла неба праздная пола,  
 в пустом саду просторно, словно в зале.  
 «Тепла не жди, такая уж пора», —  
 со вздохом мне садовники сказали.

И вправду: тишь и дымка среди дня.  
 Не слышно птиц, и целый день без дела  
 гонявшая их шумно малышня:  
 ведро в саду на ветке — онемело...

В листве какой-то новый разговор  
и чья-то речь, понятная не очень.  
Прядь рыжая,  
косящий хмурый взор...  
Кто б это был? Да это осень. Осень!

1965.

\* \*  
\* \*

По тайным тропам, от звезды к звезде,  
мечта моя бредет неумоимо,  
и мысль моя скитается везде  
по следу той,  
последней тайны мира.  
И я не верю, что дано уснуть,  
не уловив неведомую суть  
у звездной  
неизведанной границы,  
у той черты, где умирает жуть,  
и свет встает,  
и мужество гранится.

1965.

*Перевел А. Наумов.*



## СТИХИ ПОЭТОВ АФРИКИ

*С французского*

*Мы предлагаем вниманию читателей переводы стихотворений трех современных африканских поэтов.*

*Леопольда Седара Сенгора советские читатели поэзии знают хорошо; в русском переводе его стихи впервые увидели свет в майской книжке «Нового мира» за 1958 год; с тех пор стихотворения и поэмы крупнейшего африканского поэта публиковались в Советском Союзе неоднократно — и в книгах и в периодике. Выдающийся государственный и общественный деятель, президент Республики Сенегал, ученый-филолог, публицист и социолог, Сенгор в поэзии — тонкий лирик. Музыка сенгоровских ноктюрнов и элегий, широкая и мужественная, вобрала в себя звучанье африканских легенд, отголоски древнегреческой метрики (здесь сказались, быть может, юношеские пристрастия Сенгора, чья первая специальность — классическая филология) и художественные открытия французской поэзии нашего века.*

*Малик Фаль — соотечественник Сенгора. Сборник «Барельефы», из которого взяты публикуемые стихи,— первая книга молодого поэта. Она вышла в Париже в 1964 году с предисловием Леопольда Седара Сенгора, который пишет о Малике Фале: «Поэзия в человеческий рост — так хотелось бы определить этот сборник моего соотечественника. Он не пытается быть оригинальным во что бы то ни стало и не боится сделать Человека героем своих песен». Сенгор подчеркивает стремление молодого поэта к интернациональному братству — и приветствует его как поэта сугубо национального, негритянского, сенегальского, всеми своими корнями связанного с родной африканской почвой.*

*Антуан Роже Боламба родился в 1913 году в Бура (Конго, Киншаса). Получил гуманитарное образование и стал журналистом. В настоящее время возглавляет газету «Голос конголезца». Сенгор характеризует его как «негритянского крестьянина, овладевшего формами сюрреализма и создающего свои поэмы, словно гейзеры образов».*

*Сенгор, Фаль и Боламба пишут на французском языке.*

ЛЕОПОЛЬД СЕДАР СЕНГОР

*Из книги «Ноктюрны»*

ДЛЯ КАЛАМА<sup>1</sup>

Не удивляйся, любимая, если напев мой мрачнеет,  
Если сменил я певучий тростник на рюпот калама,  
Если сменил я зеленые запахи рисовых влажных полей  
на галоп боевого тамтама.

<sup>1</sup> К а л а м — четырехструнная гитара, под аккомпанемент которой исполняются одические песни и элегии.

Вслушайся — это угроза клокочет в божественном голосе предков,  
 это гневом вдали канонада гремит.  
 Может быть, завтра навеки умолкнет пурпурный голос поэта.  
 Вот почему так спешат мои ритмы, вот почему мои пальцы  
 над струнами кровоточат.

Может быть, завтра, любимая, я упаду на тревожную землю  
 И глаза твои вспомню с тоской, и туманный тамтам —  
 перестук дальних ступок услышу.  
 А ты в опустившихся сумерках вспомнишь с тоскою  
 пылающий голос, что воспевал твою черную красоту.

### ДЛЯ РИТИ<sup>1</sup>

— О Сестра, эти руки ночные на вёках моих!..  
 — Угадай эту музыку Тайны!

— Знаю, это не топот свирепого Буйвола,  
 не глухая тяжелая лапа толстокожего зверя,  
 И не хохот браслетов на плавных лодыжках прислужниц,  
 И не стук сонных пестиков в утренних ступках,  
 И не ритмы гудящих под невольничьим шагом дорог.

О, балафонг<sup>2</sup> ее ног и молочных птиц щебетанье!  
 О, высокие струны кор<sup>3</sup>, о, нежная музыка бедер!  
 Это мелодия белого верхового Верблюда, это царственный  
 Страуса шаг.

— Ты узнал свою Даму, ты угадал эту музыку —  
 она одаряет прекрасной прозрачностью мои руки и  
 веки твои.  
 — Я только назвал имя дочери Арфанга Сигá.

### ДЛЯ ТРЕХ ФЛЕЙТ

Перелетные стаи дорог, путешествие к древним истокам.

Флейта черного дерева, лучистого, гладкого,  
 ты густые туманы пронзи моей памяти,  
 О, певучая флейта! — туманы пронзи, покрывала на снах моей  
 памяти,  
 на ее изначальном лице.  
 О, воспой изначального света сиянье и воспой тишину,  
 ибо она возвещает

<sup>1</sup> Рити — вид однострунной скрипки; обычно под аккомпанемент рити исполняются песни шуточного или сатирического содержания.

<sup>2</sup> Балафонг — вид ксилофона.

<sup>3</sup> Корá — вид арфы, имеющей от 16 до 32 струн, под ее аккомпанемент певцы-гриоты исполняют торжественные величальные песни и сказания.

Песню Встающего Солнца, гонга слоновой кости,  
зарю над моей затуманенной памятью,  
Возвещает рассвет над двумя близнецами-холмами,  
над певучим изгибом бедра и над щекою ее.  
Я сижу под спокойным навесом листвы, в запахе стад  
и дикого меда.  
Солнце улыбки моей! — и сверкала роса на траве  
ее индиговых губ.  
Колибри, цветы невесомые, устилали ласкающим ворсом  
несказанную прелесть ее речей,  
Зимородки ныряли в ее глаза синей молнией радости,  
Над струящимся рисовым полем ресницы ее  
трепетали ритмично в прозрачности воздуха.  
О блаженство! Я слышу, как время поднимается в белый зенит  
разукрашенных ярко небес.  
Скоро застынут стада в неподвижной истоме, скоро уснет  
воркование горлинок  
В полдневной ленивой тени. Но должен я встать,  
чтобы следовать дальше безупречной дорожкой страсти.

---

МАЛИК ФАЛЬ

### *Между нами*

Не говори мне,  
Как я образован,  
Не говори,  
Что изысканно я изъясняюсь,  
Не говори,  
Что прекрасны манеры мои.  
Нет, ты лучше скажи,  
Что я к морю стремлюсь,  
Как шальные ручьи,  
И упрямые реки,  
И выносливые потоки.  
Ты скажи,  
Что я вам приношу  
Мудрость предков моих,  
Что во мне оживает  
Моего народа душа.  
И не надо мне говорить,  
Что я стал твоим соплеменником.  
Нет,  
Ты скажи мне сурово,  
Что ново  
Каждое слово мое.

**ТВОРЧЕСТВО**

Я не стану писать  
Черно-белой картины  
На старой стене клюющего носом тумана.

Я напишу  
Многоцветье сонаты  
На старой стене звенящего солнцем тумана  
Цвѣта золы  
На ветру.

Ты закроешь глаза,  
Чутким ухом ловя  
Клокотанье горячечных красок.  
Ты увидишь таинственный шепот  
Колдовства,  
И дождей отдаленную песню,  
И жужжание пчел  
В любовной пыльце золотистой,  
И даже —  
Если ты ослепленные уши заткнешь —  
Картина моя  
Передаст тебе тайно посланье  
Красоты изначальной  
И единства, разлитого в мире.

**ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ**

Если друзья по секрету от вас  
Вам готовят какой-то подарок --  
Книги, цветы,  
Игрушки, стихи  
Или просто улыбку,

Если друзья вам в большом секрете  
Готовят подарок —  
Пожалуйста, будьте  
Сострадательны к ним,  
Отгадать не старайтесь,  
Что вам подарят.

Не огорчайте друзей  
Своим фантастическим нюхом!

**НЕТ**

Я не хочу изгнания  
На остров  
Пустынный.  
Я был бы так одинок

Без друзей моих белых и желтых.  
 Я утратил бы там  
 Благородство.  
 Нет.  
 Не хочу изгнания.

*Перевел Морис Ваксмахер.*

---

## АНТУАН РОЖЕ БОЛАМБА

### *Локоле*<sup>1</sup>

На вершинах гор,  
 в глубине лощин,  
 на реке,  
 в лесу,  
 на крутой скале  
 слышен голос твой,  
 Локолé.

Локоле музыкантов,  
 Локоле влюбленных,  
 Локоле шаманов,  
 Локолé полководцев,

ты чарующе грозен.

Локоле задубевших мозолистых рук,  
 Локоле непокорной гортани,  
 гудящий в груди Бунтаря.

мы — с тобой.

Восторгаемся пламенем лент  
 и набедренных пестрых повязок,  
 нам нравятся стройные ноги  
 и руки в сверкающих кольцах.  
 Мы спешим на призыв под пальму.

Перед нами —  
 прекрасный ландшафт,  
 рядом — птицы,  
 в природе —  
 величие.

Мы дарим друг другу подарки:  
 молоко,  
 цветы  
 или фрукты.

---

<sup>1</sup> Локоле (конг) — гонг, слышный на значительном расстоянии, служивший чем-то вроде телеграфа для передачи новостей.

Затем поцелуй, объятья...  
Поцелуй, чуждые лжи;  
поцелуй разбуженной страсти.  
Локоле полуденной улыбки  
и приступов кашля,  
Локоле просветленных жемчужин,  
браслетов;  
Локоле одной серьги,  
Локоле тихих вздохов  
и пота!  
Говори,  
уговаривай,  
плачь,  
приласкай,  
докажи,  
заклейми!

Ты велик!

Я не хочу вам выдавать секрет,  
но надо видеть,  
как танцуют духи  
на листьях, в трубки скатанных дождем.

О Локоле усопших душ,  
о Локоле видений  
и кошмаров,  
о Локоле святого гнева,  
Локоле руки, готовой к мести,

ты царишь повсюду.

Ты лишь один владыка!  
И с древа царского  
слетают, словно листья,  
уставы и законы.

За тобой по следам, что с моими совпали,  
идет блудный сын  
и боится оставить следы  
твоих приключений.  
Я знаю кожу, чей запах тебе так привычен,  
я лучше, чем мать и отец,  
знаю уши — они сохраняют секреты,—  
я знаю глаза, где ты отразился,  
я знаю  
те плечи, где ты отдыхаешь,  
и руки,  
я знаю ту голову, что ты ласкаешь.

Любой считает другом  
Локоле,  
везде идет молва  
о Локоле.  
рождением ты обязан Локоле.

Локоле,  
ты — мой хлеб,  
для надежд  
и любви  
до конца моих дней  
в буйном сердце живи!..

### ЧЕРНЫЙ МАТЕРИК

область тайн.

Локоле,  
посланец мира  
щедро раздает твои советы  
людям, блуждающим  
в потемках собственных ошибок.

Локоле,  
я слышал поражения крик предсмертный,  
я слышал хрип затравленного  
эгоизма.  
Дорогу Разуму!  
Он воцарился в моем сердце,  
в моем сердце звучит труба  
победы.  
Победа Локоле —  
моя и наша общая Победа.

*Перевел Евгений Бовкун.*



ЛАО ШЭ

★

## ЗАПИСКИ О КОШАЧЬЕМ ГОРОДЕ

Повесть

Автор этой повести, крупнейший китайский писатель Лао Шэ, родился в 1899 году. В августе 1966 года хунвэйбины сообщили о его «самоубийстве».

В 1966 году я проходил стажировку в Пекинском педагогическом университете. Однажды я отправился пешком в город: все автобусы и трамваи были реквизированы хунвэйбинами. На стенах домов висело много плакатов — объявлений о розыске скрывающихся от репрессий. Среди них я увидел сообщение одного из хунвэйбиновских боевых отрядов: «Буржуазный элемент Лао Шэ черным самоубийством доказал свою контрреволюционность...»

Я читал и не верил, не хотел верить. Между тем отряд хунвэйбинов с гордостью сообщил в своем отчете, что, прочесывая один из районов столицы, они вошли в дом Лао Шэ, где испытали «возмущение и революционный гнев». В квартире писателя стены были увешаны картинами мастеров китайской национальной живописи, но среди «феодалного мусора» не нашлось места для портрета Мао Цзэ-дуна. К тому же в доме была «тьма-тьмущая» литературы на иностранных языках — это послужило основанием для зачисления Лао Шэ в «иностранные рабы». В его библиотеке, с возмущением писали хунвэйбины, «до сих пор хранились ядовитые книги на русском языке!».

С писателем решили бороться в духе «культурной революции». Для начала юнцы заставили Лао Шэ встать и прочли ему лекцию о величии идей Мао Цзэ-дуна, предложив «решительно порвать с преступным контрреволюционным прошлым»: самому немедленно уничтожить все предметы «феодалной, буржуазной и иностранной» культуры в доме. Старый писатель отвечивал «контрреволюционным молчанием». Хунвэйбины посоветались и решили, что теперь их прямой долг «помочь Лао Шэ революционизироваться». На глазах беспомощных хозяев они в клочья порвали коллекцию старинных картин и перебили редкий фарфор, так что пол покрылся слоем битых черепков.

Церемониал «культурной революции» требовал от исполнителей «борьбы словом», поэтому, для передышки, погромщики обратились к своей жертве с новой увещательной речью. Вежливо и обстоятельно, как утверждали трусливые юнцы в своем листке, они разъяснили, что культура, среди которой жил писатель, «бессильна перед сиянием идей Мао Цзэ-дуна и разлетается в прах, как ваши дрянные горшки».

Лао Шэ не вынес гнусного лицемерия и заговорил. Что именно он сказал, хунвэйбины поостереглись предать гласности. Они лишь назвали его речь «махровой черной контрреволюцией и клеветой». После этого они с еще большей яростью стали измывать-ся над писателем.

Далее случилось непредвиденное: «в припадке контрреволюционной злобы» несчастная супруга Лао Шэ пыталась вырвать мужа из рук хунвэйбинов, тогда они прибегли к силе, женщину быстро скрутили, Лао Шэ пытался в свою очередь защитить жену. О «важнейших подробностях хунвэйбины умалчивают, они только пишут, будто «ослепленный классовой ненавистью» писатель покончил с собой».

Хунвэйбины не сообразили, что своим «отчетом» разоблачили себя. Гордость и достоинство Лао Шэ сохранял до конца: даже из листовки ясно, что старый писатель не склонил головы перед штурмовиками Мао Цзэ-дуна. Нет сомнения, что они сами убили его.

Лао Шэ — писатель с мировой известностью, автор восьми романов, многих повестей, пьес и рассказов. Его произведения переводились на иностранные языки; в СССР издано более десяти книг Лао Шэ.

Сын бедного солдата, Лао Шэ с трудом получил филологическое образование, несколько лет жил в Лондоне, где преподавал китайский язык, в 1931 году вернулся в чанкайшестский Китай, затем снова уехал за границу, на сей раз в США; после победы народной революции окончательно поселился на родине. В КНР Лао Шэ был профес-

сором, депутатом Всекитайского собрания народных представителей, редактором журнала «Бэйцзин взны», заместителем председателя правления Союза китайских писателей.

Сатирико-фантастическая повесть «Записки о Кошачьем городе» написана в 1932 году, печаталась сначала в журнале, затем вышла отдельным изданием. После 1949 года повесть не переиздавалась ни разу.

Со времени выхода книги прошло более тридцати пяти лет. Одно время можно было надеяться, что сатира на китайский национализм представляет лишь исторический интерес. Так думал и сам автор, когда после освобождения в 1949 году приветствовал установление народной власти в Китае. «Я люблю новое общество потому,— писал Лао Шэ,— что в нем живут свободные и счастливые люди, которые раз и навсегда покончили с проклятым прошлым, давившим и калечившим человека».

Однако, как ни прискорбно, «культурная революция» вновь воскресила это проклятое прошлое. Когда читаешь «Записки о Кошачьем городе» — например, страницы о библиотечной революции — некоторые места кажутся свежими газетными корреспонденциями, а не сатирическим памфлетом тридцатилетней давности. Лао Шэ обличал гоминдановских националистов, но его сатира действительна и поныне, ибо Мао Цзэ-дун повторяет опыт чанкайшистского военного переворота 1927 года. Подобно Чан Кай-ши, Мао Цзэ-дун провел тотальную чистку армии, расколол демагогией рабочий класс, создал отряды хунвэйбинов (у чанкайшистов были такие же отряды «синерубашечников»), раздул антисоветскую шовинистическую кампанию ради упрочения личной военной диктатуры.

Если в «Записках о Кошачьем городе» лидер движения кошкистов провозгласил себя императором, то Мао Цзэ-дун себя обожествляет. В его стихах есть строки, где свой дом он называет «пещерой бессмертного». Такое уподобление себя небожителю для Мао Цзэ-дуна — не поэтическая гипербола, а политическая практика. Как тут не вспомнить государство марсианских людей-кошек!

Сатира «Записок о Кошачьем городе» оказалась пророческой. Подобно У Цзин-цзы, автору романа «Неофициальная история конфуцианцев» (XVIII в.), и Лу Синю (повесть «Подлинная история А-кью»), Лао Шэ с горечью и болью вскрывал язвы Китая. Устами рассказчика он беспощадно высмеял государственные учреждения, армию, систему хозяйства и образования, схоластическую науку, официальное искусство гоминдановского Китая — к сожалению, весьма похожие на нынешние. Только подлинный патриот, движимый глубоким сознанием общественного долга, мог написать такую жестокую, но правдивую книгу.

А. Желоховец.

## 1

**М**ежпланетный корабль разбился.

От моего старого школьного товарища, который больше полумесяца правил этим кораблем, осталось лишь нечто бесформенное. А я, видимо, жив. Как случилось, что я не погиб? Может быть, это знают волшебники, но не я.

Мы летели к Марсу. По расчетам моего покойного друга, наш корабль уже вошел в сферу притяжения Марса. Выходит, я достиг цели? Если это так, то душа моего друга может быть спокойной: ради чести оказаться первым китайцем на Марсе стоит и умереть! Но на Марс ли я попал? Могу лишь строить догадки, никаких доказательств у меня нет. Конечно, астроном определил бы, что это за планета, но я, к сожалению, понимаю в астрономии ничуть не больше, чем в древнеегипетских письменах. Друг, без сомнения, просветил бы меня... Увы! Мой добрый старый друг...

Корабль разбился. Как же я теперь вернусь на Землю? В моем распоряжении одни лохмотья, похожие на сушеный шпинат, да остатки еды в желудке. Дай бог как-то выжить здесь, не то что вернуться. Место незнакомое, и вообще неизвестно, есть ли на Марсе существа, похожие на людей. Но стоит ли подрывать свою смелость печалью? Лучше успокаивать себя мыслью, что ты — «первый скиталец на Марсе»!..

Конечно, все это я передумал уже потом, а тогда у меня очень кружилась голова. Рождались какие-то обрывочные мысли, но я помню только две: как вернуться и как прожить. Эти мысли сохранились в моем мозгу, словно две доски от затонувшего корабля, прибитые волной к берегу.

Итак, я пришел в себя. Первым делом нужно было похоронить останки моего бедного друга. На обломки корабля я даже не решался смотреть. Он тоже был

моим добрым другом — верный корабль, принесший нас сюда... Оба мои спутника погибли, и я чувствовал себя так, будто сам виноват в их смерти. Они были нужны и полезны, но погибли, оставив жить меня, беспомощного. Дуракам счастье — какое это печальное утешение! Друга я похороню, пусть мне придется копать могилу голыми руками. Но что делать с останками корабля? Я не смел взглянуть на них...

Нужно было копать могилу, а я лишь тупо сидел и сквозь слезы глядел по сторонам. Поразительно, но все, что я тогда увидел, я помню до мельчайших подробностей, и когда бы я ни закрыл глаза, передо мной снова встает знакомый пейзаж со всеми красками и оттенками. Только одну картину я помню так же отчетливо: могилу отца, на которую я впервые пошел в детстве вместе с матерью.

Теперь я смотрел на все окружающее с испугом и растерянностью, точно маленькое деревце, каждый листочек которого чутко вздрагивает под ударами дождевых капель.

Я видел серое небо. Не пасмурное, а именно серое. Солнце грело весьма сильно — мне было жарко, — но его свет не мог соперничать с теплом, и мне даже не приходилось зажмуривать глаза. Тяжелый, горячий воздух, казалось, можно было пощупать. Он был серым, но не от пыли, так как я видел все далеко вокруг. Солнечные лучи словно растворялись во мгле, делая ее чуть светлее и придавая ей серебристо-пепельный оттенок. Это было похоже на летнюю жару в Северном Китае, когда по небу плывут сухие серые облака, но здесь воздух был еще мрачнее, тяжелее, унылее и словно прилипал к лицу. Миниатюрным подобием этого мира могла бы служить жаркая сыроварня, в которой мерцает только огонек масляной лампы. Вдалеке тянулись невысокие горы, также серые, но более темные, чем небо. На них виднелись розовые полоски, точно на шее дикого голубя.

«Какая серая страна!» — подумал я, хотя еще не знал тогда, страна ли это, заселена ли она какими-нибудь существами.

На серой равнине вокруг не было ни деревьев, ни домов, ни полей — одна гладкая, тоскливо ровная поверхность с широколистной, стелющейся по земле травой. Судя по виду, почва была тучной. Почему же на ней ничего не сеют?!

Невдалеке от меня летали серые птицы с белыми хвостами, напоминавшие коршунов. Белые пятна их хвостов вносили некоторое разнообразие в этот мрачный мир, но не делали его менее унылым. Казалось, будто в пасмурное небо бросили пачку ассигнаций.

Коршуны подлетели совсем близко. Я понял, что они почуяли останки моего друга, заволновался и начал искать на земле какой-нибудь твердый предмет, но не нашел даже ветки. «Надо пошарить среди обломков корабля: железным прутом тоже можно вырыть яму!» — подумал я. Птицы уже кружили над моей головой, опускаясь все ниже и издавая протяжные, хищные крики. Искать было некогда, я подскочил к обломкам и, словно безумный, начал отрывать какой-то кусок — не помню даже от чего. Одна из птиц села. В ответ на мой вопль ее жесткие крылья задрожали, белый хвост взметнулся вверх, а когти снова оторвались от земли. Однако на смену спугнутой птице прилетели две или три другие — с радостным стрекотом сорок, нашедших вкусную еду. Их собратья, летавшие в воздухе, закричали еще протяжнее, словно умоляя подождать, и вдруг все разом сели. Я тщетно пытался отломить кусок от исковерканного корпуса; по моим рукам текла кровь, но я не чувствовал боли. Накинувшись на коршунов, я стал кричать, пинать их ногами. Птицы разлетелись, но одна все-таки успела клюнуть человеческое мясо. С этого момента они перестали обращать внимание на мои пинки: только норовили клюнуть мою ногу.

Я вспомнил, что в кармане у меня лежит пистолет, судорожно нащупал его и вдруг — что за изваждение! — в каких-нибудь семи-восьми шагах от себя увидел людей с кошачьими мордами!

## 2

«Выхватить пистолет или подождать?— заколебался я, но в конце концов вынул руку из кармана и молча усмехнулся.— Я прилетел на Марс по собственному желанию. Еще неизвестно, убьют ли меня эти кошки — может быть, они самые милосердные существа на свете. С какой стати мне хвататься за оружие!» Добрые помыслы прибавляют храбрости, и я совсем перестал волноваться. Посмотрим, что из этого выйдет, во всяком случае мне не следует первому нападать.

Увидев, что я не двигаюсь, пришельцы сделали два шага вперед: медленно, но решительно, как кошки, выследившие мышь.

Птицы тем временем разлетелись со своей добычей.. Я закрыл глаза от ужаса. И в ту же секунду меня схватили за руки. Кто бы мог подумать, что эти люди с кошачьими мордами действуют так быстро, ловко и бесшумно!

Может, я совершил ошибку, не вынув пистолета? Нет, они должны оценить мое благородство! Я совсем было успокоился и даже не открыл глаз — от уверенности, а вовсе не из трусости. Но хотя я не сопротивлялся, странные существа сжимали мои руки все сильнее и сильнее. «А добры ли они?» — засомневался я. Чувство морального превосходства говорило мне, что человеку унижительно меряться силой с кошками. Кроме того, на каждой моей руке лежало по четыре-пять лап—мягких, но крепких, охвативших мои руки, как эластичные ремни. Борьба бесполезна. Если я попытаюсь вырваться, они выпустят когти. Люди-кошки, наверное, всегда хватают свою добычу исподтишка, а затем причиняют ей жестокую боль — независимо от того, как ведет себя жертва. Такую боль, которая заставляет жертву забыть о своем моральном превосходстве или пожалеть о нем. Теперь я раскаивался, что ошибся в этих существах и не применил политику силы первым. Один только выстрел — и, ручаюсь, они бы все убежали. Но раскаянием делу не поможешь. Светлый мир, который я создал в своих мечтах, обернулся глубоким, темным колодцем, в котором таилась смерть.

Я открыл глаза. Все они стояли за моей спиной, не желая, чтобы я их видел. Такое коварство вызвало во мне еще большее отвращение. «Раз я попался к вам в лапы, убейте меня. К чему прятаться!»

— Ну зачем так...— неволью начал я, но тут же остановился: ведь они не понимают нашего языка.

Единственным следствием моих слов было то, что лапы мучителей сжались еще крепче. Да если б они и поняли меня, то вряд ли подобрали бы. Уж лучше они связали бы меня веревками, потому что ни моя душа, ни тело не могли больше выдержать этих мягких, крепких, жарких, отвратительных объятий.

В воздухе летало все больше коршунов, которые, распластав крылья и склонив головы, выжидали удобный момент, чтобы вернуться вниз и снова полакомиться.

Интересно, что задумали проклятые кошки, торчащие за моей спиной? Нет хуже, когда тебя медленно пилят тупым ножом. Я неподвижно стоял и глядел на коршунов. Эти жестокие твари за несколько минут расправились с моим бедным другом. За несколько минут? Но тогда их нельзя назвать жестокими. «Ты легко умер, — позавидовал я товарищу. — Ты во много раз счастливее меня, обреченного на медленную пытку!»

«Хватит же, хватит!» — чуть было вновь не сорвались с моих губ ненужные слова. Нравов и повадок людей с кошачьими мордами я не знал, но за прошедшие минуты на собственном опыте убедился, что они — самые жестокие существа во вселенной. А для палачей не существует слова «хватит»: медленно мучить жертву для них своего рода наслаждение. Какой же толк говорить с ними! Я уже приготовился к тому, что мне будут загонять иголки под ногти или вливать в нос керосин — если на Марсе вообще существуют иголки и керосин.

Тут я заплакал — не от страха, а от тоски по родине. Светлый, великий Китай, где нет ни жестокостей, ни пыток, ни коршунов, поедающих мертвых,—

наверное, я уже никогда не вернусь на твою райскую землю и не смогу больше вкусить справедливой человеческой жизни. Даже если я выживу на Марсе, самое большое наслаждение здесь будет для меня страданием!

Тем временем существа с кошачьими мордами ухватили меня за ноги. Они по-прежнему не издавали ни звука, но я ощущал на своей спине их горячее дыхание. Мне было так противно, будто всего меня обвили змеи.

Внезапно раздался отчетливый звон, который, казалось, нарушил долгие годы безмолвия. Я и сейчас иногда еще слышу его. Это защелкнулись кандалы на моих ногах, причем такие тесные, что я перестал чувствовать лодыжки.

Какое преступление я совершил? Что они собираются сделать со мной? Впрочем, что рассуждать: в кошачьем обществе человеческий разум вряд ли нужен, не говоря уже о чувствах.

Затем они надели мне наручники, но лап все-таки не разжимали. Чрезмерная осторожность (из нее всегда рождается жестокость), видимо, является необходимым условием жизни в сумраке.

Напротив, теперь две потные лапы вцепились мне еще и в шею. Это означало, что я не должен оглядываться, — как будто мне хотелось смотреть на них!

Может быть, из той же чрезмерной осторожности над моей шеей уже занесены сверкающие клинки? «Сейчас поведут!» — подумал я, и словно в ответ люди с кошачьими мордами дали мне пинок под зад. Я чуть было не свалился с ног, но лапы мягкими крючками удержали меня. За спиной послышалось фырканье, какое обычно издают коты, — очевидно, мои мучители смеялись. Конечно, они радуются, что могут издеваться надо мной!

Я надеялся, что быстроты ради они понесут меня, но снова жестоко ошибся: они заставили меня идти самого, будто догадавшись, насколько это для меня мучительно.

Пот заливал мне глаза, но я не мог смахнуть его ни руками, скованными за спиной, ни даже простым движением головы, так как меня цепко держали за шею. С усилием выпрямившись, я шел — нет, не шел, не могу подобрать слово, способное выразить, что я делал: прыгал, полз, извивался, ковылял...

Пройдя несколько шагов, я услышал — к счастью, они еще не заткнули мне уши — яростное хлопанье крыльев: это коршуны разом, как на поле боя, ринулись в атаку... Я не мог простить себе, что не успел выкопать могилу и похоронить своего товарища. Почему я столько времени тупо сидел на месте?! Если я уцелею и когда-нибудь вернусь сюда, то, наверное, и костей твоих не найду. Ничто и никогда отныне не заглушит моего стыда, и каждый раз, вспоминая эти печальные минуты, я буду чувствовать себя самым никчемным человеком на свете!

Все тело ныло, а мысли, точно в дурном сне, по-прежнему устремлялись к погибшему другу. Закрыв глаза, я представлял себе коршунов, клюющих его останки. Мне чудилось, будто они клюют мое собственное сердце. Куда меня ведут? Открыть глаза имело бы смысл в том случае, если бы я надеялся на побег и хотел запомнить дорогу, а просто глядеть по сторонам ни к чему. Мое тело уже не принадлежало мне, я его не чувствовал, как человек после тяжелого ранения. Моя жизнь была в чужих руках, но это уже не печалило меня.

Когда я открыл глаза, то почувствовал себя точно после похмелья. Закованные ноги ломило, боль отдавалась в сердце. Не сразу я понял, что нахожусь в лодке. Как я попал в нее, когда? Но это все пустяки — главное, что нет горячих лап и вообще никого вокруг. Надо мной серебристо-пепельное небо, внизу — маслянистая темно-серая поверхность реки, которая беззвучно, но быстро несет мою лодку.

### 3

Я не думал ни о каких опасностях, в моей душе не было никакого страха. Жара, голод, жажда, боль — ничто не могло побороть усталости: ведь я больше полумесяца летел в межпланетном корабле. Лечь на спину мне мешали наруч-

ники, поэтому я улегся на бок и заснул, вверив свою жизнь маслянистому потоку. Может быть, мне по крайней мере приснится хороший сон?

Вновь я очнулся в углу не то колодца, не то маленькой хижины без окон и дверей. Пол ей заменял кусок травянистой лужайки, а крышу — клочок серебристо-пепельного неба. Мои руки уже были свободны, но на поясице прибавилась толстая веревка. Другого конца веревки я не видел — наверное, он был привязан где-то наверху. Не иначе, как меня спустили сюда на веревке. Пистолет по-прежнему лежал в кармане. Странно! Чего они хотят от меня? Выкупа? Слишком хлопотно, потому что им придется тогда слетать на Землю. А может быть, они решили выдрессировать пойманное чудовище и выставить в зоопарке? Или отправить в клинику на препарирование? Во всяком случае это было бы не лишено целесообразности. Я усмехнулся: кажется, я начинаю сходить с ума.

Во рту пересохло. Почему они не отобрали у меня пистолет? Этот странный и успокаивающий факт, однако, не утолил моей жажды. Я стал озираться и увидел в углу каменный кувшин. Что в нем? Чтобы заглянуть внутрь, мне придется прыгать в своих кандалах. Превозмогая боль, я попробовал подняться, но ноги по-прежнему не слушались меня. Колодец был неширок, и стоило мне лечь на землю, как до кувшина осталось бы несколько вершков. Но веревка на поясе предостерегла меня от бесполезной попытки. Если бы я лег на живот, вытянул руки и дернулся, веревка поставила бы меня на ноги.

Запекшееся горло помогло мне изобрести гениальный план: надо лечь на спину и двигаться ногами вперед, словно жук, который опрокинулся и не может перевернуться. Несмотря на то, что веревка была завязана очень туго, я все-таки сдвинул ее вверх, на грудь, чтобы она не помешала мне достать до кувшина. Лучшее боль, чем жажда! Веревка глубоко, до крови врезалась мне в тело, но я двигался, не обращая на это внимания, и наконец дотянулся до драгоценности.

К несчастью, кандалы не позволяли мне раздвинуть ноги, чтобы обхватить ими кувшин, а когда я разводил носки, я не мог дотянуться до него. Безнадежно!

Оставалось только лежать навзничь и глядеть в небо. Машинально нащупав пистолет, я вынул его и залюбовался изящной вещицей. Потом приставил его блестящее дуло к виску: стоит шевельнуть пальцем — и с жаждой покончено навсегда. Но тут меня осенила новая мысль. Перевернувшись на живот, я дважды выстрелил по веревке. Она обуглилась. Лихорадочно работая руками и зубами, я оборвал ее и в безумной радости, забыв про кандалы, вскочил на ноги, но тут же упал. Когда я дополз до кувшина и заглянул внутрь, там что-то блеснуло. Может быть, вода, а может быть... Но мне было не до сомнений. Первый же прохладный глоток показался мне вкуснее волшебного нектара. Усилия всегда вознаграждаются: я наконец понял эту простейшую заповедь.

Воды было совсем немного, и я не оставил ни капли.

Обняв своего спасителя — кувшин, — я размечтался о том, что обязательно захвачу его с собой, когда полечу обратно на Землю. Но тут же помрачнел: увы, надежды нет... Долго я сидел не шевелясь, глядя в горлышко кувшина. Надо мной с отрывистыми криками пролетела стая птиц. Я очнулся, поднял голову и увидел розовую полоску зари. Серое небо сделалось как будто выше и яснее, стены тоже украсились розовой каймой. «Скоро стемнеет, — подумал я. — Что же делать?»

Все действия, которые были бы уместны на Земле, здесь не подходили. Я совершенно не знал своего противника и не представлял, как с ним бороться. Даже Робинзон, наверное, не испытывал ничего подобного: он был свободен, а мне предстояло освободиться из лап людей с кошачьими мордами, о которых доселе никто ничего не знал.

Но что же все-таки делать?

Прежде всего хорошо бы снять кандалы. До этого я не рассматривал их, думал, что они железные, но теперь выяснил, что они свинцового цвета. Вот почему мучители не отобрали у меня пистолет: на Марсе, должно быть, нет железа и из чрезмерной осторожности люди-кошки не решились дотронуться до

незнакомого вещества. На ощупь кандалы были твердыми. Я попробовал сломать их — не поддаются. Из чего же они сделаны? К острому желанию спастись добавилось любопытство. Я постучал по кандалам дулом пистолета, они зазвенели, но не как железо. Может, это серебро или свинец? Все, что мягче железа, я перепилю — стоит только разбить кувшин и выбрать поострее осколок (я уже забыл о своем намерении привезти каменный кувшин на Землю). Но грохнуть кувшин о стену я не решался, боясь привлечь сторожей. Нет, они не услышат: ведь я только что стрелял из пистолета, и никто не появился. Осмелев, я отбил от кувшина тонкую, острую пластинку и принялся за работу.

Конечно, даже железную балку можно упорным трудом сточить в иглу для вышивания, но тут дело было еще сложнее. Опыт по большей части — дитя ошибки, а мне оставалось только заблуждаться, потому что мой земной опыт здесь ничего не значил. Хотя я пилил очень долго, на кандалах не появилось даже царапины, как будто я пытался камнем сточить алмаз.

Я ощупал свои лохмотья, туфли, даже волосы, надеясь найти хоть что-нибудь способное мне помочь. Неожиданно я обнаружил в часовом карманчике бренок спичечный коробок в металлическом футлярчике. Я не курю и обычно не ношу с собой спичек. Этот коробок мне сунул за неимением другого подарка один знакомый перед отлетом. «Надеюсь, что спички не перегрузят межпланетный корабль!» — пошутил он тогда.

Играя коробком, я предавался пустяковым, но приятным воспоминаниям. Стемнело. Я чиркнул спичкой, потом зажег вторую. Машинально, дурачества ради, поднес ее к своим кандалам, и вдруг — пшш! — от них осталась лишь горстка белого пепла, а все вокруг наполнилось зловонием.

Оказывается, эти кошки знакомы с химией. Вот уж не ожидал!

#### 4

Когда все потеряно, в избавлении от кандалов мало проку, но теперь я хоть не должен стеречь этот кошачий колодец. Спрятав пистолет и спички, я ухватился за висящий конец веревки и полез на стену. Кругом царила серая мгла, какая бывает скорее в парильне, чем на открытом воздухе. Перевалившись через край, я спрыгнул на землю. Куда же идти? Храбрости у меня сильно поубавилось. Ни домов, ни огонька, ни звука. Вдалеке (а может быть, невдалеке — я не мог определить расстояние) темнело что-то вроде леса. Не пойти ли туда? Но кто знает, какие звери меня там ожидают!

Я посмотрел на звезды: сквозь серое, чуть розоватое небо виднелось лишь несколько самых крупных звезд. Меня снова начала мучить жажда, на этот раз вместе с голодом. Ночная охота, да еще на неведомых зверей и птиц, — занятие не для меня. Хорошо еще, что не холодно; наверное, здесь можно и днем и ночью ходить голым. Я сел, прислонившись к стенке своей бывшей тюрьмы, и уставился на звезды, стараясь ни о чем не думать. Самые обычные мысли могли сейчас вызвать у меня слезы. Одиночество еще страшнее, чем боль.

Глаза слипались, но заснуть было бы слишком опасно. Поклевав некоторое время носом, я вдруг вздрогнул и широко открыл глаза. Мне показалось, будто впереди мелькнула человеческая тень. «Наверное, это галлюцинация!» — выругал я себя и закрыл глаза. Но едва я снова открыл их, как впереди опять мелькнула тень. У меня волосы встали дыбом: ловить на Марсе призраков не входило в мои намерения. Я твердо решил бодрствовать.

Долгое время ничто не появлялось. Тогда я нарочно сощурился, оставив между ресницами крохотную щелку. Тень тотчас появилась!

Теперь я уже не боялся ее. Совершенно ясно, что это не призрак, а существо с кошачьей мордой. Оказывается, у него такое острое зрение, что оно даже издали видит, закрыты ли у меня глаза. Я радостно слержал дыхание и стал ждать. Если оно кинется на меня, я с ним справлюсь! Неизвестно почему, но я

считал себя сильнее человека-кошки. Может быть, потому, что у меня пистолет? Смешно!

Время здесь не имело никакой цены. Мне показалось, что прошло несколько веков, прежде чем незнакомец приблизился. На каждый шаг он тратил по четверти часа, а может быть, по часу; в каждом шаге чувствовалась осторожность, накопленная поколениями. Ступит сначала правой, затем левой ногой, согнется, тихо выпрямится, оглянется, подастся назад, неслышно, как снежинка, ляжет на землю, поползет, снова выгнет спину... Наверное, так котенок ночью учится ловить мышей.

Если бы я шевельнулся или открыл глаза, он, без сомнения, тотчас бы отпрянул. Но я не двигался, внимательно следя за ним сощуренными глазами.

Я чувствовал, что он вовсе не желает мне зла, а, наоборот, боится меня. В руках у него ничего не было, к тому же он пришел один. Как мне дать ему понять, что я совсем не собираюсь нападать на него? Пожалуй, лучший способ — не двигаться, тогда он по крайней мере не убежит.

Человек-кошка приблизился ко мне вплотную, я уже чувствовал его горячее дыхание. Отклонившись в сторону, словно спринтер, готовый принять эстафетную палочку, он дважды махнул лапой перед моим лицом. Я еле заметно кивнул головой. Он быстро убрал лапу, но остался на месте. Я снова кивнул, затем медленно поднял руки и показал ему пустые ладони. Он как будто понял этот язык жестов, тоже кивнул головой и выпрямился. Я поманил его пальцем. Он снова кивнул, давая понять, что бежать не собирается. Так продолжалось примерно с полчаса, после чего я наконец привстал.

Если никчемную трату времени можно назвать работой, то люди-кошки — самые трудолюбивые существа на свете. Битый час мы с ним обменивались жестами, кивали головами, шамкали губами, пофыркивали носами — словом, двигали буквально каждым мускулом тела, подтверждая, что не хотим причинить друг другу вреда. Разумеется, мы могли провести за этим занятием еще час, а скорее всего целую неделю, если бы вдалеке не появилась новая тень. Мой приятель первым заметил ее, отпрянул в сторону и призывно махнул лапкой. Я побежал за ним. От голода и жажды у меня рябило в глазах, но я чувствовал, что если нас настигнут, то мне и моему спутнику несдобровать. Я не хотел терять нового знакомого: он будет прекрасным помощником в моих скитаниях на Марсе.

Люди-кошки наверняка гнались за нами, потому что мой проводник прибавил шагу. Сердце мое было готово выпрыгнуть — сзади раздался пронзительный вой. Видимо, люди-кошки рассвирепели, если решились подать голос. Еще шаг — и я упаду от изнеможения или у меня горлом пойдет кровь...

Собрав последние силы, я выхватил пистолет и наугад выстрелил. Сам я даже не слышал звука выстрела, потому что тут же лишился чувств.

Очнулся я в какой-то комнате. Серое небо, красный свет, Земля... Межпланетный корабль... Лужа крови, веревка... Я снова закрыл глаза.

Только спустя некоторое время новый приятель рассказал, что втащил меня, как дохлую собаку, к себе домой. Почва на Марсе такая мягкая и нежная, что при падении я даже не наставил себе синяков. А наши преследователи, напуганные моим выстрелом, наверное, бежали три дня без оглядки. Маленький пистолет с какими-нибудь двенадцатью патронами прославил меня на весь Марс.

## 5

Я спал без просыпу и, наверное, заснул бы вечным сном, если бы не мухи. Впрочем, я не знаю, что это за насекомые. Они больше похожи на маленьких зеленых бабочек, этакие прелестные мотыльки, но еще несноснее наших мух. Их на Марсе ужасно много — тряхнешь рукой, и с нее сразу слетает целая стайка живых зеленых лепестков.

Тело затекло, потому что я всю ночь проспал на «земле»: люди-кошки не знают кроватей. Одной рукой отгоняя мух, а другой почесываясь, я оглядел

хижину. Собственно, смотреть в ней было не на что. Я надеялся найти таз для умывания, но безуспешно. Раз не оказалось вещей, пришлось смотреть на стены и потолок. Они были из глины, без каких-либо украшений. Воздух в хижине отдавал затхлостью. Лишь в одной из стен имелось отверстие аршина в три высотой, которое служило и дверью и окном одновременно.

Пистолет был по-прежнему при мне, это прекрасно. Хорошенько спрятав его, я вылез через отверстие и тут понял, что окна были бы бесполезны: хижина находилась в лесу — наверное, том самом, который я видел вчера вечером. Листья на деревьях росли так густо, что через них не пробился бы и самый яркий солнечный свет, а здесь он к тому же рассеивался в сером неподвижном воздухе.

Я оглянулся по сторонам, но вокруг меня были только густые листья, сырость и вонь.

Впрочем, нет! Под одним из деревьев сидел человек-кошка. Он, конечно, давно видел меня, но, поймав мой взгляд, бросился на дерево и исчез в листве. Это меня разозлило. Разве так принимают гостей: ни еды, ни питья, только ночлег в вонючей хижине! Решив не церемониться, я полез за хозяином на дерево и, ухватившись за ветку, стал ее раскачивать. Человек-кошка жалобно пискнул и остановился. Убежать ему было некуда, и он с прижатыми, как у побитого кота, ушами начал медленно спускаться.

Я ткнул пальцем себе в рот, вытянул шею и несколько раз шевельнул губами, объясняя, что хочу есть и пить. В ответ он показал на дерево. «Может, он советует мне поесть плодов?» — сообразил я, мудро предположив, что люди-кошки не едят риса. Но плодов на ветках не было. Между тем человек-кошка взобрался на дерево, бережно сорвал несколько листьев, взял их в зубы и вновь спустился, показывая то на меня, то на листья.

Когда он увидел, что эта скотская пища меня ничуть не привлекает, его лицо исказилось — вероятно, от ярости. Почему он злился, я, конечно, понять не мог, а он не мог понять, чем недоволен я.

Наконец я решил взять листья, но пусть он сам протянет их мне. Он снова, казалось, ничего не понял. Мой гнев сменился сомнением: а может быть, передо мной женщина? Может быть, на Марсе мужчины и женщины тоже общаются, не приближаясь друг к другу<sup>1</sup>? Или — страшно вымолвить — это правило здесь распространено на общение между всеми людьми (через несколько дней выяснилось, что моя догадка была верна)? Ладно, не стоит ссориться с тем, кого не понимаешь. Я подобрал листья и обтер их рукой — по привычке, потому что руки у меня были грязные и кровоточили. Потом откусил кусочек листа и поразился его приятному запаху и сочности. Из рта у меня закапал сок, и человек-кошка дернулся, словно желая подхватить капли. «Видно, эти листья очень дороги, — подумал я. — Но почему он так трясется над одним листом, когда вокруг целый лес? Впрочем, здесь все странно!»

Съев один за другим два листа, я ощутил легкое головокружение. Душистый сок как бы растекался по всему телу, наполняя его приятной истомой. Потянуло спать, и все-таки я не заснул, потому что в этом озере дурмана таилась капля возбуждающего, как при легком опьянении. У меня в руке был еще один лист, но я не мог поднять руку. Смясь над собой (не знаю, отразился ли этот смех на моем лице), я прислонился к дереву, закрыл глаза и покачал головой. Вмиг чувство опьянения прошло, теперь уже все мое тело, каждая пора смеялась. Голода и жажды как не бывало, мыться больше не хотелось: грязь, пот и кровь ничуть меня больше не тяготили.

Лес, как мне показалось, посветлел, серый воздух стал не холодным и не душным, а таким, что лучше и не надо; зеленые деревья приобрели какую-то мягкую поэтическую прелесть. Промозглая вонь сменилась крепким сладкова-

<sup>1</sup> Иронический намек на строгие моральные правила конфуцианства, в частности на фразу древнего философа Мэн-цзы (III век до н. э.): «Если мужчины и женщины общаются, не приближаясь друг к другу, это соответствует церемониям».

тым ароматом, словно от перезрелой дыни. Нет, это была не нега, а восхитительное опьянение. Два листа влили в меня неведомую силу, и в сером воздухе Марса я теперь чувствовал себя, точно рыба в воде.

Я присел на корточки, хотя раньше не любил так сидеть, и начал внимательно разглядывать своего кормильца. Обида на него прошла; теперь он стал мне симпатичен.

Человек-кошка оказался не просто большой кошкой, которая ходит на задних лапах и одевается. Одежды на нем как раз не было. Я засмеялся и тоже снял с себя рубаху и туфли: если не холодно, зачем таскать на себе всякую свань? Но брюки я оставил — не из стыдливости и не ради пистолета (его я мог носить прямо на ремне), а потому, что без карманов мог потерять спички. Вдруг люди-кошки снова попробуют надеть на меня кандалы?

Итак, у него было длинное тонкое туловище и короткие конечности с короткими пальцами (не удивительно, что люди-кошки быстро бегают, но медленно работают; я вспомнил, как долго они связывали меня). Шея нормальная, но очень подвижная: голова могла поворачиваться почти за спину. Лицо большое, глаза круглые, очень низко посаженные, над ними широкий лоб, поросший такой же короткой шерстью, что и макушка. Нос и рот слиты вместе, но не так красиво, как у кошки, а грубо, как у свиньи. Уши маленькие и торчат очень высоко. Туловище округлое, покрыто тонкой и блестящей шерстью серого цвета, который издали отликает зеленым, словно птичье оперение. На животе восемь черных точек — сосков. Каково внутреннее строение людей-кошек, я не знаю до сих пор.

Движения моего нового знакомца казались замедленными, но на самом деле были очень проворны, так что я ни разу не смог заранее догадаться о его намерениях. Единственное, что я наверняка определил в нем, — крайнюю подозрительность. Его руки и ноги не бездействовали ни минуты, причем ногами он двигал так же проворно, как руками. Чаще всего он пользовался осязанием: здесь пощупает, там потрет или просто прикоснется. Словом, он был похож на суетящегося муравья.

Зачем он привел меня сюда да еще накормил листьями? Мне очень хотелось поговорить с ним, но как? Ведь языка-то я не знаю.

## 6

Месяца через три я уже говорил по-кошачьи. Малайский язык можно изучить за полгода, а кошачий еще быстрее. В нем всего четыреста—пятьсот слов, и, употребляя их так или эдак, можно сказать что угодно. Конечно, многие понятия и мысли выразить столь скудным запасом слов невозможно, но люди-кошки придумали на этот случай прекрасный способ — вовсе не говорить. Прилагательных и наречий очень мало, с существительными тоже небогато. Например, все, что связано с дурманным деревом, ограничивается следующими понятиями: большое дурманное дерево, маленькое дурманное дерево, круглое дурманное дерево, тонкое дурманное дерево, заморское дурманное дерево, большое заморское дурманное дерево, хотя в действительности это совершенно различные растения. Местоимения не слишком употребительны, ибо существительные предпочитают не заменять. Так иногда говорят дети. Запомнишь несколько существительных и объясняйся, а глаголы можешь выражать жестами. Есть у них и письменность: смешные значки, похожие на маленькие башенки или пагоды, но их очень трудно изучить. Обычные люди-кошки знают от силы два десятка таких значков.

Большой Скорпион — так звали моего нового друга — помнил очень много башенок и даже умел слагать стихи. Поставишь в ряд несколько красивых слов без всякой мысли — и получается кошачье стихотворение: драгоценный лист, драгоценный цветок, драгоценная гора, драгоценная кошка, драгоценный живот... Так звучало стихотворение Большого Скорпиона «Чувства, возникшие при чтении истории». У людей-кошек была своя история и двадцатитысячелетняя цивилизация.

Научившись разговаривать, я понял все. Большой Скорпион был важной персоной в Кошачьем государстве: крупным помещиком и в то же время политическим деятелем, поэтом и военным. Крупным помещиком он считался потому, что владел целой рощей дурманных деревьев. Дурманные листья являются самой изысканной пищей людей-кошек, а это в свою очередь тесно связано с историей дурманных листьев. Вытащив для доказательства несколько исторических скрижалей (вместо книг у людей-кошек употребляются каменные плиты длиной в два аршина и толщиной в полвершка, на каждой из которых вырезано десятка полтора очень сложных знаков), он сказал, что пятьсот лет назад они еще кормились земледелием и дурманные листья завез в Кошачье государство какой-то иностранец. Сначала их могли есть только высокопоставленные лица, а потом листьев стали ввозить больше, и к ним пристрастились все. Не прошло и пятидесяти лет, как граждане, не употреблявшие их, стали исключением. Есть дурманные листья очень приятно и выгодно, после них разыгрывается воображение, но руки и ноги перестают двигаться. Поэтому землепашцы вскоре забросили свою землю, а ремесленники свои ремесла. Видя, что все предается безделью, правительство издало указ, запрещающий есть дурманные листья. Однако в первый же день после запрета императрица от тоски дала императору три пощечины (Большой Скорпион продемонстрировал мне очередную историческую скрижаль), отчего император заплакал горячими слезами. Поэтому к вечеру того же дня вышел новый указ: считать дурманные листья «государственной пищей». Большой Скорпион сказал, что во всей кошачьей истории не было более славного и милосердного деяния.

После возведения дурманных листьев в ранг государственной пищи кошачья цивилизация стала развиваться во много раз быстрее, чем прежде: дурманные листья отбили охоту к физическому труду, что позволило сконцентрировать энергию на духовной деятельности. Особенно прогрессировали поэзия и искусство: за последние четыреста лет кошачьи поэты ввели в поэтический язык множество новых словосочетаний, не употреблявшихся за всю предшествующую двадцатитысячелетнюю историю, например такое, как «драгоценный живот».

Но это не значит, разумеется, что в обществе не возникли известные разногласия. Триста лет назад дурманные листья выращивались повсюду, но чем больше люди ели их, тем ленивее становились. В конце концов некому даже стало сажать дурманные деревья. И тут вдруг случилось грандиозное наводнение (Большой Скорпион немного побледнел, когда сказал мне это: оказывается, люди-кошки больше всего на свете боятся воды). Наводнение унесло множество дурманных деревьев. Без чего-нибудь другого жители еще могли обойтись, но без дурманных листьев они не могли предаваться праздности и лени, поэтому всюду начался разбой. Судебных дел стало так много, что правительство издало еще один, в высшей степени гуманный указ: не считать кражу дурманных листьев преступлением. Последние триста лет были периодом разбоя, но это совсем неплохо, так как разбой свидетельствует о свободе личности, а свобода всегда была высшим идеалом людей-кошек. (Примечание: слово «свобода» в кошачьем языке не совпадает по своему значению с аналогичным китайским словом. Люди-кошки называют свободой насилие над другими, отказ от совместной деятельности, произвол... Отсюда разобщенными оказываются не только мужчины и женщины, но и все люди. Свободный человек не позволяет окружающим касаться его. Встретившись, люди-кошки выражают почтение друг другу не рукопожатием или поцелуем, а отворачиваясь друг от друга.)

— Тогда почему же вы продолжаете сажать деревья? — спросил я. На правильном кошачьем языке эту фразу следовало произнести так: повернуть голову налево (означает «тогда»), ткнуть пальцем в собеседника («вы»), дважды сверкнуть бляками глаз («почему») и дважды повторить слово «дерево» (в первом случае оно выступает в роли глагола). Слово «продолжаете» опускается за ненадобностью.

Большой Скорпион закрыл рот. Рот у людей-кошек постоянно открыт, и

когда его на время закрывают, это означает удовлетворение или глубокое раздумье. Он ответил, что сейчас дурманные деревья сажают лишь несколько десятков человек, исключительно сильные мира сего: политические деятели, военные и поэты, которые одновременно являются помещиками. Они не могут не сажать дурманных деревьев, так как иначе потеряют всю свою власть. Для политических деятелей дурманная листва — единственный способ увидеть императора. Военные используют их как армейский провиант, а поэтам они дают возможность грезить среди бела дня. В общем, дурманная листва всемогуща, благодаря им можно всю жизнь бесчинствовать. Слово «бесчинствовать» в устах высокопоставленных людей-кошек — самое изысканное понятие.

Охрана дурманных рощ — основная функция Большого Скорпиона и других помещиков. На свою армию они не могут положиться, потому что кошачьи солдаты, как приверженцы истинной свободы, могут только поедать дурманную листву и не понимают, что значит повиноваться приказу. Солдаты часто грабят собственных хозяев — с точки зрения людей-кошек (во всяком случае Большой Скорпион думал именно так), это вполне логично. Кто же охраняет дурманную лесья? Иностранцы. Каждый помещик вынужден содержать несколько иностранных наемников. Страх перед иностранцами — одна из исконных особенностей кошачьей природы. Любовь к так называемой свободе не позволяет кошачьим солдатам прожить хотя бы три дня без убийства, а война с иностранцами для них вещь совершенно невозможная. Большой Скорпион прибавил с удовлетворением, что стремление к взаимной резне в Кошачьем государстве день ото дня возрастает, и методы убийства стали почти столь же утонченными, как законы стихосложения.

— Убийство стало своего рода искусством! — поддакнул я. В кошачьем языке не было слова «искусство», из моих долгих объяснений он ничего не понял, однако все-таки запомнил китайское слово.

В древности люди-кошки воевали с иностранцами и даже побеждали, но за последние пятьсот лет благодаря междоусобицам совершенно позабыли об этом, обратили все усилия на внутренние раздоры и стали очень бояться иностранцев. Без иностранной поддержки их император не получил бы к своему столу ни одного дурманного листа.

\* \* \*

Три года назад в Кошачье государство уже прилетал один воздушный корабль. Откуда — жители не знали, но запомнили, что на свете существуют большие птицы без перьев.

Когда прилетел наш корабль, люди-кошки поняли, что прибыли иностранцы, но были уверены, что я тоже марсианин: они не могли представить, что, кроме Марса, существуют другие планеты.

Большой Скорпион с другими помещиками тотчас побежал к месту приземления, чтобы добыть иностранцев для охраны своих дурманных рощ. Все прежние иностранные охранники почему-то вернулись к себе на родину, и нужно было срочно вербовать новых.

Помещики условились передавать меня друг другу по очереди, так как в последнее время нанять иностранца было очень нелегко. Увидев, что физиономия у меня отнюдь не кошачья, они страшно перепугались, но затем признали мою наивность и решили не приглашать меня на службу, а просто схватить. Как истые граждане Кошачьего государства, они были очень хитры и иной раз способны на риск. Сейчас я понимаю, что если бы я первым применил силу, они бы тотчас разбежались, но ни в коем случае не отказались от своей затеи. К тому же я не сумел бы найти себе пищу. В общем, я доволен, что тогда не выстрелил. Но, с другой стороны, схватив меня, они утратили ко мне уважение. Теперь можно было не говорить со мной ни о каких условиях, достаточно давать немного еды. Изменились и намерения союзников: вскоре из общественной собственности я превратился в частную. Большой Скорпион был необычайно горд своим успехом, так как измена клятве входит в их понимание свободы.

Они посадили меня закованным в лодку, а сами, страшась воды, побежали к хижине-колодцу по берегу. Если бы лодка перевернулась, виною было бы, разумеется, лишь мое собственное невезение. Лодка должна была сама уткнуться в отмель, недалеко от которой стояла хижина-колодец.

Водворив меня в хижину, они разошлись по домам есть дурманные листья. Носить подобную ценность с собой чрезвычайно опасно, поэтому они предпочитали есть дома.

Роца Большого Скорпиона находилась ближе других от моей импровизированной тюрьмы, но и он отправился за мной не сразу: после дурманных листьев необходимо немного поспать. Большой Скорпион думал, что его соперники придут не скоро, их появление было для него полной неожиданностью. «Хорошо, что это «искусство» помогло!» — произнес он, восхищенно указывая на мой пистолет. Теперь он всякий незнакомый предмет называл «искусством».

Я спросил, из чего были сделаны кандалы. Он пожал плечами и сказал, что их привезли из-за границы

— За границей есть много полезных вещей, но нам ни к чему подражать им. Ведь наше государство самое древнее! — Большой Скорпион на секунду удовлетворенно закрыл рот. — Впрочем, когда отправляешься в путь, наручниками и кандалами запастись не мешает.

Я не понял, подсмеивается он надо мной или говорит серьезно. Сейчас меня интересовало, где он провел эту ночь, потому что в лесу не видно было других хижин. Не желая отвечать на мой вопрос, он попросил у меня какое-нибудь «искусство», чтобы показать императору. Я дал ему спичку, решив, что в «свободном» обществе каждый должен иметь какую-нибудь тайну, и спросил только, есть ли у него семья.

Он кивнул головой.

— Вот соберем дурманные листья и поедем ко мне домой.

— А где твой дом?

— В столице. Там живет император и много иностранцев. Ты сможешь увидеть своих друзей.

— Я прилетел с Земли и никого на Марсе не знаю.

— Все равно ты иностранец, а иностранцы всегда дружат.

Продолжать объяснения было бесполезно. Лучше дожидаться, когда будет закончен сбор дурманных листьев, и поскорее отправиться в путь, чтобы собственными глазами взглянуть на Кошачий город.

## 7

Я считал, что никогда не смогу подружиться с Большим Скорпионом, а он, вероятно, искренне желал дружбы, но его искренность, как у всех людей-кошек, была весьма ограничена. Он дружил только с теми, кого собирался использовать в своих интересах. В течение трех или четырех месяцев меня ни на минуту не оставляло желание похоронить останки погибшего друга, однако Большой Скорпион всячески препятствовал мне. Он воображал, будто охрана дурманных деревьев — единственная цель, ради которой я прилетел на Марс. О дружеском долге люди-кошки вообще, наверное, не имели понятия. Большой Скорпион все время твердил мне: «Ведь твой приятель умер, зачем же смотреть на него?» Он скрывал от меня, в какой стороне то место, где упал корабль, и все время следил за мной. Я потихоньку искал дорогу, думая, что стоит пойти по берегу реки, как я найду обломки корабля, но каждый раз, когда я выходил из дурманной рощи, передо мной откуда ни возьмись появлялся Большой Скорпион. Он никогда не пытался принудить меня вернуться, а умел растрогать своими жалобами и причитаниями, словно слезливая вдова. Я понимал, что в душе он смеется надо мной, считает меня дураком, но ничего не мог с собой поделать. В дурманной роще, кроме меня, жили еще какие-то существа, которым он запрещал встречаться со мной. Едва я замечал их вдали и направлялся к ним, как они тут же исчезали — наверняка по приказу Большого Скорпиона.

Дурманные листья я решил больше не есть.

— Их нельзя не есть,— с мягкой настойчивостью убеждал меня Большой Скорпион.— Без них горло пересохнет, а вода далеко. Нужно мыться, купаться — сколько хлопот! Мы уж на себе испытали: их невозможно не есть. Другая пища очень дорога, но дело не в цене. Главное, что она невкусная, а иногда даже ядовитая. Если не есть дурманных листьев, можно умереть!..

Тут он начинал размазывать по лицу слезы, но я знал, что это его обычный трюк, и не поддавался. Если я буду есть дурманные листья, то стану таким же, как люди-кошки, а этого Большой Скорпион и хочет! Хватит, я и без того слишком простодушен. Я должен снова вернуться к человеческой жизни: есть, пить и мыться, как люди, а не превращаться в полумертвого ленивца. Я скорее согласен прожить две недели, но разумно и полноценно, чем двадцать тысяч лет прозябать в дурмане. Все это я высказал Большому Скорпиону, но он, конечно, ничего не понял и наверняка счел меня безмозглым идиотом. Как бы то ни было, а я принял решение.

После трехдневных препирательств мне пришлось взяться за пистолет. Правда, я еще не забыл о чести и справедливости, положил пистолет рядом и сказал Большому Скорпиону:

— Если ты будешь заставлять меня есть дурманные листья, я тебя убью. Решай!

Большой Скорпион отскочил в сторону, даже не попытавшись отнять у меня пистолет. Огнестрельное оружие в его лапах было бы не опаснее соломинки. Ему нужен был не мой пистолет, а я сам.

Наконец он предложил компромисс: каждое утро я должен съесть по одному дурманному листу.

— Один листочек, всего одну крохотную драгоценность, чтобы не отравиться воздухом!

Я убрал пистолет, и мы сели друг против друга. Он обещал давать мне еду, но считал, что с питьем будет трудно: придется носить воду кувшином с реки.

— Зачем каждый день так далеко бегать, да еще таскать кувшин? Это нелегко. Не лучше ли без всяких забот есть дурманные листья? Что за чудак, не понимает своего счастья! — рассуждал Большой Скорпион, однако настаивать не посмел, а лишь заявил, что должен ходить вместе со мной. Конечно, он боялся, как бы я не убежал. Но ведь я могу убежать и при нем, если захочу. Услышав это, он закрыл рот на целых десять минут, так что я даже испугался, не помирает ли он от страха.

— Тебе незачем ходить со мной, клянусь, что я не убегу! — утешил я его.

Он тихо покачал головой:

— Клянутся только дети.

Рассерженный такой беспардонностью, я схватил Большого Скорпиона за волосы, в первый раз применив силу. Он никак не ожидал этого. Пожертвовав несколькими волосками, а может быть, и клочком шкуры, он отбежал на почтительное расстояние и объяснил мне, что прежде среди людей-кошек были распространены клятвы, однако за последние пятьсот лет их давали так часто, что теперь произносят только в шутку. Эта реформа является очевидным прогрессом. Доверие вещь неплохая, но с практической точки зрения не очень удобная. Дети любят давать клятвы именно потому, что их вовсе не обязательно соблюдать. Все это Большой Скорпион говорил печально, потирая общипанное место.

Устыдившись своей вспыльчивости, я позволил ему ходить со мной и получил в награду вкусный ужин. Люди-кошки готовят отлично, жаль только, что в их кушанья попадает слишком много мух. Я сплел из травы крышку и велел повару накрывать еду. Кошачий повар нашел это странным, даже смешным, но, получив приказ Большого Скорпиона, не посмел со мной спорить.

Нечистоплотные люди-кошки возвели в одну из самых славных своих традиций, поэтому повар все же продолжал хитрить со мной. Каждый раз, когда на еде не было крышки, мне приходилось жаловаться Большому Скорпиону. Но

однажды мне вовсе не принесли еды, а на следующий день подали тарелку, покрытую вместо крышки толстым слоем мух. Оказывается, Большой Скорпион и его слуга стали презирать меня за слабость. Рукоприкладство считается привилегией высокопоставленных людей-кошек, и подчиненные принимают побои как должное. Что же делать? Пускать в ход руки мне не хотелось: я считал себя гуманным человеком и всегда гордился этим. Но, увы, я рисковал лишиться не только еды, но и безопасности. Ничего не поделаешь, пришлось и у повара выдрать клочок шкуры. С тех пор крышка уже не лежала без дела. Да, здесь трудно сохранить человеческое достоинство...

Моим главным удовольствием на Марсе было утреннее купанье. Я вставал еще до рассвета и выходил на речную отмель неподалеку от дурманной рощи. Короткая прогулка успевала лишь освежить меня; я стоял по щиколотку в воде и ждал восхода. Утренний пейзаж был удивительно спокоен и красив. На небе, еще не подернутом туманом, виднелись крупные звезды, кругом ни звука — только тихое журчанье воды по песку. Солнце поднималось, и я входил в реку. Здесь было мелко, нужно было сделать по отмели шагов двести, чтобы вода дошла до груди. Вволю поплавав, я выходил из воды и обсыхал на солнце. Рваные штаны, пистолет, спичечная коробка — все лежало на большом камне. Я стоял голый, без забот и печалей, и чувствовал себя самым свободным человеком в этом сером мире. Но вот солнце начинало пригревать, над рекой поднимался туман, и мне становилось немного душно. Все-таки Большой Скорпион не лгал, говоря, что здесь можно отравиться воздухом. Пора было возвращаться и есть свой дурманный лист.

К сожалению, мои купанья продолжались недолго — по вине того же Большого Скорпиона. Примерно через неделю, едва ступив на отмель, я увидел вдалеке снующие тени. Я не обратил на них внимания и продолжал любоваться восходом. Восток медленно розовел, рассеянные облака превращались в багровые цветы, звезды пропали. Затем облака вытянулись цепочкой, став темно-оранжевыми с серебристо-белыми краями — там, где они смыкались с серым небом. На оранжевом фоне выступили темные пятна, словно окаймленные золотыми нитями. Из них, неуверенно дрожа, выпрыгнул кроваво-красный, не очень круглый диск, превративший облака в сверкающую чешую. Река посветлела и залилась золотым блеском. Облака становились все тоньше, а вскоре совсем исчезли, сменившись легкой розовой пеленой. Солнце поднялось. Теперь уже все небо приобрело серебристо-серый оттенок, в некоторых местах даже голубой.

Я смотрел на это как зачарованный, а когда наконец обернулся, увидел на берегу, всего в каких-нибудь десяти саженях, толпу людей-кошек. «Наверное, они заняты чем-то своим», — подумал я и решил продолжать купанье. Но едва я зашел поглубже, как толпа передвинулась к отмели. Когда я бросился в воду, на берегу поднялся пронзительный вой. Я несколько раз окунулся и вышел на отмель; вопящая толпа попятилась. Я понял, что людей-кошек привлекло сюда мое купанье.

«Пусть себе глазают, — подумал я. — Ведь их интересует не мое тело — они сами ходят голыми, — а как я плаваю. Может быть, поплескаться еще немного, чтобы расширить их кругозор?» Но тут я увидел Большого Скорпиона, который стоял впереди всех, почти у самой воды. Видимо, желая показать, что он не боится меня, он сканнул еще ближе и сделал лапой знак, чтобы я прыгнул в воду. Четырехмесячный опыт подсказал мне, что, если я ему подчинюсь, он совсем заважничает. Этого я уже не мог стерпеть: всю жизнь не любил, чтобы мною помыкали. Я вышел на отмель, достал пистолет и прицелился в него.

## 8

Я еще никогда не видел, чтобы Большой Скорпион так смеялся. Чем больше я свирепел, тем сильнее он корчился от хохота, как будто смех у людей-кошек был главным средством избежать расправы. Я спросил, зачем он собрал толпу.

Он не отвечал и по-прежнему хохотал. Мне было противно связываться с ним, поэтому я предупредил, что ему несдобровать, если он еще раз устроит что-либо подобное.

На следующее утро, еще не дойдя до отмели, я вновь увидел снующие тени; их было больше, чем вчера. Надо выкупаться, чтобы понять, в чем же все-таки дело, а с Большим Скорпионом рассчитаюсь потом! Я зашел в воду и, делая вид, будто моюсь, начал следить за толпой. Позади Большого Скорпиона стоял человек-кошка с большой охалкой листьев, которая доходила ему до самого подбородка. По знаку Большого Скорпиона слуга пошел вдоль толпы, и охалка листьев в его лапах стала постепенно уменьшаться. Тут мне стало ясно, что Большой Скорпион пользуется случаем, чтобы торговать дурманными листьями, причем наверняка по повышенной цене.

Я люблю посмеяться, но тут мне было не до смеха. Люди-кошки очень боялись меня, иностранца; значит, всю эту комедию затеял Большой Скорпион. Следовало проучить его, иначе я никогда уже не смогу наслаждаться утренним купаньем. Конечно, если бы люди-кошки захотели поплавать вместе со мной, я не имел бы ничего против, река принадлежит не мне одному. Но когда один купается, а сотни глазуют да еще занимаются куплей-продажей — это мерзко!

Я хотел схватить не Большого Скорпиона (он вряд ли сказал бы мне правду), а одного из зевак, чтобы узнать, в чем же все-таки дело. Поэтому я стал медленно пятиться задом, намереваясь незаметно выйти на берег и помчаться к ним.

Но едва я побежал, как раздался дикий вопль — противнее визга свиньи, которую режут. Землетрясение не произвело бы большей паники, чем моя неожиданная атака. Люди-кошки мчались сломя голову, давя друг друга, падая, снова вскакивая... Берег в одно мгновение опустел, лишь кое-где валялись раненые, которые уже не могли бежать. Я поднял одного из них: глаза закрыты, дыхания нет! Поднял другого — жив, хотя нога сломана. Впоследствии я не раз бранил себя за то, что допрашивал раненого. Если прощать себе все, что сделал, не подумав, люди никогда не станут гуманными.

Заставить полумертвого от страха человека-кошку говорить, да еще говорить с иностранцем, — самое трудное дело на свете. Я понял наконец, что это убьет его, и оставил свои попытки. Двое пострадавших по-прежнему лежали на земле, а остальные быстро ползли в сторону. Я не стал догонять их.

Вот и нарвался на крупную неприятность! Кто знает, что представляют собой кошачьи законы? Правда, я убил этих несчастных не собственными руками, но, говоря откровенно, был всему причиной. Впрочем, пусть эту кашу расхлебывает Большой Скорпион, а пока лучше воспользоваться случаем и сходить к месту крушения корабля. Опомнившись, Большой Скорпион побежит искать меня, вот тут-то я его и прижму. Если он не согласится помочь, я к нему не вернусь. Шантаж? Но с таким лживым и презренным существом невозможно обращаться иначе.

Спрятав пистолет, я с поникшей головой побрел вдоль реки. Солнце палило немилосердно, и я чувствовал, будто мне чего-то не хватает. Проклятые дурман-ные листья! Без них я не мог противостоять палящему солнцу и ядовитому туману, поднимающемуся с воды.

Кошачьих святых я не знал, поэтому, чтобы скрыть собственную беспомощность, мне оставалось проклинать только людей-кошек. Я подумал, что дурман-ные листья легче всего добыть на «поле боя». Конечно, я мог бы сходить в рощу и отломить там целую ветку, но мне было лень шагать так далеко. Поэтому я вернулся на берег, подобрал несколько листьев, брошенных разбежавшимися, пожевал один из них и снова отправился вдоль реки.

Вскоре передо мной показались серые холмы. Я помнил, что корабль упал недалеко от них, хотя и не знал, в какой стороне. Жара стояла невыносимая. Два новых листа не принесли мне облегчения. Кругом ни деревца, отдохнуть все равно негде. Я решил идти до тех пор, пока не найду корабль.

Вдруг сзади послышались крики. Я различил среди них голос Большого Скорпиона, но продолжал идти, не оборачиваясь. Вскоре он догнал меня — бегал он очень быстро. Я хотел схватить его за шиворот и вытряхнуть из него душу, однако рука не поднялась: слишком уж у него был жалкий вид — морда вспухла, на голове и туловище ссадины, шерсть слиплась, словно у водяной крысы. Кто его избил, мне было все равно, но к напуганному и израненному Большому Скорпиону я проникся сочувствием. Он похватал разинутым ртом воздух и наконец выдал:

— Скорее, дурманную рощу грабят!

Я рассмеялся; моего сочувствия как не бывало. Если бы Большой Скорпион попросил меня защитить его жизнь, я, как истинный китаец, тотчас откликнулся бы. Но кто станет защищать добро помещика? Грабят так грабят, я тут ни при чем.

— Скорее, дурманную рощу грабят! — повторил Большой Скорпион, отчаянно тараща глаза.

— Расскажи мне сначала, зачем ты устроил утреннюю комедию, — потребовал я.

Большой Скорпион задергал шеей от ярости и с трудом выдохнул:

— Дурманную рощу грабят!

Он задушил бы меня, если бы посмел. Но я тоже стоял на своем и решил не трогаться с места до тех пор, пока он не скажет мне правды. В конце концов мы пошли на сделку: я отправляюсь за ним, а он объяснит все по дороге.

Оказалось, что глазевшие на меня люди-кошки были представителями высшего общества, которых он пригласил из города. Богачи никогда не встают так рано, но мое купанье было слишком редким событием; кроме того, Большой Скорпион обязался поставить им лучшие дурманные листья. Каждый посетитель платил ему за зрелище десять национальных престижей (основная денежная единица в Кошачьем государстве), а дурманные листья — два прекрасных сочных листа — давались бесплатно.

«Ну и тип! Выставляет меня напоказ, как свою собственность!» — подумал я, но Большой Скорпион, не дожидаясь, пока я выскажу свое возмущение, уже принялся мягко оправдываться:

— Видишь ли, национальный престиж есть национальный престиж. Когда чужой национальный престиж забираешь в свои руки, это считается очень благородным поступком. Хоть я и не посоветовался с тобой, — Большой Скорпион шел очень быстро, но это не мешало ему изъясняться все мягче и изысканнее, — я знал, что ты не будешь против такого высококравственного шага. Ты, как всегда, купаешься, я получаю грсточку национальных престижей, зрители расширяют свой кругозор, и никто не остается в убытке. Это очень выгодное дело!

— А кто будет отвечать за умерших?

— Это пустяки! — пыхтя, отвечал Большой Скорпион. — Когда я кого-нибудь убиваю, мне достаточно выложить несколько дурманных листьев. Законы — только знаки, вырезанные на камне, а листья — это все. Никто не станет интересоваться, убил ты кого-нибудь или нет. За тебя даже ни одного дурманного листа платить не придется, потому что наши законы на иностранцев не распространяются. Я жалею, что сам не иностранец. Если ты убьешь кого-нибудь здесь, в деревне, брось его там, где убил, чтобы белохвостые коршуны могли полакомиться, а если в городе, то зайди в суд и сообщи. Судья тебя очень вежливо поблагодарит.

Большой Скорпион мне завидовал, а я чуть не плакал: «Бедные люди-кошки! Вот и кончена ваша жизнь! Где же справедливость?!»

— Ведь те двое убитых были богатыми людьми. Разве их родственники не захотят тебе отомстить?

— Конечно, захотят. Это они напали на мою рощу. Они давно уже послали шпионов, чтобы следили за каждым твоим шагом. Как только ты отошел от рощи, они сразу же налетели на нее. Идем скорей!

— Неужели человек ценится меньше дурманного листа?

— Мертвые — это мертвые, а живым нужно есть дурманные листья. Идем!

Может быть, я зарылся стяжательством от людей-кошек, а может быть, меня надоумила последняя фраза, брошенная Большим Скорпионом, но я вдруг сообразил, что должен потребовать у него национальных престижей. Если в один прекрасный день я покину его — а мы с Большим Скорпионом, наверное, никогда не станем друзьями, — то чем мне кормиться? Я имею право получить долю из денег, заработанных с моей помощью. В других условиях я бы никогда не додумался до этого, но здесь необходимо предусматривать все. Мертвые — это мертвые, а живым нужно есть дурманные листья. Разумно.

Невдалеке от рощи я остановился и спросил:

— А сколько ты заработал за эти дни?

Большой Скорпион оторопел и вытаращил глаза.

— Всего пятьдесят национальных престижей, да еще два из них оказались фальшивыми. Идем скорее!

Я решительно повернулся и пошел назад. Он догнал меня:

— Сто! Сто!

Поскольку я продолжал идти, он довел цифру до тысячи. Я знал, что самих зевак была почти тысяча, но не хотел торговаться с ним.

— Ладно, дашь мне пятьсот, а иначе прощай.

Большой Скорпион понимал, что каждая минута промедления стоит ему дурманного листа, и со слезами на глазах согласился.

— А если ты еще когда-нибудь тайком будешь зарабатывать на мне, я сожгу твою рощу! — добавил я, похлопав по спичечному коробку.

Он снова поддакнул.

В роще уже никого не оказалось: наверное, грабители выставили дозорного, который и сообщил им о моем приближении. Два или три десятка деревьев на опушке стояли почти голыми. Большой Скорпион вскрикнул и упал без чувств.

## 9

Дурманная роща выглядела очень красиво. Листья были уже больше ладони: толстые, темно-зеленые, с золотисто-красными прожилками. На самых сочных листьях появились разноцветные пятнышки, которые превратили рощу в огромный пестрый цветник. Солнечный свет, пробиваясь сквозь серый воздух, делал листья еще более яркими и привлекательными. Они не следили глаз, а радовали, словно древняя картина, на которой краски почти не поблекли, но благодаря прошедшим годам утратили ненужную пестроту.

Возле рощи с утра до вечера стояло множество зрителей. Впрочем, нет, не зрителей, потому что глаза у них были блаженно закрыты, а носы втягивали волшебный аромат. Из разинутых ртов текла слюна. Когда задувал ветер, все продолжали стоять неподвижно — вытягивались и поворачивались только их шеи, подобно рожкам улиток. Какой-нибудь созревший лист падал. «Нюхатели» не видели и не слышали его мягкого падения, но, казалось, чувляли носом: они мгновенно открывали глаза, шевелили губами, однако Большой Скорпион всегда опережал жаждущих. Он подкатывался, точно клубок шерсти, и подбирал свою драгоценность. Вокруг раздавались тяжелые вздохи.

Для охраны рощи Большой Скорпион нанял пятьсот солдат, расквартировав их больше чем в километре отсюда, потому что они первыми начали бы грабить рощу. Не приглашать их нельзя, так как охрана дурманного дерева была самым важным делом в Кушачьем государстве. Все понимали, что солдаты ничего не могут защитить, но отказаться от них значило оскорбить генералов, а Большой Скорпион был гражданином благонамеренным и не хотел, чтобы его в чем-нибудь обвинили. Однако во избежание соблазна он ставил свое войско подальше. Когда ветер дул слишком сильно и притом в сторону солдат, хозяин приказывал им отойти еще на полкилометра. Они ни за что не послушались бы его приказов и

восстали, если бы рядом не было меня. Недаром в Кошачьем государстве существует поговорка: «Иностранец чихнет — сто солдат упадет».

Войском Большого Скорпиона командовали двадцать генералов. Эти генералы были мудрыми, справедливыми, верными и надежными, но в любую минуту вполне могли связать хозяина и тоже кинуться грабить рощу. Только благодаря моему присутствию они не грабили, а оставались верными и надежными.

Забот у Большого Скорпиона было хоть отбавляй: шпионить за генералами, следить за направлением ветра, отгонять солдат, присматривать за зеваками. Недавно ему одним духом пришлось съесть тридцать валявшихся листьев, иначе бы они пропали. Говорят, что после сорока листьев можно три дня не спать, но зато на четвертый день отправишься к праотцам. Такая уж это штука дурманные листья: если съешь мало, чувствуешь себя неплохо, но ничего не хочешь делать; если много съешь, способен горы свернуть, но скоро помрешь. Большой Скорпион был очень труслив, знал, что объедаться листьями нельзя, однако сдержат себя не мог. Бедный Большой Скорпион!

Он урезал мне ужин, потому что при малых порциях можно всю ночь бодрствовать. Ведь я фактически один охранял его рощу — значит, меня нужно морить голодом. Чем выше заслуги человека, тем больше он должен страдать — такова кошачья логика. Но я не стерпел и разбил свою миску. На следующий день меня снова ждал нормальный ужин. Теперь я знал, как следует поступать с людьми-кошками, хотя и испытывал угрызения совести.

Целый день дул ветер. С того дня, когда я впервые попал в эту рощу, такой погоды не бывало. Слабый ветерок поднимался, и то не на целый день. Дурманные листья тогда едва начинали алеть. А сейчас они все время дрожали и переливались целой гаммой красок. Ночью Большой Скорпион с генералами воздвигали в середине рощи какой-то деревянный каркас: это оказалась сторожевая вышка для меня. Они объяснили, что ветер называется дурманным и сулит перемену погоды. В Кошачьем государстве всего два сезона: первая половина года — спокойный сезон, а вторая — бурный, с ветром и дождем.

Утром до меня сквозь сон донеслись странные звуки. Я вылез из своей хижины и увидел Большого Скорпиона, стоящего перед генеральским строем. За ухом у него красовалось перо из хвоста коршуна, в лапах — длинная палка. Генералы держали нечто вроде музыкальных инструментов. Завидев меня, Большой Скорпион ткнул палкой в землю, и генералы разом подняли свои инструменты. Когда он ткнул палкой в небо, инструменты зазвучали. Первый генерал дул, второй колотил. — словом, все двадцать инструментов стали издавать разные звуки: высокие, низкие, но в равной степени режущие слух, противные. Глаза у музыкантов вылезли на лоб, тела раскачивались, рты хватали воздух, однако отставать никто не желал. Двое, почти задохнувшись, упали на землю и все-таки продолжали дуть, потому что в Кошачьем государстве ценится только долгая и шумная музыка.

Три часа продолжался этот концерт. Наконец Большой Скорпион взмахнул своей палкой, музыка смолкла, и запыхавшиеся генералы присели на корточки. Вытащив из-за уха перо коршуна, Большой Скорпион почтительно подошел ко мне:

— Пора! Прошу тебя подняться на священный алтарь и от лица богов наблюдать за сбором дурманного листа.

Сначала я ничего не понял, так как одурел и оглох от их музыки. Потом меня начал раздражать смех, но я все же последовал за Большим Скорпионом. Он воткнул в мои волосы перо, забрался на сторожевую вышку и стал молиться. Снова грянула музыка. Наконец он слез и пригласил меня наверх. Вспомнив детство, я ловко вскарабкался по деревянным перекладинам. Большой Скорпион взмахнул палкой, генералы разбежались и встали в почтительном отдалении. По приказу Большого Скорпиона к ним подбежало множество солдат, тоже с палками. Большой Скорпион показал им на вышку, и солдаты подняли палки, как бы отдавая мне честь. Теперь я окончательно убедился, что играю роль пред-

ставителя богов, которые, без сомнения, просто обожают Большого Скорпиона. Он тем временем объяснил солдатам, что если во время сбора урожая они спрячут или съедят хотя бы один лист, представитель богов поразит их «ручным громом». Ручной гром вылетит вон из того «искусства». А генералы назначаются надсмотрщиками; заметив кражу, они заиграют на своих инструментах, и Большой Скорпион попросит меня извергнуть ручной гром.

Солдатам было приказано разбиться по двое: один забирался на дерево, другой складывал сорванные листья. У ближних ко мне деревьев никого не оказалось, так как Большой Скорпион предупредил солдат, что они могут окаменеть от одного дыхания представителя богов. Словно загипнотизированные хозяином, солдаты принялись за работу, а Большой Скорпион сновал между ними, как челнок в ткацком станке, — наверное, опять съел штук тридцать отменных листьев. Палка его была все время нацелена на головы солдат. Говорят, что во время сбора дурманного листа помещик должен убить по крайней мере одного солдата и закопать его под деревом, чтобы обеспечить себе на следующий год богатый урожай. Но если в роли представителя богов у помещика не настоящий иностранец, солдаты могут сами убить хозяина, ободрать все листья, а из веток наделать оружия, то есть палок. Войско, оснащенное палками из дурманного дерева, считается в Кошачьем государстве самым грозным.

Я сидел на сторожевой вышке, как попугай на жердочке, и потешался сам над собой. Но мне все же не хотелось нарушать кошачьих обычаев. Я должен хорошенько узнать местных жителей, а для этого надо участвовать во всех их делах, как бы они ни были смешны. К счастью, дул ветерок и жара меня не очень мучила. Чтобы не получить солнечного удара, я велел Большому Скорпиону принести мне вместо шляпы сплетенную из травы крышку, которой я накрывал еду.

От обычных людей-кошек солдаты отличались только перьями за ухом да палками. Эти предметы, конечно, давали им преимущество перед рядовыми жителями, но сейчас, загипнотизированные Большим Скорпионом, они, пожалуй, страдали сильнее своих соплеменников. Они грызли рощу, точно шелкопряды после спячки, и вскоре я уже видел стволы, которые раньше были плотно закрыты листвой. Еще через некоторое время солдаты добрались до макушек и даже принялись за сравнительно близкие ко мне деревья. Но на этих деревьях они рвали только одной лапой, а другой заслоняли глаза, видимо, боясь, что я могу их ослепить.

«Оказывается, люди-кошки отнюдь не бестолковы, — подумал я. — Если бы у них был настоящий руководитель, способный покончить с дурманом, они сумели бы сделать многое. Может быть, стоит заняться ими? Прогнать Большого Скорпиона, стать для них и помещиком и генералом... Нет, пустые мечты. Я ничего не решусь предпринять, потому что не знаю их как следует».

В этот момент я вдруг увидел (деревья вокруг меня оголились, и я отчетливо мог видеть все, что происходило внизу), как Большой Скорпион занес свою палку над головой одного солдата. Я знал, что не успею задержать эту палку, даже если спрыгну с высоты двух саженей и не сломаю ногу при прыжке, но мне очень хотелось наказать Большого Скорпиона. Я прыгнул, тотчас поднялся, подбежал. Однако солдат уже лежал на земле, а Большой Скорпион приказывал закопать его.

Человек, не понимающий ближних, часто вредит им — при самых благородных побуждениях. Когда я спрыгнул, солдаты решили, что сейчас грянет ручной гром, и почти все попадали с деревьев. Многие, наверное, разбились, потому что вокруг стоял сплошной стон. Но я тогда не обратил на них внимания, а схватил Большого Скорпиона. Он воспринял мой прыжок иначе, решив, что я хочу помочь ему, что я вообще стал его верным клеветом — ведь все это утро я был так послушен. Когда я его схватил, он очень удивился: он не чувствовал за собой никакой вины.

— Почему ты убил солдата? — крикнул я.

— Он отгрыз стебель от листа...

— И за это ты мог?..

Тут я вспомнил, что нахожусь среди людей-кошек, которых бесполезно урезонивать. Я сделал знак солдатам:

— Связать его!

Они смотрели на меня и, казалось, ничего не понимали.

— Связать Большого Скорпиона! — пояснил я, но никто не двинулся с места. Сердце мое похолодело. Если я действительно встану во главе этих солдат, мне, наверное, никогда не найти с ними общего языка. Они не смеют помочь мне не потому, что любят Большого Скорпиона, а потому, что не понимают моей правоты. Им даже в голову не приходит, что можно мстить за товарища. Это поставило меня в тупик: если я отпущу Большого Скорпиона, он наверняка станет презирать меня. Но и убивать его не стоило — он еще может пригодиться мне на Марсе, по крайней мере здесь, в Кошачьей стране. При всех своих дурных качествах, он для меня полезнее, чем эти жалкие вояки. Я притворился, будто гнев мой несколько утих.

— Признаешь свою вину? — спросил я Большого Скорпиона. — Или хочешь, чтобы я отдал твою рощу на разграбление?

Услышав о разграблении, солдаты оживились, протянули лапы к листьям, но я дал Большому Скорпиону два пинка, и все снова замерли. Глаза Большого Скорпиона превратились в крохотные щелки. Я чувствовал, что он ненавидит меня: ведь его наказал перед солдатами сам посланец богов, да еще за какой-то пустяк. Однако ссориться со мной он не посмел.

Я спросил его, сколько он платит сборщикам дурманных листьев. Когда он ответил, что по два листа, солдаты снова наострили уши, видимо, ожидая прибавки жалованья. Я потребовал, чтобы Большой Скорпион хорошенько накормил их после работы, и уши разочарованно опустились. Мне не было дела до их печальных вздохов — меня больше интересовала семья убитого солдата, которой я велел выплатить сто национальных престижей. Большой Скорпион согласился, но когда я начал спрашивать, где живет семья погибшего, никто не издал ни звука. У людей-кошек не было привычки утруждать свой язык ради других. Я понял это только спустя несколько месяцев, а Большой Скорпион благодаря моему неведению сэкономил национальные престижи.

## 10

После окончания сбора листьев по-прежнему дул ветерок, в воздухе похолодало, на небе стали изредка появляться черные тучи, но без дождя. Это было начало «бурного сезона», когда помещики везли дурманные листья в город. Хотя Большой Скорпион был очень недоволен мной, ему пришлось напустить на себя добрейший вид, потому что отправляться в путь без меня было равносильно самоубийству.

Высушенные листья сложили в тюки. Каждый тюк тащили по очереди двое солдат, причем на головах. Впереди несли Большого Скорпиона: четверо солдат подпирали головами его тело, двое солдат повыше — ноги, а один солдат — шею. Этот способ передвижения был самым почетным в Кошачьем государстве, хотя и не очень удобным. По обеим сторонам от носильщиков шли двадцать генералов с музыкальными инструментами. Если солдаты не соблюдали дисциплину — например, запускали когти в тюки, чтобы нюхнуть дурману, — то генералы изысканнейшими звуками докладывали об этом Большому Скорпиону. Все вещи в Кошачьем государстве должны были приносить прямую пользу, искусство тоже: музыканты обычно служили шпиками.

Мне полагалось занять наиболее ответственное место в середине колонны. Большой Скорпион пригласил для меня семерых носильщиков, но я отказался от этого благодеяния и решил идти самостоятельно. Он никак не хотел соглашаться: приводил цитаты из классиков, говорил, что императора носит двадцать один че-

ловец, князя — пятнадцать, аристократов — семь, что это древний обычай, который нельзя, непозволительно нарушать. «Аристократ, ходящий по земле, позорит своих предков!» — восклицал он. Я уверил его, что мои предки не будут опозорены, если меня не понесут на головах. Тогда он чуть не заплакал и продекламировал двустишие:

Тот, кто ест дурманные листья,  
Всегда будет аристократом.

— Пошел ты со своими аристократами! — оборвал я его, не вспомнив подходящей стихотворной цитаты.

Большой Скорпион вздохнул и про себя, должно быть, выругался, но вслух бранить меня не посмел.

Построение колонны заняло больше двух часов. Большой Скорпион то укладывался на головы своих носильщиков, то опять вскакивал, и так до семи раз, потому что кошачьи солдаты никак не могли стоять спокойно. Теперь они знали, что я не всегда помогаю Большому Скорпиону, он не решался пустить в ход дубинку, а ругань без побоев на них не действовала. Отчаявшись построить солдат в прямую линию, Большой Скорпион сдался и велел выступать.

Но едва мы пошли, как в небе показалось несколько белохвостых коршунов. Большой Скорпион испугался дурного предзнаменования, снова соскочил на землю и отложил выступление на завтра. Вконец обозленный, я вытащил пистолет:

— Если сейчас не пойдешь, не пойдешь вовсе!

Физиономия Большого Скорпиона позеленела. Он пошамкал ртом, однако не смог выдать ни слова. Он понимал, что спорить со мной бесполезно, и в то же время знал, как опасно не верить приметам. Понадобилось минут пятнадцать, прежде чем он, весь дрожа, вскарабкался на кошачьи головы. Мы наконец двинулись. То ли от испуга, то ли из-за шалостей носильщиков он частенько падал на землю, но мигом снова взбирался на головы — Большой Скорпион свято хранит обычай предков.

Всюду, где только можно было что-либо написать — на древесной коре, на камнях, на ветхих стенах, — всюду огромными белыми знаками были написаны лозунги и славословия: «Приветствуем Большого Скорпиона!», «Большой Скорпион отдаст все силы для производства государственной пищи», «Солдаты Большого Скорпиона высоко несут дубинки справедливости», «Только благодаря Большому Скорпиону выдался богатый урожай»... Эти надписи были начертаны специальным гонцом для услаждения Большого Скорпиона в пути: он же сам и послал гонца.

Проходя небольшие селения, мы видели деревенских людей-кошек, которые сидели, прислонившись спиной к своей лачуге и зажмурив глаза. Меня очень удивило, что они даже не смотрят на нас. Если они боятся солдат, то почему не спрячутся, а если не боятся, то почему сидят с закрытыми глазами? И тут я разглядел, что на головах сидящих тоже видны мазки белой краски, из которых складываются лозунги вроде «Приветствуем Большого Скорпиона!». Хотя деревенские по-прежнему не открывали глаз, Большой Скорпион милостиво кивал им, благодаря за радушие.

Эти деревни находились под его покровительством, и жалкий, унылый, изможденный вид жителей без слов говорил о том, как нежно пекся о них заступник. Я еще сильнее возненавидел Большого Скорпиона.

Один я мог бы дойти до Кошачьего города самое большее за полдня, но поход с кошачьими солдатами требовал серьезного навыка и терпения. Вообще-то люди-кошки умеют двигаться быстро, однако, став солдатами, теряют эту способность, потому что на фронте быстрое передвижение слишком опасно. Вернее сказать, они теряют эту способность, когда нужно идти вперед, а когда придется отступать, снова обретают ее. Такая необходимость появляется при каждой встрече с врагом.

Было час пополудни. И хотя по небу плыли тучки, солнце припекало весьма основательно. Солдаты тащились с широко раскрытыми ртами, их шерсть слиплась от пота — я еще не видывал такой неказистой армии. Наконец вдалеке показалась дурманная роща, и Большой Скорпион приказал идти прямо через нее. Я решил, что он жалеет солдат, хочет, чтобы они отдохнули в тени. Но когда мы добрались до этой рощи, он спросил меня, нельзя ли ее разграбить. «Листья — пустышки. Главное — обогатить армию боевым опытом!» — пояснил он.

Ничего не ответив, я взглянул на своих спутников. Они уже закрыли рты и выглядели почти бодрыми. «В конце концов грабеж — это основное занятие кошачьих солдат, — подумал я. — Они ненавидят меня так же, как Большой Скорпион, и если я все время буду грозить им пистолетом, они рано или поздно убьют меня. Кто оценит мое благородство?» Я чувствовал, что уже начинаю заражаться кошачьей психологией; моя храбрость все чаще уступала место приспособленчеству. Но едва я согласился, как Большой Скорпион не замедлил попросить меня возглавить операцию. На этот раз мой ответ был твердым: грабьте сами, а меня не вмешивайте.

Солдаты уже давно почуяли запах добычи. Не дожидаясь приказа, они бросили тюки на землю и с палками в лапах ринулись вперед. Большого Скорпиона я тоже еще не видел таким смелым: глаза его бесстрашно округлились, шерсть встала торчком, палка взметнулась в воздух. В саму рощу воители не побежали, а как безумные стали носиться вокруг. Я понял, что они выманивают из рощи охранников. Увидев, что там нет никакого движения, Большой Скорпион засмеялся, солдаты тоже, и вся армия бросилась на дурманные деревья.

Внезапно из рощи донесся крик. Большой Скорпион заморгал своими уже не круглыми глазами, солдаты бросили палки, попятились и, обхватив головы лапами, завывли:

— Там иностранец! Иностранец!

Хозяин, казалось, не поверил им, но его возражение прозвучало без особой убежденности:

— Иностранец? Я точно знаю, что там нет иностранца...

Пока он бормотал, из леса вышло множество кошачьих солдат и два высоких беловолосых существа, вооруженных блестящими палками. «Это наверняка иностранцы, — подумал я. — Как мне быть, если Большой Скорпион попросит меня драться с ними?! Я даже не знаю, что это за блестящие палки». Хотя я и не затевал грабежа, но все-таки чувствовал себя соратником Большого Скорпиона: его поражение уронило бы и мой авторитет, а с этим связано все мое будущее в Кошачьем государстве.

— Скорей задержи их! — шепнул мне Большой Скорпион.

Отбросив размышления, я вынул пистолет и двинулся вперед. К моему удивлению, беловолосые существа (они тоже были похожи на кошек) остановились. Большой Скорпион подбежал ко мне, из чего я понял, что особой опасности нет.

— Начинай переговоры! — зашептал он, прячась за мою спину.

Я слегка оторопел. Почему он больше не толкает меня в бой? О чем разговаривать с этими белыми существами? Человек всегда теряется, когда от него требуют меньше, чем он собрался дать. А один из моих соперников промолвил, обращаясь к Большому Скорпиону:

— Штрафуем тебя на шесть тюков дурманного листа, каждому по два.

Я оглянулся. Белых людей-кошек было только двое. Почему же он насчитал шесть тюков?

— Говори с ними! — торопливо шепнул Большой Скорпион.

Но что говорить? Я лишь машинально повторил:

— Штрафуем тебя на шесть тюков...

Белые существа улыгнулись и с довольным видом кивнули головами. Большой Скорпион облегченно вздохнул, а я по-прежнему не мог ничего понять. Только когда тюки принесли и белые люди-кошки предложили мне выбирать первому,

я сообразил, что они включили в свою компанию и меня. Оставалось ответить такой же вежливостью и отдать им лучшие тюки. Иностранцы поклонились:

— Мы тоже скоро закончим сбор листьев, еще увидимся с вами в городе.

— Еще увидимся... — повторил я, чувствуя, что вновь столкнулся с каким-то странным обычаем. Белые существа приказали своим солдатам забрать тюки и скрылись в роще.

Прибыв в Кошачий город и поговорив с другими иностранцами, я наконец разобрался в этом приключении. Поскольку люди-кошки не могут победить иностранцев, у них остается только одна надежда — что иностранцы сами перебьют друг друга. Чтобы укрепить свою мощь, нужно ее укреплять, а кошки не любяг расходовать энергию. Они предпочитают молить богов о том, чтобы иностранцы ввязались в междоусобицу, которая тотчас позволит им, кошкам, стать сильными, вернее, увидеть другие страны такими же слабыми, как Кошачье государство. Иностранцы раскусили этот замысел. Они часто конфликтовали с Кошачьим государством, но никогда не позволяли ему извлечь пользу из их собственных раздоров. Они превосходно понимали, что даже победа может обернуться для них поражением, если они будут разобщены. И наоборот: объединившись, они смогут получить от людей-кошек немалую выгоду. Так строилась не только международная политика, но и жизнь всех иностранцев в Кошачьем государстве. Их основной профессией была охрана дурманных рощ, однако охранять рощи они условились лишь от местных жителей, а не друг от друга. Преступивший это правило наказывался, благодаря чему люди-кошки ценили иностранцев все больше.

Для «защитников» такая система была совсем не дурна, а для туземцев? Я невольно обиделся за Больших Скорпионов, но затем подумал: они сами виноваты, что терпят это, не стараются стать сильными и дают своих соплеменников с помощью иностранцев. Уважать можно только достойных людей, а люди-кошки утратили и честь и совесть — не удивительно, что иностранцы с ними не церемонятся.

После разговоров на эту тему я долго пребывал в дурном настроении.

Но вернусь к Большому Скорпиону: уплата контрибуции ничуть не притыдила его, он даже чувствовал себя победителем, с важным видом взгромоздился на кошачьи головы и сказал, что если я не нуждаюсь в таком количестве дурманных листьев (они ведь мне не очень нравятся), то он готов выкупить их за тридцать национальных престижей. Я знал, что два тюка стоят по меньшей мере триста престижей, но не стал торговаться с ним и вообще не ответил на его предложение.

Солнце уже клонилось к западу, когда впереди показался Кошачий город.

## 11

Едва я увидел его, как почему-то решил, что эта цивилизация скоро должна погибнуть. Я еще не был знатоком кошачьей цивилизации; та ее часть, с которой я столкнулся в деревне, лишь пробудила мое любопытство, желание уяснить скрытую суть. Не верилось, что здешняя культура сводится к одним ужасам. Конечно, цивилизации иногда погибают, наша земная история тоже писана не только розовой водичкой, но если мы способны рыдать просто при чтении истории, то еще горше наблюдать гибнущую цивилизацию собственными глазами.

У человека перед смертью может быть цветущий вид; приговоренный к гибели город порою бывает шумным, оживленным, и все-таки он умирает — медленно и неотвратимо. Можно спасти отдельного человека, но не город. Кажется, будто разящий перст судьбы занесен и над дурными и над хорошими его обитателями. Хороших обитателей немного, они торопят свою гибель или пишут завещания, но их крики, и печальные и веселые, так же бессмысленны, как треск цикад, пыгающихся заглушить вой осеннего ветра.

Этот разящий перст я увидел и над шумными и суетливыми жителями Кошачьего города — скоро от них останется лишь прах и пепел!

Кошачий город выглядел очень оживленным. Его планировка показалась мне наипростейшей, как у военного лагеря. Никаких улиц и переулков, только дома и пустыри, точнее один большой пустырь, на котором стоит множество бесцветных домов. Все пространство между домами заполнено народом, неизвестно чем занимающимся. Ни один житель не ходит прямо, обязательно мешая другим. К счастью, пустыри весьма обширны, поэтому поток прохожих движется то вдоль, то поперек, ударяясь в дома, словно в дамбы. Я еще не знал, есть ли у этих домов номера. Если есть, то из пятого дома в десятый нужно пробираться километра два. Сначала тебя швырнут налево, потом направо, затем понесут вперед, отбросят назад и так далее. За время этого путешествия можешь случайно попасть к цели, а можешь даже домой не вернуться.

Когда-то здесь наверняка были улицы, но улицы опасны, потому что люди-кошки считают позорным уступать другому дорогу. Ходьба по разным сторонам тем более претила их свободному духу. Единственным выходом было ликвидировать улицы. Правда, от толкотни это не спасало, но по крайней мере сберегало немало жизней (как видите, иногда люди-кошки поступают весьма гуманно). Пронестись без отдыха километров шесть, а потом вернуться — не так уж опасно, хотя и утомительно. Впрочем, не всегда утомительно: ведь ты можешь ехать на соседях, точно в бесплатном поезде. Я решил обязательно проверить свои догадки и посмотреть, нет ли здесь следов бывших улиц.

В самой давке не было ничего особенного. Но вот странно: полок пешеходов то поднимался, то опускался. Увидев на дороге камешек, прохожие присаживались на корточки, затем и вовсе садились, чтобы насладиться невиданным зрелищем. Новые прохожие тоже приседали на корточки, задние напирали, и получался настоящий водоворот. Самым последним приходилось карабкаться на чужие головы. Сидящие, забыв про камешек, начинали глазеть на зевак наверху, но тут где-нибудь в стороне узнавали друг друга двое знакомых. Толпа тотчас перемещалась. Каждый из прохожих считал своим долгом помочь встретившимся в разговоре, что неизбежно приводило к драке. Возникало сразу два водоворота, а знакомые сидели на земле и играли в шахматы. Наконец оба водоворота сливались в один, на этот раз вокруг шахмат.

Между толпами, очевидно, иногда возникает безлюдье, подобно расступившимся водам Красного моря, когда его переходили иудеи. Иначе я не мог представить, как Большой Скорпион с отрядом пройдет к своему дому, найдя себя в центре Кошачьего города. Завидев впереди людское море, я подумал, что Большой Скорпион обойдет его, но он вторгся в самую гущу. Грянула музыка, которую я сначала принял за приказ расступиться, и понял свою ошибку, когда зеваки с интересом бросились к музыкантам. Расчет Большого Скорпиона был иной: под звуки инструментов его солдаты стали бить дубинками по головам прохожих, как по барабанам. Тут-то людской поток и расступился. Самое любопытное, что интерес окружающих к нам ничуть не ослабевал, хотя дубинки солдат работали вовсю.

Городские люди-кошки несколько отличались от деревенских. На их головах белели плешины, которые, наверное, возникли благодаря длительной исторической эволюции и солдатским дубинкам. Оказалось, что солдаты бьют прохожих не просто для того, чтобы расчистить дорогу, но и из высших соображений. Стремясь пролезть вперед, зеваки толкались, дрались и даже кусались; передние отчаянно обороняли свои позиции, а солдаты колотили без разбора, стараясь умерить в соплеменниках тягу к сваре.

Я смотрел на жителей и с любопытством и с жалостью. Окружающие дома я почти не замечал, потому что они сразу показались мне некрасивыми, во всяком случае грязными — это ощущал даже мой нос. Если красота и грязь совместимы, то мое суждение о кошачьей архитектуре неверно, хотя я по-прежнему не могу восхищаться дворцом, от которого несет нечистотами.

Итак, я смотрел только на прохожих, но вскоре и это стало мне в тягость, потому что они истошно орали, встретившись со мной взглядом. Городские жители боялись иностранцев меньше, чем деревенские; их крики были вызваны преимущественно изумлением, что не мешало им толкать нас или указывать на меня пальцами. Люди-кошки — существа прямодушные: что видят, на то и показывают. Но я все-таки не мог избавиться от земных понятий, а потому раздражался и страдал. Тысячи пальцев были направлены на меня, словно пистолеты, а за каждым пальцем торчал любопытный нос и блестели круглые глаза. Их пальцы, носы и взгляды как будто нивелировали меня, лишали всякой индивидуальности.

Теперь я не смел поднять головы. Это давало мне и некоторые преимущества, так как дорога была вся в колдобинах и зловонных лужах; я бы вывалился, как свинья, если бы глазел по сторонам. Люди-кошки, наверное, не чинили дорог в течение всей своей многовековой истории, которой они бахвалились. Как бы мне вообще не возненавидеть историю, особенно многовековую!

К счастью, мы вскоре добрались до жилища Большого Скорпиона. Здесь я окончательно понял, что городские дома людей-кошек мало отличаются от жалкой хижины, которая была отведена мне в дурманной роще.

## 12

Дом Большого Скорпиона, стоявший, как уже говорилось, в центре города, представлял собой четыре высоких стены, без окон и дверей. Такими же были и соседние дома, которые я разглядел только потому, что вечерняя прохлада разогнала толпу зевак.

Над стеной показалось несколько кошачьих морд. Большой Скорпион что-то крикнул, и морды пропали. Потом снова появились, спустив к нам толстые веревки для тюков. Уже стемнело, на «улице» не осталось ни одного прохожего. Тюки были втащены еще не все, но солдаты забеспокоились, явно ленясь работать, хотя ночью они видели.

Большой Скорпион с величайшей осторожностью спросил меня, не согласусь ли я ночевать здесь, на оставшихся тюках. Тут я впервые пожалел об электрических фонариках, разбившихся вместе с кораблем. Если бы у меня был фонарик, я мог бы спокойно, без назойливых сопровождающих, осмотреть Кошачий город. Что же до ночлега, то спать на открытом воздухе, судя по моему деревенскому опыту, не хуже, чем в кошачьем доме, а обозреть это жилище я еще успею. Большой Скорпион очень обрадовался, распустил солдат и, ухватившись за веревку, исчез за стеной.

Я остался один. Дул ветерок, звезды казались ярче обычного — словом, все говорило об осени. Только вонючая канава неподалеку мешала наслаждаться тишиной и ночной прохладой. Чтобы перебить этот запах, а заодно поужинать, я съел несколько дурманных листьев и стал бродить взад-вперед, размышляя над увиденным за день.

Почему люди-кошки, днем такие активные, ночью все прячутся? Может, это вызвано общественными неурядицами? Как они живут в домах, где нет ни света, ни воздуха, а только вонь, грязь и мухи?! А, понимаю, они боятся грабежей! Но ведь самый лютейший грабеж бледнеет перед болезнями, которые отнимают самое жизнь... — Мне снова почудился разящий перст, и я вздрогнул. — Если на такой город обрушится чума или холера, он опустеет буквально за неделю! Этот город становился мне все противнее. огромной черной тенью лежал он под звездным небом, в полнейшей тишине, испуская одно зловоние.

Оттащив несколько тюков подальше от канавы, я лег на них и устался на звезды. Ложе получилось совсем недурное, но мне по-прежнему было печально. Я даже начал завидовать людям-кошкам. Они живут хоть и в грязи, но со своими родными. а у меня на Марсе нет никого, кроме звезд да Большого Скорпиона. Я горько усмехнулся, в глазах у меня стояли слезы.

Уснуть мешала и мысль о том, что мне нужно стеречь дурманные листья. Когда я уже был готов пренебречь своими обязанностями, кто-то похлопал меня по плечу. Я вскочил, протер глаза и увидел двух людей-кошек. Они показались мне духами, так как минуту назад здесь никого не было. По-видимому, и на цивилизованных людей действуют первобытные суеверия.

Еще не рассмотрев пришельцев, я уже понял, что это не обычные кошки, раз они посмели дотронуться до меня. О пистолете я забыл, как и о том, что я на другой планете.

— Садитесь! — сказал я; это было единственное вежливое кошачье слово, которое я тогда вспомнил.

Они спокойно сели. Это еще больше изумило меня: за долгие дни, проведенные мной на Марсе, люди-кошки впервые так свободно принимали мои знаки внимания.

— Мы иностранцы, — сказал тот, который был полнее. — Догадываетесь, почему мы об этом говорим?

Я утвердительно кивнул.

— Вы ведь тоже иностранец, — на всякий случай добавил худой.

Они говорили непринужденно и с уважением друг к другу — не так, как Большой Скорпион, который заранее подготавливал свои лицемерные афоризмы, предпочитая изрекать их в одиночку.

— Я прилетел с Земли.

— О! — удивленно протянули они. — Мы давно мечтали установить связь с другими планетами, но нам это никак не удавалось. Мы счастливы видеть землянина!

Оба встали, как бы выражая почтение ко мне. Я вновь почувствовал себя в человеческом обществе и так помрачнел от воспоминаний об утраченном, что забыл ответить на любезность. Они стали расспрашивать меня о Земле. Речь их была простой, ясной, лишенной церемонных красот и вместе с тем вежливой — словом, нормальной человеческой речью. Они, конечно, были во много раз умнее Большого Скорпиона, не говоря уже о прочих людях-кошках, и определенно нравились мне.

Их страна, рассказали они, называется Блестящим государством и лежит в семи днях пути от Кошачьего государства. А тут они занимаются тем же, чем и я, — охраняют рощи местных помещиков.

После того, как я расспросил об их родине, толстяк сказал:

— Земной господин! — Вероятно, он решил, что это самое лестное для меня обращение. — У нас есть для вас предложение: берите эти тюки и переходите жить к нам.

Я чуть не подпрыгнул от испуга.

— Объясни, пожалуйста, если нетрудно, — попросил толстяк худого. — Земной господин, кажется, не понял наших намерений.

— Мы вас напугали? — улыбнулся худой. — Успокойтесь, мы ведь только предложили. Большой Скорпион все равно не оценит вашей преданности и не удивится, если вы ему измените. Разве вам не известны нравы Кошачьего государства?

«Но ведь они тоже кошки!» — мелькнуло у меня в голове.

Он угадал мои мысли:

— Да, наши предки были кошками, как ваши...

— Обезьянами, — подсказал я.

— Совершенно верно. Все мы произошли от животных. — Он испытующе взглянул на меня, как бы проверяя, действительно ли я похож на обезьяну. — Но вернемся к дурманным листьям. Большой Скорпион не будет опечален их пропажей. Напротив, он повсюду развонит, что обворован, и повысит цену на оставшийся товар. Когда богатого грабят, страдают только бедные.

— Вот именно. Кроме того, я обещал стеречь листья и не хочу поступаться своей совестью.

— Правильно, земной господин. На своей родине мы тоже так рассуждаем. Но здесь, в Кошачьем государстве, честность бессмысленна. Говоря откровенно, это просто позор, что на Марсе существует такая страна. Мы не считаем ее жителей за людей.

— Тогда мы тем более должны быть честными. Пусть они не люди, но мы-то люди! — твердо сказал я.

— Земной господин, — вмешался толстяк. — Мы совсем не хотим, чтобы вас терзали угрызения совести, мы пришли предостеречь вас, научить, как не остаться в дураках. Ведь иностранцы должны помогать друг другу.

— Может быть. Кошачье государство потому так и ослабело, что иностранцы объединились против него? — возразил я.

— Отчасти да. Но у нас — я имею в виду на нашей планете — недостаток военной силы никогда не был причиной ослабления международного авторитета. Главной причиной обычно становится утрата достоинства и чести. С таким государством никто не желает сотрудничать. Мы знаем, что во многом виноваты перед Кошачьей страной, однако вряд ли захотим ссориться из-за нее с другими странами. Хотя на Марсе еще немало слабых государств, они не лишились уважения соседей. Ведь слабость порождается разными причинами: географическое положение, стихийные бедствия — все играет роль. Но ни одно из этих государств не утратило собственного достоинства, — это зависит от самих жителей. Вы гость, прилетевший с Земли, вы не раб Большого Скорпиона, а разве он пригласил вас к себе в дом? Разве угостил? Нет, он интересовался только тем, чтобы вы стерегли ему дурманные листья! Я вовсе не подстрекаю вас, а пытаюсь объяснить, почему мы, иностранцы, презираем Кошачье государство.

Толстяк остановился, чтобы перевести дух, и в разговор вступил худой:

— Даже если вы завтра сами попроситесь в дом к Большому Скорпиону, он снова вас не пустит. Почему? Еще узнаете. Сейчас я сообщу вам только одно: здешние иностранцы живут вместе в западной части города, без всяких национальных различий. Как большая семья. На нас двоих возложен прием гостей. Бывалые посетители сами идут к нам, а для встречи новичков мы каждый день посылаем в город дозорных. Почему мы создали отдельную колонию? Потому что отучить местных жителей от грязи совершенно невозможно. Их пища — настоящая отравка, их врачи... Ах, у них вообще нет врачей! Есть и другие причины, о которых сейчас не время распространяться. Словом, мы пришли позаботиться о вас. Можете нам поверить!

Я верил и даже немного догадывался о причинах, обойденных молчанием. Но я попал в Кошачий город и должен заняться прежде всего им. Вполне возможно, что другие страны еще интереснее; скажем, Блестящая страна наверняка культурнее Кошачьей. И все-таки важнее изучить гибнущую цивилизацию. Я не собирался смотреть на историю глазами пессимиста, а надеялся хоть немного помочь местным жителям. Да, я верил в искренность собеседников, но не мог допустить, что все жители здесь такие же, как Большой Скорпион.

Гости снова угадали мои мысли.

— Давайте сейчас ничего не решать, — промолвил толстяк. — Когда бы вы ни пришли к нам, мы будем рады. Идти лучше ночью — это не так утомительно! — прямо на запад. До свиданья, земной господин!

Они ничуть не рассердились, а по-прежнему вели себя открыто и приветливо. Я был очень благодарен им за понимание.

— Спасибо. Я обязательно приду к вам, но сначала хочу все увидеть собственными глазами.

— Будьте осторожны со здешней едой. До свиданья! — повторили они, а я утвердился в своем решении.

Местных жителей можно воспитать, они такие наивные: солдаты бьют их, а они смеются! Чуть стемнеет, ложатся спать и ни гу-гу. Да разве такой народ нельзя цивилизовать?! Если у них появится хороший руководитель, они наверняка станут мирными и достойными гражданами.

Я не мог уснуть. В моем воображении рисовались радужные картины: Кошачий город перестроен, превращен в огромный цветник. Кругом чистота, порядок, стоят красивые скульптуры, щебечут птицы, играет музыка...

## 13

Большой Скорпион даже не сказал спасибо за то, что я сберег ему тюки, и не поинтересовался, где я буду спать следующую ночь. Во всяком случае не в его доме.

— Нет, нет! Если ты будешь жить с нами, тебя перестанут уважать. Ведь ты иностранец. Почему бы тебе не пойти в иностранный квартал?

Какая бесстыдная наглость! Предсказания жителей Блестящей страны сбылись.

Сдержав гнев, я попробовал объяснить, почему мне хочется остаться здесь. Потом намекнул, что готов не жить в его доме, а только посмотреть и уйти. Он вновь не согласился. Этого следовало ожидать: за несколько месяцев, проведенных в роще, я даже не узнал, где он ночует. Сейчас он, наверное, боится, что я проникну в его склад дурманных листьев. Но если бы мне хотелось их украсть, я сделал бы это еще вчера вечером.

Большой Скорпион отрицательно покачал головой: он не может принять меня потому, что у него в доме женщины. Логичный довод, хотя от моего взгляда женщины не пострадают. Впрочем, что тут рассуждать!

В эту минуту над стеной выросла голова старого кота — вся седая, похожая на высушенную тыкву с усами. Это появился отец Большого Скорпиона.

— Нам не надо иностранцев! Не надо! Не надо! — замыкал он.

Я чуть не рассмеялся и в то же время испытал уважение к этому старому коту с тыквенной головой: он по крайней мере не боялся сильных, даже презирал их. Презрение, наверное, пронстекало от невежества, но мне он все равно показался благороднее Большого Скорпиона.

Тут меня отозвало в сторону какое-то молодое существо, а Большой Скорпион, воспользовавшись случаем, улизнул за стену.

Молодой человек-кошка был сыном Большого Скорпиона. Я очень обрадовался этой встрече: теперь я знаком сразу с тремя поколениями. Хотя старшие поколения еще живы и, по-видимому, сохраняют значительную силу, они все-таки принадлежат прошлому. Пульс Кошачьего государства надо щупать на молодежи.

— Ты издалека? — спросил меня Маленький Скорпион. На самом деле у него было свое имя, но для простоты я буду называть его так.

— Издалека! — воскликнул я. — Скажи, этот старик твой дедушка?

— Да. Он считает, что все беды происходят от иностранцев, поэтому очень боится их.

— Он тоже ест дурманные листья?

— Представь себе, ест, хотя они и завезены из-за границы. Он думает, будто позорит этим иностранцев.

Вокруг уже толпилось немало прохожих, которые смотрели на меня, разинув рты и округлив глаза, словно на чудище.

— Нельзя ли нам найти для беседы местечко поспокойнее?

— Куда мы ни пойдем, они двинутся за нами, так что давай говорить здесь. Они совсем не слушают нас, только глазуют на тебя.

Прямота Маленького Скорпиона мне очень нравилась.

— Ладно, останемся здесь. Расскажи о своем отце.

— Он прогрессивная личность, по крайней мере был ею до двадцати лет. Тогда он выступал против дурманных листьев, но потом унаследовал дедовскую рощу. Еще он ратовал за свободу для женщин, а сейчас не пускает тебя к нам, потому что у него в доме женщины. Дед часто говорит, будто я тоже таким стану: в зрелые годы все вспоминают заветы предков. Дед, кроме заветов, ничего не знает. Отец — тот немного другой. В молодости он даже подражал ино-

странцам, а сейчас использует свои знания, чтобы на всем наживаться. Когда надо применить новинку, но ее применит ради выгоды, но в основном они с дедом одинаковы.

Рассказ собеседника ошеломил меня, и я зажмурил глаза. Мне показалось, будто он нарисовал картину общественного круговорота. Вне круга что-то мерцает, но внутри царит крошечная, все сгущающаяся тьма. Развеется ли когда-нибудь тьма — это целиком зависит от таких, как Маленький Скорпион, думал я, хотя еще не знал ни его подлинных взглядов, ни его возможностей.

— А ты ешь дурманные листья? — вдруг спросил я, точно в этих листьях крылись истоки всех бед.

— Ем, — ответил Маленький Скорпион.

Картина общественного круговорота еще больше затуманилась.

— Почему? Извини за бесцеремонность.

— Потому что без них нельзя бороться.

— Бороться? Может быть, приспособливаться?

Маленький Скорпион долго молчал.

— Да. Пожалуй, приспособливаться... — ответил он наконец. — Я был за границей, повидал мир, но среди народа, который ничего не желает делать, можно только приспособливаться, иначе не проживешь.

— А сам ты разве не способен действовать?

— Бесполезно! Что значу я один против глупой, наивной, жалкой и перемчивой в своих настроениях толпы: против солдат, которые умеют только махать дубинками, грабить дурманные рощи да насиловать женщин; против многоумных, корыстолюбивых, близоруких и бесстыдных политиканов? В конце концов своя голова дороже...

— И так думает большинство молодежи?

— Что? Молодежи? У нас такой нет. Вернее, она определяется только возрастом, а вслед за ней идут старые... — Он, наверное, выругался, но я не понял. — Наши молодые иногда древнее стариков, похуже моего папаша...

— Надо помнить о влиянии дурной среды, — попытался я его смягчить. — Не будем чересчур строги.

— Дурная обстановка, конечно, мешает, но ведь она способна и пробуждать! Молодежь должна быть живой, а мои сверстники с самого рождения какие-то полумертвые. Они всем недовольны, однако стоит им почуять хоть малейшую выгоду для себя, как их сердца черствеют...

Теперь я уже встревожился.

— Ты, наверное, преувеличиваешь. Не обижайся на мои слова, но стоит ли превращаться в рассудочного пессимиста, которому не хватает смелости? Свое неумение действовать ты объясняешь чужими грехами, поэтому и видишь все в мрачном свете. Оглянись вокруг, и мир не покажется тебе таким уж безнадежным.

— Возможно, — усмехнулся Маленький Скорпион. — Но эту исследовательскую работу я предоставляю тебе. Ты прибыл издалека и, наверное, увидишь все яснее меня.

Окружавшие нас зеваки в свою очередь уже изучили, как я моргаю и открываю рот. Теперь их любопытство сосредоточилось на моих штанах. У меня была еще масса вопросов к Маленькому Скорпиону, но вокруг не осталось ни глотка свежего воздуха. Я попросил собеседника найти мне какое-нибудь пристанище. Он сначала тоже посоветовал идти в иностранный квартал, причем его доводы были более вескими, чем у кошачьих иностранцев. Наконец он сказал:

— Я не думаю, чтобы ты всерьез занялся изучением нашей жизни, твоя горячность скоро испарится. Но если ты в самом деле решил жить здесь, я могу подыскать тебе место. Правда, оно хорошо лишь тем, что в том доме не едят дурманных листьев.

-- Главная, чтобы было место, а остальное пустяки! — воскликнул я, стараясь отогнать от себя мысль об иностранном квартале.

## 14

Я поселился в доме посланника. Сам хозяин давно умер, а его вдова имела одну особенность (помимо того, что съездила за границу): не ела дурманных листьев и твердила об этом раз сто на дню. Как бы там ни было, я наконец обрел пристанище и с гордостью молодого котенка полез на стену, чтобы увидеть внутренность городского дома.

Когда я прикоснулся к этой стене, мое сердце слегка екнуло: мне показалось, что стена качается и осыпается под моими руками. Вообще стена походила на сыроватую глиняную лепешку, в чем я окончательно убедился, добравшись до верха.

Крыши не было никакой. Что же они делают во время дождя? Любопытство еще больше укрепило меня в намерении пожить здесь. Аршинах в пяти от стены начинался деревянный помост с дырой, из которой выглядывала вдова посланника.

Ее широкое лицо и пронзительный взгляд меня не удивили. Но сквозь толстый слой пудры у нее пробивались серые волоски, как у тыквы, подернутой инеем. Это немного смущало.

— Вещи можешь класть на помост, весь верх твой, а вниз не спускайся. Кормлю два раза — на рассвете и в сумерках, не опаздывай. Дурманных листьев мы не едим, плату вперед! — Посланница знала толк в дипломатических переговорах.

Я отсчитал деньги — из тех пятисот национальных престижей, которые еще в деревне получил с Большого Скорпиона. Весь мой багаж был на мне, это следовало считать преимуществом, потому что как-то глупо везти мебель в дом, состоящий из помоста и четырех стен. Хорошо бы мне не свалиться в дыру на этом помосте, и все будет в порядке. Правда, кроме дыры, на помосте был еще слой глины, запах которой совсем не вязался с моим представлением о полевой резиденции. Сверху будет припекать, снизу смердеть... В общем, я понял, почему люди-кошки весь день толкуются на улице.

Не успел я последовать их примеру, как из дыры снова показалась мадам, а вслед за ней — восемь кошек помоложе. Нерешительно озираясь на меня, они попрыгали на стену. Вдова тоже оглянулась, уже со стены.

— Мы уходим, до свиданья! — сообщила она. — Ничего не поделаешь, после смерти мужа все эти дуры свалились на мои плечи. Ни денег, ни мужа, а только восемь молоденьких тварей, за которыми я должна присматривать. Дурманных листьев мы не едим. Муж был посланником, я — его женой, и вот теперь я должна с утра до вечера следить за этими распутницами!

После этой тирады оставалось только убраться, иначе у нее просто не хватило бы бранных слов. К счастью, она оказалась сообразительной и тотчас исчезла.

Я терялся в догадках. Кто эти молодые женщины? Дочери посланника, сестры или наложницы? Конечно, наложницы! Они, наверное, есть и у Большого Скорпиона, поэтому он и не пустил меня к себе. Представляю, что за грязь, неразбериха и вонь царят там, под помостом, где старая кошка стережет восьмерых «распутниц», как она выражается. Напрасно я поселился в таком доме... Но деньги уже уплачены, и мне надо взглянуть, что делается внизу. Может быть, воспользоваться отсутствием хозяев? Нет, пожалуй, неловко. Пока я колебался, над стеной опять показалась голова посланницы:

— Скорее выходи из дома, а то знаю вас: подсматривать полезешь!

Смущенно повинувшись, я перелез через стену. Куда же идти? Поговорить можно только с Маленьким Скорпионом, хотя он и скептик. Но где его сейчас найдешь! Дома его, конечно, нет, а искать на улице все равно что искать иголку в море. Я протискивался сквозь толпу и видел вдали дома, которые, наверное, принадлежали аристократии или правительственным учреждениям, потому что они были гораздо выше остальных. Чем дальше от центра, тем меньше и хуже

строения — по-видимому, лавки да обиталища бедноты. Сообразив это, в Кошачьем городе очень легко ориентироваться.

Из толпы выбросило стайку женщин-кошек (они обычно светлолицы), которые направились прямо ко мне. Я снова смутился: Большой Скорпион и посланница дали мне понять, что местные женщины очень забиты, а эти бродят, где хотят, — должно быть, легкого поведения. Новичку лучше вести себя осторожнее. Но не успел я ретироваться, как услышал голос Маленького Скорпиона:

— Уже приступил к изучению?

Оказалось, что женщин ко мне вел он. В одно мгновение я был окружен.

— Ну как, подарить одну? — смеялся Маленький Скорпион, поглядывая на своих спутниц. — Это Цветок, это Дурман — почище дурманных листьев, — это Звездочка...

Он назвал всех, но я не запомнил всех имен. Дурман подмигнула мне, и я растерялся. Если это женщины легкого поведения, то мне не мешает подумать о своей репутации, а если порядочные, то как бы их не обидеть. Говоря откровенно, я не очень люблю женщин. Их привычка мазаться, по-моему, свидетельствует о фальши и неискренности. Конечно, некоторые женщины не мажутся, но они тоже притворщицы. В общем, я старался держаться от женщин подальше и уважать их на расстоянии.

Маленький Скорпион, видимо, понял меня и стал шутя отталкивать девушек:

— Идите, идите! Дайте нам пофилософствовать!

Девушки засмеялись, втиснулись в толпу, а я по-прежнему стоял растерянный.

— Старые деятели предпочитают брать наложниц, новые деятели — жениться, а мы, пресыщенные старым и ненавидящие новое, не любим ни наложниц, ни жен, — задумчиво сказал Маленький Скорпион. — Лучше уж просто поселиться. Приспособленчество. Но кто устоит от приспособленчества к женщинам?

— Твои спутницы похожи на... — Я не знал, как лучше выразиться.

— Они похожи на всех женщин. Их можно и притеснять, и любить, и уважать, и кормить — кто как хочет. Сами женщины никогда не меняются. Еще моя прабабушка пудрилась, то же делают и бабушка, и мать, и сестры, и эти девушки, да и внучки этих девушек будут пудриться. Запри их в комнату, они станут пудриться, выпусти на улицу — то же самое.

— Вот именно! — воскликнул я.

— Ну и что же? Признавая их слабости, мы как раз и проявляем уважение к женщинам. Ради них мужчины врут без передышки, превращаются то в святых, то в зверей. А женщины всегда чисты, всегда задорны и пудрятя, если не очень красивы от природы. Если бы мужчины чувствовали, что их собственные лица недостаточно красивы, они бы тоже пудрились.

Я задумался, не понимая, верит ли он сам в свою забавную теорию. А Маленький Скорпион продолжал:

— Сейчас ты видел так называемых новых женщин, смертельных врагов посланницы и моего отца. Это совсем не значит, что отец готов подраться с ними; он просто ненавидит их за то, что не может продать их, как собственных дочерей, либо запереть в доме, как наложниц. И нельзя сказать, чтобы они были умнее или сильнее посланницы или моей матери. Нет, они истинные женщины, они еще ленивее, еще меньше склонны к размышлениям, зато пудрятя лучше. Они очень милы: даже такой мизантроп, как я, не может не увлечься ими.

— Их что, воспитали в новом духе?

— Воспитали?! — вскричал Маленький Скорпион в каком-то странном возбуждении. — У нас в саду воспитывают, кроме школ. Дед бранится — воспитание, отец торгует дурманными листьями — воспитание, посланница заживо хоронит восьмерых наложниц мужа — воспитание, вонючая канава на улице — воспитание. Этому служат и солдаты, бьющие людей по головам, и те женщины, кото-

рые умеют пудриться лучше других. Когда мне говорят о воспитании, я съедаю лишний десяток дурманных листьев, иначе меня тошнит.

— А здесь много школ?

— Много. Ты разве не видел?

— Нет.

— Надо посмотреть. У нас тут всюду культурные учреждения. Имеют ли они отношение к культуре, это еще вопрос, а учреждения есть, — усмехнулся Маленький Скорпион и вдруг вскинул голову. — Плохо дело, дождь собирается!

Туч на небе было еще мало, но ветер дул все сильнее.

— Пора домой! — сказал Маленький Скорпион, явно побаиваясь дождя. — Когда прояснится, встретимся здесь.

Людской поток понесся, словно подхваченный ураганом. Я тоже бежал, хотя понимал, что в доме без крыши все равно промокну. Мне просто хотелось тоже бежать и смотреть, как весь город, словно безумный, карабкается на стены.

Ударил порыв ветра, небо сразу потемнело, огромная красная молния долетела до самой земли и скрестилась с линией домов. Грянул гром, а за ним посыпались крупные, как куриные яйца, капли дождя. Вдалеке что-то зашелестело, дождь на мгновение утих, небо немного прояснилось — и вдруг опять ветер, новый удар молнии, дождевые капли слились в мощные струи. Небо исчезло... Затем струи дождя внезапно изогнулись, задрожали и тоже пропали. Исчезло все, кроме вспышек молнии.

Но я был уже мокрым насквозь и, главное, не мог понять, где мой дом. Отступив от какой-то стены, я ждал новых молний. Мне казалось, что в небе поблескивает глазами гигантский черный дьявол — не удивительно, что этот блеск не помог мне. А, все равно чей дом, полезу, там видно будет! Уже на стене по знакомому шатанию я почувствовал, что случайно попал к дому посланника. Но в этот миг вспыхнула особенно яркая молния, гром обрушился прямо на меня, стена накренилась, и я, зажмурив глаза, полетел неведомо куда.

## 15

Громовые раскаты стали отдаляться. Во сне я слышу это или наяву? Я пытаюсь открыть глаза, но не могу, потому что вся глина посольского дома, кажется, облепила мне лицо. Да, это настоящий гром, я действительно очнулся. Ни руками, ни ногами тоже не могу пошевелить — они завалены камнями, глиной, как будто кто-то воткнул меня в землю вместо семени.

Наконец высвобождаю руки и голову: дом посланника превратился в бесформенную грудку глины. Я приподнимаюсь и зову на помощь, беспокоясь не о себе, а о хозяевах, которые наверняка погребены живо. Дождь еще капает, на мой крик никто не отзывается. Ведь люди-кошки боятся воды и ни за что не придут, пока небо совсем не прояснится.

Окончательно выбравшись из глины, я начал как сумасшедший разгребать ее, даже не посмотрев, ранен ли я. Тем временем дождь кончился, и все жители высыпали на улицу. Я снова позвал на помощь, люди-кошки прибежали и встали в стороне. Думая, что они не понимают меня, я объяснил, что спастись нужно не меня, а женщин, погребенных в земле. Кошки пододвинулись ближе и снова застыли. Тут я вспомнил, что умолять их бесполезно, и стал искать деньги, которые, к счастью, оказались в кармане.

— Каждый, кто поможет откапывать, получит по одному национальному престижу!

Они оживились, хотя и не очень поверили мне. Я повертел монетой. Зеваки бросились вперед, как осинный рой, но каждый брал лишь по одному камню или кирпичу, явно стараясь на мне нажитья. Ладно, черт с ними, лишь бы помогли откопать. К тому же работа у них, как ни странно, спорилась, как у муравьев, которые растаскивают кучку риса. Буквально через минуту я услышал из-под земли голос, успокоился и тут же снова разволновался, потому что кричала одна

хозяйка. Она сидела прямо в дыре (это мы увидели, когда разобрали развалины), а остальные женщины были придавлены помостом и не двигались. Я хотел помочь ей подняться, но она с возмущением оттолкнула мои руки:

— Не трогай меня, я вдова посланника! Сейчас же верните мне все кирпичи, а то я пойду жаловаться Его Величеству!

Глаза у нее были залеплены глиной, но она догадалась, что ее дом растаскивают, зная привычки своих добрых соплеменников.

Впрочем, искать кирпичи было уже бесполезно: некоторые помощники уносили горстями и землю. «Вот до чего доводит людей нищета,— подумал я.— Они считают, что лучше вернуться домой с горстью земли, чем с пустыми руками».

Посланница соскребла со своей головы глину, обнажив поцарапанные щеки, большую шишку на темени и горящие яростью глаза. Внезапно она бросилась, прихрамывая, за одним из грабителей и с проворством настоящей кошки вцепилась ему зубами в ухо. Тот заорал и начал отбиваться, колотя лапами по ее животу. Долго они крутились на одном месте. Наконец взгляд мадам упал на одну из погибших девиц, она отпустила обидчика, и тот стрелой пустился наутек. Остальные помощники с испуганными вздохами расступились. Обняв труп девушки, старуха горько заплакала:

«Оказывается, она не лишена чувства жалости!» — подумал я, но утешать ее не стал, опасаясь за собственные уши.

Вволю наплакавшись, она взглянула на меня:

— Это ты во всем виноват! Ты обрушил мой дом, а они разграбили его. Но вы от меня не убежите! Я пожалуюсь Его Величеству, и он всех вас казнит!

— Я не собираюсь убежать,— тихо сказал я.— Наоборот, я хочу помочь вам.

— Верю тебе, потому что ты иностранец. А на этих мерзавцев придется жаловаться Его Величеству. Пусть он устроит у них обыск и казнит каждого, у кого окажется хоть один кирпич! Я вдова посланника!

Изо рта у нее от ярости брызнула слюна. Я не был уверен, действительно ли мадам посланница имеет доступ к императору, но стал успокаивать ее, боясь, что она сошла с ума:

— Давайте сначала похороним их...

— А ты знаешь, как их хоронить? Мне хватало возни с живыми распутницами! Можешь сам ими заниматься.

Я умолк, потому что не имел ни малейшего представления о кошачьих похоронах. Взгляд посланницы стал еще страшнее: слезы в глазах, казалось, высохли от безумного огня, белки излучали какой-то фосфорический блеск.

— Дай хоть тебе пожалуюсь! — закричала она. — Я вдова посланника, дурманых листьев не ем, не имею ни денег, ни мужа, дай хоть тебе пожалуюсь!

Я понял, что старуха действительно сошла с ума: она уже забыла, что считает меня виновником всех бед, и собиралась излить мне свою душу.

— Вот эту чертовку,— она ткнула пальцем в один из трупов,— мой муж взял, когда ей было всего десять лет. Тельце еще не окрепло, а муж уже лакомился им. Помню, в первый месяц, едва стемнеет, как эта чертовка плачет, зовет папу, маму, меня хватает за руки, умоляет, чтобы я от нее не отходила. Но я добродетельная жена и не могла ссориться с посланником из-за какой-то десятилетней паршивки. Если муж наслаждается, я не мешаю, я жена. А эта чертовка орала благим матом при одном приближении хозяина! «Госпожа посланница, госпожа посланница! Милая, спасите меня!» Но разве я похожа на нее, разве я способна мешать господину наслаждаться? А потом она лежала как мертвая — может, притворялась, а может, и в самом деле теряла сознание. Мне не было до этого дела. Я пичкала ее лекарствами, едой, а эта тварь даже ни разу не поблагодарила меня! Потом она выросла и так развилась, что сама была готова проглотить посланника. Когда он брал новую девочку, эта чертовка с утра до вече-

ра рыдала, опять уговаривала меня помешать, но я жена посланника, если он не будет покупать девочек, кто его станет уважать? Она еще винила меня в том, что я не берегу мужа, позволяю ему изнашиваться!

Старуха оттолкнула от себя мертвую кошачью голову и схватила за волосы другую.

— Эта тварь была из проституток. Целыми днями ела дурманные листья и моего мужа пыталась приучить. А разве посланника, который ест дурманные листья, пустят за границу? Я не запрещала мужу якшаться с проститутками, но не могла позволить ему потерять место. Ты даже не представляешь, как трудно быть женой посланника! Днем я наблюдала, чтобы эта распутница не воровала дурманных листьев, вечером следила, чтобы она не кормила ими мужа... Проклятая тварь! Она еще удрать хотела все время. Если бы у посланника сбежала наложница, мы были бы навсегда опозорены!

Глаза посланницы снова вспыхнули, она схватила следующую голову.

— А эта стерва была самой зловредной! Из современных! Не успела еще в дом войти, как потребовала, чтобы посланник всех нас выгнал, одну ее своей женой сделал. Ха, ха, ха! Но где там! Мой муж понравился ей только своим званием. Других наложниц он купил, а эта сама отдалась ему, даром. Она весь женский род опозорила! Когда она здесь появилась, муж не смел с нами даже слова молвить. И все время таскалась за ним на улицу, в гости, будто законная жена. А я тогда зачем? Я не мешала посланнику покупать девок, это необходимо, но женой была я, и потому следовало ее проучить. Связала раза три, оставила под дождем, вот она и скисла. Стала просить господина, чтобы он отпустил ее домой, говорила, будто он обманул ее... Разве я могла освободить эту стерву да еще позволить ей снова замуж выйти? Нет уж...

Трудно, очень трудно быть женой посланника. Ни днем, ни ночью я с нее глаз не спускала. К счастью, муж вскоре купил вот эту девушку.— Старуха повернулась и ткнула пальцем в другой труп.— Она ко мне довольно неплохо относилась, даже заключила со мной союз против той стервы. Но женщины все одинаковы, без мужчин жить не могут. Когда посланник спал с новой наложницей, та стерва всю ночь ревела, а я тут как тут. «Ты хотела быть законной женой? — спрашиваю.— Жить с посланником неразлучно? Посмотри на меня! Настоящая жена не пытается захватить мужа целиком, тем более посланника: это тебе не мелкий торговец, который всю жизнь довольствуется одной женщиной!»

Мадам снова схватила голову своей соперницы, несколько раз брякнула ее о землю и взглянула на меня. Я в страхе попятился.

— Когда муж был жив, я даже не отдыхала: одну девушку надо бить, другую ругать, третьей остерегаться. Они растранижили все деньги посланника, высосали из него все силы, а сына ни одного не оставили. Рожать-то рожали, но никто не выжил. Как родится у одной мальчишка, так семеро остальных днем и ночью мечтают его извести, чтобы та не завоевала особую любовь хозяина, не стала его главной наложницей. Я-то им не завидовала и не мешала: пусть губят собственных детей, это их дело. Я законная жена, у меня свое положение... После смерти посланника эти восемь мерзавок достались мне — вместо денег и сыновей! Но позволить им убежать или снова выйти замуж я не могла. Я с утра до вечера до хрипоты урезонивала их, учила величайшим премудростям жизни. Ты думаешь, они что-нибудь поняли? Вряд ли! Однако я не унывала и продолжала свой благородный труд. На что я надеялась? А ни на что, разве только на то, что мои высокие душевные качества, моя добродетель станут известны Его Величеству и он пожалует мне пенсию, а также большую доску с надписью: «Верная и стойкая жена». Но... ты слышал, как я сейчас плакала. слышал?

Я кивнул.

— А почему я плакала? Ты думаешь, из-за этих дохлых тварей? Еще чего! Я оплакивала свою судьбу, судьбу вдовы посланника, которая не ест дур-

манных листьев и у которой только что обвалился дом. Все, что я создавала, рухнуло. Если Его Величество примет меня и, сидя на своем драгоценном троне, спросит: «Госпожа посланница, в чем твои заслуги?» — что я смогу ответить ему? Я пролепечу, что стерегла восьмерых наложниц умершего мужа, не дала им пасть или убежать. «А где они?» — спросит Его Величество, и тут мне придется сказать, что они умерли. «Где же доказательства твоего подвига?» — снова спросит Его Величество...

Посланница уронила голову на грудь. Я хотел подойти, но боялся, что она прирвется за меня. Внезапно старуха вскинула голову:

— Вдова посланника, ездил за границу, отказалась от дурманных листьев!.. Пенсия!.. Большая доска!..

Глаза ее остекленели, голова поникла, и она медленно опустилась между двумя мертвыми кошками.

## 16

Я был подавлен жалобой посланницы, потсмую что в ее рассказе мне открылась женская доля в Кошачьем государстве за многие столетия — словно моя рука перелистала самые мрачные страницы истории, и я не мог больше читать.

Напрасно я не пошел в иностранный квартал, теперь я снова бездомен. Куда же идти? Люди-кошки, помогавшие мне откапывать засыпанных, по-прежнему смотрели на меня, явно ожидая денег. Да, они растащили резиденцию посланника, но ведь это не могло лишить их обещанного вознаграждения. Запустив руку в карман, я достал пятнадцать национальных престижей и швырнул на землю: пусть сами делят. Страшно трещала голова — наверное, я заболел. Хозяев моих не воскресить, под старухой виднелась лужи крови, а глаза ее были широко раскрыты, как будто она и после смерти следила за наложницами мужа. У меня не хватило бы сил похоронить их, соседям было все равно, в общем, я задыхался от омерзения и отчаяния.

Но что же тогда здесь сидеть? Я с трудом поднялся и заковылял, изрядно подорвав веру жителей в силу иностранцев. Улица опять была полна народу. Несколько молодых людей-кошек писали мелом на стенах. Стены уже почти просохли, и едва подул ветерок, как надписи стали необычно яркими: «Движение за чистоту», «Все помыто»... Несмотря на головную боль, я не мог удержаться от смеха. Ловко они работают: после того как дождь вымыл весь город, наведение чистоты не потребует ни малейших усилий! Даже в вонючей канаве вода стала прозрачной. Движение за чистоту! Ха, ха, ха! Может, я свихнулся? Мне очень хотелось вытащить пистолет и пристрелить тех, кто писал лозунги.

Тут я вспомнил шутку Маленького Скорпиона насчет культурных учреждений и свернул в сторону — не для того, чтобы посмотреть на них, а просто чтобы найти укромный уголок. Мне всегда казалось, что дома на улице должны стоять лицом друг к другу, но тут были видны только задние стены. Этот новый порядок градостроительства отвлек меня от головной боли, хотя я понимал, что он вполне естествен для людей-кошек, которые не любят свежий воздух и солнечный свет. Между домами никакого просвета — в общем, это не улица, а фабрика эпидемий. Голова опять разболелась, и я совсем помрачнел, потому что болезнь на чужбине могла лишить меня всякой возможности вернуться в Китай.

Найдя первое попавшееся место в тени, я лег и тотчас потерял сознание.

Очнувшись я уже в комнате, причем очень чистой. Это показалось мне настолько невероятным, что я потрогал свой лоб, вообразив, будто от высокой температуры у меня начались галлюцинации. Но лоб был не очень горячим. Я еще больше удивился и решил опять заснуть, потому что чувствовал себя слабым. Послышались легкие шаги, я приоткрыл глаза — а, это Дурман, которая почище дурманных листьев! Она подошла и тоже потрогала мой лоб, потом тихо сказала:

— Ему уже лучше.

Совсем открыть глаза я не решался, так как не мог понять, зачем я нужен этой девушке. Но тут вошел Маленький Скорпион, и я успокоился.

— Ну, как он? — спросил мой приятель.

Не дожидаясь, пока Дурман ответит, я открыл глаза.

— Тебе лучше? — обрадовался Маленький Скорпион.

Я сел и постарался тотчас удовлетворить свое любопытство:

— Это твоя комната?

— Наша с ней, — Маленький Скорпион показал на Дурман. — Я с самого начала хотел поселить тебя здесь, но боялся, что отец разозлится. Он ведь думает, будто ты его собственность, и не позволяет мне с тобой дружить. Говорит, что у меня и так много иностранных замашек.

— Спасибо вам, — промолвил я, оглядывая комнату.

— Ты, наверное, удивляешься, почему здесь чисто? Это и есть иностранные замашки, о которых говорит мой отец.

Маленький Скорпион и Дурман рассмеялись, а я подумал, что юноша действительно похож на иностранца. Даже его словарь раза в два богаче, чем у отца; по-видимому, многие слова Маленького Скорпиона заимствованы из других кошачьих языков.

— Это ваш собственный дом? — спросил я.

— Нет, одно из культурных учреждений; мы просто заняли его. Высокопоставленные люди могут захватывать учреждения. Не уверен, что этот обычай хорош, но мы по крайней мере содержим комнату в чистоте, иначе от культуры и следа бы не осталось. В общем, приспособляемся, как ты однажды сказал. Дурман, дай ему еще листьев!

— Я уже ел их?!

— Если бы мы не напоили тебя соком дурманных листьев, ты бы никогда не очнулся. Здесь это универсальное средство. Если уж оно не вылечивает — значит, пропал человек. У дурманных листьев есть только один изъян: больных лечит, а страну губит! — сказал Маленький Скорпион со своей скептической усмешкой.

Я выпил еще немного сока и действительно прибодрился. Но делать ничего не хотелось. Жители Блестящего государства и другие иностранцы проявляют большую мудрость, когда поселяются отдельно. С кошачьей цивилизацией шутки плохи: стоит приблизиться к ней, как она обволакивает тебя, словно масло, или затягивает, будто водоворот, из которого никогда не выбраться. Лучше не приезжать в Кошачье государство, но если приехал, неизбежно превратиться в кошку. Вот я не хотел есть дурманных листьев, и что же? Все равно ем! Альтернатива поистине жесткая: либо ты не здесь и не ешь, либо ты здесь и ешь. Если бы эта цивилизация охватила весь Марс — а многие жители Кошачьего государства наверняка лелеют такую мечту, — то марсиане вскоре вымерли бы от грязи, болезней, беспорядка, глупости, темноты. Конечно, в кошачьей цивилизации есть и светлые стороны, но они не способны выдержать борьбу с мраком. Я предчувствовал, что в один прекрасный день этот мрак будет побежден настоящим светом или каким-нибудь ядом вроде тех, которыми травят микробов. Однако сами люди-кошки о подобном и не задумываются. Маленький Скорпион, может быть, и задумывался, но теперь считает, что шахматная партия проиграна, беспечно смешивает фигуры и смеется над собственным поражением. А остальные люди-кошки просто спят.

Я хотел расспросить Маленького Скорпиона и о политике, и об образовании, и об армии, и о финансах, и о хозяйстве, и о семье...

— В политике я мало понимаю, — сказал он. — Об этом нужно спросить отца, он специалист. Остальное мне более или менее известно, но лучше тебе все-таки самому понаблюдать, а потом уж меня спрашивать. По-настоящему я разбираюсь только в культуре, потому что отец не может за всем уследить и

выделил эту область мне. Если ты хочешь осмотреть школы, музеев, библиотеки, тебе достаточно только сказать...

Я почувствовал себя еще лучше, чем после дурманного сока: благодаря двум Скорпионам я познакомлюсь едва ли не с самыми главными областями жизни в Кошачьем государстве — политикой и культурой! Но могу ли я остаться жить в этой чистенькой комнате? Честно говоря, у меня не было ни малейшего желания покинуть ее, и в то же время не хотелось унижаться перед хозяевами. Ладно, подожду, пусть сами решат.

Маленький Скорпион осведомился, что я намерен осмотреть прежде всего. К моему стыду, мне по-прежнему было лень двигаться, поэтому я попросил его рассказать о своей жизни. Он усмехнулся. Эта усмешка всякий раз казалась мне и милой и неприятной: он явно чувствовал свое превосходство над другими людьми-кошками, но не желал ничего делать, боясь испачкать лапы! Он, наверное, страдал из-за того, что родился в Кошачьем государстве, воображал себя единственной розой среди чертополоха, а я не люблю зазнайства.

— О детстве моем рассказывать неинтересно, — начал Маленький Скорпион, сидя рядом с Дурман, которая глядела на него во все глаза. — Родители меня любили, но я тут ни при чем. Дед тоже любил — в этом нет ничего удивительного, потому что все дедушки обожают своих внуков. — Он задумался, поднял голову, и Дурман последовала за ним взглядом. — Впрочем, есть одна деталь, о которой тебе стоит знать, хотя мне не очень приятно о ней говорить: моей кормилицей была проститутка. Это считалось в нашей семье вполне естественным, как и то, что мне нельзя было играть с другими детьми. Ты спросишь, почему проститутка согласилась возиться с ребенком? Из-за денег. У нас говорят, что «деньги даже чертей привлекают». Наняли ее потому, что проститутки считаются лучшими воспитателями для мальчиков, а солдаты — для девочек. Просветившись в вопросах пола, дети рано женятся, сами рожают детей и тем наслаждаются своих предков.

Всей науке Кошачьего государства меня обучали, кроме проститутки, пятеро учителей, похожих на чурбаны. Потом один из учителей перестал походить на чурбан и сбежал с моей кормилицей, а остальные постепенно уволились. Когда я вырос, отец послал меня за границу. Он считал, что человек, умеющий сказать несколько фраз на иностранном языке, все постиг. Ему нужен был эрудит. За границей я прожил четыре года, все понял, но, вопреки желанию отца, не все постиг, а только набрался иностранных замашек. К счастью, он не перестал из-за этого любить меня, по-прежнему дает мне деньги, и я имею возможность поселиться со Звездочкой, Цветком и Дурман. Внешне я наследник отца, его полномочный представитель в вопросах культуры, а фактически всего лишь паразит. На дурные дела я не размениваюсь, но и на хорошие не способен. Приспосабливаюсь: мне все больше нравится это слово! — улыбнулся Маленький Скорпион, и Дурман засмеялась вместе с ним.

— Дурман — моя подруга, — продолжал Маленький Скорпион, предвосхитив мой вопрос, — подруга, с которой я живу, помимо жены. Это тоже иностранная привычка. Кормилица меня уже к шести годам всему научила, так что в двенадцать лет, когда я женился, меня отнюдь нельзя было назвать профаном. Моя жена все умеет, особенно рожать; отличная женщина, как говорит мой отец. Но мне больше нравится Дурман. У отца двенадцать наложниц, поэтому он и меня убеждает взять Дурман в наложницы, хотя ненавидит ее. Ко мне он относится лучше, потому что объясняет все иностранными замашками, но иногда злится и на меня. Дело в том, что мое сожительство с Дурман оказывает сильное влияние на нашу молодежь. Ты ведь знаешь, что отношения мужчин и женщин у нас сводятся только к блуду. Ради этого женятся, берут наложниц, ходят к проституткам, заключают свободные союзы. На первом месте — дурманские листья, на втором — блуд. Поскольку для молодежи я образец, теперь все, кроме жен, имеют любовниц. Но старики ненавидят меня, потому что для любовниц по иностранному обычаю нужно снимать специальное

жилье, тратить на них деньги, ссориться с родителями, если денег не хватает. В общем, мы с Дурман большие преступники.

— А совсем порвать с семьей ты не можешь? — спросил я.

— Что ты! Денег нет. Свободный союз — иностранный обычай, но он отнюдь не устраняет национальную привычку требовать деньги у стариков. Если эти обычаи не примирить, то к жизни не приспособишься.

— Почему же старики не разлучат вас?

— А что они могут сделать? Они-то и завели этот порядок, держат наложниц и, естественно, не борются по-настоящему со свободным браком. Ни они, ни мы — никто ничего не может поделать. Старики домогаются наложниц, молодые — свободы; внешне идет борьба за принципы, а на самом деле за сожительство с кем захочешь. Во всех случаях рождается множество котят, которых никому ни кормить, ни воспитывать. Так делали и деды, и отцы, и мы так делаем. На свете нет ничего противнее ответственности.

— Но как же к этому относятся сами женщины?

— Скажи. Дурман! Ты ведь женщина, — попросил Маленький Скорпион.

— Я? Я люблю тебя, и мне нечего больше сказать. Если ты хочешь вернуться к жене, которая умеет рожать, иди. Когда я узнаю, что ты разлюбил меня, я просто съем сорок дурманных листьев, и все будет кончено!..

## 17

Комната осталась за мной, хотя ни я, ни Маленький Скорпион не говорили об этом. На следующий же день я начал свою исследовательскую работу. Никакого определенного плана у меня не было. Просто ходил и смотрел.

В конце улицы дети почти не показывались — все они сосредоточились здесь, около культурных учреждений, и я обрадовался: по-видимому, люди-кошки не забывают своих детей, воспитывают их, сейчас, должно быть, послали в школу.

Кошачьи дети — самые жизнерадостные существа в мире. Грязные (невероятно грязные, невозможно описать, до чего грязные), худые, вонючие, уродливые, безносые, прыщавые, но очень жизнерадостные. Я видел одного мальчишку, у которого физиономия вспухла, как глиняный горшок, рот даже закрыться не мог, щеки в кровь исцарапаны, а он прыгал, бегал и смеялся вместе со всеми. Мое оптимистическое настроение моментально улетучилось. Я не мог представить себе такого мальчишку в нормальной семье или школе. Живость? Только общество идиотов могло породить грязных, худых, вонючих, уродливых, безносых, но все-таки жизнерадостных детей. Это подражание взрослым и наказание им. Когда эти дети вырастут, страна станет еще грязнее, вонючее и уродливее. Я снова увидел грозный перст, занесенный над Кошачьим государством. Многоженство, свободные союзы, блуд — и ни единой мысли о будущем. Что за беспечность!

Но я все-таки не хотел спешить с заключениями и вслед за детьми направился к школе. Это была пустая площадка, окруженная стеной. Дети вошли в ворота, а я стал наблюдать с улицы. Одни школьники катались по земле, другие лезли на стену, третьи что-то рисовали на ней. Учителей не было. Наконец вдали появились трое взрослых, худых, как скелеты. Казалось, они с самого рождения ни разу не ели досыта. Учителя — их профессию было теперь легко определить — шли медленно, держась за стену; при каждом дуновении ветерка оставались и долго дрожали. Когда они вползли в ворота, школьники продолжали кататься, шуметь, лазать на стены. Чтобы отдышаться, учителя сели на землю, закрыли глаза и заткнули уши, так как дети шумели все больше. Потом учителя поднялись и стали уговаривать детей сесть, но те, видимо, решили ни за что не соглашаться. Промучившись примерно с час, учителя догадались воскликнуть:

— За воротами иностранец!

Тут дети плюхнулись на землю и уже больше не смели повернуть головы. Один из учителей заговорил.

— Первым делом споем государственный гимн, — сказал он.

Но никто не запел; все оторопело смотрели на учителя.

— Тогда восславим императора.

Все по-прежнему молчали.

— Помолимся богам!

Тут дети, не выдержав, начали толкать друг друга, кричать и ругаться.

— За воротами иностранец!

Школьники снова притихли.

— С вами хочет говорить директор.

Директор вышел вперед и воззрился на склоненные головы.

— Сегодня для вас торжественный день, вы кончаете институт...

Я чуть не упал в обморок. Как?! Это институт, и эти сопляки кончают его? Но не надо давать волю чувствам, лучше внимательно послушать.

— Вы кончаете высшее учебное заведение, — продолжал директор, — и должны осознать, какая это торжественная минута. Теперь вы овладели всеми науками, и важнейшие дела государства легли на ваши плечи. Это огромная честь! — Директор протяжно и громко зевнул. — Все!

Преподаватели яростно заплодировали, а «студенты» снова начали шуметь.

— Иностранец!

Все стихли.

— Слово преподавателям.

Преподаватели долго пререкались, уступая друг другу очередь. Наконец один из них, особенно худой, сделал шаг вперед. Я сразу понял, что этот господин — пессимист, потому что в уголках его глаз повисли две огромные слезы.

— Господа, — сказал он с невыразимой печалью. — Сегодня вы кончаете высшее учебное заведение и должны осознать, какая это торжественная минута. — Одна из его слезиц капнула. — В нашей стране все учебные заведения высшие, это особенно приятно! — Упала вторая слезица. — Не забудьте добро, которое делали вам директор и преподаватели. Для нас большая честь быть вашими учителями, но вчера вечером умерла от голода моя жена, это... — Он долго боролся с собой и наконец взял себя в руки. — Не забудьте своих учителей, помогайте им, чем можете: деньгами или дурманными листьями. Вы, наверное, знаете, что мы уже двадцать пять лет не получаем жалованья. Господа!.. — Он не мог больше продолжать и, пошатнувшись, сел на землю.

— Сейчас будут выдаваться дипломы.

Директор вытащил из-под стены кучу каменных пластинок, на которых было что-то написано (что именно, я не разглядел), положил их перед собой и произнес:

— Вы все заняли первое место, можете гордиться! Теперь подходите и берите любой диплом. Они абсолютно одинаковые, потому что все вы заняли первое место. Торжественное собрание объявляю закрытым.

Директор повернулся и медленно побрел к воротам, следом за ним поплелись преподаватели. Но студенты даже не думали о дипломах — они предпочли снова карабкаться на стенку, орать или кубарем кататься по земле.

«Что за чертовщина?!» — подумал я и пошел за объяснением к Маленькому Скорпиону. Его не оказалось дома; пришлось вернуться и продолжить наблюдения.

Наискосок от «института», который я только что видел, было другое учебное заведение, наполненное юнцами лет по пятнадцать—шестнадцать. Несколько юнцов прижали кого-то к земле и явно пытались его оперировать. Рядом толпа учащих связывала сразу двоих. Это, наверное, был семинар по биологии. Хотя подобные опыты показались мне слишком жестокими, я решил досмотреть до конца. Между тем связанных бросили к стене, а у оперируемого отрезали руку и подкинули ее в воздух!

— Посмотрим, как он теперь будет руководить нами, дохлая тварь!— кричали юнцы.— Ты хотел, чтобы мы учились? И еще не разрешил трогать девушек? Общество разложилось, а ты заставлял нас учиться?! Вырвать у негодяя сердце!

В воздух взлетело что-то кроваво-красное.

— Тех двоих связали? Тащите сюда одного!

— Директора или историка?

— Директора!

Я застыл от ужаса. Оказывается, они резали учителей! Вполне возможно, что эти учителя ничего хорошего не заслуживали, но я никогда не видел, чтобы школьники сами чинили расправу, да еще такую жестокую. Взбешенный этим фантастическим произволом, я выхватил пистолет и нажал курок, забыв, что для людей-кошек достаточно моего окрика. Отсыревшие после дождя стены не выдержали натиска убежавших и рухнули, завалив и учителей и их убийц. Я растерялся. Конечно, директор заслуживал смерти: засыпал в стену какую-то труху, а деньги, отпущенные на строительство, небось присвоил. Однако надо помочь придавленным. Я лихорадочно бросился разгребать мусор и вытащил многих, но каждый убежал от меня как сумасшедший, даже не стряхнув с себя грязи. Тяжелораненых не было. Я облегченно вздохнул и даже нашел это приключение забавным. В конце концов удалось извлечь директора и уцелевшего преподавателя, которые не убежали, потому что были связаны. Положив их в сторонке, я стал ворошить ногами мусор, стараясь определить, нет ли там еще кого-нибудь. Но больше никого не осталось, и я вернулся к связанным, чтобы снять с них путы.

К счастью, они очнулись без всякого лекарства, которого у меня и не было, и медленно сели, со страхом озираясь по сторонам. Я усмехнулся и задал первый из множества интересовавших меня вопросов:

— Кто из вас директор?

Они испуганно переглянулись и показали друг на друга.

«Совсем ошалели»,— подумал я.

Они так же медленно поднялись, закивали головами и вдруг побежали, как две стрекозы, гоняющиеся друг за другом. Я решил, что они хотят размяться, но их уже и след простыл. Состязаться с людьми-кошками в беге было бесполезно. Я вздохнул и сел на землю.

Вот оно в чем дело! Едва очнувшись, они уже дрожали за свою шкуру, поэтому и показывали друг на друга, считая, что я тоже хочу убить директора! Я горько засмеялся — не над ними, а над обществом, в котором они живут. Всюду у них царит подозрительность, эгоизм, подлость, жестокость. Ни капли доверия, доброты, благородства! Раз ученики режут директора — значит, он не смеет называться директором даже перед другими. Мрак, мрак, крошечный мрак! Неужели они не видели, что я спас их? А-а, им, наверное, никогда никто не помогал! Я вспомнил посланницу с ее молодыми кошками. Должно быть, они до сих пор там гниют. Директора, преподаватели, учителя, посланницы, молодые распутницы... Где же люди? И вообще, что вокруг происходит?!

Чуть не заплакав, я снова отправился за объяснениями к Маленькому Скорпиону.

## 18

Вот что рассказал Маленький Скорпион:

— Кошачье государство древнее и имело свою систему образования еще тогда, когда многие страны Марса были населены дикарями. Но современные учебные заведения, которые ты сегодня видел, мы заимствовали из-за границы. Это отнюдь не значит, что подражание вредно; напротив, оно необходимо и является одной из движущих сил прогресса. Кроме того, оно показывает, кто вырвался вперед, а кто отстал. Недаром нашу систему образования никто не заимствовал, а мы были вынуждены заняться подражанием еще двести с лиш-

ним лет тому назад. Если бы мы подражали правильно, то давно стали бы ровень с другими государствами, но мы даже подражать не умеем, и получилась у нас одна глупость. Собственное не развили, чужому не научились... Да, я пессимист и считаю свою нацию слабой. Переделывать ее смешно, так же как и надеяться на наше образование. Ты спрашиваешь, почему маленькие дети у нас учатся в институтах?! Ты слишком наивен, вернее недогадлив. Эти дети вовсе не учились, они пришли сегодня впервые. Если уж разыгрывать комедию, так до конца — этим только мы и славимся. История нашего образования за последние двести лет — это история анекдотов; сейчас мы добрались до заключительной страницы, и ни один умник уже не способен выдумать анекдот, который был бы смешнее предыдущих. Когда новое образование еще только вводилось, в наших школах существовали разные классы, учеников оценивали по качеству знаний, но постепенно экзамены были упразднены (как символ отсталости), и ученик кончал школу, даже если не ходил в нее. К сожалению, выпускники начальных школ и университетов пользовались неравными привилегиями, и это вызвало недовольство учащихся начальной школы: «Ведь мы ходим на уроки не меньше, чем студенты!» Тогда была проведена кардинальная реформа, согласно которой день поступления в школу считался одновременно днем окончания университета. А потом... Прости, «потом» не было. Какое тут может быть «потом»?

Реформа оказалась прекрасной — для Кошачьего государства. По статистическим подсчетам, наша страна сразу заняла первое место на Марсе по числу людей с высшим образованием. Мы очень обрадовались, хотя и не возгордились: люди-кошки любят только факты. Это же факт, что у нас больше всего людей с высшим образованием, поэтому все удовлетворенно улыбались. Император был доволен реформой потому, что она свидетельствовала о его любви к народу, к просвещению. Учителя были довольны тем, что все они стали преподавателями университетов, что все учебные заведения превратились в высшие, а все ученики стали первыми. Отцы семейств с удовлетворением взирали на своих семилетних сопляков, которые кончали университеты, так как умные дети — гордость отцов и матерей. Об учениках я уже не говорю: они были просто счастливы, что родились в Кошачьем государстве. Достаточно им было не умереть к семилетнему возрасту, как высшее образование обеспечено. Еще больший эффект принесла эта реформа с экономической точки зрения. Раньше императору приходилось ежегодно выделять средства на образование, а образованные люди часто начинали вредить ему. За свои же деньги такие неприятности! Теперь стало иначе: император не тратил ни монеты, число людей с высшим образованием все увеличивалось, и ни один из них даже не думал затронуть Его Величество. Правда, многие учителя померли с голоду, но крови проливалось куда меньше, чем прежде, когда преподаватели ради заработка подсиживали друг друга, ежедневно губили своих коллег и подбивали студентов на волнения. Сейчас император просто не давал им жалованья, из-за которого можно было бы соперничать. На протесты Его Величество не обращал внимания или посылал в качестве арбитров солдат. Прежде учителей защищали студенты, но теперь учащиеся непрерывно менялись и помогать никому не желали. Преподавателям оставалось только ждать голодной смерти, а это смерть благородная; против нее император не возражал. Разрешилась и проблема платы на обучение. Теперь отцам семейств достаточно было послать ребенка в школу и дать ему немного еды, если она была. Если же еды не было, то не все ли равно, где голодать: дома или в школе? По крайней мере отпрыск получит высшее образование. На книги и письменные принадлежности тратиться не приходилось, потому что в школу ходили не учиться, а получать диплом. Ну скажи, разве не прекрасная реформа?

Ты спрашиваешь, почему люди еще соглашаются быть директорами или преподавателями? Это связано с двухвековой исторической эволюцией. Сначала предметы в школах были разные и специалисты из этих школ выходили разные. Одни изучали промышленность, другие — торговлю, третьи — сельское хозяйство... Но что они могли делать после окончания? Для тех, кто изучал машины, мы

не приготовили современной промышленности; изучавшие торговлю были вынуждены становиться лоточниками, а стоило им начать дело покрупнее, как их грабили военные; специалистам по сельскому хозяйству приходилось выращивать только дурманные деревья. Словом, школы никак не были связаны с жизнью, и у выпускников оставалось два основных пути: в чиновники или в преподаватели. Для того, чтобы стать чиновником, нужно было иметь деньги и связи, лучше всего при дворе, тогда ты одним скачком мог оказаться на небе. Но у многих ли бывают сразу и деньги и связи? Большинству приходилось идти в учителя, потому что люди, получившие новое образование, неохотно становились ремесленниками или лоточниками.

Постепенно общество разделилось на два класса: окончивших и не окончивших школу. Первые старались стать чиновниками или преподавателями, а вторые довольствовались ролью простолюдинов. Сейчас я не буду говорить, как это повлияло на политику, но наша система образования превратилась в заколдованный круг. Скажем, я закончил школу и начал учить твоих детей, твои дети закончили школу и начали учить моих внуков. Учили все время одно и то же, учителя вырождались, все больше юнцов кончало школы, и выпускники, кроме немногих, становившихся чиновниками, также начинали преподавать. А откуда наберешь столько школ? Опять анекдот! Это циклическое образование основывалось лишь на нескольких канонизированных учебниках и совершенно не требовало нравственного воспитания. О благородстве и добродетели было забыто. Не удивительно, что борьба за преподавательские места иногда выливалась в настоящую войну, сопровождавшуюся кровопролитиями и убийствами,— войну, которую объясняли тягой к просвещению. Тем временем император, политики и военные начали присваивать учительское жалованье, и учителя, вынужденные кланяться себе на пропитание, совершенно прекратили готовиться к занятиям. Учащиеся раскусили своих наставников, перестали ходить на уроки и подняли движение, о котором я только что говорил,— за то, чтобы кончать школу, не учась. Император, политики и военные поддержали эту кампанию и совсем перестали отпускать средства на просвещение — им давно уже казалось, что учителя вовсе не нужны. Но школы они не могли закрыть, боясь насмешек иностранцев, поэтому объявили о праве кончать университет в один день. Так циклическая система обучения превратилась в отсутствие какого-либо обучения. Школы по-прежнему были открыты, а расходов — ни гроша.

В разгар этого движения наставников молодежи охватила особая страсть к «науке»: днем и ночью они ссорились из-за школьного имущества, например из-за столов и стульев. Когда ассигнования на школы были прекращены, директора и преподаватели стали тайком распродавать это имущество, стремясь перейти в те школы, где столов и стульев осталось больше. Снова начались кровопролитные драки. Но император был гуманен и не мог запретить преподавателям, которых он сам разорил, торговать столами и стульями. Школы превратились в рынки, а затем в пустыри, окруженные стенами.

Теперь ты сам можешь понять, откуда берутся директора и учителя. Ведь они все равно бездельничают, почему бы при этом не числиться на службе? Кроме того, преподавательское звание почетно: студент превращается в учителя, учитель в директора школы, продвигаясь по несуществующей служебной лестнице. Жалованья преподавателям не платят, но иногда они могут стать чиновниками, а это уже дело нешуточное. Если в школе ничему не учат, то как научить читать? По старинке: надо откопать настоящего учителя и пригласить его на дом. Конечно, это доступно только богатым — большинство детей вынуждено ходить в школы.

Раньше в школах чему-то учили. Но ведь наука непрестанно движется вперед, ищет истину, а когда эта наука попадала к нам, она седела и плесневела. Мы как будто отрезали кусок чужого мяса, налепляли его на себя и ничуть не заботились о том, чтобы оно приросло. Вызубрив кучу сведений, мы не умели самостоятельно мыслить. Это было профанацией науки, но тогда по крайней мере

верили, что налепленный кусок чужого мяса поможет Кошачьему государству сравняться с другими странами. А сейчас все думают, что школы предназначены лишь для борьбы за директорские места, для избивания преподавателей и потасовок, так что от профанации наук мы перешли к ниспровержению наук.

В домашних школах новые знания тоже нельзя получить; здесь штудируются только древние каменные книги, которые за последнее время подорожали в десять раз. Мой дед страшно доволен этим, считает, что все эти заморские новшества потерпели крах и достоинство нации спасено. Отец также доволен, но по другой причине: он послал меня за границу специально для того, чтобы я выучился разным новациям и помог ему обманывать владельцев каменных книг. Как хитрый человек, он понимает, что расцвет государства могут обеспечить лишь люди, приобщенные к иностранной учености. Однако большинство наших граждан солидарны с дедом, воображая, будто новые науки — это дьявольские фокусы, которыми морочат людям головы, натравливают молодежь на родителей, на учителей и так далее. От подобного ниспровержения наук очень близко до гибели государства.

Ты спрашиваешь, чем вызван крах нашей системы образования? Я не знаю точно... Думаю, что утратой человечности. Даже в самом начале знакомства с новыми науками они понадобились только для наживы, для создания всяких ценных безделушек, а не для познания истин, которые можно передать потомкам. Такой взгляд на образование лишил воспитателей главного — обязанности воспитывать, развивать в учениках способность к самостоятельному мышлению. Да, в новых школах не оказалось лю де й: директора и преподаватели ссорились из-за денег, ученики готовились к тому же; словом, в школах занимались чем угодно, кроме воспитания. Человечности не было ни у императора, ни у политиков, ни у народа — естественно, что страна обеднела, а в стране, где даже едят недосыта, люди еще больше теряют человеческий облик. Но это не оправдывает воспитателей. Они должны были понимать, что страну можно спасти только знаниями и человечностью, должны были пожертвовать мелочной выгодой, раз уж согласились стать директорами школ или учителями. Возможно, я предъявляю к ним чрезмерные требования. Все люди боятся голодной смерти — от проститутки до преподавателя; я, пожалуй, не имею права упрекать их. Но ведь есть женщины, которые готовы умереть, но не торговать собой. Так почему же мои соотечественники, занимающиеся воспитанием, не могли сохранить в себе хоть каплю человеческого достоинства?

Конечно, правительство всегда обижает честных людей, и обижает тем больше, чем они честнее. Но даже самое дурное правительство не может вовсе не считаться с народом. Если бы наши воспитатели были настоящими людьми и пытались вырастить таких же настоящих людей, общество рано или поздно оценило бы их усилия, особенно если бы эти усилия принесли плоды. Тогда задумалось бы и правительство, которое сейчас презирает образование и не дает на него средств. У нас часто говорят, что страна погружена во мрак. А кто должен просвещать ее, как не культурные люди?! Если они не будут помнить о своей ответственности, не будут чувствовать себя звездами в темной ночи, нам не на кого будет надеяться! Мой взгляд односторонен, идеалистичен, но должен же быть у нас какой-то идеал? Я знаю, что ни правительство, ни общество не любят помогать культурным людям, но ведь темному народу вообще никто не будет помогать.

Ты видел, как режут преподавателей? Удивляться нечему — это результат воспитания. Когда жестоки учителя, жестоки и ученики; они деградируют, впадают в первобытное состояние. Прогресс человечества идет очень медленно, а регресс — мгновенно: стоит утратить гуманность — и ты снова дикарь. К тому же наши «новые» школы существуют больше двухсот лет, и все это время ежедневно шли драки между директорами, преподавателями, учащимися. Битье способствует одичанию, поэтому убийство директоров или преподавателей сейчас самое заурядное явление. И не сокрушайся о них: благодаря нашей циклической

системе учащиеся в свою очередь станут директорами либо преподавателями, и их тоже прирежут. В этом мрачном обществе люди звереют, едва родившись на свет. Они рыщут повсюду за лакомым куском, за ничтожной выгодой и всегда готовы пустить в ход и зубы и когти. Ради одного-единственного дурманного листа они способны усеять землю трупами. Для молодежи волнения естественны, но у нас они приобретают особый характер. Ухватившись за какой-нибудь громкий лозунг, учащиеся рушат дома, ломают вещи, а затем разворовывают кирпичи и обломки. Отцы семейств очень довольны этим, потому что после каждого студенческого волнения в доме оказывается несколько лишних палок или кирпичей. Уцелевшие директора школ и преподаватели получают новый повод для воровства — в общем, все они негодяи, которые соперничают друг с другом. Таково наше воспитание. Оно превращает человека в зверя — значит, его нельзя назвать бездейственным!

## 19

Слушая Маленького Скорпиона, я не мог не учитывать его склонности к скепсису, но ведь убийство преподавателей совершилось на моих глазах. Как бы я ни сомневался в пессимистических выводах собеседника, возразить было нечего, поэтому я спросил:

— А есть ли у вас ученые?

— Есть, и очень много! — не без иронии ответил Маленький Скорпион. — Обилие ученых свидетельствует либо о расцвете культуры, либо о ее упадке. Смотря что понимать под учеными. Я не собираюсь давать собственное определение, но если ты хочешь посмотреть на наших ученых, могу кликнуть.

— То есть пригласить?

— Кликнуть! На приглашение они как раз не откликнутся — ты еще их не знаешь. Дурман, тащи сюда несколько мудрецов, скажи, что я дам им листьев. Пусть Звездочка и Цветок помогут тебе.

Девушка со смехом вышла. Мне так хотелось повидать ученых, что я забыл обо всех других вопросах и сидел молча. Но вскоре появилась Дурман с подругами, пока что без ученых. Они сели вокруг меня.

— Осторожнее, назревает допрос! — шутливо предупредил Маленький Скорпион.

Девушки захихикали.

— Можно нам и в самом деле кое о чем спросить тебя? — начала Дурман.

— Пожалуйста, только я не мастер любезничать, — ответил я, невольно подражая игривому тону Маленького Скорпиона.

— Скажи, как выглядят ваши женщины?

Я почувствовал, что могу потрясти их воображение:

— Наши женщины тоже пудрятся, — (все ахнули), — но выдывают разные красивые штуки со своими волосами: то отрачивают их, то подрезают, то расчесывают на пробор, то укладывают в пучок, то мажут ароматным маслом или обрызгивают духами. — (Мои слушательницы взглянули на куды волосы друг друга и разочарованно закрыли свои смешные круглые рты). — В уши они вдевают серьги с жемчугом или драгоценными камнями, которые колышутся и поблескивают, когда женщина ходит. — (Девушки схватились за свои крохотные ушки, а одна — кажется, Цветок — даже попыталась немного вытянуть их). — Руки, ноги и шею они часто оставляют открытыми, но остальное закрывают: это еще соблазнительнее, чем ходить совсем голыми. — Я нарочно подсмеивался над девушками. — Голый человек может пленить только красотой тела, но оно у всех почти одинаково, а разноцветные одежды придают ему особую прелесть. Поэтому-то наши женщины и одеваются, даже летом, хотя они умеют и раздеваться. Еще они носят туфли — кожаные, матерчатые, с высокими каблучками, с острыми носами, иногда вышитые или разукрашенные. — (Рты девушек похрюпали на безмолвную букву «о»). — В той стране, где я родился, женщины раньше бинто-

вали ноги, и они были у них совсем маленькие. Сейчас уже перестали бинтовать...

— Почему?! — закричали все, не дожидаясь продолжения. — Глупые! Ведь маленькие ножки — это так красиво!..

Видя, что девушки совсем потрясены, я пошел на попятный:

— Не волнуйтесь! Дайте договорить! Они перестали бинтовать ноги, но зато начали носить туфли на высоком каблуке и стали выше, стройнее. Правда, при этом у них искривились кости, и им иногда приходится ходить, держась за стены. Они часто ковыляют, падают, особенно если каблук сломается...

Все притихли, проникшись уважением к земным женщинам, и спрятали собственные ноги. Я уже хотел переменить тему разговора, но туфли с высокими каблуками оказались слишком притягательными.

— А какой высоты эти каблуки? — спросила одна.

— На туфлях рисуют цветы, да? — подхватила другая.

— Когда идешь, каблочки стучат?!

— Как же искривились кости? Сами собой или нужно сначала искривить кости, а потом туфли надевать?

— Ты говорил про кожаные туфли. Человеческая кожа для них годится?

— А какие вышивки, какого цвета?

Я мог бы крупно разбогатеть, если бы умел выделывать кожу или шить туфли. Но едва я успел сообщить, что наши женщины умеют не только наряжаться, как пришли ученые.

— Дурман, — сказал Маленький Скорпион, — приготовь сок из листьев. А вы, — обратился он к остальным девушкам, — ступайте обсуждать туфли на высоком каблуке где-нибудь в другом месте.

Ученых явилось сразу восемь. Поклонившись Маленькому Скорпиону, они сели на пол и возвели очи горе. Меня они не удостоили даже взглядом.

Дурман дала им по чашке сока, они выпили и закрыли глаза, давая понять, что решительно не желают смотреть на меня. Это было очень кстати, потому что я мог подробно рассмотреть их.

Все ученые оказались страшно худыми и грязными; даже их маленькие уши были набиты грязью. Двигались они еще медленнее, чем Большой Скорпион.

Сок дурманных листьев, видимо, произвел свое действие: они открыли глаза и снова устремили их ввысь. Наконец один из мудрецов заговорил:

— Я первый ученый во всем Кошачьем государстве!

Его коллеги беспокойно зашевелились, стали чесаться, скрипеть зубами и хором воскликнули:

— Ты первый?! Ты такой же мерзавец, как твой отец и дед!

Я подумал, что они кинутся друг на друга, но первый ученый, видимо, привык к ругани и только засмеялся:

— Наш род уже три поколения изучает астрономию. Астрономию! А вы кто такие?! Заморские астрономы используют множество всяких приборов, подзорных труб, а мы уже три поколения наблюдаем звезды простым глазом — вот где настоящие способности! Мы изучаем влияние звезд на человеческую судьбу, на счастье и несчастье — разве иностранцы понимают что-нибудь в этом? Вчера ночью, когда я наблюдал звезды, Венера стояла прямо над моей головой. Кого же следует назвать первым ученым нашей страны?

— Меня, — пошутил Маленький Скорпион, — потому что мне Венера улыбалась.

— Вы совершенно правы, господин! — ответил астроном и умолк.

Остальные ученые тоже подтвердили, что Маленький Скорпион совершенно прав, после чего все они погрузились в глубокомысленное молчание.

— Ну говорите же! — приказал Маленький Скорпион.

— Я первый ученый во всем Кошачьем государстве, — изрек другой, бросив вокруг победоносный взгляд. — Что такое астрономия? Чистейшая ерунда.

Ученость начинается с писем, и это единственная наука. Я тридцать лет изучал письма. Кто посмеет не признать меня первым ученым?!

— Пошел к собачьей матери! — откликнулись остальные ученые мужи.

Но специалист по письмам был не так робок, как астроном. Вцепившись в одного из своих коллег, он заорал:

— Так ты не признаешь?! Отдай сперва свой долг — дурманный лист, который ты у меня занял! Иначе я сверну тебе башку, не будь я первым ученым!

— Я, всемирно известный ученый, буду занимать у тебя дурманный лист?! Оставь меня в покое, не пачкай мою руку!

— Съел чужой дурманный лист и еще отнекиваешься?! Хорошо, погоди, когда я сочиню историю писем, я докажу, что среди древних слов не было твоей фамилии! Погоди!

Ученый, не признавший долга, испугался и стал умолять Маленького Скорпиона:

— Господин, одолжи мне скорее один лист, я рассчитаюсь с ним! Ты ведь знаешь, что я первый ученый в нашей стране, а ученые всегда без денег. Может, я и брал у него этот проклятый лист, не помню точно. И еще молю тебя, господин: попроси у своего отца, чтобы он давал ученым больше дурманных листьев. Другие без них в состоянии обойтись, но мы (особенно я, первый ученый) просто не можем иначе заниматься наукой. Недавно я выяснил, что наши предки действительно сдирали кожу с живых соплеменников. Скоро я напишу об этом статью и буду умолять твоего отца передать ее императору. Тогда Его Величеству будет удобнее восстановить этот интересный и имеющий глубокие исторические корни род казни. Разве такое открытие не делает меня первым ученым? Подумаешь, изучение писем! Только история — подлинная наука!

— А разве история не пишется? Отдавай мой дурманный лист! — Позиция лингвиста была неколебимой.

Маленький Скорпион велел одной из девушек принести историку лист, но тот отломил половину, прежде чем передать его лингвисту.

— Возвращаю тебе, хотя и не следовало бы.

— Ах, ты отдаешь только половину?! — завопил лингвист. — Будь я проклят, если не украду твою жену!

Тут все ученые необычайно заволновались и стали жаловаться Маленькому Скорпиону:

— Господин, почему у нас, ученых, бывает только по одной жене? Не удивительно, что мы вынуждены думать о похищении чужих женщин! Мы трудимся во славу своего государства, наши потомки пронесут через века научный опыт многих поколений, почему же каждому из нас нельзя иметь хотя бы по три жены?

Маленький Скорпион молчал.

— Возьмем, к примеру, звездные скопления. Там вокруг большой звезды всегда много маленьких. Если небо так создано, то и у людей должно быть так же, во всяком случае у меня, первого ученого. К тому же моя жена совсем старая, она ни на что не годится.

— А вспомним форму письменных знаков, которые издревле содержали изображение частей женского тела. В одной своей работе я совершенно неопровержимо доказал, что у ученого должно быть много жен...

Далее пошли туманные и не совсем приличные доказательства, из которых, однако, было ясно, для чего ученым нужны жены. Маленький Скорпион по-прежнему молчал.

— Может быть, вы устали, господин? Мы...

— Дурман, дай им немного листьев и пусть убираются! — проговорил наконец Маленький Скорпион.

— Благодарим вас, господин, извините! — зашумели ученые мужи.

Потом они схватили дурманные листья, поклонились Маленькому Скорпиону и, переругиваясь, выкатились за дверь. На смену им тут же влетела стая

молодых ученых. Они давно ждали за дверью и не входили только потому, что боялись встретиться со своими старшими коллегами. Когда встречались представители старых и новых наук, совершалось по крайней мере два убийства.

У молодых ученых вид был гораздо лучше, чем у старых: не грязные, вполне упитанные и жизнерадостные. Прежде чем сесть, они поздоровались не только с Маленьким Скорпионом и со мной, но даже с девушкой. Я приободрился: видимо, у Кошачьего государства еще есть надежда.

— Это те ребята, которые учились по несколько лет за границей и все постигли,— прошептал мне на ухо Маленький Скорпион. Его замечание меня несколько охладило, особенно когда гости вцепились в предложенные им дурманные листья.

Поев, молодые ученые начали разговаривать, но я ничего не понял, хотя от Маленького Скорпиона уже знал немало новых слов. В ушах стояли какие-то «варэ», «вский»<sup>1</sup> и прочее. Я заволновался, потому что гости явно обращались ко мне. Наконец до меня дошел смысл одного из вопросов:

— Что это на вас надето, господин иностранец?

— Штаны,— ответил я, чувствуя себя довольно неловко.

— А зачем они?

— О какой ученой степени они свидетельствуют?

— Наверное, ваше общество делится на классы штанных и бесштанных?

Я выдал из себя лишь глупую усмешку. Они были очень раздосадованы, пощупали мои рваные штаны, потом снова затараторили. Мне стало скучно. Наконец молодые ученые ушли, и я спросил Маленького Скорпиона, о чем они говорили.

— Ты меня спрашиваешь? — улыбнулся Маленький Скорпион.— А я кого спрошу? Ничего они не говорили.

— Ну как же? Они говорили «варэ», «вский»...

— Это обычные иностранные слова, означающие «химия» и «роль»<sup>2</sup>, только эти субъекты употребляют их без понятия, как придется. Умеющие произносить такие выражения и называются учеными нового типа. Слова «варэ», «вский» да еще «изм» стали в последнее время особенно модными. Первые два слова, сливаясь, означают все что угодно: «родители бьют ребенка», «император ест дурманные листья», «ученый покончил с собой»... Произноси их — и тебя тоже сочтут ученым. Главное — существительные. Глаголы не нужны, а прилагательные образуются от существительных.

— Почему они спрашивали меня про штаны?

— А почему девушки расспрашивали о туфлях на высоком каблучке? Молодые ученые похожи на женщин: они тоже стараются быть чистыми, красивыми и модными. Старые ученые напрямик требуют девок, а молодые сперва хорохорятся. Вот погода, через несколько дней они все наденут штаны...

Мне показалось, что в комнате стало слишком душно; я извинился перед Маленьким Скорпионом и вышел на улицу. Цветок и ее подруги, привязав к пяткам куски кирпича и держась за стену, учились ходить на высоких каблучках.

## 20

Да, у этого пессимиста было что позаимствовать. Он по крайней мере сначала размышлял, а потом уж предавался своему пессимизму. Возможно, Маленький Скорпион недалновиден или труслив, но мне он все больше нравился, да и на молодых ученых я еще не поставил крест. Даже если они не уступают в глупости старым, они хоть живые и веселые. Маленькому Скорпиону стоило бы позаимствовать у них оптимизм, и тогда, быть может, он совершил бы немало полезного. Мне захотелось еще раз повидать молодых ученых, и я узнал у Дурман, где они живут.

<sup>1</sup> Подражание японским и европейским словам.

<sup>2</sup> Перевод так же условен, как сами «иностранные» слова.

По дороге я прошел мимо многих школ или институтов, то есть пустырей, окруженных стенами. Когда я видел учеников, разгуливавших по улице, мои глаза наполнялись слезами. Эти юнцы (особенно те, что были постарше) выглядели невероятно самодовольными: точь-в-точь как Большой Скорпион, возлежавший на головах семи кошек. Они, наверное, воображали себя божественными избранниками и не понимали, что их государство — самое жалкое во вселенной. Только очень глупые воспитатели могли взрастить столь невежественных юнцов. И все же, думал я, к двадцати годам человек должен что-то соображать, а не чувствовать себя в аду, как в раю. Я чуть было не начал спрашивать у них, чем они так довольны, но вовремя сдержался.

Один из молодых ученых, к которому я шел, заведовал музеем, что было весьма кстати. Музей оказался довольно большим зданием из двадцати или тридцати комнат. У входа, прислонившись к стене, сидел привратник и сладко спал. Кроме него, здание никто не охранял, а все двери были открыты. Удивительно, ведь люди-кошки воруют что попало. Не осмелившись потревожить привратника, я вошел в музей, прошел через два пустых зала и здесь наткнулся на своего нового знакомого. Он очаровал меня своим весельем, опрятностью, вежливостью. Фамилия его была Кошкарский, я чувствовал, что она иностранного происхождения, и боялся, как бы, сопровождая меня по музею, он не замучил меня незнакомыми словами. Лишь бы он не называл экспонаты «варэ» или «вский», и тогда все будет в порядке.

— Пожалуйста, проходите сюда! — радушно пригласил Кошкарский. — Это зал каменной утвари восьмого тысячелетия до нашей эры. Утварь разложена по новейшей системе. Посмотрите!

Я оглянулся — ничего нет. Что за наваждение?! Но Кошкарский уже показывал на стены:

— Перед вами древний каменный сосуд, на котором вырезана какая-то иностранная надпись, стоит три миллиона национальных престижей.

Теперь я действительно заметил надпись, но не на сосуде, а на стене — там, где когда-то, видимо, стоял драгоценный сосуд.

— Перед вами каменный топор, которому исполнился десять тысяч один год, цена двести тысяч национальных престижей. Этой каменной чаше ровно на год больше, цена полтора миллиона национальных престижей, это... — триста тысяч престижей, это... — четыреста тысяч.

Мне нравилось только одно — что он так бегло называет цену экспонатов. Мы вошли в следующий пустой зал. Кошкарский продолжал все тем же бодрым и почтительным тоном:

— А тут хранятся древнейшие книги мира, которым перевалило за пятнадцать тысяч лет. Разложены по новейшей системе.

Он начал перечислять названия книг и их цену, но я не увидел ничего, кроме нескольких тараканов на стене.

Когда мы вышли из десятого пустого зала, мое терпение иссякло. Я уже хотел распрощаться с Кошкарским и уйти, как вдруг перед последним залом увидел около двадцати солдат с дубинками. Видиме, они что-то охраняют? В зале действительно были экспонаты, и я возблагодарил небо и землю. Хоть в одном из одиннадцати залов что-то есть — значит, я пришел не напрасно.

— Вы пришли очень удачно, — подтвердил Кошкарский. — Через каких-нибудь два дня вы бы и этого не увидели. Перед вами глиняная утварь десятого тысячелетия до нашей эры, разложенная по новейшей системе. Двенадцать тысяч лет назад эти сосуды были самыми прекрасными в мире, но потом, начиная с шестого тысячелетия до нашей эры, мы утратили секрет гончарного искусства и до сих пор не можем вновь обрести его.

— Как же так? — спросил я.

— О, вский! — воскликнул мой гид, приведя меня в полнейшее недоумение. — Это самые драгоценные предметы на Марсе, но они уже проданы иностранцам за три биллиона национальных престижей. Если бы правительство не пото-

ропилось, оно могло бы выручить за них по крайней мере пять миллиардов, потому что два миллиарда мы получили даже за каменные сосуды, которым нет еще десяти тысячелетий. Правительство просчиталось, и мы, посредники, получим меньше комиссионных. Это ужасно! Чем мы будем кормиться? Жалованья нам не выдают уже несколько лет. Правда, на комиссионных можно неплохо зарабатывать, но ведь мы ученые нового типа, и нам нужно во много раз больше денег, чем старым ученым. Мы пользуемся только импортными вещами, а каждая такая вещь могла бы прокормить дюжину старых ученых!

Безмятежная физиономия Кошкарского вдруг помрачнела.

Как случилось, что утрачен секрет гончарного искусства? О, «вский»! Почему продаются древности? Чтобы заработать на них. У меня уже не осталось никаких иллюзий в отношении новых ученых. Мне лишь хотелось обнять оставшиеся сосуды и разрыдаться. Итак, торговля музейными редкостями служит одним из источников правительственного дохода, а ученые получают комиссионные да докладывают посетителям цены.

— Что же будет, когда вы продадите последние экспонаты и не сможете больше получать комиссионных?

— О, вский!

Я понял, что это слово означает для него приспособленчество, в тысячу раз более подлое, чем у Маленького Скорпиона. Кошкарский с его восклицаниями стал мне омерзителен, но дурманные листья располагают к апатии, и я не надавал своему гиду пощечин. С какой стати мне, китайцу, вмешиваться в дела людей-кошек?

Не прощавшись с Кошкарским, я вышел, и мне чудилось, будто за мной вдогонку несутся стеноания похищенных реликвий.

На улице я немного успокоился и подумал, что для кошачьих древностей, пожалуй, счастье попасть за границу. Раз люди-кошки все разворовывают и уничтожают, пусть уж лучше их реликвии хранят иностранцы. Разумеется, это ничуть не оправдывает Кошкарского. Хотя торговля затеяна не им, он бессовестно поддерживает ее и вообще забыл о чести и совести. Мне всегда казалось, что человечество чтит свою историю, а люди-кошки безжалостно порывают даже с отечественной историей. К тому же Кошкарский образован. Если так поступают ученые, то что же творит невежественная масса!

У меня пропало желание идти к другим новым ученым и смотреть культурные учреждения. Показавшаяся впереди библиотека вновь сулила «хитрость с пустой крепостью»?<sup>1</sup> Само здание было неплохое, хотя явно не ремонтировалось уже много лет. Но когда из библиотеки вышла группа школьников, которые, должно быть, читали там книги, во мне снова пробудилось любопытство.

Войдя в ворота, я увидел на стенах множество свежих надписей: «Библиотечная революция». Интересно, против кого она направлена? Размышляя об этом, я вдруг споткнулся о лежащего человека, который тотчас заорал: «Спасите!»

Рядом с ним валялись еще больше десяти жертв, связанных по рукам и ногам. Едва я развязал их, как они трусливо сбежали — все, кроме одного, в котором я узнал молодого ученого. Это он просил о помощи.

— Что здесь происходит?! — изумился я.

— Снова революция! На этот раз библиотечная.

— Против кого же она?

— Против библиотек. Посмотри, господин! — Ученый показал на свои ляжки.

Я увидел короткие штаны, на которые прежде не обратил внимания. Но как они связаны с библиотечной революцией? Ученый объяснил мне это:

<sup>1</sup> Намек на легенду об известном китайском полководце Чжугэ Ляне (III век), который, оставшись без войска, раскрыл перед противником городские ворота. Испугавшись засады, враг отступил от стен крепости.

— Ведь ты носишь штаны, и мы, ученые, призванные знакомить народ с передовой наукой, передовой моралью и обычаями, тоже надели штаны. Это революционный акт...

«Вот так революция!» — подумал я.

— К сожалению, студенты соседнего института узнали о нашем революционном акте, явились сюда и потребовали каждый по паре штанов. Я — заведующий библиотекой, и прежде, когда торговал книгами, постоянно давал часть своей выручки студентам. Дело в том, что они преданы «кошкизму», а кошкисты — народ опасный. К сожалению, они ревностно проводят свои принципы и потребовали у меня штаны. Я не мог на них напасть, и студенты восстали. Мой революционный акт состоял в том, что я надел штаны; их — в том, чтобы сшить штаны, каких нет ни у кого. В общем, они связали нас и похитили все мои ничтожные сбережения!

— Надеюсь, книги они не растащили? — воскликнул я, беспокоясь о библиотеке, а не о его сбережениях.

— Нет, и не могли растащить, потому что последняя книга продана пятнадцать лет тому назад. Сейчас мы занимаемся перерегистрацией.

— Что же вы регистрируете, если книг нет?

— Дом, стены... Готовимся к новой революции, хотим превратить библиотеку в гостиницу и получать хотя бы небольшую аренду. Фактически здесь уже несколько раз квартировали солдаты, но с гражданской публикой было бы как-то удобнее...

Мне очень хотелось уважать людей-кошек, и именно поэтому я не стал больше слушать, иначе я мог бы перейти на брань.

## 21

Ночью снова полил дождь, который в Кошачьем городе был лишен всякой поэтичности. Трудно предаваться лирическому настроению, когда слышишь треск и грохот стен, падающих одна за другой. Город походил на морской корабль в бурю. Каждую минуту он сотрясался, ожидая своей гибели, но разве это было бы так уж плохо? Я вовсе не жаждал крови, а лишь желал людям-кошкам легкой смерти, от обычного дождя. Ради чего они живут? В их истории произошла какая-то нелепая ошибка, за которую они теперь вынуждены расплачиваться. Впрочем, собственные мысли тоже казались мне пустыми и эфемерными.

Ладно, поразмышляю — все равно не уснуть. Что означает, например, «кошкизм» или другие слова, которыми умудрились немало навредить себе люди-кошки? Я вспомнил о студентах, «преданных кошкизму». На Земле студенчество всегда было носителем передовой мысли, но иной раз его горячность оказывалась поверхностной, а политическая острота сводилась к жонглированию несколькими новыми словами. Если здешние студенты именно таковы, то мне остается лишь закрыть глаза на будущее Кошачьего государства. Винить во всем студенчество несправедливо, но я не должен идеализировать его только потому, что возлагаю на него надежды. Мне так захотелось познакомиться с кошачьей политикой, что я не спал почти всю ночь. Хотя Маленький Скорпион и отрицал свою причастность к политике, я могу узнать у него исторические факты, без которых невозможно понять современную жизнь.

Чтобы не упустить Маленького Скорпиона, я встал очень рано и сразу же обратился к нему с вопросом:

— Скажи мне, что такое кошкизм?

— Политическое учение, согласно которому люди-кошки живут друг для друга, — ответил он, жуя дурманный лист. — При кошкистском строе общество представляет собой большой слаженный механизм, каждый человек в нем играет роль винтика или шестеренки, но все работают спокойно и счастливо. Совсем не плохое учение.

— Какие-нибудь государства на Марсе уже осуществляют подобный строй?

— Да, уже более двухсот лет.

— А ваша страна?

Маленький Скорпион задумался. Мое сердце прыгало от нетерпения. Наконец он сказал:

— Мы тоже пытались, шумели. Я даже не помню учения, которое бы мы не пытались осуществить.

— Что значит «шумели»?

— Предположим, у тебя непослушный ребенок. Ты его ударил. Я узнал об этом и ударил своего ребенка — не потому, что он непослушный, а просто в подражание тебе. Поднимается шум, шумиха. То же самое и в политике.

— Расскажи, пожалуйста, подробнее,— попросил я.— Может, шумиха — это не так уж плохо, если она приводит к переменам.

— Перемены — не всегда прогресс...

Я улыбнулся. Ну и ядовит же этот Маленький Скорпион! А он продолжал после недолгого молчания:

— На Марсе больше двадцати стран, у каждой свое политическое направление, своя история. А мы случайно узнаем о какой-нибудь стране и поднимаем у себя шумиху. Потом услышим, что в другой стране произошла реформа,— снова не обходимся без шумихи. В результате другие страны действительно проводят реформы, а мы — нет. Особенность наша в том, что чем больше мы шумим, тем хуже нам живется.

— Пусть не по порядку, но говори конкретнее,— снова попросил я.

— Хорошо, начну со свор.

— Свор?!

— Это заимствование, нечто вроде штанов. Не знаю, есть ли что-либо подобное у вас на Земле. Собственно, это организация, в которую объединяются кошки, одержимые политическими амбициями. Почему эти объединения называются сворами, я еще поясню... С древности мы беспрекословно подчинялись императору, не смели даже пискнуть и считали высшей добродетелью так называемую «моральную чистоту». И вдруг из-за границы прилетела весть о том, что народ тоже может организовываться и участвовать в правлении. Как ни листали мы древние книги, но подходящего слова на кошачьем языке найти не могли: единственное объединение, которое удалось обнаружить, принадлежало собакам, поэтому мы и назвали свои организации сворами. С тех пор в нашей политике произошло немало изменений, однако я уже говорил тебе, что политикой не занимаюсь, знаю только факты.

— Да, да, факты,— подхватил я, боясь, как бы он не умолк.

— Первая политическая реформа состояла в том, что императора попросили сделать правление более гуманным. Он, конечно, не согласился, тогда реформаторы приняли в свою свору множество военных. Видя, что дело плохо, император даровал важнейшим реформаторам высокие чины, они увлеклись службой и забыли, чего хотели. Тем временем прошел слух, что император вовсе не нужен. Образовалась свора массового правления, поставившая себе целью изгнать императора. А он, проведав об этом, создал собственную свору, каждый член которой получал в месяц тысячу национальных престижей. У сторонников массового правления загорелись глаза, потекли слюнки. Они стали ластиться к императору, но он предложил им только по сто национальных престижей. Дело бы совсем расклеилось, если бы жалованье не было повышено до ста трех престижей. Однако на всех не хватило, и возникли оппозиционные своры из десяти, двух и даже одного человека.

— Извини, я перебыл: были в этих организациях люди из народа?

— Я как раз хотел сказать об этом. Конечно, нет, потому что народ остался необразованным, темным и излишне доверчивым. Каждая свора твердила о народе, а потом принимала деньги, которые император с него содрал. Своры и сами были не прочь содрать с народа деньги, если же народ не поддавался

обману, то привлекали на помощь военных. В общем, чем больше становилось свор, тем больше беднела страна.

— Неужели в этих сворах не было ни одного благородного человека, действительно болеевшего душой за народ?

— Разумеется, были. Но ты ведь знаешь, что благородным людям тоже хочется есть и любить, а для этого нужны деньги. Получив деньги, хорошие люди добывали еду и жен, становились рабами семьи и уже больше не могли подняться. Революцию, политику, государство, народ они старались поскорее забыть.

— Выходит, люди, имеющие работу и еду, у вас совсем не участвуют в политическом движении? — усомнился я.

— Да, не участвуют, потому что боятся. Стоит им шевельнуть пальцем, как император, военные или очередная свора ограбят их до нитки. Им остается либо терпеть, либо купить небольшой чиновничий пост. Заниматься политикой у нас могут только учившиеся за границей, хулиганы или полуграмотные военные, которым нечего терять: в своре они получают еду, а без своры вообще останутся голодными. Перевороты в нашей стране стали своего рода профессией; политика изменяется, но не улучшается; о демократии кричим, а народ по-прежнему беднеет. И молодежь становится все более поверхностной. Даже те, кто в самом деле хочет спасти страну, только попусту таращат глаза, когда захватывают власть, потому что для правильного ее использования у них нет ни способностей, ни знаний. Приходится звать стариков, которые тоже невежественны, но гораздо хитрее. Внешне правят «сторонники нового», а по существу — старые лисы. Не удивительно, что все смотрят на политику как на взаимный обман: удачно обманул — значит, выиграл, неудачно — провалился. Поэтому и учащиеся перестали читать: только зубрят новые словечки да перенимают разные хитрости, воображая себя талантливыми политиками.

Я дал Маленькому Скорпиону отдохнуть, а потом напомнил:

— Ты еще не рассказал о кошкизме.

— Сейчас скажу. Итак, народ становился беднее, потому что во время раздоров и драк не обращали внимания на экономику. И тут появился кошкизм — он вышел из народа, вырос именно из экономических проблем. Раньше перевороты не приводили к свержению императора: монарх объявлял, что целиком верит какой-нибудь из свор, иногда даже становился ее вождем, поэтому один поэт торжественно назвал нашего императора «хозяином всех свор». Только кошкисты первые убили императора. Но после того, как власть перешла к ним, было истреблено немало народу, потому что они требовали уничтожить всех, кроме преданных кошкистов и мяуистов. Убийства, конечно, никого не удивили — в Кошачьем государстве всегда легко убивали. Если б вместо негодяев действительно встали у власти крестьяне и рабочие, это было бы совсем неплохо. Но кошки остаются кошками и во время переворотов: они не убивали, например, тех, кто платил выкуп. В результате невинные погибли, а негодяи уцелели. Эти спасшиеся проходимцы влезли в свору, начали интриговать, и с тех пор расправы утратили уже всякий смысл.

Кроме того, чтобы улучшить жизнь, нужно было первым делом изменить экономическую систему, а во-вторых, воспитать в людях желание жить друг для друга. Но наши кошкисты не имели никакого понятия об экономике и тем более о новом воспитании. Кнчив убивать, они вытаращили глаза, захотели помочь крестьянам и рабочим, но обнаружили, что ничего не смыслят ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности. Поделили между крестьянами землю, долго думали, сажать ли дурманные листья, и прежде, чем деревья выросли, все голодали. Для рабочих дела вообще не нашлось. Снова начали убивать. Так иногда сдирают шкуру вместо того, чтобы почесаться.

Кошкизм разделил судьбу многих заимствованных нами учений. В других государствах они становятся прекрасным средством лечения общества, а у нас превращаются в сплошное самобичевание. Мы никогда не думаем, не смотрим

правде в глаза, поэтому и получаем от переворотов одни разрушения. Другие увлекают из них новые мысли, новые планы. а мы устраиваем революции только ради шумихи, потому что ничего не знаем, ничего не делаем, забываем о том, что революционное дело требует от человека высоких духовных качеств, — только нападаем друг на друга, прибегая к самым подлым приемам. Пока мы занимались убийствами да тарашнили глаза, вождь кошкистского движения сам стал императором. Кошкизм и император — это ведь совершенно несовместимо, похоже на дурной сон! Но у нас такие вещи неувидительны, потому что мы абсолютно не разбираемся в политике. Кошкизм тоже привел к воцарению Его Величества, и все успокоилось. Император благоденствует, по-прежнему зовется «хозяином всех свор», а кошкизм прозябает между этими сворами!

Я впервые увидел на глазах Маленького Скорпиона слезы.

## 22

Хотя Маленький Скорпион всегда говорил мне правду, его критика вновь показалась мне бесплодной, слишком мрачной. Конечно, я приехал из спокойного, счастливого Китая, поэтому и считал, что не может быть все так безнадежно. Здоровому человеку нелегко понять пессимизм больного. Но надежда обязательно должна быть, это мать усилий, своего рода долг человечества. Я не верил, что люди-кошки не способны ничего добиться. Они все-таки люди, а люди могут преодолеть все.

Я решил пойти к Большому Скорпиону и познакомиться через него с политическими деятелями. Если я встречу среди них здравомыслящих людей, то они должны сообщить мне что-нибудь обнадеживающее. Конечно, еще полезнее было бы поговорить с народом, но простые кошки слишком боятся иностранцев и вряд ли разбираются в политике. Хотя преклонение перед героями мне всегда было чуждо, я решил поискать свой идеал среди политиков, способных что-то сделать для народа.

Как раз в это время Большой Скорпион пригласил меня на званый обед. Он был видной фигурой, среди его гостей должны оказаться политики. Кроме того, я давно уже не выбирался из дома. Улица по-прежнему была заполнена прохожими, которые напоминали муравьев — но только суматошностью, а не трудолюбием. Я не мог понять, какой притягательной силой обладает этот жалкий город, почему люди-кошки так стремятся в него. Видимо, в деревне уж совсем скверно. Единственное изменение к лучшему, которое я заметил, состояло в том, что меньше воняли улицы: в последние дни лил дождь и вместо жителей провел «Движение за чистоту».

Большого Скорпиона не оказалось дома, хотя я пришел вовремя. Встретил меня человек-кошка, который в дурманной роще носил мне еду; мы были знакомы, поэтому он и решился заговорить со мной.

— Если тебе назначают встречу в полдень, приходи вечером или на следующее утро. Можно и через два дня — это наш обычай.

От души поблагодарив его за науку, я спросил, кто еще приглашен. У меня было сильное желание уйти, если гости окажутся неподходящими, но он ответил:

— Все важные персоны. Иначе не пригласили бы тебя, иностранца.

Ладно. останусь. Но что делать до пира, который неизвестно когда начнется? Тут я вспомнил, что в кармане у меня есть несколько национальных престижей, и дал их старому слуге. Все остальное свершилось само собой. Вскоре я уже сидел на помосте и слушал небезынтересные сведения. Деньги — лучший ключ, отмыкающий людям-кошкам рты.

— Чем зарабатывают на жизнь горожане? — первым делом осведомился я.

— Эти? — переспросил слуга, указывая в сторону людского моря за стеной. — Ничем.

— Как так? Что же они едят?

— Известно что: дурманные листья.

— Но ведь их нужно откуда-то брать...

— Достаточно одному служить чиновником, чтобы многие были обеспечены. Чиновник выращивает дурманные листья, торгует ими, а часть дает родственникам и друзьям. Мелкий чиновник, наоборот, покупает листья, но все равно помогает родственникам и друзьям. Остальные ждут, пока у них появится свой чиновник.

— Видимо, чиновников очень много?

— Да, все, кроме безработных, считаются чиновниками. Я тоже чиновник, — улыбнулся слуга. Этой не веселой, а презрительной улыбкой он отплатил за клоч шерсти, который я когда-то у него вырвал.

— А чиновники получают жалование?

— Конечно, от Его Величества.

— Откуда же у императора деньги, если столько народу бездельничает и ничего не производит?

— От продажи драгоценностей, земель... Ведь вы, иностранцы, любите покупать их! Пока они есть, о деньгах нечего беспокоиться.

— Музеи и библиотеки вам неплохо помогают... Но неужели ты сам не чувствуешь, что лишаться книг и древностей нехорошо?

— Какое это имеет значение? Были бы деньги!

— Выходит, у вас нет никаких экономических затруднений?

Этот вопрос был слишком сложен, и на него слуга ответил не сразу.

— Раньше были, а теперь уже нет.

— Что значит раньше? Когда все работали?

— Да. Сейчас деревни почти опустели, в городах торгуют иностранцы, нам незачем работать, поэтому люди и отдыхают.

— Откуда же тогда чиновники? Ведь не могут они все время бездельничать! Зачем становиться чиновником, если дурманные листья и так дают?

— Крупный чиновник получает столько, что, кроме дурманных листьев, может покупать иностранные вещи, заводить себе новых жен, а нечиновному едва на листья хватает. Кроме того, быть чиновником совсем нетрудно: больше привилегий, чем работы. И хотел бы делать что-нибудь, да нечего.

— Скажи, пожалуйста, чем питалась вдова посланника? Ведь она не ела дурманных листьев.

— Можно и другое есть, только дорого очень. Мясо, овощи — все ввозится из-за границы. Когда ты в деревне не хотел есть дурманные листья, мы на тебя немало денег потратили. Вдова посланника тоже была странной женщиной, но ее капризам никто не потакал. Вот и приходилось ей вместе с девками собирать дикие плоды или корни.

— А мясо они ели?

— Мясо не соберешь, его даже купить трудно. Мы давным-давно перебили всю живность — еще когда ели не только дурманные листья. Ты видел у нас хоть одного зверя или птицу?

Я задумался.

— Зверя действительно нет, а птиц видел — коршунов с белыми хвостами.

— Да, только они и остались, потому что у них мясо ядовитое, иначе и им бы несдобровать.

«Быстро вы действуете! — подумал я. — Муравьи и пчелы тоже не размышляют о своем будущем, но их спасает инстинкт, а у вас и этого нет. Интересно, какой император или бог лишил вас природных инстинктов, не дав взамен разума? Ловко он посмеялся над вами! Школы без образования, политики без головы, люди без человечности, души без стыда. Не слишком ли жестокая шутка?»

И все-таки я решил повидать политиков — может быть, они уже придумали что-то вразумительное. Наверное, есть какой-нибудь простой способ: предположим, разделить поровну дурманные листья, устроить своего рода дурманный кошклизм. Конечно, это уж последнее дело. Чтобы не погибнуть, им надо вер-

нуться к прежним временам, запретить дурманные листья, восстановить сельское хозяйство и промышленность. Но кто все это сделает? Слишком много нужно сил, твердости и решительности, чтобы из животных превратиться в людей! Я стал почти таким же пессимистом, как Маленький Скорпион.

Пришел Большой Скорпион. Он сильно похудел с тех пор, как приехал в город, но выглядел еще хитрее и подлее. Перед ним я не собирался расточать вежливых слов.

— Зачем позвал?

— Да так просто, поговорить хотелось.

Наверняка что-то задумал! Я снова почувствовал к нему отвращение.

Потом начали прибывать гости — все незнакомые мне и мало походившие на обычных людей-кошек. Каждый называл меня старым другом. Я достаточно бесцеремонно заявил, что прилетел с Земли и не имел чести дружить с ними, но они спокойно проглотили пилюлю и продолжали называть меня старым другом.

Гостей пришло больше десятка. Мне везло — все они оказались политиками.

По моему беглому впечатлению, их можно было разделить на три группы. К первой, самой старшей, принадлежал Большой Скорпион. Они называли меня другом очень непринужденно, но с едва заметным неудовольствием. Это были старые лисы, по определению Маленького Скорпиона. Члены второй группы, помоложе, отнеслись ко мне с особым вниманием, в котором сквозило зазнайство, и все время бессмысленно смеялись. Видно было, что они выучились кое-каким приемам старых лисов, но еще не совсем освоились. Третья, самая младшая, группа произносила слова «старый друг» совсем неестественно, даже несколько смущенно. Именно их особенно рекламировал Большой Скорпион:

— Эти друзья только что от т у д а.

Я не очень понял его, но вскоре сообразил, что «оттуда» значит из школы, института. Это были новички в политике, и я решил посмотреть, как они будут обращаться со старыми лисами.

Начался пир — мой первый пир на Марсе. Все гости уселись за стол и стали есть дурманные листья. Этого я ожидал, но дальнейшее было для меня новинкой.

— Сегодня мы приветствуем друзей, только что пришедших от т у д а, — изрек Большой Скорпион, — поэтому им предоставляется право самим избрать проститутку.

Молодые политики гордо улынулись, зажмурили глаза, опять смутились и начали что-то бормотать о кошклизме. Мне стало так больно, как будто я потерял любимого человека. Так вот каковы их принципы! Ладно, не буду возмущаться, буду наблюдать.

Когда женщины пришли, все снова принялись за дурманные листья. Молодые политики с раскрасневшимися под серой шерстью физиономиями украдкой поглядывали на Большого Скорпиона. Он засмеялся:

— Выбирайте, господа, выбирайте! Не стесняйтесь!

Юнцы ухватили по проститутке и отправились на нижний этаж.

Едва они удалились, как хозяин подмигнул оставшимся политикам:

— Ну вот, теперь их нет, и мы можем поговорить о делах.

Выходит, я догадался — он действительно что-то замышляет.

— Вы уже слышали? — спросил Большой Скорпион.

Старейшие никак не реагировали на его вопрос: казалось, они углубились в самосозерцание. Один из тех, что помоложе, кивнул, но, поглядев на остальных, тотчас вскинул голову и устремил глаза ввысь.

Я расхохотался. Все стали еще серьезнее, однако хихикнули вслед за мной — ведь я был иностранцем. Наконец заговорил другой представитель среднего поколения:

— Кое-что слышали, но не знаем, совсем не знаем, достоверно ли это...

— Разумеется, достоверно! Мои солдаты уже потерпели поражение! — воскликнул Большой Скорпион с озабоченностью, вызванной, по-видимому, тем, что это были именно его солдаты.

Все молчали, на этот раз очень долго и дружно, даже почти не дышали, словно опасаясь потревожить волоски в ноздрах.

— Господа, может быть, пригласим еще нескольких проституток? — предложил Большой Скорпион.

Политики оживились:

— Конечно, конечно! Без женщин ничего не придумаешь. Зовите!

Снова пришли проститутки, мужчины оживились еще больше; солнце клонилось к закату, а о политике так никто и не заикнулся.

— Спасибо за угощение! До завтра! — говорили гости, увозя с собой проституток.

Навстречу им двигались юнцы — уже не с красными, а с серо-зелеными физиономиями. Они даже спасибо не говорили, а только бормотали о кошкизме.

«У них, наверное, возникла какая-нибудь междоусобица, — подумал я. — Большой Скорпион потерпел поражение, попросил помощи, а ему отказывают. Если я правильно догадался, ничего трагического не произошло». Но лицо Большого Скорпиона выглядело озабоченным, и перед уходом я все же спросил, почему его солдаты потерпели поражение.

— Иностранцы вторглись!

## 23

Солнце еще не зашло, а все жители попрятались по домам, лишь на стенах белело множество лозунгов: «Сопrotивление до конца!», «Спасение государства — это спасение самого себя!», «Долой проглотизм!»...

От этих громких слов у меня закружилась голова — как у быка, которого все время поворачивают. Мне не хватало воздуха, хотя на улице был я один. «Иностранцы вторглись!» — звучало у меня в ушах, словно звон погребального колокола. Почему вторглись?! Большой Скорпион был явно напуган, иначе рассказал бы мне подробнее. Однако испуг не помешал ему устроить пир, звать проституток, а этим политикам — веселиться с проститутками.

Пришлось снова идти к Маленькому Скорпиону — он был здесь единственным здравомыслящим человеком, хотя и слишком желчным. Но мог ли я упрекать его за желчность после того, как увидел кошачьих политиков?

Солнце уже село, загорелась розовая заря, легкий туман еще больше оттенял красоту неба и жалкое безмолвие земли. Стояла полнейшая тишина, лишь ветерок ударял мне то в спину, то в мокрое от слез лицо. Доисторическая пустыня была, наверное, не такой мертвой, как этот огромный город!

Войдя к Маленькому Скорпиону, я увидел в темноте сидящего человека. Он был явно выше ростом, чем мой приятель.

— Кто это? — громко спросил незнакомец.

Уже по его решительному, прямому вопросу я понял, что имею дело не с обычным человеком-кошкой.

— Иностранец, с Земли.

— А, земной господин! Садись! — Его приглашение походило на приказ, но опять-таки подкупало своей прямой.

— А кто ты? — спросил я в свою очередь, садясь рядом с ним, чтобы разглядеть его как следует.

Он оказался не только высок, но и широк в плечах; уши, нос и рот утопали в густых волосах, оставались лишь большие горящие глаза.

— Я — Большой Ястреб, — сказал он. — Это мое прозвище, а не настоящее имя. Почему меня так называют? Да потому, что боятся. Честных людей в нашей стране считают страшными, отвратительными!..

Небо совсем потемнело, осталось одно красное облако, которое, словно огромный цветок, стояло над самой головой Большого Ястреба. Я смотрел на облако как зачарованный и вспоминал недавнюю красную зарю.

— Днем я не решаюсь выходить, но вечерами иногда навещаю Маленького Скорпиона, — нарушил молчание мой собеседник.

— А почему не решаешься днем?..

— Кроме Маленького Скорпиона, все мне враги. Я живу в горах, всю прошлую ночь я шел, потом скрывался весь день. Дай мне что-нибудь пожевать — ничего не ел целые сутки.

— Вот дурманные листья.

— Нет, уж лучше с голода помереть, чем это!

Такого решительного человека я видел в Кошачьем государстве впервые. Я позвал Дурман, чтобы достать еды; девушка была дома, но выйти к нам не захотела.

— Оставь ее. Женщины тоже боятся меня. Все равно смерть уже близко — можно и поголодать.

— Иностранцы вторглись? — вспомнил я.

— Да, поэтому я и пришел к Маленькому Скорпиону.

— Он излишне пессимистичен и в то же время чересчур легкомыслен. — Откровенность несколько скрашивала мой укор.

— Он умен, поэтому и пессимист. А что ты сказал дальше? Я не совсем понял. Если мне нужно решить что-нибудь серьезное, я всегда иду к нему. Пессимисты боятся жизни, но не смерти. А наши соотечественники чересчур веселы, даже когда еле на ногах держатся от голода. Они с самого рождения не умеют горевать, вернее — думать. Только Маленький Скорпион умеет, его можно считать вторым честным человеком, после меня.

— Ты тоже пессимист? — спросил я, не сомневаясь в его достоинствах, но затрудняясь отнестись к ним самоуверенность.

— Я? Нет. Поэтому все и боятся меня. Если бы я горевал, как Маленький Скорпион, меня бы не прогнали в горы. В этом наше различие. Он ненавидит этих безголовых и жестоких людей, однако не осмеливается тронуть их. А у меня нет к ним ненависти. Я хочу прочистить им мозги, показать, что они не очень-то похожи на людей, поэтому и задеваю их. Но когда надвигается опасность, мы с Маленьким Скорпионом заодно — мы не боимся.

— Ты, наверное, занимался политикой?

— Да. В свое время я выступал против дурманных листьев, проституции, многоженства, убеждал, чтобы и другие выступали. А в результате и старые и новые деятели объявили меня закоренелым преступником. Ты должен знать, что человек, в чем-то отказывающий себе или стремящийся к наукам, считается у нас лицемером. Если ты вздумашь ходить пешком, окружающие не поймут, что тебе противно ездить на чужих головах, не станут подражать тебе, а ославят лицемером. Наши государственные деятели и студенты все время твердят об экономике, политике, разных «кизмах» и «ациях», но стоит тебе спросить, что это такое, как они возмущенно закатят глаза. А простолудины?! Предложи им монету — они поднимут тебя на смех, посоветуй меньше есть дурманных листьев — скажут, что ты ханжа. От императора до простого люда — все считают дурные поступки естественными, а хорошие — лицемерными. Поэтому они и занимаются убийствами, искореняя, как они считают, лицемерие.

По-моему, каких бы политических взглядов ты ни придерживался, всякое преобразование нужно начинать с экономики и проводить его честно. А среди наших деятелей нет ни одного честного человека, и в экономике они ничего не смыслят. Власть для них — только средство угнетать да притеснять. Между тем сельское хозяйство и промышленность в полном развале. Когда находится человек вроде меня, который хочет построить политику на научных и гуманных принципах, его объявляют лжецом, потому что иначе деятелям пришлось бы признать собственную неправоту. Кстати, даже если бы они решились ее признать, их все равно бы не поняли.

В свое время бесчестная политика родилась как результат экономического развала. Сейчас об экономике вообще никто не беспокоится; восстановить ее не

легче, чем воскресить мертвеца. Мы пережили слишком много политических потрясений, и с каждым из этих потрясений все человеческое обесценивалось, а злодеи побеждали. Теперь они ждут последней победы, и тогда выяснится, кто же из них злее всех. Стоит мне заговорить о человечности, как меня оплевывают с ног до головы. Любая теория, которая успешно применяется за границей, попадая к нам, становится отвратительной; лучшие дары природы превращаются у нас в дурманные листья! Однако я не отчаиваюсь: человеческая совесть сильнее меня, она ярче солнца! Я не боюсь протестовать и делаю это при каждом удобном случае. Знаю, что не увижу плоды своих трудов, но ведь моя совесть долговечнее моей жизни!

Большой Ястреб замолчал, слышалось только его шумное дыхание. Я невольно восхитился этим человеком: ведь он не баловень толпы, не предмет бездумного поклонения, а тысячекратно оплеванная и обруганная жертва, мессия, которому предстоит снять позор с людей-кошек.

Вернулся Маленький Скорпион. Он никогда не приходил так поздно.

— Как ты кстати! — воскликнул он, обнимая Большого Ястреба, который кинулся ему навстречу.

Из глаз обоих потекли слезы. Я не решался спросить, чем они так взволнованы, а Маленький Скорпион продолжал:

— И все же твой приход мало поможет.

— Я знаю. Не только не поможет, а помешает тебе. Но я не мог не прийти. Пробыл мой час!

— Что ты задумал?

— Смерть в бою я предоставляю тебе. Сам я умру бесславно и все-таки не понапрасну. Сколько у тебя войска?

— Немного. Отцовские солдаты уже отступили, а другие собираются отступить. Только солдаты Большой Мухи могут послушаться моего приказа, но если они узнают, что ты здесь, отпадут даже они.

— Понимаю, — хмуро ответил Большой Ястреб. — А ты не можешь повернуть отцовских солдат на врага?

— Боюсь, ничего не получится...

— Казни для острастки парочку офицеров!..

— Ими командует отец...

— Соври им, скажи, что у меня много солдат, что ты послал меня на фронт, но я ослушался твоего приказа...

— Предположим. Хотя у тебя нет ни одного солдата, я могу сказать, будто их сто тысяч. А что потом?

— Потом убей меня и выставь мою голову на улице. Тогда солдаты подчинятся тебе — ведь они знают меня!

— Боюсь, что это в самом деле единственный выход... Но я еще должен сказать им, будто отец передал мне командование.

— Да, и поскорее, потому что враг уже подходит. Чем больше ты успеешь набрать солдат, тем лучше. А я, друг, покончу с собой, чтобы тебе не пришлось стать моим палачом.

— Погодите! — воскликнул я дрожащим голосом. — Погодите! Что это даст вам?

— Ничего, — все так же хмуро ответил Большой Ястреб. — У врага гораздо лучше и солдаты и оружие, мы вряд ли одолеем его даже всей страной. Но если наша гибель будет замечена, она сможет повернуть ход истории Кошачьего государства. Иностранцы по крайней мере не будут нас так презирать. Наша гибель — не жертва и не путь к славе, а насущная необходимость. Мы не желаем быть рабами! Человеческая совесть долговечнее жизни. Вот и все. Прощай, земной господин!

— Постой! — окликнул его Маленький Скорпион. — Лучше съесть сорок дурманных листьев, так легче умереть.

— Можно, — усмехнулся Большой Ястреб. — Странно складывается жизнь!

До сих пор я не ел дурманых листьев, и меня считали ханжой. Пусть теперь у них хоть доказательство будет. Дурман, носи листья! Я никуда не пойду, в минуту смерти я хочу быть с друзьями...

Девушка принесла охапку листьев и тотчас вышла. Большой Ястреб решительно принялся за них.

— А как же твой сын? — произнес Маленький Скорпион с раскаянием в голосе. — О, я не должен был об этом говорить!

— Но ведь гибнет страна... — тихо ответил Большой Ястреб.

Он продолжал жевать листья, но очень медленно — наверное, уже захмелел.

— Я хочу спать, — еле слышно сказал он, опускаясь на пол.

Я взял его за руку, он поблагодарил, и это были последние слова Большого Ястреба, хотя рука оставалась теплой и дыхание прервалось лишь в полночь.

## 24

Да, я не мог назвать его смерть жертвой, потому что он сам не считал себя героем. Сбудутся ли его надежды, я пока еще не знал, но видел, что его отрубленная голова торчит на шесте посреди города. Я, конечно, пришел посмотреть не на голову, а на жителей Кошачьего города, для которых подобное зрелище представляло особое удовольствие. Маленький Скорпион давно исчез и не являлся даже у Дурман, поэтому я решил пойти на улицу.

Город по-прежнему выглядел оживленным — пожалуй, еще более оживленным, чем раньше. Ведь можно было полюбоваться отрубленной головой, это гораздо интереснее, чем камешек на дороге. Говорили, что в толкотне, у шеста, уже задавлены три старика и две женщины, но никто не горевал, потому что смерть ради удовольствия считалась почетной. Люди-кошки еще больше толкали и бранили друг друга. Никто не спрашивал, чья это голова, за что отрублена. В толпе слышались примерно такие восклицания:

— У, какая волосатая!

— А глаза-то закрыты!

— Жаль, что только голову выставили! Надо бы и тело...

Пожалуй, Большой Ястреб принял правильное решение. Стоит ли жить рядом с подобными людьми?

Выбравшись из толпы, я пошел к императорскому дворцу. Идти было трудно, потому что во всех направлениях шествовали отряды музыкантов, которые нещадно дули и били в свои инструменты. Слушатели бросались за ними то в одну, то в другую сторону, но все равно не успевали и наверняка досадовали, что у них так мало ног, ушей и глаз. По воплям зевак я понял, что это свадебные оркестры, однако из-за обилия людей не видел паланкинов с невестами и не мог определить, сколько людей-кошек должны их нести. Впрочем, гораздо больше меня интересовал другой вопрос: почему в минуту опасности так торопятся со свадьбами?

Спросить было не у кого — люди-кошки боялись разговаривать с иностранцем. Я вернулся к Дурман. Она сидела в комнате и плакала, а при виде меня зарыдала еще сильнее, как будто я ее обидел. Пришлось долго утешать ее, прежде чем она сказала:

— Маленький Скорпион ушел на фронт! Это ужасно!..

— Ничего, он еще вернется! — соврал я, искренне желая, чтобы моя ложь оказалась правдой. — Он обязательно вернется, и я пойду вместе с ним.

— Правда? — улыбнулась она сквозь слезы.

— Конечно! А сейчас пойдем прогуляемся. Довольно плакать здесь одной.

— Я вовсе не плачу, — сказала Дурман, вытирая слезы и пудрясь.

— Почему сейчас так много свадеб? — спросил я по дороге.

Это был праздный вопрос, но я утешал себя тем, что отвлекаю женщину

от мрачных мыслей. Сказать по правде, я отвлекал и себя, потому что предчувствовал неизбежную гибель Маленького Скорпиона.

— Когда наступает смутное время, все спешат со свадьбами, чтобы солдаты не обесчестили девушек, — объяснила Дурман.

— Зачем же праздновать их так пышно?

Я не мог думать ни о чем другом, кроме начавшейся войны, но кошачье отношение к жизни на этот раз оказалось разумнее человеческого.

— На свадьбах необходима пышность. Война скоро кончится, а брак — на всю жизнь!

Поверив моим словам о возвращении Маленького Скорпиона, Дурман успокоилась и даже предложила мне посмотреть пьесу.

— Сегодня министр иностранных дел устраивает представление на улице по случаю женитьбы сына. Пойдем?

Мне казалось, что убить министра, который во время войны занимается подобной чепухой, намного достойнее, чем смотреть спектакль, но на роль убийцы я не годился, а кошачьего театра еще не видел. Я решил пойти — в последнее время мое диалектическое мышление заметно кошконизировалось.

Перед домом министра иностранных дел стояло множество солдат. Представление уже началось, но простой народ близко не подпускали: тот, кто рвался вперед, получал дубиной по голове. С собственным мирным людом кошачьи солдаты воевали отлично! Меня они, конечно, не посмели бы ударить, но я сам не очень рвался вперед, потому что доносившаяся из театра музыка отнюдь не уладила мне слух. Долго я слушал пронзительные звуки, прерываемые воплями актеров, однако так и не почувствовал никакого удовольствия.

— Нет ли у вас пьес получше этой? — спросил я у Дурман.

— Есть, иностранные. Их я смотрела в детстве, они гораздо тоньше. Потом их перестали играть, так как никто в них ничего не понимал. Министр иностранных дел сам выступал за новые пьесы — до тех пор, пока один иностранец не сказал, что наш театр тоже очень интересен. Тогда министр вернулся к старому театру.

— А если другой человек скажет, что иностранный театр лучше?

— Это уже будет бесполезно. Иностранные пьесы действительно хороши, но слишком глубоки. Когда министр ратовал за них, он вряд ли их как следует понимал, поэтому и уцепился за лестное мнение о наших пьесах. Сам он вообще не разбирается в театре, хотя и норовит прослыть его пропагандистом. А старый театр легче рекламировать, у него больше поклонников. У нас часто так бывает: новое едва возникнет и тут же вытесняется старым. Для того, чтобы понимать новое, нужно слишком много сил и энергии.

Я чувствовал, что это не ее мысли, а Маленького Скорпиона, потому что сама она продолжала потихоньку протискиваться вперед.

Мне было неудобно ловить ее на слове, но больше я выдержать не мог.

— Уйдем?

После всего сказанного о театре Дурман было неловко не согласиться. Не протестовала она и тогда, когда я предложил сходить к императорскому дворцу.

Он был самым большим, но не самым красивым зданием Кошачьего города. Сегодня дворец выглядел особенно неприятно: перед стенами солдаты, на стенах солдаты... Кроме того, стены были вымазаны свежей грязью, а вода во рву воляла сильнее обычного.

— Иностранцы любят чистоту, — пояснила Дурман, — грязь — лучшее заграждение от них.

У меня не хватило сил даже рассмеяться.

На стену вылезло несколько фигурок, которые долго усаживались верхом, по-видимому, боясь свалиться. Дурман возбужденно закричала:

— Высочайший указ!

— Где? — спросил я.

— Смотри!

Люди на стене двигались так медленно, что у меня заныли ноги. Наконец гонцы спустили на веревке камень с белыми знаками. Дурман, обладавшая острым зрением, охнула.

— Что случилось? — заторопил я.

— Перенос столицы! Император уезжает! Беда! Как же мы будем без него?! — запричитала Дурман, очевидно, тревожась о Маленьком Скорпионе, а не об императоре.

Тем временем со стены спустили еще один камень.

— «Солдатам и народу, — начала читать девушка, — повелеваем оставаться на местах. Переезжаем только Мы и чиновники».

Я поразился мудрости Его Величества и пожелал ему на полпути свернуть себе шею. Но Дурман неожиданно обрадовалась:

— Это еще ничего. Раз многие остаются, мне не страшно!

«Интересно, где они будут получать дурманские листья после отъезда чиновников?» — подумал я, но в этот момент появился новый камень.

— «С сего дня запрещаем именовать Нас «Хозяином всех свор». В минуту грозной опасности народ должен быть сплочен, поэтому Мы становимся «Хозяином одной своры». Все на борьбу с врагом!» — прочитала Дурман и добавила: — Лучше бы совсем без свор...

Мы подождали еще немного, но поняли, что указов больше не будет, так как глашатаи скрылись за стеной. Дурман очень хотелось вернуться и посмотреть, не пришел ли домой Маленький Скорпион, а я отправился к государственным учреждениям, где могли вывесить еще какие-нибудь указы. В восточной стороне, куда пошла Дурман, по-прежнему гремела музыка, но здесь стояла полнейшая тишина. Похоже, что свадьбы были в тысячу раз важнее всех государственных проблем.

Особенно интересовало меня министерство иностранных дел, перед которым никого не оказалось. Ах да, министр ведь празднует свадьбу сына и, должно быть, отпустил своих подчиненных. Еще вопрос, есть ли у людей-кошек иностранные дела, хотя министерство существует.

Воспользовавшись отсутствием чиновников, я решил выяснить этот вопрос. Бесцеремонно вошел — внутри никого. Комнаты не заперты, в них тоже никого и ничего, кроме кучи каменных пластинок с надписью «Протест». Их, наверное, рассылают во всех подходящих и неподходящих случаях: ведь дипломаты — специалисты по протестам. Я хотел найти какие-нибудь документы, присланные из-за границы, но не нашел. Видимо, иностранцы, стремясь облегчить себе дипломатические отношения, никогда не отвечали на кошачьи «протесты».

Незачем было смотреть другие учреждения. Если министерство иностранных дел так гениально просто, то в остальных организациях, поди, нет даже каменных пластинок.

А учреждений мне встретилось много: министерство проституции, институт дурманских листьев, управление кошачьими эмигрантами, министерство борьбы с иностранными товарами, палата мяса и овощей, комитет общественной торговли сиротами... Некоторых интересных названий я просто не понял. Чтобы обеспечить всех чиновников службой — или бездельем, — требовалось как можно больше учреждений. Мне показалось, что их уж слишком много, но людям-кошкам, по-видимому, было недостаточно.

Я шел прямо на запад, намереваясь заглянуть в иностранный квартал. Нет, пойду лучше домой, посмотрю, не вернулся ли Маленький Скорпион. Я пошел обратно, по другой улице, и вдруг увидел группу студентов, которые не любовались спектаклем или отрубленной головой, как их сверстники, а стояли на коленях перед большим камнем с надписью: «Памятник великому святому Мяу». Зная, что они тотчас разбегутся, если увидят меня, я тихонько подошел сзади, тоже опустился на колени и стал слушать, о чем они говорят.

Один из студентов вперед выпрямился во весь рост и крикнул:

— Да здравствует мяуизм! Да здравствует кошкизм!

Все подхватили его возглас. Вдоволь накричавшись, первый студент приказал остальным сесть на землю и произнес речь.

— Мы должны свергнуть всех богов и поставить на их место великого святого Мяу! — провозгласил он. — Мы должны низвергнуть родителей, преподавателей и восстановить нашу свободу! Мы должны низложить императора и осуществить кошкизм! Сейчас мы схватим императора и подарим его иностранцам, чтобы они нас поддержали. Такого великолепного случая может больше не представиться, поэтому будем действовать немедленно. Затем мы уничтожим старших родственников, учителей, и тогда все дурманные листья, женщины, народ и сам кошкизм будут нашими. Вспомните, что говорит великий святой Мяу: «Вперед! На дворец!»

Никто не тронулся с места. Студент крикнул снова — опять никто не шевельнулся.

— Может быть, сначала лучше разойтись по домам и убить отцов? — предложил один. — Во дворце слишком много солдат, как бы не нарваться!

Все повскакали с земли.

— Погодите! Сядьте! Значит, начинаем с отцов?

Студенты заспорили, засомневались:

— Если мы убьем отцов, кто нам будет давать дурманные листья?

— Правильно! Сначала нужно забрать все дурманные листья, а потом убить их владельцев!

— Раз у нас нет единого мнения, можно разделиться, — предложил другой. — Антиимператорская фракция пойдет во дворец, а антиотцовская — по домам.

— Но великий святой Мяу говорил только об убийстве императора, а не отцов...

— Контрреволюция!

— Если мы убьем их, мы нарушим завет великого святого!

Я решил, что юнцы передерутся, но они ограничились воплями. Постепенно крикуны распались на несколько групп, каждая из которых обращалась к памятнику святого Мяу. Затем студенты рассеялись, но по-прежнему осаждали памятник. Наконец все устали, из последних сил выкрикнули: «Да здравствует мяуизм!» — и разошлись. Что за дьявольщина?

## 25

Мне уже расхотелось критиковать людей-кошек, потому что никакая критика не делает из камня прекрасной скульптуры. Все, что можно было извинить, я извинял, а оставшееся приписывал неблагоприятным природным условиям их государства.

Я ждал Маленького Скорпиона, чтобы вместе с ним отправиться на фронт — посмотрю, как они воюют. О других марсианских странах я почти ничего не знал, а Дурман сообщила мне только одно: что у иностранцев пудра тоньше и белее. В ответ на остальные вопросы она качала головой и восклицала:

— Почему он до сих пор не возвращается?!

Я не мог ответить на это, а лишь молился за всех женщин, чтобы в мире никогда больше не было войн.

Дурман буквально не находила себе места. Все кошачьи чиновники удрали, на улицах стало менеелюдно, но многие еще любовались отрубленной головой Большого Ястреба. Получить вести с фронта было невозможно; никто понятия не имел о государственных делах, хотя слово «государственный» употреблялось здесь особенно часто: дурманные листья — это государственная пища, Большой Ястреб — государственный преступник, грязь в канаве — государственная защита... Пойти за новостями в иностранный квартал значило разминуться с Маленьким Скорпионом, если он вернется. А Дурман приставала ко мне:

— Все убежали, даже Цветок! Может, и нам убежать?

Я молча качал головой.

Наконец он вернулся. Дурман так обрадовалась, что не смогла выговорить ни слова, а только уткнулась заплаканной мордочкой ему в грудь. Но сам Маленький Скорпион выглядел печальным, с его лица сошла обычная усмешка.

— Ну, как дела?— спросил я, дав ему перевести дух.

— Безнадежны,— вздохнул он.

Дурман бросила взгляд на меня, потом на Маленького Скорпиона и нерешительно выдавила вопрос, который давно ее мучил:

— Ты снова уйдешь?

Не глядя на девушку, он отрицательно покачал головой. Я не решился продолжить расспросы, чтобы случайно не огорчить Дурман. Впрочем, она и сама, наверное, почувствовала, что Маленький Скорпион говорит ей неправду.

Он отдохнул еще немного и сказал, что хочет повидаться с отцом. Дурман промолчала, но видно было, что она твердо решила следовать за ним. Поняв, что его ложь раскрыта, Маленький Скорпион беспокойно заходил по комнате; я не мог поддержать его, потому что меня сковывал взгляд девушки. Наконец Дурман не выдержала и расплакалась.

— Куда пойдешь ты, туда и я!

Он опустил голову, подумал.

— Хорошо!

Я тоже заявил, что пойду вместе с ними, хотя вовсе не жаждал увидеть Большого Скорпиона.

Мы двинулись на запад, но весь народ, даже солдаты, шел навстречу.

— Почему они идут сюда, если враг на западе?— невольно спросил я.

— Потому что на востоке безопаснее!— скрипнул зубами Маленький Скорпион.

Нам встретилось множество старых и новых ученых, которые шествовали по разным сторонам улицы, необычайно радостные.

— Мы идем к императору!— крикнули они Маленькому Скорпиону.— Его Величество приказал созвать научную конференцию, поскольку оборона страны — общее дело и пальма первенства принадлежит здесь ученым. Перед нами стоит множество вопросов, например: сколько солдат на фронте, захватят ли враги Кошачий город. Если они действительно намерены его захватить, то мы посоветуем Его Величеству передвинуться еще дальше на восток. Мудрый император, он не забывает об ученых! Мудрые ученые, они до конца верны императору!

Открыленные надеждой увидеть Его Величество, ученые даже не обратили внимания на то, что Маленький Скорпион ничего не ответил. Но едва эта ликующая группа прошла, как появилась другая, с понурыми, убитыми лицами.

— Помогите нам, господин! Почему Его Величество не пригласил нас на научную конференцию?! Ведь наши знания, наши добродетели ничуть не меньше, чем у этих мерзавцев! Если мы не попадем на конференцию, то нас вообще перестанут называть учеными! У вас такие связи, господин, походатайствуйте, чтобы нас не обошли приглашением!

Маленький Скорпион по-прежнему молчал, однако на этот раз его молчание было воспринято иначе.

— Если вы не поможете нам, мы начнем критиковать правительство, и тогда всем достанется!

Схватив Дурман за руку, Маленький Скорпион пошел быстрее. Ученые в голос зарыдали.

Показался строй каких-то особых солдат, у которых на шее висели красные шнуры. Я никогда не видел подобной армии, но не решился тревожить вопросом Маленького Скорпиона, уже достаточно взбешенного учеными. Однако он заметил мое недоумение и горько рассмеялся:

— Это так называемая красноверевочная, или государистская, гвардия. Красные шнуры — ее отличительный знак, как и в других странах. Но там госу-

даризм означает крайний, даже фанатический патриотизм, а наша красноверевочная гвардия из того же патриотизма стремится в местечко поспокойнее, где ей ничто не угрожает. Ведь если иностранцы перебьют ее, она больше не сможет проявлять свою любовь к родине!..

Один из гвардейцев ехал на головах десяти с лишним людей-кошек, и шнур на его шее был особенно толстым.

— Это командующий красноверевочной гвардией,— тихо добавил Маленький Скорпион.— Он намерен сосредоточить в своих руках всю государственную власть, потому что другие страны таким способом стали сильнее. Сам-то он и теперь сильнее остальных, то есть хитрее. Я убежден, что сейчас он едет за императором только для того, чтобы осуществить свой план. Убежден!

— Может быть, тогда ваша страна действительно станет сильнее?— заколебался я.

— Нет. Хитростью можно только захватить власть, а не укрепить страну. Он поглощен собственным честолюбием, но никак не заботами о государстве. Настоящий патриотизм — это борьба с врагом.

Я понял, что междоусобицы людей-кошек были своеобразной приманкой для вторжения иностранцев. От шнуров красноверевочной гвардии у меня зарябило в глазах: передо мной расстилось зловещее кровавое море, по которому плыли гвардейцы.

Мы уже вышли из Кошачьего города, и я почему-то подумал, что могу больше не увидеть его. Вскоре нам встретилась еще одна процессия: странные существа с блаженно глупыми мордами и с травинками в лапах. Дурман, давно не подававшая голоса, воскликнула:

— О, святые идут!

— Что?— гневно спросил Маленький Скорпион, который раньше никогда не сердился на девушку.

Она робко уточнила:

— Нет, нет, я в них не верую.

— О каких святых идет речь?— осведомился я, надеясь, что мое неведение отвлечет Маленького Скорпиона.

Маленький Скорпион долго молчал и вдруг сам задал мне вопрос:

— Скажи, каков основной недостаток людей-кошек?

Я не знал, что ответить, и когда мой приятель сказал: «Глупость!»— искренне обрадовался, что это он говорит не про меня.

— Да,— продолжал Маленький Скорпион,— глупость — наша главная беда, потому что мы обычно подражаем другим, делаем вид, будто все знаем и понимаем, а на самом деле не знаем и не понимаем ничего. В минуту настоящей опасности мы, забыв о своих претензиях, зовем маму, как дети, и тогда обнажается пустота наших душ, вся наша глупость. Наши мяуисты, например, вопят о великом святом Мяу. Сейчас они эвакуируют его приближенных, рядовых «святых», которые умеют только держать травинку перед своим вождем. В мире нет никого тупее и глупее их.

Сначала мы отмахиваемся от проблемы, а когда разрешить ее уже нельзя, призываем на помощь святых. Нет, наша гибель неизбежна. Если дурно организованные экономика, политика, образование, армия могут погубить государство, то массовая глупость способна погубить всю нацию, потому что глупцов попросту презирают. Захватив нашу страну, враги полностью уничтожат нас, и никто из соседей не вознегодует. Скот пошел под нож — что в этом особенного? Люди всегда жестоки к тем, кого презирают.

Я очень хотел познакомиться с кошачьими святыми поближе, но боялся потерять Маленького Скорпиона и Дурман. На отдых мы расположились в деревушке, которая представляла собой несколько полуразвалившихся домиков, без единого жителя.

— Во времена моего детства эта деревня выглядела иначе. Как быстро все приходит в запустение,— задумчиво сказал Маленький Скорпион.

Я не знал, отчего погибла деревня, но не стал донимать его расспросами, потому что уже слышал о нескольких странных революциях, а за ними — войнах, после которых никто не знал, что делать. Все то же невежество и ханжество, каждый переворот сопряжен с увеличением армии, с ростом числа алчных чиновников. Крестьяне голодают, даже если трудятся в поте лица, и бегут в город или за несколько дурманных листьев пополняют собой армию. Да, опасное это дело — революция без подлинной цели! Ничто не спасет людей-кошек, если они не поймут, что их душит собственная глупость.

Вдруг Дурман вскочила и закричала:

— Смотрите, смотрите!

На западе клубилась огромная туча серого песка, словно поднятая налетевшим вихрем.

Губы Маленького Скорпиона задрожали:

— Это бегут отступающие солдаты!

## 26

— Спрячьтесь! — приказал Маленький Скорпион без страха, но и без тени прежней иронии. — Наши солдаты не очень бойки в наступлении, но отступают как безумные. Друг, поручаю Дурман тебе!

Горящими глазами он смотрел на запад, а руки его тянулись к девушке, точно он хотел приласкать ее. Дурман взяла его за руку и, дрожа всем телом, прошептала:

— Мы умрем вместе!

Я не знал, что делать: прятать Дурман или остаться с ними. Смерть меня не страшила, но я хотел принести хоть какую-нибудь пользу. Впрочем, если на нас обрушится несколько сотен обезумевших солдат, то не поможет даже мой пистолет. Схватив друзей за руки, я хотел броситься с ними в первую попавшуюся хижину, чтобы потом, когда отряд промчится мимо, поймать одного из оставших солдат и узнать, что происходит на фронте.

Маленький Скорпион не желал прятаться, Дурман тоже не слушалась меня. Между тем туча пыли нарастала с молниеносной быстротой.

— Глупо так умирать, я не допущу этого!

— Все кончено, не беспокойся обо мне, — твердо сказал Маленький Скорпион. — И о Дурман тоже: пусть делает, что хочет.

Но физической силой он не мог со мной соперничать: я обхватил его и поволок. Дурман последовала за нами. Мы спрятались в одном разрушенном домишке, я положил на стену несколько кирпичей и сквозь щели между ними стал наблюдать за бегущим войском.

Оно налетело, как смерч, захлестнуло нас серым песком и испуганными воплями. Я зажмурился, но усилием воли снова открыл глаза. Солдаты бежали с пустыми руками, глядя себе под ноги. Еще никогда мне не встречалось войско без знамени, без оружия, без лошадей, без формы — одни голые люди-кошки, близкие к сумасшествию, отчаянно вопящие и мчащиеся по горячему песку. Теперь я не испугался бы даже целой армии этих дикарей.

Несколько минут — и главная масса солдат схлынула. Я подумал, что они, наверное, принадлежат Большому Скорпиону и захотят расчитаться с ним за свое поражение. Если так, то Маленький Скорпион шел на верную смерть, когда отказывался прятаться от них. Мне снова захотелось поймать кого-нибудь из оставших солдат, но они бежали даже быстрее передних — должно быть, пытались нагнать их. Ловить было безнадежно, оставалось подстрелить. Нет, этот способ не для меня: я все же не военный, чтобы прибегать к такой жестокости.

Солдат становилось все меньше. Я выскочил из укрытия, решив стрелять только в самом крайнем случае. Жизнь иногда бывает сложнее, чем ее себе представляешь, но иногда проще. Если бы солдаты продолжали бежать, то за ними не угнаться бы. На счастье, один из них поступил иначе и, завидев меня,

оцепенел, словно лягушонок перед водяной змеей. Остальное было совсем просто. Я взвалил его, полумертвого от усталости и страха, к себе на спину, и он даже не пискнул.

В нашем убежище он долго не открывал глаз, а едва открыл и увидел Маленького Скорпиона, как дернулся, будто ему всадили штык в живот. Глаза солдата загорелись, он явно хотел броситься на молодого хозяина, но моя рука легла ему на плечо.

Маленький Скорпион, неподвижно сидевший рядом с Дурман, не проявил к пленнику никакого интереса, и я понял, что мне придется расспрашивать самому. Не добившись ничего добром, я припугнул солдата и спросил, почему они потерпели поражение.

Солдат снова оцепенел, стал что-то вспоминать и вдруг показал на Маленького Скорпиона:

— Все из-за него!

Маленький Скорпион усмехнулся.

— Все из-за него! — яростно повторил солдат.

Я знал, что люди-кошки очень вспыльчивы, и выжидал, когда его гнев уляжется.

— Мы не хотели воевать, а он обманул нас и послал на фронт! И еще не разрешил взять национальные престижи, которые нам давали иностранцы! Красноверевочную гвардию и другие армии он тоже послал, но они преспокойненько взяли национальные престижи и отступили; одну нашу армию разгромили в пух и прах! Мы солдаты его отца, а он не позаботился о нас, бросил нас в бой, не захотел отпустить, как собирался сделать его отец. Если хоть один из нас останется в живых, не видать тебе хорошей смерти! Другие преспокойненько отступили, даже пограбили немного, — не то что мы! Как нам теперь жить?!

Маленький Скорпион слушал внимательно, но с подавленным видом. Для меня же было интересно каждое слово солдата, который, на мое счастье, продолжал:

— Вы отняли у нас и землю, и дома, и семьи! Сегодня вам нужно одно, завтра другое! Чиновников все больше, а народ нищает! Вы грабите нас, обманываете, заставляете идти в солдаты, чтобы мы для вас грабили. Сами получаете всю добычу, а нам даете крохи, и то потому, что бонтесь, как бы вас не оставили. Когда иностранцы нападают на вас, хотят отнять ваше добро, вы посылаете нас на смерть! Но какой дурак будет за вас умирать? Мы просто отбываем повинность, потому что не умеем работать, потому что вы еще наших отцов превратили в солдат. Мы с детства не знаем другой доли и иначе жить не можем.

Он остановился, чтобы набрать воздуха, а я воспользовался случаем и спросил:

— Если вы знаете, кто виновники и чем они плохи, почему вы не казните их и не станете управлять страной сами?

Солдат выпучил глаза. Я решил, что он не понимает меня, но он всего лишь задумался.

— Ты хочешь сказать, почему мы не устроим переворот?

Я никак не ожидал, что он знает это слово, — забыл, сколько переворотов было в Кошачьем государстве.

— А-а, никто уже не верит! От переворотов мы только теряем, а они приобретают. Когда разделили землю, все радовались, но каждый получил так мало, что не смог посадить и десятка дурманных деревьев. И сажали — голодали, и не сажали — голодали. Наши вожди ничего не могли сделать. Они старались, особенно молодые, но мы все равно голодали — значит, они были дураками. Мы перестали им верить, хотя и сами ничего не знали. Нам оставалось только слушать тем, кто давал дурманные листья, а сейчас мы и солдатами быть не можем.

Мы должны убить хотя бы одного чиновника. Ведь они послали нас драться с иностранцами, то есть на верную смерть! Если нас убьют, как мы будем служить и есть дурманные листья? У чиновников горы листьев, целые толпы женщин, а нам даже обглоданного листа не дадут, посылают драться с иностранцами. Нет, уж мы лучше с чиновниками станем драться!

— Вы бежали специально для того, чтобы убить его?— показал я на Маленького Скорпиона.

— Да, для этого! Он послал нас в бой, не разрешил нам взять у иностранцев национальные престижи!

— Ну и что вы стали бы делать, если б убили его?— спросил я.

Солдат промолчал.

У меня не было ни времени, ни охоты объяснять пленнику, что Маленький Скорпион — едва ли не единственный думающий человек-кошка, что ненавидеть его глупо. Солдат, видимо, считал Маленького Скорпиона крупным чиновником, он не мог уничтожить все чиновничество, поэтому и хотел сорвать злобу хоть на одном. Я вновь убедился в том, что даже умный человек, старающийся разрешить политические и экономические проблемы, тонет среди этих проблем, если не обладает необходимыми знаниями, что многократные перевороты умножают народные горести, но вряд ли делают народ умнее: он чувствует себя обманутым, а что делать — не знает. Сверху донизу сплошная глупость! Она зияет на теле Кошачьего государства, словно кровавая рана, и все-таки недостаточно причиняет боль, чтобы заставить его воспрянуть.

Куда же деть пленника? Если отпустить его, он может созвать других солдат и убить Маленького Скорпиона; если взять с собой, он нам только помешает.

Время было позднее, пора действовать, но Маленький Скорпион всем своим видом показывал, что не хочет ничего, кроме смерти, он даже говорить не хотел. Дурман как советчица в счет не шла. Возвращаться домой было опасно, идти на запад еще опаснее — все равно что самим лезть в сети. Единственный выход, пожалуй, отправиться в иностранный квартал. Однако Маленький Скорпион покачал головой:

— Лучше смерть, чем позор! И отпусти ты этого несчастного...

Я так и сделал.

Постепенно стемнело. Кругом царил необычайная, зловещая тишина. Вдали наверняка бредут отступающие солдаты, за ними идут иностранцы, а здесь — напряженная тишина, как на пустынном острове перед бурей. Конечно, сам я мог перебраться в другую страну, но меня мучила судьба Маленького Скорпиона, который успел стать мне близким другом. Да и Дурман не хотелось бросать. Как это печально — в обвалившемся домишке ждать гибели государства! Именно тогда особенно остро ощущаешь связь между понятиями «человек» и «гражданин». Я думал, разумеется, не о себе, а о своих друзьях: только так я мог проникнуть в их души, взять на себя хоть часть их скорби, потому что утешать их было бесполезно. Государство гибнет от собственной глупости. Эта гибель — не трагическое разрешение противоречий, не поэтическое олицетворение справедливости, а исторический факт, который не смягчишь никакими чувствительными словами. Я не книгу читал, а слышал поступь смерти! Мои друзья слышали ее, конечно, еще отчетливее, чем я. Они проклинали ее или предавались воспоминаниям. У них не было будущего, а их настоящее воплотило в себе весь позор их сограждан.

На небе, все таком же темном, сверкали звезды. Кругом по-прежнему стояла тишина, однако глаза моих друзей были открыты. Они знали, что я тоже не сплю, но никому не хотелось говорить: разящий перст судьбы придавил наши языки. В мире онемела еще одна культура, которая никогда больше не возродится. Ее последним воплем стала залоздавая песнь свободе. Душа этой культуры может попасть только в ад, потому что само ее существование было черным пятном на странице истории.

Уже к рассвету я забылся сном. Внезапно грянули два выстрела. Я вскочил, но было поздно: мои друзья лежали на земле окровавленные — рядом с Маленьким Скорпионом валялся пистолет.

Что я чувствовал тогда — невозможно описать. Я все забыл, остались только боль в сердце и страх от пристального взгляда их мертвых глаз. Да, они смотрели на меня, словно задумавшись, загадывая мне загадку, а я еще надеялся вернуть их к жизни и в то же время особенно отчетливо сознавал, как хрупка и беспомощна жизнь. Я не плакал, я был так же мертв, как они, — с той только разницей, что стоял, а они лежали. Присев, я потрогал их, они были еще теплыми, но не откликнулись. От них осталось лишь то небольшое, что знал я; остальное исчезло вместе с ними. Наверное, смерть по-своему приятна.

Мне было нестерпимо жаль их, особенно Дурман, которая была совсем не готова к героической гибели. Преступления людей-кошек обрекали на гибель их собственных жен, матерей, сестер. Будь я богом, я бы раскаялся в том, что дал женщин такой никчемной нации!

Я понимал Маленького Скорпиона и из-за этого еще больше жалел Дурман. У него были причины умереть вместе со своей страной — причины вполне объяснимые. Человек не может жить вне своей нации и государства; если он их теряет — он гибнет, а если не гибнет, то продает свою душу, ввергает ее аду.

Дурман и Маленький Скорпион становились для меня все дороже. Я мечтал разбудить их и сказать, что они чисты, что их души принадлежат им самим. Мечтал, чтобы они улетели со мной на Землю, испытали радости жизни. Но бесплодные иллюзии лишь усиливали тоску. Друзья оставались недвижимыми; казалось, они погибли уже несколько дней назад. И жизнь и смерть были Всем, а между ними лежало безгранично великое Непознаваемое. Да, молчание смерти оказалось абсолютной истиной. Мои друзья больше не заговорят, и я сам утратил интерес к жизни.

Я просидел возле них до самого восхода. Их черты вырисовывались все отчетливее, солнечный луч упал на безмолвное, но необычайно красивое лицо Дурман, на Маленького Скорпиона, прислонившего голову к стене. Его лицо все еще хранило печальное выражение, как будто он даже после смерти не избавился от своего пессимизма.

Если бы я продолжал сидеть здесь, я сошел бы с ума. Но одна мысль о том, что я должен их оставить, исторгла у меня слезы, которые я до сих пор сдерживал. Бросить друзей и вновь скитаться по чужому миру было еще труднее, чем в свое время покинуть Землю. К тому же их образы будут постоянно преследовать меня. Я плакал, обхватив руками их тела, и почти кричал: прощай, Маленький Скорпион, прощай, Дурман!

Хоронить их я был не в состоянии. Стиснув зубы, я подобрал свой пистолет и перелез через стену. Нет, я не вернусь, пусть даже их тела сгниют. Какой я злосчастный человек: сначала потерял товарища, с которым вместе летел, а теперь и этих друзей... Наверное, со мной вообще нельзя дружить.

Куда же идти? Конечно, в Кошачий город. Там сейчас мой дом.

Навстречу мне никто не попадался, всюду витала смерть. На серо-желтой дороге, под серым небом валялись мертвые солдаты, над которыми с радостным клекотом плясали белохвостые коршуны. Я шагал как можно быстрее, однако в ушах стоял смех Дурман, раздавался голос Маленького Скорпиона. Видения преследовали меня.

Возле Кошачьего города мое сердце забилося сильнее — то ли от страха, то ли от новой надежды. На пустынных улицах не было никого, только трупы убитых женщин. Я догадался, что здесь проходили солдаты, и вспомнил фразу Дурман: «Цветок тоже убежала!» Да, если бы Цветок не скрылась, она попала бы в число этих мертвецов... Голова Большого Ястреба, вся исклеванная коршунами, по-прежнему торчала на шесте, но теперь не ее стерегли, она сама как будто сторожила пустой город... Дом Маленького Скорпиона оказался разрушенным.

Солдаты не оставили ничего, что я мог бы взять на память, да мне, наверное, и не следовало брать, потому что каждый кирпич, каждая частица этого дома вызывали у меня слезы.

Зная, что все жители на востоке, я пошел туда, по пути оглянулся на мертвый город, тонувший в сером воздухе, повернул к роще Большого Скорпиона, миновал безлюдные деревушки, где тоже побывали солдаты.

В роще опять-таки никого не оказалось. Я присел под деревом, но гнетущая тишина вскоре согнала меня с места. От нечего делать я пошел к отмели, где прежде купался, сел на песок и стал глядеть вдаль. Тут сквозь туман я вдруг заметил людей, идущих на запад. Было такое впечатление, что обстановка изменилась и жители возвращаются в город. Путников становилось все больше, некоторые шли с солдатами и нетерпеливо прокладывали себе дорогу обычным для именитых людей-кошек способом. Отряды сталкивались, но увидеть, кто из них побеждает, было трудно, потому что солдаты не столько били, сколько увертывались, прятались друг за друга. Один из отрядов увертывался особенно умело и, заполняя образовавшиеся пустоты, потихоньку двигался вперед. Когда он подошел ближе к отмели, я понял причину их ловкости — во главе отряда стоял Большой Скорпион.

Я не мог упустить такого случая и догнал отряд, который уже совсем вырвался на свободу и начинал ускорять шаг. Большой Скорпион, казалось, обрадовался, увидев меня, но к разговорам не был расположен. Когда я спросил, что он собирается делать, он озабоченно бросил:

— Идем с нами в столицу! Враги скоро придут туда, если уже не пришли.

«Наконец-то люди-кошки поняли, что нельзя не обороняться, и решили защитить свой город! — подумал я. — Но почему они тогда дерутся по дороге?!» Чувствуя, что мой восторг не совсем оправдан, я потребовал от Большого Скорпиона объяснений. Он, видимо, нуждался во мне и, зная мою настойчивость, не утаил правду:

— Мы идем сдаваться. Кто первый подарит столицу врагу, тот получит в награду прибыльное местечко.

— Нет уж, уволь! Сдаться ты и без меня сумеешь! — процедил я и круто повернул назад.

Военачальники, шедшие за Большим Скорпионом, тоже торопились капитулировать. Особенно усердствовал командующий красноверевочной гвардией, по-прежнему с толстым шнуром на шее.

Вдруг все остановились. Я оглянулся, увидел, что враг уже подходит, и решил все же пойти посмотреть, как Большой Скорпион будет сдаваться. Внезапно и меня и Большого Скорпиона обогнал командующий красноверевочной гвардией. Он птицей ринулся к врагам и кинулся перед ними на колени. Остальные военачальники последовали его примеру, словно почтительные сыновья на похоронах родителей в старом Китае.

Тут я впервые увидел врагов Кошачьего государства. Большинство из них были еще ниже ростом, чем обычные люди-кошки, не очень приятны на вид и явно еще подлее и свирепее. Впрочем, я не знал ни их истории, ни их национального характера и руководствовался только первым впечатлением. В руках они держали короткие палки, похожие на железные.

Когда люди-кошки встали на колени, один из лилипутов — видимо, начальник — хлопнул в ладоши. Стоявшие за ним солдаты мгновенно подались вперед и с удивительной точностью стали бить сдающихся по головам. Жертвы без единого звука валились на землю, как будто из палок вылетали электрические разряды. Остальные люди-кошки закричали, словно петухи под ножами, и рванулись назад, давая упавших. Лилипуты не преследовали их, а продвигались медленно, отбрасывая ногами трупы.

Недаром Маленький Скорпион говорил, что враг уничтожит всех людей-кошек до единого! Но я еще надеялся, что они окажут сопротивление. Капитуляция не спасла их от гибели, а борьба может спасти. Я не люблю войн, однако

история показывает, что иногда они неизбежны, что человек порою просто обязан вступить в битву и даже погибнуть в ней. Постоять за свой народ — святая обязанность, она не чета ложному патриотизму, который мне отвратителен. После незаслуженной расправы жители Кошачьего государства, наверное, еще дадут бой, и вполне возможно, что победа будет на их стороне.

Я держался поодаль от лилипутских солдат, которые приканчивали палками раненых. Конечно, эти солдаты не показались мне культурнее людей-кошек, но они имели по крайней мере одно преимущество перед ними: уважение к собственной стране. Это уважение выражалось в чудовищном эгоизме, и все же лилипуты выигрывали в сравнении с жителями Кошачьего государства, каждый из которых думал лишь о собственной выгоде.

Хорошо, что, отправляясь на фронт, я захватил немного дурманных листьев, иначе умереть бы мне с голода. Я не решался не только попросить еды у лилипутов, но даже приблизиться к ним, потому что они, чего доброго, могли принять меня за шпиона. Мы дошли до места, где лежал мой корабль, и тут лилипуты остановились. Издалека я увидел, что обломки корабля привлекли их внимание. Любознательностью пришельцы тоже превосходили людей-кошек, однако в тот момент я думал не об этом, а о прахе моего друга, который они топтали.

Отдохнув, солдаты принялись рыть землю: несколько неуклюже, но быстро, без всякой лени и сомнений. Вскоре они выкопали огромную яму, подогнали к ней толпу пленных людей-кошек, окружили их и начали сталкивать вниз. От криков несчастных разорвалось бы даже железное сердце, но у лилипутов сердца оказались крепче железа. Орудовали они металлическими палками. Среди жертв было много женщин, некоторые с детьми на руках. Не в силах спасти их, я закрыл глаза, но крики и плач раздаются у меня в ушах до сих пор. Постепенно шум стих, и я увидел, что низкорослые звери уже утаптывают землю. Всех закопали живьем! Страшное наказание за неспособность сопротивляться! Я не знал, кого сильнее ненавидеть, но чувствовал, что люди, не уважающие самих себя, не могут рассчитывать на человеческое обращение; подлость одного способна погубить очень и очень многих.

Если бы я до конца осознал все, что видел, я ослеп бы от слез. Лилипуты показались мне самыми жестокими тварями, они действительно уничтожили Кошачье государство — даже его мухи были обречены на гибель.

Потом я наблюдал, как некоторые люди-кошки пытались бороться, но небольшими группами по четыре-пять человек. Они до самого конца не научились действовать сообща. Я видел холм, на котором столпилось десятка полтора кошачьих беженцев, — единственное место, еще не захваченное врагом. Не прошло и трех дней, как они переругались и передрались между собой. Когда на холм поднялись лилипуты, там осталось всего два дерущихся человека-кошки — наверное, последние жители Кошачьего государства. Победители не стали убивать их, а посадили в большую деревянную клетку, где пленники продолжали яростный бой, пока не загрызли друг друга до смерти. Люди-кошки сами завершили свое уничтожение.

\* \* \*

Я прожил на Марсе еще полгода. Наконец туда прилетел французский изыскательский корабль, который живым и невредимым доставил меня в мой великий, светлый и свободный Китай.

*Перевел с китайского В. Семанов.*



## ВСТРЕЧИ И НАХОДКИ

**М**ы уже не в первый раз обращаемся к посредству «Нового мира», чтобы рассказать на его страницах об одном из самых святых для советского человека мест — о кремлевском рабочем кабинете и квартире Владимира Ильича Ленина. Нам выпало поистине большое счастье — ежедневно общаться с тем, что окружало, с чем работал при жизни Владимир Ильич.

Утром, когда идешь по длинным, торжественно-тихим коридорам здания Правительства, мысли невольно возвращаются к двадцатым годам, когда он сам ходил здесь, деятельный, полный кипучей энергии. Мы не раз ловили себя на том, что, входя в ленинский кабинет или квартиру, стараемся говорить тише, словно и сейчас в соседней комнате работают Владимир Ильич, Надежда Константиновна, Мария Ильинична. Наш скромный труд — ознакомление посетителей с условиями и подробностями деятельности и быта семьи Ульяновых в годы их жизни в Кремле — приносит нам огромное моральное удовлетворение: радостно сознавать, что вносишь свой небольшой вклад в пропаганду немеркнущих ленинских идей.

Но есть и другая сторона работы научно-го сотрудника музея, невидимая для посетителей, — изучение, детальное знакомство с историей предметов и документов, хранящихся здесь. Музей существует уже более десяти лет, и за это время его работники сделали множество открытий. Каждое из них по-своему значительно. Первое место принадлежит пометкам Владимира Ильича Ленина, которые он оставил на книгах своей библиотеки. Обработка тридцатитысячной семейной библиотеки Ульяновых растянулась на долгие годы. Прежде всего были отобраны книги и журналы, изданные

до 1923 года включительно, то есть те, что были приобретены при жизни Владимира Ильича. Их оказалось примерно десять тысяч. Каждая из этих книг была просмотрена постранично, том за томом, журнал за журналом. Все издания, на которых были хоть какие-нибудь пометки — слова, подчеркивания, закладки, — мы откладывали, и специально приглашенная затем авторитетная комиссия экспертов — специалистов по почерку Ленина и членов семьи Ульяновых изучала их. В это время мы жили в напряженной атмосфере, ожидая, приведут ли наши поиски к плодотворным результатам. И вот слышим уверенное, категорическое: «Да, это пометки Владимира Ильича Ленина».

Так в результате многодневной кропотливой работы были обнаружены двадцать семь книг, газет и журналов с пометками Ленина, много изданий, над которыми работали Надежда Константиновна Крупская, Мария Ильинична Ульянова и Анна Ильинична Ульянова-Елизарова.

Среди книг с пометками Ленина — «Анти-Дюринг» Энгельса на немецком языке, «Психологические этюды» Сеченова и многие другие.

Не всегда принадлежность пометок было легко установить; часто встречались легкие карандашные подчеркивания без всяких характерных особенностей. И тогда разгорались жаркие споры. Так было с книгой «Финансовый капитал» Р. Гильфердинга. Кажется, не за что зацепиться, ни одного словечка, только слабые следы химического карандаша на полях, отчеркивающие иногда целые фразы, иногда несколько слов. Специалисты сомневаются. Но ведь Владимир Ильич активно пользовался книгой Гильфердинга, работая над своим трудом «Империализм, как высшая стадия капита-

лизма». Скрупулезно сверяем цитаты с подчеркиваниями в найденной книге. Они почти всегда совпадают. Теперь и эксперты соглашаются, что именно с этой книгой работал Ленин.

В квартире Ульяновых книжные шкафы стоят в каждой комнате, здесь тоже много исключительно интересных изданий. В комнате Ленина книжный шкаф небольшой, на трех полках плотно стоят тома Г. В. Плеханова, А. Бебеля, В. Либкнехта и других. Особое внимание привлекают тома «Капитала» К. Маркса. Это редчайшее издание — на немецком языке, выпущенное издательством Отто Мейснера в Гамбурге (1-й том в 1872 году, 2-й — в 1885 году и 3-й — в 1894 году). Уже сама по себе такая находка — удача. В личной библиотеке Ленина мало книг дореволюционных изданий. В годы эмиграции Владимир Ильич не имел возможности собирать библиотеку, этому мешали бесконечные переезды и отсутствие средств. Он возил с собой только самое необходимое, и мы видим, что первое место среди этого самого необходимого занимает Марксов «Капитал». Мы начали листать первые страницы, и перед нами приоткрылась дверь в творческую лабораторию Ленина. Подчеркивания, отдельные замечания на немецком и русском языках разными карандашами и чернилами. Не вызывает сомнения, что Владимир Ильич неоднократно возвращался к изучению гениального труда Маркса и на протяжении многих лет не расставался с ним.

Не меньший интерес представляют пометки Надежды Константиновны Крупской. Здесь можно видеть уникальное нелегальное издание первой книги Крупской «Женщина — работница», которую Надежда Константиновна написала в сибирской ссылке и которая была напечатана в типографии газеты «Искра» под псевдонимом Н. Саблина. Уже много лет спустя, после революции, Надежда Константиновна зачеркнула на ее обложке «Н. Саблина» и написала черными чернилами «Н. Крупская». Особое место среди авторских книг Надежды Константиновны занимает ее «Народное образование и демократия», написанная в годы эмиграции. Владимир Ильич, сообщая об этой работе в письме к А. М. Горькому, заметил: «Автор занимается педагогикой давно, более 20 лет. И в брошюре собраны как личные наблюдения, так и материалы о новой школе Европы и Америки. Из оглавления

Вы увидите, что дан также, в первой половине, очерк истории демократических взглядов. Это тоже очень важно, ибо обычно взгляды великих демократов прошлого излагают неверно или с неверной точки зрения... Изменения в школе новейшей, империалистической, эпохи очерчены по материалам последних лет и дают очень интересное освещение для демократии в России»<sup>1</sup>.

Неизменно внимание посетителей музея привлекает третье издание произведений В. И. Ленина, стоящее на полке дивана в комнате Надежды Константиновны. В каждом томе большое количество закладок и почти на каждой странице любого тома подчеркивания и пометки Надежды Константиновны. Они еще ждут своего изучения и расшифровки, но даже беглое знакомство с этими пометками дает представление о том, что ни на один день не расставалась Крупская с литературным наследием Ленина. Те, кто хорошо знал Надежду Константиновну, говорят, что для нее Ленин никогда не умирал, она говорила о нем: «Владимир Ильич указывает», «Ильич думает». В самые трудные минуты Надежда Константиновна обращалась прежде всего к произведениям Ленина; когда она читала их, ей казалось, что Владимир Ильич говорит с ней, она даже слышала тончайшие интонации его голоса — так она впоследствии сама рассказывала. Ее пометки свидетельствуют о том, что каждый раз она прочитывала произведения Ленина под новым углом зрения, получая ответы на все новые возникавшие у нее вопросы. Здесь и национальная политика, и международное профессиональное движение, и положение женщины в обществе, и защита детей, и народное образование, и искусство.

Нередко, просматривая книги, мы обнаруживали интереснейшие документы и письма, вложенные в них кем-то из семьи Ленина. Так, в сборнике арифметических задач была обнаружена почтовая карточка со штемпелем: «Петроград. 9.2.15». Мы впервые предлагаем ее вниманию читателей. Адрес выведен угловатым старческим почерком: «Москва. Сыромятники, Костомаровский переулок, дом 15, квартира 336. Марии Ильиничне Ульяновой». На другой стороне читаем: «Дорогая Маруся, вчера,

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 182.

8-го, отправила я тебе большое письмо, и сейчас вышло у меня опасение, дошло ли оно, так ли опустили его, а досадно очень будет, если не дошло, и вот надумала я послать тебе откр. и просить тебя очень черкнуть мне хоть откр. тоже тотчас по получении этой, и сообщить, получила ли ты письмо мое вчерашнее от 8-го. Шлем тебе привет и ждем вестей от тебя. Крепко обнимаю тебя, твоя мама».

Сколько лет пролежала эта открытка, написанная матерью Владимира Ильича, в одном из ящиков стола Марии Ильиничны!

Все дети очень любили Марию Александровну, и эта открытка показывает нам ее заботу, беспокойство о детях. Жизнь этой замечательной женщины — ни на один день не прекращавшийся подвиг. Не было в ее жизни длительных периодов, когда все было бы спокойно и благополучно: кто-то из детей в тюрьме, кто-то в ссылке, кто-то в эмиграции. С беспокойством ждет она их писем, и не только в разные города и села страны, но и за рубеж летят ее открытки и подробные письма. Дети бережно хранили все, что было связано с именем горячо любимой матери.

А чемодан, обнаруженный в квартире, доверху наполненный нотами, — ведь это подлинное богатство! Не отрываясь, мы просматривали пожелтевшие от времени нотные тетради. Сколько здесь ценнейших деталей для исследователя — автографы членов семьи, записки, вложенные в нотные тетради, засушенные цветы. На некоторых переплетах и обложках выписаны инициалы М. Б. — Мария Бланк (Бланк — девичья фамилия матери Ленина) — это ноты, приобретенные ею еще до замужества...

Любопытно, что среди нотных листов было обнаружено несколько интереснейших автографов членов семьи Ульяновых. Вот, на наш взгляд, особенно ценный. Маленький листок из школьной тетради в клеточку. Рукою Марии Александровны Ульяновой записано на немецком языке: «Sögenberg, Canton Luzern Herrn Vl. Uljanoff». Это один из последних адресов Ленина в эмиграции. Тогда Владимир Ильич с Надеждой Константиновной жили летом 1915 года в Зёренберге (Швейцария), занимая скромный номер в гостинице «Мариенталь». Здесь Владимир Ильич написал имевшие большое международное

значение работы «Крах II Интернационала», «Социализм и война» и другие. В Зёренберге Ленин готовился к международной социалистической конференции в Циммервальде.

Здесь же, в чемодане с нотами, много интереснейших автографов сестры Владимира Ильича Ольги Ильиничны. Она переписала для себя произведения русских композиторов и среди них один из любимейших романсов Ленина — «Свадьба» Даргомыжского. Много здесь нот, принадлежавших Марии Ильиничне и Анне Ильиничне Ульяновой-Елизаровой. Кроме того, можно видеть редчайшие первые советские издания революционных песен — «Интернационала», «Варшавянки» и других.

Никогда еще не публиковались десятки писем к Ленину, которые ему присылали вместе с книгами их авторы.

В одном из книжных шкафов сохраняется большой, превосходно оформленный альбом, на обложке которого вытиснено: «Туркестан». В нем сто восемьдесят семь фотографий, каждая из которых — яркий исторический документ: первые красные отряды Туркестана, снявшие паранджу женщины, только что созданные детские площадки. Большое количество снимков посвящено историческим памятникам Туркестана, его ландшафтам, старому и новому быту населения, ремеслу и искусству этой древней земли. В альбом вклеен вытисненный золотом лист-послание:

«Дорогому Вождю Мировой Революции Владимиру Ильичу Ленину.

Благодаря Вашим усилиям, Туркестан очутился от вековой спячки и выступает авангардом Социалистической революции на Востоке. Ваш анализ о развитии мировой социалистической революции оказался правильным: ширится и укрепляется революционно-национальное и классовое движение на Востоке. Последний становится мощным резервом Коммунистического Интернационала. Правильны были и Ваши указания по национальному вопросу и решения в этом отношении XII съезда РКП.

В этом альбоме изображены выдающиеся эпизоды революции за последние годы. В знак преданности и любви к Великому Вождю угнетенных классов Туркестанская Республика просит принять настоящий альбом, изображающий Советский Туркестан в фотографических снимках, и выражает вме-

сте с тем горячее пожелание скорейшего Вашего выздоровления на благо трудящихся.

Совет Народных Комиссаров  
Туркеспублики.

Этот подарок, который был бы несомненно дорог и интересен Владимиру Ильичу, не застал его в Москве. Тяжело больной Ленин находился в Горках. Поэтому ответное письмо написал секретарь Управления делами СНК А. Беленький. Он сообщил: «Управление делами СНК РСФСР с глубокой благодарностью, подтверждая получение альбома для тов. Ленина от Совнаркома Туркеспублики, сообщает Вам, что альбом будет храниться в кабинете Владимира Ильича до его выздоровления, о чем просьба довести до сведения СНК Туркеспублики. 2/VI-23 г.».

Такие документы представляют ныне огромную ценность. Ведь в них — свершение ленинских идей, подтверждение правильности политики партии и отражение гигантских сдвигов в глубинных пластах жизни далеких российских окраин.

Часто такие сопроводительные письма мы находим в книгах, присланных из-за рубежа. Письма отсюда шли в те грозные годы месяцами, так как официальных каналов для пересылки литературы не было. Пользовались всевозможными окозами. Вот книга на испанском языке «Сонора и Карранса». Сопроводительное письмо, присланное через Представительство Российского общества Красного Креста в Америке, гласит:

«Мая 27, 1922. Тов. В. И. Ленину. Ув. товарищ! Пользуюсь отъездом тов. Озоля и прошу его передать Вам книгу о последней Мексиканской революции, которую мне вручили авторы с просьбой переслать ее Вам. Если только есть возможность, следовало бы черкнуть пару строк благодарности и подтверждения получения. С тов. приветом Д. Дубровинский».

Так иногда в нескольких скупых строчках письма раскрываются новые нити, связывавшие Ленина с прогрессивной мировой общественностью.

Наши находки нередко бывали просто ошеломляющими. Расскажем об одной из таких. В комнате Марии Ильиничны Ульяновой стоит сейф, куда она запирала документы, которые приносила для домашней работы из «Правды» или Комиссии советского контроля. Все мы привыкли счи-

тать его пустым, тем более что ключей от него не было ни в музее, ни в комендатуре, охраняющей здание правительства. Однажды к нам в гости пришел племянник Ленина, сын его младшего брата Дмитрия Ильича — Виктор Дмитриевич. Много интересного рассказал он нам в тот день, в том числе и о том, как показывала ему Мария Ильинична золотой портсигар, подаренный Ленину трудящимися Дагестана. Мы с волнением слушали его рассказ о том, как в далеких аулах горного Дагестана собирала беднота средства, чтобы послать подарок вождю. То, что они прислали, было подлинным произведением народного искусства. Мария Ильинична рассказывала племяннику, что Владимира Ильича очень тронул и привел в восхищение подарок, — он высоко ценил искусство народных умельцев.

Кто-то из нас задал вопрос: «А где сейчас этот подарок?» — «Как где? — последовал ответ. — Да в сейфе у Марии Ильиничны!» Мы переглянулись. Многодневные поиски ключей не дали результата. Идем к коменданту Кремля (тогда им был генерал-лейтенант А. Я. Веденин) за разрешением вскрыть сейф. Пригласили мастера. Волнение наше и без того трудно передать, а тут еще комендант полушутя, полусерьезно говорит: «И чего вы затеяли, а что, если там ничего нет?» Молчим и с нетерпением следим за мастером. Наконец шелкнул замок, медленно открылась тяжелая дверца. Сейф пуст. Только в темном проеме три ключа поблескивают — два от самого сейфа, один от маленького внутреннего ящичка. Открыли его. И тут перед нами стали один за другим появляться предметы, ценность которых трудно преувеличить. В первый момент все разом заговорили, выражая восхищение, удивление. Потом еще и еще раз принялись рассматривать находки. Пытаемся определить их принадлежность. Но уже с самого начала ясно одно: предмет наших поисков — портсигар — обнаружен. На внутренней стороне его крышки выгравирована трогательная надпись: «Любимому вождю Ильичу от дагестанской бедноты». Портсигар не золотой, он серебряный, позолоченный, украшен орнаментом из яркой кавказской эмали. Кроме него, трудящиеся Дагестана подарили Ильичу подстаканник такой же работы. Эти предметы после экспертизы были переланы в Центральный музей В. И. Ленина.

Но в маленьком ящичке сейфа оказалось еще и то, что считалось утерянным или во-

обще было неизвестно. Например, старинные карманные часы, принадлежавшие Илье Николаевичу Ульянову, — в память об отце их свято хранили дети. Теперь, пожалуй, уже невозможно определить, для кого вышла бисером небольшой кожаный бумажник Мария Александровна Ульянова. Ей принадлежало обнаруженное здесь и старинное столовое серебро (ложки, ножи и вилки на шесть персон) — это было ее приданое. Кроме того, в сейфе лежали часы Ольги Ильиничны, Надежды Константиновны, орденская книжка Марии Ильиничны Ульяновой.

Среди личных вещей М. И. Ульяновой было обнаружено еще несколько самых разных документов и предметов, представляющих большой интерес: подарки рабочих и крестьянских корреспондентов, дарственная литература. Здесь всем знакомые имена — И. И. Скворцов-Степанов, Г. М. Кржижановский и другие. Во многих надписях благодарность за помощь, просьба просмотреть новую работу, свидетельства большого уважения, искренней любви. Вот первый том собрания сочинений Михаила Кольцова («Сотворение мира». М.—Л. «Земля и фабрика»). «Дорогой Марии Ильиничне, кому автор обязан очень многим в содержании этих книг. От любящего Мих. Кольцова».

А вот письмо, очень старательно написанное карандашом. Мы нашли его в кармане вязаной кофточки Марии Ильиничны, которую она носила последние дни. «Мария Ильинична! Мы, пионеры 538-й школы Москворецкого района г. Москвы, очень просим вас, чтобы вы, если можете, приехали к нам в школу на пионерский отрядный сбор, который посвящаем памяти В. И. Ленина».

Мария Ильинична! Если вы сможете приехать к нам, то позвоните по телефону В 3-13-78». В конце подписи: «Ануркина М., Аксенова В., Боровкова С., Иванова Н., Качалова Т., Мишустина Л. 7 кл. «Б». 2-й отряд».

Сколько таких писем получали Мария Ильинична и Надежда Константиновна! И очень часто они встречались с ребятами в школах, детских домах, на пионерских слетах. Воспитанию подрастающего поколения обе они — и жена и сестра Ленина — отдавали много сил и энергии, много душевного тепла.

Надежда Константиновна почти ежемесячно записывала в рабочей картотеке о своих выступлениях и встречах с детьми.

В июле 1934 года она отмечает на карточке, где вела учет того, что должна сделать и что сделала: «Беседовала с ребятами перед новым учебным годом. 19 июля».

А 23 июля она встречается с пионерами и школьниками с маленькой забайкальской станции Борзя...

Эти карточки Надежда Константиновна вела очень аккуратно — из месяца в месяц, из года в год. Рассматриваем карточки более тщательно. Выясняется, что Надежда Константиновна подводила итог за каждые пятнадцать дней, а в конце года на особой карточке отмечала общие итоги выступлений, заседаний и т. д.

Вот «Общая свodka работы за 1934 год (1 месяц лечилась, 1 была в отпуску)». Она успела за это время девяносто раз выступить с докладами, провела сто семьдесят восемь заседаний, опубликовала девяносто статей в журналах и газетах и просмотрела и ответила на две тысячи пятьсот двадцать пять писем. В этом же году в свет вышли следующие ее сборники: «Задачи библиотечной работы», «О библиотечной работе», «15 лет на стройке политехнической школы», «Коммунистическое воспитание смены», «Переписка с пионерами», «Ленинские установки в области культуры», «Ленин о библиотеках».

Очень многое могут рассказать фотографии, сохраненные для нас Лениным и членами его семьи. В рабочем кабинете Владимира Ильича есть довольно большая по размеру, вклеенная в специальную папку фотография известного ученого-электротехника Чарльза (Карла) Штейнмеца. История ее появления в архиве главы Советского правительства такова. В феврале 1922 года ученый прислал Владимиру Ильичу письмо:

«Мой дорогой м-р Ленин!

Пользуюсь возвращением господина Лосева в Россию, чтобы выразить Вам свое восхищение удивительной работой, направленной к социальному и экономическому возрождению, работой, которую Россия выполняет в таких тяжелых условиях.

Я желаю Вам полнейшего успеха и непоколебимо верю, что Вы его добьетесь. Вы безусловно должны добиться успеха, ибо нельзя допустить, чтобы великое дело, начатое Россией, не было завершено.

Я всегда буду очень рад, если в области техники, и в особенности в области электротехники, сумею по мере своих сил помочь России как указаниями, так и советами.

Преданный Вам Карл Штейнмец<sup>1</sup>.

Долго шло это дружественное послание через океан. Ленин консультируется о Штейнмце с Г. М. Кржижановским, Людвигом Мартенсом. В апреле Владимир Ильич отправляет в Америку письмо, заканчивающееся словами: «В особенности хочется мне поблагодарить Вас за Ваше предложение помочь России советом, указаниями и т. д. Так как отсутствие официальных и законно признанных отношений между Советской Россией и Соединенными Штатами крайне затрудняет и для нас и для Вас практическое осуществление Вашего предложения, то я позволю себе опубликовать и Ваше письмо и мой ответ, в надежде, что тогда многие лица, живущие в Америке или в странах, связанных торговыми договорами и с Соединенными Штатами и с Россией, помогут Вам (информацией, переводами с русского на английский и т. п.) осуществить Ваше намерение помочь Советской республике.

С наилучшим приветом братски  
Ваш Ленин».

И американский ученый, и глава Советского правительства обменялись не только письмами, но и фотографиями. Долгое время снимок Штейнмца не удавалось обнаружить, и только совсем недавно мы нашли его в одном из географических атласов, находящихся в рабочем кабинете В. И. Ленина. На фотографии знаменитый ученый написал по-английски: «Вождю нового и лучшего из миров Ленину с восхищением и уважением Чарльз П. Штейнмец».

А вот фотография, раскрывающая совсем другую страницу нашей истории. В комнате Ленина в письменном столе лежит небольшой, пожелтевший от времени снимок — С. М. Буденный в полной военной форме. На обороте синим карандашом надпись: «Тов. Ленину — ком. коп. корп. Буденный. 28/XI». Год отсутствует, и мы ничего не знаем о том, при каких обстоятельствах легендарный герой гражданской войны подарил свою фотографию Ленину. Позвонили маршалу Буденному и попросили его при-

ти в музей. Семен Михайлович с готовностью принял наше предложение и сказал, что с радостью посетит кабинет Ленина, где он был более сорока лет назад. Семен Михайлович приехал на другой день. Прежде чем ответить на наши вопросы, он захотел пройти в кабинет Владимира Ильича. Заметно было, что Буденный волнуется: ведь то, что для нас, нынешнего поколения советских людей, история, для него — неотъемлемая часть его жизни. Он рассказывает о своем первом разговоре с Лениным по телефону, а затем о своей встрече с Лениным здесь, в его кремлевском кабинете. Ленина интересовало все — дух армии, ее национальный и классовый состав, боевая оснащенность и обмундирование. Показываем свою находку. Нужно было видеть, как загорелся Семен Михайлович. Ему ли не помнить историю снимка! 1919 год. Советские конники овладели Воронежем. В честь победы и сфотографировался командир 1-й Конной. В гости к бойцам приехали тогда Михаил Иванович Калинин и Григорий Иванович Петровский. Семен Михайлович попросил их передать снимок Ленину на память о победах красных конников.

— Мог ли я подумать, что увижу этот снимок в кабинете Ленина, через столько лет? — говорит С. М. Буденный.

Рассматривая книги в личной библиотеке Владимира Ильича, посетители нередко обращают внимание на альбом-монографию С. Глаголя, посвященную творчеству замечательного советского скульптора С. Т. Коненкова.

Открываем альбом — на форзаце типографская надпись: «Экземпляр председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ленина».

Как оказался этот альбом в библиотеке Владимира Ильича?

На этот вопрос, наверное, сможет ответить только сам скульптор. Едем к Сергею Тимофеевичу Коненкову. Он принимает нас в своей квартире, которая скорее похожа на музей, — здесь вся диковинная, изумительная по фантазии, искусному выполнению мебель сделана самим хозяином. Нас любезно усаживали на стулья-пни, каждый из которых — произведение искусства.

Сергей Тимофеевич был приятно поражен, когда узнал, что альбом, рассказывающий о его творчестве, хранится в личной библиотеке Ильича. Он с удовольствием рассказы-

<sup>1</sup> «Письма В. И. Ленину из-за рубежа». «Мысль». М. 1966, стр. 192.

вает о далеких двадцатых годах, когда ему посчастливилось встречаться с Лениным. В 1918 году он был приглашен на заседание Совнаркома. В стране был голод, разруха, а Владимир Ильич обсуждал со скульпторами и архитекторами вопрос о монументальной пропаганде, о путях развития советского изобразительного искусства.

— Второй раз,— вспоминает С. Т. Коненков,— мне посчастливилось говорить с Владимиром Ильичем на открытии мемориальной доски (автор ее был Коненков.— М. К., К. М.) у Кремлевской стены. Владимир Ильич сразу узнал меня и, приветствуя, сказал: «Мы уже встречались»... Да! — задумчиво продолжает Сергей Тимофеевич,— кажется, так недавно все это было, он навсегда остался в моей памяти живым.

Мы спросили С. Т. Коненкова, какое впечатление Ленин произвел на него как на художника.

— Он мне показался по-особому красивым. Огромный лоб философа, обрамленный рыжеватыми волосами, умный, пронца-

тельный взгляд и чуть ироническая, но доброжелательная улыбка.

Что же касается монографии Глаголя, Сергей Тимофеевич только от нас узнал о том, что она хранится в кремлевской библиотеке Ленина.

— Если бы я решился сделать Владимиру Ильичу такой подарок, обязательно написал бы что-нибудь сердечное.

Так пока история вклеенного в монографию листа и не прояснилась. Но это еще впереди.

Нам удалось рассказать лишь об очень небольшой части документов, хранящихся в кремлевском кабинете и квартире Ленина, и всего лишь о нескольких интересных встречах, которые нередки в нашей работе. Мы уверены, что удастся найти еще что-то новое и рассказать людям о еще не известных фактах из жизни великого Ленина.

**М. Кунецкая, К. Маштакова,**  
*научные сотрудники кабинета и квартиры*  
*В. И. Ленина в Кремле.*



# ПУБЛИЦИСТИКА

В. МОЕВ

★

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИНДУСТРИЯ

Совершенствование бытового обслуживания, улучшение сервиса — ежедневная тема газетных выступлений и радиопередач, предмет общей заботы, отраженной в партийных и правительственных документах. За годы пятилетки объем бытовых услуг в стране должен увеличиться в два с половиной раза, на селе — в три раза. В денежном выражении услуги, предлагаемые советским гражданам, смогут быть оценены в семидесятом году на сумму до четырех с половиной миллиардов рублей.

На прошлогоднем Всесоюзном совещании молодых работников обслуживания была названа ошеломляющая цифра: уже через несколько лет сфере обслуживания потребуется каждый четвертый из всех выпускников средних школ.

О развитии службы быта мне приходилось вести беседы в Эстонии, в Горьковской области, в Москве и других местах. В Эстонии меня познакомили с проектом, предусматривающим развитие сервиса вплоть до 1980 года. Изыскательские расчеты составляли пять объемистых томов. Шестым томом был базирующийся на этих расчетах приказ министра. К перспективному планированию эстонцы отнеслись очень серьезно. И однако многие их выводы остались предположительными.

— Представьте,— говорил сотрудник «Гражданпроекта» Юрий Фрейберг,— если обувь станет дешевле и прочнее, вряд ли ее придется много чинить. Если заводская мебель будет более привлекательной и разнообразной, индивидуальные заказы несомненно сократятся.

Изменяться обстоятельства — придется менять и расчеты.

Однако взаимосвязями можно управлять. Какими же должны быть пропорции и соотношения, чтобы дать максимальный эффект при минимальных затратах и возможно полнее удовлетворить запросы всего общества и отдельного потребителя?

Поискам ответа на этот вопрос и посвящены эти заметки о связях между обслуживанием, массовым производством и потребительским спросом.

### 1. ГДЕ ВОДОРАЗДЕЛ?

В Горьком я обошел с десяток бытовых предприятий, а затем на фабрике индивидуального пошива № 2 разговорился с главным инженером Анатолием Андреевичем Лихачевым. Его комната была еще не обжита, пустовата, в помещение только что въехали. Еще недавно фабрика ютилась по углам: из бухгалтерии в плановый отдел приходилось путешествовать через улицу, а из цеха в цех — порой и через весь город; производство было рассеяно по разным районам — мастерские по десять—пятнадцать человек в каждой. Часть существует и до сих пор, но некоторые разрослись; в одном ателье, например, полтора ста работников. Производство становится фабрикой не только по названию, и главный инженер увлечен переменами.

Лихачеву тридцать один год (на вид и этого не дашь), на вопросы он отвечает со студенческой живостью, без уклончивости. За лацканом его пиджака торчат иголки, в часовом кармашке — наперсток. Он знает старое ремесло и не чурается его, сам шьет

костюмы сынишке, шил бы по-прежнему и себе, да недосуг. Не будь у молодого инженера уважения к портновскому ремеслу, не родилось бы, пожалуй, и такое желание привести его в согласие с веком, перекроить, так сказать, на современный манер.

Производственная перестройка рисуется Лихачеву так.

Соединяем швейников вместе. Ставим машины. Разбиваем людей на бригады, а шитье — на операции. Это позволит шить на конвейерах. А в бывших мастерских остаются только приемные пункты. Приходите, выбирайте фасон, ткань. Снятые по единой методике мерки отсылаем с заказом на фабрику. В цеху скроят, пришлют в приемный пункт на примерку, потом заберут, дошить, и, пожалуйста, получите готовую вещь.

Этот план не выдуман Анатолием Андреевичем. Укрупнение предприятий, механизация, внедрение бригадных методов происходят уже во многих местах, превращая швейную отрасль обслуживания в индустрию.

— Значит, фабрика по всей форме?

— Плюс особая технология. Шить ведь будем по индивидуальным меркам. И отношения с потребителем построены по-другому. Через приемные пункты мы как бы протягиваем к нему руки.

— А скажите, Анатолий Андреевич, если бы ваша же горьковская фирма «Маяк» таким же манером протянула бы потребителям руки? То же самое?

«Маяк» — фирма, изготавливающая готовую одежду.

Лихачев задумывается, что-то прикидывает и заключает:

— Да, в общем, то же самое...

О «Маяке» я узнал из захваченной в дорогу книжки М. Назарова и Н. Козлова «Фирма, магазин, покупатель». Авторы рассказывают в ней об эксперименте, проводившемся в московском швейном объединении «Большевичка» и горьковском «Маяке» в связи с подготовкой перехода промышленности на новую систему.

«В практике работы по-новому, — читал я в ней, — вполне естественно возникает множество неожиданных вопросов. Как, например, удовлетворить покупателей, у которых, что называется, «нестандартные фигуры»? При массовом пошиве такая задача была просто непосильной, и «нестандартные» люди нередко оказывались вынужденными обращаться в ателье индивидуального пошива или прибегать к услугам портного-частника. Теперь иное дело. Горьковчане организовали на одной секции второго конвейера специальный участок, который занимается только «нестандартными заказами».

В фирменном магазине «Маяка», сообщается далее, стали подгонять изделия по фигуре покупателя, а «Большевичка» переделала свой фирменный магазин в ателье.

Оказывается, в массовом производстве и в бытовом обслуживании обнаруживаются сходные процессы. Они происходят как бы в «перевернутом» виде, зеркально отражая друг друга. Инженер Лихачев старается внедрить в ателье машины, а фабрика массового производства не прочь прибегнуть к ручным операциям. Мы видим как бы негатив и позитив, где изображено одно и то же: стремление навстречу потребностям — уже не условного, массового, но совершенно конкретного — данного клиента.

После разговора с Лихачевым я, понятно, заторопился на «Маяк». Книжка вышла три года назад, а что там теперь?

Объективности ради надо сказать, что меня постигло немалое огорчение. В фирменном магазине «Маяка» нет уже той услужливой швеи, которая укорачивала и подгоняла вещи. И фирма поостыла к качеству.

Одна причина — что в ходе эксперимента предприятие пользовалось особыми возможностями. А другая — что авторы книжки поторопились списать нехватку товаров в прошлое. На самом деле и теперь еще покупатели берут «как ни сделай» (а продукция «Маяка», кстати, славится даже в рядовом исполнении).

Однако временное отступление не меняет сути дела. Переключка процессов существует.

Что же из этого последует? Останется ли фабрика № 2 «бытовым» предприятием после осуществления плана Лихачева (дело, конечно, не в формальном названии)? И чем станет «Маяк», если будет развивать свое стремление идти навстречу потребителю? Где кончается массовое производство и начинается обслуживание? Есть ли между ними заметный водораздел?

На этом надо остановиться, прежде чем идти дальше.

Для нас важно следующее: и в производственной и в непроизводственной областях выявляются сейчас схожие секторы, обладающие общим признаком. Этот признак — точный, индивидуальный адрес выполненной работы.

Характерно здесь и то, что непосредственный спрос «заказ» появляется до начала исполнения и служит его программой. Не тут ли проходит водораздел? Не в этом ли и состоит отличие некоей технологии «обслуживания» от технологии «производства»?

Поскольку нас интересуют взаимосвязи обслуживания и индустрии, мы будем говорить в дальнейшем прежде всего о промышленных услугах. К их числу относятся всевозможные ремонты и изготовление разнообразных изделий (одежды, обуви, мебели и пр.) по заказам населения. Промышленные услуги составляют добрые две трети объема всего нашего бытового обслуживания.

Индивидуальная предназначенность работ, предварительный заказ как сигнал и программа исполнения определяют ту особую технологию, о которой говорил Лихачев.

А кроме этого, чем отличается серийная вещь от несерийной? Чем она отличается, если опрашивать не об адресе назначения, а о разнице в самой плоти, фактуре? По сути дела, эта разница весьма неглубока. И что самое существенное — ценные для каждого порознь оттенки качества придаются предметам чаще всего «напоследок», а ряд предшествующих подготовительных операций производства здесь совершенно ни при чем.

Конечно, применительно к разным изделиям оттенки качества сильно варьируются, и варьируется степень различия между «стандартным» и «индивидуальным».

Массовое конвейерное производство облагодетельствовало людей множеством товаров, весьма доступных по цене. Но за это изобилие, увы, приходится и платить — терпеть удручающее однообразие и мириться с известными неудобствами. Любая вещь с конвейера не вполне удовлетворяет наше «я».

Не случайно, что именно в шитье одежды — нашей «второй кожи» — победа конвейера остается далеко не полной. По некоторым данным, изделиями швейной промышленности пользуется сейчас примерно семьдесят процентов нашего населения. Тридцать миллионов швейных машинок у населения также что-то строчат. В сфере бытового обслуживания шитье — самая распространенная услуга. На него приходится сорок процентов объема бытового обслуживания. Только столичные ателье выполняют в год примерно по пяти миллионов заказов. С ростом благосостояния в ателье идет все больше народу. Это, кстати, наглядный пример того, что характер спроса меняется не только от предмета к предмету, но и от времени ко времени.

Но и в швейном деле не теряет силу то правило, что индивидуальные оттенки качества создаются как бы под занавес в производственном процессе. В этом и объяснение поисков на «Маяке» и на фабрике № 2. Каждое предприятие обзаводится отсутствовавшим у него прежде звеном.

«Производство» и «обслуживание» можно представить как технологический процесс, состоящий из двух этапов. Начинается с потока — на конвейере обрабатываются заготовки или по конвейерам стекаются детали. Так идет до какого-то момента, до «порога». Отсюда вещи расходятся по своим дорогам. Одни дорабатываются по технологии «обслуживание», другие остаются на конвейере и составляют обычный массовый выпуск.

Как раз на этом пороге возникла и новая форма товаров, предлагаемых потребителю под именем полуфабрикатов. Это слово мелькает все чаще. Кулинары индустриальными средствами превращают мясо в фарш, замешивают тесто и выносят все это в специальные магазины «Кулинария — полуфабрикаты». Мебельщики Прибалтики предлагают секционно-сборную мебель: из набора плит и жердочек вы сооружаете дома удобную вам конструкцию. Правда, все это примеры, когда собственно обслуживание перекладывается на ваши плечи.

Что же такое все эти полуфабрикаты? По-нашему, не что иное, как изделия, доведенные в массовом производстве до «порога конвейерности», — продукт, как раз законченный на этапе массового производства и подлежащий доводке «обслуживанием».

Совсем не диковинка, когда и типично массовое, индустриальное производство

лишь половину дела поручает конвейеру. Так нередко для поддержания спроса поступает зарубежная автопромышленность. Машины изготавливаются стандартными, но по вашему персональному заказу на модель могут поставить автоматы опускания стекол, открывания дверей, усиленный мотор и т. д. С ростом благосостояния и взыскательности спроса услуга иногда даже «прикрепляется» к товару намертво. В конце заметок мы об этом вспомним особо, а пока отметим, что это дело тонкое и не годится для жесткой регламентации. Недаром желающие купить тот же автомобиль у нас жалуются на принудительное, ради вящего «шика», оснащение машин часами, приемниками, прикуривателями и т. п. Здесь «порог конвейерности» нарушается на свой лад, через него слишком вольно перешагивают. И вот покупатель обременен ненужной ему услугой, а настоящее обслуживание автомобилем хромает на обе ноги...

Впрочем, пора подвести некоторые итоги. В поиске водораздела между сервисом и индустрией мы увидели их родство, глубокую производственную связанность. «Большая индустрия» тоже располагает немалыми возможностями для предоставления сервиса вместе со сферой обслуживания, а дальше их усилия будут сливаться все чаще. Появятся поточные линии с программным управлением. В отличие от традиционных конвейеров они способны будут поточно производить несерийные, неодинаковые изделия.

Но это в будущем. А сегодня обслуживание чаще представляется особым ведомством, отдельной отраслью. По республикам у нас действуют самостоятельные министерства бытового обслуживания. Это, конечно, знак большого государственного внимания к проблеме, а деятельность министерств в огромной мере служит на пользу дела. В то же время практикам, производственникам прекрасно видно: не все, что делает отрасль, есть на самом деле обслуживание, а с другой стороны — обслуживание ведут не только организации этого ведомства.

Иногда предлагают добавить к республиканским министерствам бытового обслуживания еще и общесоюзное. Но едва ли стоит и дальше углублять размежевание предприятий быта с родственными предприятиями массового производства. И уж если касаться организации дела, то полезнее, пожалуй, межотраслевая координация.

И последнее. Поскольку индустрия тоже может осуществлять сервис, а массовый этап производства проникает в обслуживание, полезно оценить оба эти процесса сравнительно — с точки зрения хозяйственной эффективности и интересов потребителя.

## 2. С ПРИЛАВКА И НА ЗАКАЗ

В швейных ателье, салонах обуви, пунктах приема заказов на мебель нередко можно услышать: «Не нашел в магазине, приходится заказывать». Стало быть, люди не всегда обращаются к обслуживанию по свободному выбору; спрос по существу адресовался к готовой продукции, за особым исполнением клиент не гонится, и только нужда заставляет его повернуть из магазина к ателье. Перед обслуживанием вырастает дополнительный, «пришлый» спрос. Как он велик, может показать только специальное социологическое обследование. Но, судя по всему, этот переметный спрос довольно значителен, а потому заставляет взвесить: хорошо это или плохо?

Для самого клиента это, понятно, невыгодно. По сравнению с магазином в ателье ему придется немного переплатить, терять время на примерки и ожидания (повторяем, речь идет только о тех, кто не дорожит заказным исполнением). А как оценить перемещение спроса с точки зрения общественных, хозяйственных интересов? Ведь обслуживание фактически возмещает неудовлетворенную потребность в массовых изделиях. Раз так, очевидно, требуется его дополнительно развивать, оснащать новыми производственными мощностями. Выгодно ли наращивать их вместо добавки мощностей в самом массовом производстве?

Это не совсем простой вопрос. У вложений в обслуживание есть свои плюсы и минусы. Рост обслуживания, например, благоприятен для обеспечения занятости населения. В обслуживании дешевле обходится оборудование одного рабочего места. Зато и отдача куда слабее.

Выпуск новой продукции в системе бытового обслуживания обходится весьма дешево. Взять хотя бы несколько цифр, вынесенных мной из знакомства с горьковскими швейниками. Они значились в калькуляциях расходов на изготовление вещи одинаковой сложности, из равноценных материалов, но в разных «епархиях». Мужское демисезонное пальто в ателье обходится дороже, чем в массовом производстве, на тридцать рублей, дамское демисезонное — на сорок два рубля, мужской костюм — на двадцать рублей (это разница именно в стоимости производства, разница для государства). Если раскрыть скобки калькуляций, видно, что в ателье дороже обработка и одновременно больше расход материалов. Вложив в материал одинаковые деньги, ателье сошьет только три пальто, а фабрика готового платья — четыре. Если развивать шитье в ателье без особого на то спроса, то каждое четвертое пальто будет уходить в обрезки. Дороже у «бытовиков» обходится и обувь, и мебель, в общем, все, что изготавливается параллельно с массовым производством.

Похожую картину дает и сопоставление затрат времени.

Разумеется, в процессе современной перестройки, в процессе механизации и специализации производственные расходы будут снижаться. Однако они не могут оказаться ниже, чем в стандартном производстве, или хотя бы сравняться с ними. Это в порядке вещей. И хозяйственная политика должна делать отсюда свой вывод: ни для клиентов, ни для государства невыгодно, чтобы «пришлый» спрос существовал и удовлетворялся силами обслуживания.

Как происходит перемещение спроса? Заместитель министра бытового обслуживания Эстонии Э. Лоо в нашем разговоре отмечал, что в 1963—1964 годах, когда магазины предлагали значительный выбор готового платья, тяга шить в ателье заметно уменьшилась. Затем ситуация изменилась. Директор горьковского ателье И. Н. Коган замечает, что еще до прошлого года включительно у них преобладали специфические заказы — либо материал на особицу, либо фасон «фантазийный», либо фигура у заказчика «нестандартная». Сейчас же зачастили самые обычные работы. Это наблюдение подтверждают и другие мастера. Понять причину перемен нетрудно.

Некоторое время назад у нас образовалась нехватка ряда потребительских товаров. Государство незамедлительно позаботилось о лучшем удовлетворении покупательского спроса. Было решено увеличить к семидесятому году выпуск обуви до 760 миллионов пар. Строится около сотни швейных, десятки трикотажных и других фабрик. Словом, меры приняты широкие. Но покупатель уже реагировал на временные затруднения.

Кроме прямой нехватки готовых товаров, «пришлый» спрос увеличивают иногда и неувязки в ценах на массовую и «сервисную» продукцию. Та большая разница в цене производства, на которую мы указывали, в отпускных ценах заметно смягчается. Пальто, которое в ателье обходится дороже, чем на фабрике, на тридцать рублей, заказчику стоит дороже магазинного всего на девять. Иногда дело доходит и до совершенных крайностей. Х. Эркман с таллинской фабрики индивидуального пошива поразила меня выкладками, из которых следует, что сшить на заказ платье, костюмы, пальто здесь зачастую дешевле, чем купить равноценную вещь в магазине! А сошьют в ателье и по вкусу, и по фигуре, и из облюбованного материала. Кто после этого не променяет магазин на ателье?

«Пришлый» спрос несомненно сигнализирует, что нехватка готовых изделий обостряет и без того напряженное положение в обслуживании. Тем важнее меры, принятые для расширения массового производства.

Кажется и выгодным для всех, и вполне естественным, когда предложение той или иной продукции в массовом исполнении опережает сервис. Но вот любопытно, что обслуживание с его нынешним ростом, массовой инициативой порой обгоняет саму индустрию. Возьмем хотя бы так называемые строительные услуги; они все чаще означают сооружение домов и дач. Горьковская область была одним из инициаторов этого дела и в рамках возможного очень неплохо его поставила. Заказчики получают здесь от «бытовиков» уже по четыреста домиков в год. Это по-своему хорошо, но ведь спрос на недорогие индивидуальные домики и дачи у нас такой неутраченный, что они пошли бы

нарасхват и при самом поточном, стандартном, а следовательно, самом дешевом производстве.

Может быть, о «пришлом» спросе не стоило бы говорить так много, если бы он только подталкивал обслуживание к росту, только стимулировал его развитие. В конце концов обслуживанию надо расти, и все, что тут помогает, — в строку. Однако переметный спрос не только прибавляет обслуживанию забот, но и невыгодно «корректирует» его профиль.

Познакомимся для примера с судьбой горьковской обувной фабрики «Рекорд». Это предприятие с прекрасной репутацией. Оно частый победитель в социалистическом соревновании, а уж планы выполняет как закон. Тут на всем лежит печать культурного трудолюбия — от плаката над воротами «Добрый день, желаем вам хорошо потрудиться» и до цветов в цехах, до зеленых, окрашенных в тон стен, станков, занавесок, до красных платочков работниц. А ведь работают-то в лабазах бывшей нижегородской ярмарки! Да, директору фабрики Н. Г. Микельджаняну (кстати, сыну и внуку сапожников) и главному инженеру А. И. Коптилову есть чем гордиться. Только настроение у них теперь невеселое. Кивая на ярмарочные своды одного из цехов, Коптилов замечает: «Тут на последней ярмарке был павильон госторговли. Доказывали тогда нэпманам, что и мы торговать умеем не хуже. А нынче... видите, что теперь получается с нашим сбытом?..»

А получается вот что. Подобно многим другим предприятиям, «Рекорд» тоже перешел из ведения промышленности к бытовому ведомству. Для своего города эта фабрика немалая, делает четверть миллиона пар обуви в год. Эта цифра рождает первую тень сомнения: неужто правда, что каждому четвертому жителю Горького, включая грудных младенцев, требуется шить по паре заказной обуви в год? Однако не будем торопиться с выводами, тем более что продукция фабрики заметно сокращается.

Для этой странности есть свое объяснение. Новому хозяину — бытовому обслуживанию — дорогá отнюдь не вся произведенная обувь, а только сшитая на заказ. Сокращение выпуска и связано с тем, что «Рекорд», по местному выражению, «переламывают в быт». Что говорить, иной раз для подобной процедуры требуются недюжинные усилия. Иные предприятия ведь цепляются за «массовку» потому, что она доходнее. Только не «Рекорд». Пара обуви массового пошива дает полтинник прибыли, а пара заказной — рубль семьдесят. Так что фабрике нечего дорожить «массовкой». Наоборот, ее вписывают в план директивно, а вот выполняя эти директивы, предприятие остается без премий, потому что, перегружая «массовкой», его отвлекают от выпуска вещей на заказ, то есть от того, для чего оно, собственно, и существует.

Фабрика делала и делает разную обувь: модную модельную, просто расхожую и совсем легкую — легкую, домашнюю. До перехода в быт простенькие поделки составляли большую часть продукции. Теперь, казалось, надо бы ждать, что их станет меньше? Согласитесь, что, замыслив сделать себе обувь на заказ — по ноге, по милому фасону, — вы едва ли начнете с ночных туфель. А вот если судить по заказам, клиенты «Рекорда» представляются именно такими чудачками — они шьют все больше босоножек, тапочек, шлепанцев и прочее и прочее. Если прошлый год так называемая «рядовая» (в отличие от модельной) обувь составила половину заказов, то по плану нынешнего года будет уже семьдесят процентов. И характерное совпадение: примерно семьдесят же процентов обуви шьется по нормальным колодкам и лишь тридцать процентов — на «нестандартную» ногу. Безликая, хотя теперь и законная, «по квитанциям», «массовка» все сильнее определяет лицо фабрики.

Я провел с полдня на одном из приемных пунктов, наблюдая, как принимаются заказы. Вам дают померить образец и записывают в квитанцию размер. Мерка в таком случае не снимается, этого не надо ни по инструкции, ни по существу. На фабрике можно видеть, как оригинально происходит первая встреча квитанции с означенным в ней заказом. Это случается... позади конвейера, когда готовую продукцию пакуют в коробки. Рассказывают просто анекдотические истории. Такую же заказную процедуру проходят, например, даже тапки, в которые обряжают покойников. А что сделаешь? Торговать с прилавка фабрика теперь не имеет права, торговая инспекция ее за можаей загонит. А на заказ — пожалуйста, живые и мертвые.

Посмотришь на это и подумаешь: неужто же марка бытового обслуживания — квитанция? Формализм... Бюрократизм... Перевод бумаги... Однако не забудем во гневе, что формализм здесь только ложная, подставная мишень. Самое же обидное — измена призванию, качественной работе. Это и печалит руководителей «Рекорда». Здесь ведь разработана стройная технология производства действительно индивидуальных изделий. Опытные модельеры-конструкторы по вашим меркам создадут специальную выкройку, заготовщики по ней раскроют кожу, цехи сошьют вещь. Только эта работа оттеснена на задний план. Если заказы на «мелочевку» принимаются неограниченно, то на дамские сапожки, на другую модельную обувь приемные пункты берут в день по одному-два заказа — работать-то ведь некому, все съедает «массовка».

Вот чем по-настоящему кончается переработка «пришлого» спроса. То же самое можно видеть и на горьковской фабрике индивидуального пошива трикотажных изделий «Чайка», и на предприятиях Эстонии. В проигрыше клиент. В проигрыше государство. А выигрывают разве отчеты, рапортующие о бойком росте услуг для населения.

Для того чтобы обслуживание выпускало новые изделия на свой собственный рынок, очевидно, должен быть серьезно поставлен и изучен вопрос, кого следует числить в настоящей клиентуре сервиса. По мнению многих специалистов, здесь будет две группы людей — скажем условно «модники» и «великаны». «Модником» может оказаться любой из нас, тут подразумевается взыскательность к туалету, к исполнению, непосильному для массового производства. Что касается «великанов», то это все клиенты «нестандартного» физического склада.

Рост массового производства обещает освободить обслуживание от нехарактерной для него клиентуры. В то же время при некоторой перестройке серийных выпусков индустрия способна принять на себя и часть более щепетильного, дифференцированного спроса.

Мы готовы услышать вопрос: не пренебрегает ли такая настойчивая агитация за массовое производство тонкостями вкусов? Но следует помнить, что теперь и самый взыскательный спрос нередко с большой надеждой адресуется к крупному индустриальному производству. Чего стоить, например, обильная почта массовых предприятий, вроде той, которую мне пришлось читать на горьковском «Маяке»: «хотела бы через вас достать...», «не можете ли для меня сшить...». Люди издали пишут на фабрику, вместо того чтобы просто пойти в ближайшее ателье. А кому не известно, что настоящим удачником почитается не тот, кто закажет мебель в мастерской по индивидуальному изготовлению, а тот, кому посчастливится пристроить заказ на большую мебельную фабрику. Вот это «высший сервис»!

Мы высоко ценим фабричность изготовления, и по этой статье обслуживающие предприятия пока сильно проигрывают. Они, правда, берут реванш по другим оттенкам качества — по модности и особенно подгонке размеров.

Есть ли у массовых предприятий возможность подтянуться к нашим требованиям и по этим важным статьям?

Всего несколько лет назад слышались массовые жалобы, что промышленность безобразно отстает от моды, так что выход модных вещей на прилавки как раз совпадает с кончиной моды. За последнее время дело несколько исправилось. Заместитель председателя Госплана СССР Н. Н. Миротворцев в одном из интервью отмечал, что раньше от рождения модели до ее внедрения в массовое производство проходил минимум год, а теперь не больше четырех — шести месяцев. Это уже успех, хотя, по замечанию зампреда, «здесь есть еще немало недостатков, над устранением которых придется серьезно поработать».

Гораздо хуже с размерами. Конечно, промышленность столярничает, сапожничает, вяжет и шьет не «на банный угол», как сказал бы знакомый нам А. А. Лихачев. У нее есть некоторая гамма размеров, ростов и т. п. Но гамма эта явно бедна, а пополняется через пень колоду.

В разговоре с директором фирмы «Маяк» Е. А. Федоровой я спросил, есть ли у них надежда привлечь к себе новых покупателей, введя дополнительные размеры, и какие именно дополнения запрашиваются. Да, Федорова считает, что это целесообразно, а прибавить в первую очередь стоило бы роста-половинки (для обуви размеры-по-

ловинки). Резонно. Ведь сколько огорчений бывает в магазинах из-за «чуть мало» и «чуть велико».

Первую поправку в положение должны внести, конечно, стандарты, они на диво неповоротливы в отношении одежды и обуви. Известна же фельетонная проблема женских комбинаций, которые не могут подравняться к верхнему платью, не могут избавиться от щедрой длины, отпущенной ГОСТом.

За сдвигом в стандартах таятся, однако, производственно-экономические конфликты, противоречащие хозяйственным интересам предприятий. Если в этой связи мы еще раз обратимся к сравнению дел в промышленности и сфере обслуживания, то увидим любопытный контраст: индустриализация в обслуживании ложится на благоприятную почву, а вот сдвиги к сервису в индустрии не совпадают с хозяйственными заботами. Можно сказать, что у обслуживания выше шансы стать индустриальным, чем у индустрии — услужливой.

На самом деле. Внедряя машины, бригадные методы и, наконец, конвейер, обслуживающее предприятие снижает внутренние расходы; перед ним открываются виды на рост прибыли, рентабельности — хозяйствуй! Не то у массовой промышленности. Каждый шаг к сервису сулит промышленности дополнительные расходы и внутреннее удорожание производства: приходится сокращать серии продукции, чаще переналаживать станки и т. п. А прибыль? А рентабельность?

Вопросы эти слишком сложны, чтобы стараться здесь на них исчерпывающе ответить. Поэтому мы обратим внимание лишь на одну небезынтересную сторону дела.

Не сегодня замечено, что чем крупнее предприятие, чем на большую мощность оно рассчитано, тем дороже обходятся в нем переналадки. Оценивая растущую капризность и переменчивость спроса, проектировщики предупреждают, что не сегодня, так завтра «гигантизм» в легкой промышленности может стать анахронизмом. И к встрече с этим мы психологически подготовлены неважно. В массовой печати, например, еще принято безоговорочно восторгаться любым заводом-гигантом, тогда как приходит время смотреть с разбором, заботясь об оправданной оптимальной величине того или иного производства.

Фурурологи, прогнозисты, заглядывая вперед, полагают, что обувающая, одевающая, кормящая человека промышленность постепенно будет становиться «местной». Более узкая география сбыта опять-таки облегчит «попадание» индустрии в «сервисный» спрос. Вот пример такой возможности. Выяснены любопытные данные, на основе которых составлена так называемая «порайонная шкала стоп». Оказывается, нога у москвича меньше, чем у прибалта, у горьковчанина меньше, чем у москвича, а у пермяка меньше, чем у горьковчанина. Фабрика, работающая на свое, изученное, обмеренное население, сможет и массовый пошив ориентировать эффективнее.

Особо хочется остановиться на тех формах сотрудничества и разделения труда между индустрией и обслуживанием, которые как будто подсказываются нашим разговором вокруг «порога конвейерности», полуфабрикатов и т. п.

Мы видели, что этап индивидуализированного производства начинается обыкновенно за порогом массовых операций, что «производство» и «обслуживание» составляют последовательные звенья цепи. Встает вопрос: а всегда ли стоит втискивать оба эти звена под крышу одного предприятия?

В первом примере «Маяк» и фабрика индивидуального пошива № 2 шли именно по такому пути: каждое предприятие обзаводилось недостающим звеном. А может быть, стоит делать и по-другому? Может быть, лучше, чтобы такой «Маяк» передавал свои полуфабрикаты в ателье? Внутри собственной епархии «бытовки», между прочим, начинают это делать — для того, чтобы улучшить обслуживание сельских жителей. Городские фабрики индивидуального пошива отсылают полуфабрикаты в деревню, а там два-три швейника успешно дошивают их по фигуре заказчика.

Практика снабжения сел полуфабрикатами в известной мере доказывает реальность нашего предложения. Другое подтверждение появилось бы, к примеру, если бы упоминавшиеся мебельщики Прибалтики не только продавали свои сборные комплекты, но и передавали их в бюро услуг, мастера которых могли бы вас проконсультировать, а кстати и избавить заказчика от самостоятельной сборки мебели.

Однако в жизни пока больше примеров противоположного характера. Среди них встречаются и просто вопиющие.

В Тарту, как всюду, существует ремонтно-строительная контора, которая служила прежде и городскому хозяйству, и населению. Она строила понемногу новое, но главным образом ремонтировала. Между тем объем строительных планов у горисполкома рос, мощностей специализированных «чисто строительных» организаций стало не хватать. Что делать? Откладывать насущные стройки до лучших времен? Не хочется. И вот многие горисполкомы (Тартуский в их числе) стали сверх меры нагружать ремонтно-строителей новыми объектами. На совещании работников бытового обслуживания и коммунального хозяйства Эстонии об этой тенденции упоминал почти каждый выступавший. Ремонтники стали все больше заниматься новостройками, а кому ремонтировать жилье? В Тарту создали новую, уже бытовую организацию — специально для ремонта жилья по заказам населения. Когда работники этой организации впервые осмотрелись, то возопили: «Позвольте! А где производственная база? Куда мы без нее?» Пришлось согласиться: без нее некуда, материальную базу надо развивать. Теперь базу уже начали строить, на обустройство хозяйством отпущено четверть миллиона рублей.

В чем выигрыш от появления в Тарту специальной, «бытовой» стройбазы? Разве для ремонта домов нужен «индивидуальный» кирпич, особый бетон, столярка? «Особой» на такой малой базе окажется только цена. К тем же выводам приводит знакомство с подобной организацией ремонтно-строительного обслуживания в Горьком. «Бытовики» создали областной ремонтно-строительный трест с местными управлениями, прорабскими участками и т. д. Начальник облбытуправления Михаил Васильевич Серушков рассказывает, что всякими хитрыми путями приходится добывать сложную технику, даже строительные краны. И что за материальные фонды они получают! Для былого плана в миллион рублей выделялось сто тонн труб, а теперь, когда объем работ увеличился в пять раз, труб дается тоже сто тонн (если быть точным, даже девяносто семь), а белил — втрое меньше прежнего. Так обстоит и со многим другим.

Не удивительно, что обслуживанию приходится думать о самых глубоких производственных тылах, не имеющих с обслуживанием и сервисом ничего общего. У горьковчан существуют собственные волочильные станки и автоматы, которые грызут для них любые гвозди — от стропильных до штукатурных. Делается своя метлахская плитка, будет делаться облицовочная. И совсем невдомек заказчику нового дома, что ради него «бытовики» самолично шагают с топорами в лес, да еще благодарят судьбу, пославшую поручочную деланку.

Странно, но в таком вот виде выступает именно хозяйственная, рачительная работа о деле, а вовсе не бесхозяйственность. Свои дорогие гвозди все-таки лучше, чем никакие, а ремонтные услуги в Горьковской области или же в Тарту доступнее, чем во многих иных местах. Хозяйственники действуют применительно к обстоятельствам. Но обстоятельства обойти нельзя.

Однажды уже нам представлялся повод побеседовать с читателем «Нового мира» о двух сторонах специализации предприятий (см. № 7 за 1967 год, статью «Вокруг автомобиля»). Тогда отмечалось, что на одном заводе легче добиться выпуска, скажем, только легковых машин, чем достигнуть их сборки из узлов и деталей, поставляемых со специализированных заготовительных, комплектующих предприятий.

Если существует область, где меньше всего нужны собственные сырьевые, подготовительные базы и стадии, так это сфера обслуживания. Обслуживание могло бы меньше заботиться о создании у себя всевозможных «полуфабрикатов». Массовое производство могло бы чаще передавать свои «обслуживающие» функции в сферу обслуживания. Может быть, деловой шаг в этом направлении и связан с новым сочетанием: массовая фирма «Большевичка» и ее фабричное ателье. Фабрика с сетью ателье. Как мы видели, это мало отличается от приведенного в исполнение «плана Лихачева».

Затронутое разделение труда возбуждает одну небезынтересную задачу конструкторско-технологического толка. Поскольку «производство» дешевле «обслуживания», то для охватывающей их вместе государственной межотраслевой экономики интересно отодвинуть «порог конвейерности» подальше, к концу производства, однако отодвинуть так ловко, чтобы не помешать в дальнейшем многообразной, на вкус и на спрос, оконча-

тельной доводке. Мы много, например, говорим о типовых домиках для села («обслуживание» строит их все шире), а потом жалуемся на однообразие, монотонность застройки. Не выгоднее ли разработать такие типовые заготовки, которые оставляли бы богатую палитру для «сервисной» отделки? Искать такого рода решения — дело, достойное большой технологии, потому что и выигрыш можно получить громадный.

### 3. БРЕМЯ РЕМОНТОВ

Ремонты — одна из больших забот бытового обслуживания и как будто его полная вотчина. В то же время это очень специфический труд, дающий немало поводов для разговора о связях обслуживания с индустрией.

По одному такому поводу директор горьковской Дирекции телесетей Федор Васильевич Дрожилов рассказал притчу о некоем стекольщике. Ловкий дядя завел обычай посылать впереди себя мальчишку с рогаткой. Жил припеваючи, всегда являлся под разбитые окна как нужный человек, других благодетельствовал и сам неплохо кормился. Притчу эту Дрожилов рассказал в хмуром настроении. Дирекция телесетей не выполнила квартальный план, и накануне Дрожилова пробирали в облбытуправлении. Директор не первый год в своем кресле, чтобы каждую нахлобучку переживать как невдала. Покорбил его тон выговора, подход к вещам. И он собирался еще раз объяснить с начальством.

— Не выполнили план, — рассуждал директор, — плохо, конечно. Нам первым плохо. Но надо ведь понимать и другое. Если бы новые приемники делали, а то ремонтируем! Разница? Как будто ремонты — райская прелесть. Можно сказать, хорошо, что населению не потребовалось больше ремонтов.

Можно ли поверить, что населению действительно хватило предоставленных услуг? При нынешних основах планирования, увы, нельзя.

Дрожилов далек от мысли, что дирекция работает идеально. И все же важные косвенные факты подтверждают, пожалуй, что услуг хватило. Все ателье сработало ровно, никто не смог заметно уйти вперед, никто существенно не отстал. План невыполнили все подразделения, и можно считать, что он был завышен.

Разговор о ремонтах продолжился у нас и с директором фабрики индивидуального пошива и ремонта трикотажных изделий «Чайка» Иваном Степановичем Макарычевым. План ремонта оказался невыполненным и здесь. Поначалу у меня, правда, появилось одно подозрение. Когда предприятие делает новые вещи и ремонтирует старые, ремонты обыкновенно в загоне: невыгодно. Такое объяснение я и рассчитывал услышать. Но Макарычев заговорил о другом — заказы на ремонт приходится искать, посылают приемщиков на предприятия, в домоуправления, а план все-таки «недобирают». Макарычев объясняет: меняются времена. Бывало, многие несли поднимать петли на чулках, а теперь нет. Чулки пошли другие, и вообще — люди лучше зарабатывают, не всякую вещь носят до последнего...

Согласен, что и до сих пор отремонтировать телевизор или положить латку остается проблемой (особенно в сельской местности). Случай в Горьком скорее всего пока исключение. Но благодаря таким исключениям обнажается ведомственная узость, ущербность планирования «в размах», «от достигнутого». Прошлый год, мол, сделали столько-то ремонтов — значит, теперь вынь да положь в полтора-два раза больше.

Такое планирование следует назвать планированием «от бедности». Потому что оно оглядывается только на прямые нехватки, подразумевая, что нехватки всегда есть и всегда будут, значит, «чем больше, тем лучше». Это подходило в пору минувшей бедности, однако как раз в годы первых пятилеток умели видеть в цифрах и степень приближения к цели, и цель. В последующем при планировании меньше учитывалась реальная производственная необходимость. Чаще всего плановики предлагали каждому производству просто — расти! И не в их духе было рассуждать, как, за счет чего лучше расти, добиваться эффекта минимальной ценой. Планирование от достигнутого — недруг хозяйственного поиска, маневра, своевременной перестановки акцентов. В области сервиса — и ремонтной службы особенно — эти свойства проступают с особой наглядностью.

Тут ведь цель состоит вовсе не в том, чтобы много ремонтировать, а в том, чтобы вещи нормально служили в употреблении. А эта цель лежит на скрещении нескольких курсов: курса по развитию ремонтной службы, конечно, но вместе с тем и такого важнейшего курса, как повышение качества, надежности, работоспособности изделий.

Вместе со старшим экономистом Дирекции телесетей Людмилой Михайловной Рябовой мы перевернули карточки телевизоров (несколько сот), снятых с гарантийного обслуживания в марте шестьдесят третьего и марте минувшего года. Рост качества за пять лет заметен. Вместе с тем немало телевизоров все же отказывает раньше, чем через положенные два года службы. Выяснилось, что горьковские данные примерно совпадают и с эстонскими. Главный инженер Иоганнес Палласе из Министерства бытового обслуживания хозяйства республики удивлен, что в ремонте ежегодно бывает почти половина республиканского парка телевизоров. Кого тут на самом деле обслуживают — нас с вами или хромающие заводы?

Надо признать, правда, что средние цифры складываются здесь так же, как «нормальная» температура в больнице. За этими средними цифрами много хороших аппаратов. Недаром пять типов телевизоров первыми среди бытовой техники получили государственный Знак качества. Но и ложка дегтя у ремонтников, как нигде, бывает чувствительна, а деготь густ. Это справедливо и для такой бытовой техники, как холодильники. В парке могут быть прекрасные «ЗИЛы» или «Ока», но сотня «Памиров» испортит все, потому что всю сотню придется чинить до истечения гарантированного срока. Преувеличено? Однако не успела у меня высохнуть запись о мытарствах горьковчан с «Памиром», как журнал «Служба быта» поместил что-то вроде всесоюзного обзора бедствий его владельцев и ремонтеров. «...читинцы не одиноки,— пишет журнал.— Только в Новосибирске более шестисот человек стоят в очереди для замены холодильных агрегатов... Что делать с дефектными холодильниками, не знают и в Алтайском крае... Душанбинский завод месяцами не высылает холодильные агрегаты и не отвечает на письма, телеграммы Новосибирского горбытуправления, Брестского быткомбината, Кемеровского облытуправления...» (Позже об этом написала еще и «Правда».)

Между прочим, тут попутно раскрывается и пресловутый секрет вечной нехватки запасных частей. «Чудеса,— жаловались горьковчане,— всегда, как назло, не хватает деталей именно к тем вещам, которые чаще ломаются». А оно понятно. Откуда тем же душанбинцам наготовить запасные части, когда вся их работа — сплошной брак!

Ремонтной службе чутко передается пульс отдельных предприятий и целых промышленных отраслей. Прочность этой связи подтверждают не только дурные, но и добрые примеры.

Известны, например, исключительные успехи нашей часовой промышленности. Качество советских часов пользуется международным признанием, производство прекрасно оснащено, специализировано, выпуски крупные и цены на часы весьма доступные. Одним словом, образцовая отрасль. А теперь переведите взгляд на ремонты часов. И они организованы гораздо лучше, чем ремонты многих других приборов. Здесь единственно практикуются обмены: сдайте выбывшие из строя часы и получите за цену ремонта исправные, с гарантией. Что, это зависит от какой-нибудь «механики» предмета? Да ничего подобного. В ГДР точно также принимают на обмен неисправные телевизоры.

Качеству продукции у нас стало придаваться высокое значение, и в нынешней пятилетке особенно. Это каждому известно, и вряд ли стоит тут подробно распространяться. Но что касается предметов быта, то обнаруживаются некоторые объективные обстоятельства, затрудняющие борьбу за качество, затрудняющие правильную организацию ремонтного дела. На этом мы остановимся подробнее.

В горьковском «Метбытремонте» мне стали перечислять, что они ремонтируют: утюги, плитки, автомобили, мотоциклы и велосипеды, электробритвы, самовары, замки, кинескопы, авторучки, портфели, стиральные машины, полотеры и пылесосы, игрушки, водяные насосы и лодочные моторы, швейные, пишущие и счетные машины, холодильники, электросчетчики... Причем организация все-таки специализированная, и она не ремонтирует часы, кино- и фотоаппараты, музыкальные инструменты, телевизоры, прием-

ники — снова без конца. Но это только наименование предметов. Каждый, кроме того, существует в десятках моделей (одних стиральных машин шестьдесят видов). И все это еще надо представить «в тираже».

В начале 1968 года только в РСФСР у населения было около тридцати миллионов радиоприемников, более двенадцати миллионов телевизоров, около десяти миллионов холодильников, восемнадцать миллионов швейных машин, более ста семидесяти миллионов часов. Мы уже не говорим о миллионах велосипедов и мотоциклов, стиральных машин и электрополотеров, пылесосов и фотоаппаратов. Более мелкие вещи вообще не учитываются.

Эта статистика и рост ее, отражающий рост благосостояния, очень приятны. Справедливо говорят теперь, что техника входит в каждый дом. Но давайте обратим внимание, откуда она входит. Если миллионы тех же часов — это производство всего лишь полутора десятков известных специализированных заводов, то за многими другими наименованиями стоят производства совсем другого класса и типа.

Иначе не могло и быть. Из-за огромных забот по восстановлению народного хозяйства после войны, по подъему сельского производства и техническому перевооружению тяжелой индустрии мы смогли широко заговорить о производстве товаров народного потребления лишь в пятой и шестой пятилетках. Десяток лет отделяет нас от начала семилетки, сделавшей крупный шаг в сближении темпов развития индустрии средств производства и предметов потребления. Идет четвертый год пятилетки, почти уравнившей развитие этих двух сфер, и отмечают, наконец, что впервые после двадцати шестого года темп роста предметов потребления стал выше темпа роста средств производства.

Не так давно обрела материальную почву забота о массе товаров народного спроса. А обретя почву, естественно, искала путей, с помощью которых можно было бы получить быструю отдачу. Стали осваивать выпуск таких товаров на предприятиях тяжелой индустрии. Появление многочисленных цехов ширпотреба знаменовало определенный поворот.

Своеобразный хозяйственный маневр, без сомнения, позволил выиграть во времени. Рынок за короткий срок пополнился бытовыми предметами, и маневр оправдал себя как стартовое средство.

Но постепенно начинают сказываться и слабости «временной схемы». Производство предметов быта расплылось. Многие предприятия воспринимают его как побочное, второстепенное, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сравнительно небольшие на каждом предприятии выпуски «непрофильной» продукции сопровождаются довольно высокой ее себестоимостью. И страдает, очень страдает качество изделий. Вслед за производством расплываются силы проектировщиков, художников-конструкторов, технологов. В такой среде объективно трудно проводить передовую техническую политику.

Вдобавок, когда много адресов производства, много и лишних моделей. Известно, например, что рабочие характеристики пылесосов «Буран», «Вихрь», «Ракета», «Чайка» очень схожи, а вот начинка у каждого своя. Это создает огромные дополнительные трудности при ремонте. Поистине бездонными должны быть склады мастерской, чтобы держать под рукой любую мелочь. Сейчас только основные детали к бытовой технике насчитывают тридцать тысяч наименований.

Чаше всего «ширпотребное» производство не берет готовую конструкцию. Ее либо нет, либо ее надо приспособлять к своим производственным условиям. На пестроте выпусков сказывается и заводское самолюбие. Ведь по основной продукции многие из привлеченных заводов — металлургические, машиностроительные и т. д. — для массового покупателя безвестны: он не покупает для себя ни станков, ни черного проката. А ширпотреб позволяет рекламировать свой труд, «свою марку» на широком рынке.

Дальше пестрота растет буквально в геометрической прогрессии, по ходу всевозможных модернизаций и модификаций. На них производство, от которого далеко до покупателя, смотрит сквозь призму внутренних интересов. На полкило облегчили вещь — очень хорошо. Заменяли дорогую сталь дешевой пластмассой — замечательно. По статье «производство» каждая такая новинка выгодна, но за соблазнительными до-

стоинствами приходит новый разноразной в деталях, способах крепления и т. д. Совпадет ли производственная и общественная выгода, если принять во внимание, что отныне потребуются вдвоенные выпуски запасных частей, двойные комплекты их в службе ремонтов? Сохранится ли ценность модернизации?

Если угодно, в близком соседстве ко всему этому лежат крупные проблемы конструкторской политики. Как ни часты в печати жалобы на медленное внедрение новаций, можно задать и встречный вопрос: всегда ли оправданы претензии технического творчества на немедленный отклик производства? Поступательное движение научной, конструкторской мысли становится непрерывным, а что такое непрерывная перестройка выпуска? И дело не только в издержках переналадки. Есть еще издержки эксплуатации, параллельного существования новой продукции и прежней, снятой с производства, но продолжающей оставаться в употреблении. Когда масса продукции в быту становится не только соизмерима с величинами выпуска, но и превосходит их, меняется хозяйственная ситуация целиком. Внедрения становятся достойны только такие существенные изменения, которые, по научному прогнозу, оправдают дополнительные расходы как в производстве, так и в сфере эксплуатации.

Разумеется, административными и отчасти хозяйственными мерами можно и среди разобщенных производств насаждать единую техническую политику, добиваться роста качества изделий, внедрять унификацию узлов и деталей. Можно и мелкие заводы заставить договориться. Но одно дело заставить, а другое — открыть для прогресса естественное русло.

Таким руслом может стать концентрация и специализация производства бытовой техники. Этот процесс уже идет в жизни, активно проводят его, например, украинцы. Но продолжается и прежняя практика. Читаешь, к примеру: «На Уссурийском машиностроительном заводе, где осваивается производство бытовых холодильников «Океан», вошел в действие километровый конвейер... Проектная мощность нового производственного комплекса по выпуску бытовых холодильников «Океан» — сто восемьдесят тысяч штук в год». Холодильники и в других местах у нас выпускаются по сто—двести тысяч штук. Но вот специалист авторитетно подчеркивает, что «завод холодильников или компрессоров высокорентабелен при годовом выпуске не менее двух—пяти миллионов изделий».

Быть может, мы слишком задержались на стадии «цехов ширпотреба»? Не время ли в планах новой пятилетки, которые сейчас готовятся, сделать новый, такой же значительный государственный поворот, но теперь к созданию крупных, специализированных заводов бытовой техники? Выбор момента, конечно, дело авторитетных инстанций. Из наблюдений выводится лишь, что он на очереди. Остается добавить, что с такого поворота открывается новый вид на ремонтное обслуживание как на широкую проблему современности вообще.

Стоит ли ремонтировать вещи?

Вопрос может показаться совершенно нелепым. Не пишем ли и не говорим ли мы без конца о потерях, доставляемых хозяйству и людям, когда всевозможная техника бездействует из-за поломок, вольно или с ремонтами? Пишем, говорим и справедливо волнуемся. Но также пишем, что «счета за ремонты» обходятся обществу все дороже. Вот лишь немногие примеры из недавних выступлений ученых и специалистов делового мира. Отмечают, что на ремонт электродвигателей в течение первого года эксплуатации тратится значительно больше средств, чем на производство. На ремонт автомобилей ежегодно расходуется больше металла, чем на выпуск новых. Запасные части для каждого произведенного трактора поглощают почти такую же сумму, как и он сам. На ремонт тракторов затрачивается почти вчетверо больше производственных мощностей, чем на выпуск новых. Во всевозможных ремонтных службах занята добрая четверть наших рабочих и около сорока пяти процентов станочного парка.

И замечает ли читатель: вящую выразительность авторы, будто сговорившись, черпают в сопоставлении ремонтных затрат с затратами на новое производство. Отсюда уже не так далеко до вопроса: стоит ли ремонтировать вещи? В самом деле, не выгоднее ли порой заменять выбывающую из строя продукцию прямым производством новой? Допустимо ли сохранять ремонтную службу в том виде, как к ней привыкли?

Конечно, мир вещей слишком велик, нелепо обращать вопросы к нему целиком и искать один ответ. Этого мы и не хотим. Однако в массе продукции будет все больше предметов, которые по сравнению с выпуском новых не оправдывают ремонта. Можно, впрочем, возразить, что впечатляющая обременительность ремонтов вызвана недостатками качества продукции. Улучшить качество — и резко, мол, сократятся ремонтные издержки. Это правильно, но лишь отчасти.

При классификации услуг по разным признакам теория проводит любопытное деление их на две группы: услуг, растущих по мере подъема производства и уровня жизни, и услуг, постепенно регрессирующих. Ремонты попадают в число последних. Это отражается и в практике бытового обслуживания.

Директор горьковской фабрики «Ремобувь» (она централизованно обслуживает весь город) Владимир Иванович Андреев обращает внимание на то, как меняются по годам пропорции в составе ремонтов. Крупные ремонты (после износа обуви на восемьдесят процентов) составляют несущественную величину — полтора-два процента. Зато ощутимо растет доля мелких ремонтов по сравнению со средними. Мелкие ремонты преобладают все сильнее, а они не требуют могучей «индустрии ремонтов». Становятся нужными небольшие, легко оборудованные экспресс-мастерские, и, кстати, именно в них все больше работы переносит чуткая к изменениям спроса «Ремобувь».

Ремонтировать машины и механизмы пока, конечно, надо. Но ведь починают и узлы к ним, и детали, и детали к деталям. И вот исподтишка происходит замена ремонтов в собственном смысле новым производством, только доморощенным, кустарным, когда перемotka какой-нибудь катушки или нарезка винтов обходится вдесятеро дороже, чем на базовом производстве.

Страсть к ремонтам совсем недаром роднится со знакомой «натурализацией» производства. У них сходные корни. Ведь у особой склонности к ремонтам существуют и психологические и объективные причины. Это — привычка, сложившаяся еще в те времена, когда массовое производство у нас только начало развиваться и каждое изделие в силу дефицитности ценилось практически много выше номинальной цены. За дефицитную вещь мы готовы отдать «любые деньги», и за ремонт тоже. От этого лечит сам рост производства. Но вкус к ремонтам (так же, как к «натуральному» хозяйству) поддерживают еще трудности в материально-техническом снабжении. «Легче сделать самим, чем достать», «Легче отремонтировать, чем выбить новое» — расхожие производственные мудрости держатся не на чем ином в конечном счете, как на факте, что организация связей, снабжения и сбыта оказалась едва ли не труднейшим делом социалистической перестройки хозяйства.

В процессе экономического, технического, производственного прогресса ремонтное бремя будет облегчаться. Однако тут безразлично и сегодняшнее, исходное отношение к ремонтным делам. Выбранная позиция — стараться отремонтировать или стараться избегать этого — тоже воздействует на производство. Так, оглядка на «ремонтпригодность» продукции по-своему тормозит производственный прогресс, особенно автоматизацию сборки, использование прогрессивных методов неразъемного соединения частей (типа сварки, травления, эпоксидной склейки). А надежда на ремонтные службы как бы молчаливо отпускает грехи качества.

Таков ущерб от обратной связи между ремонтами и производством. Но нельзя ли обратную связь сделать полезной? Безусловно, можно.

Пока что связь предприятия с его продукцией обрывается на складе готовых изделий. Дальше начинается опека сферы обслуживания, у которой, как мы видели, собственные хозяйственные интересы и, главное, стремление сохранить и даже наращивать объем ремонтно-обслуживающей работы. Это посредничество многим представляется лишним, а ремонты — сомнительным долгом обслуживания. Автор диссертации «Экономические вопросы развития и пути повышения рентабельности бытовых услуг» М. Г. Розе предлагает гарантийные ремонты вообще исключить из понятия «услуги», поскольку они — «устранение заводского брака». Решительную меру многие видят в том, чтобы привлекать к обслуживанию продукции сами заводы-изготовители или находящиеся на их паевом содержании службы. Обязательной предпосылкой этого высту-

пает, в частности, та концентрация производства предметов быта, на которой мы специально останавливались. Опыт многих развитых стран показывает это. Там, как правило, обслуживают продукцию выпускающие фирмы.

Преимущества этого порядка налицо. Никто лучше изготовителя не наладит оптимальную технологию ухода, расчетливый выпуск деталей и т. п. У предприятия появляется прямой интерес к постепенному упразднению ремонтов, к снижению «сервисных» расходов за счет повышения качества продукции.

Эта обратная связь полезна не только как «мера устрашения», возвращающая производству расплату за огрехи. Очевиден и положительный, плодотворный характер такой связи. Непосредственное наблюдение за эксплуатацией будет обогащать, лучше ориентировать конструкторов. А в ряд с творческим выигрышем может стать, пожалуй, и прямая материальная выгода. Доход вместо «штрафа»? Можно сказать, что да.

Чтобы пояснить это, вернемся к одному опущенному нами в разговоре, но немаловажному обстоятельству. Стоит вообразить себе «безремонтное» хозяйствование, как взгляд ужаснет множество испорченных вещей, сразу выбывающих в никудышный утиль.

Хозяйственная деятельность человека принимает колоссальные масштабы. Заводы создают поистине новый мир, «вторую природу». И параллельно оформляется круг новых забот, связанных с погашением на планете издержек нашей производственной деятельности. Тут известные всем заботы о невосполнимых ресурсах, борьба против порчи воды, почвы, атмосферы. И в этом же ряду проблема утилизации всевозможных предметных отходов — начиная от «хвостов» горнометаллургических и химических производств и кончая многоликим ломом вещей, выходящих из употребления. Мы убеждены, что в этот именно круг приводит и разговор о судьбах ремонта.

Какой ключ предлагается для решения целой проблемы? Академик И. Петрянов в нескольких словах характеризует его так: «Наиболее правильный путь к ликвидации проблемы «отходов» — это создание новой формы комплексного производства, разработка технологических схем, основанных на замкнутых циклах, т. е. с использованием всех отходов». К числу таких отходов принадлежит и лом.

Если на бросовые породы обогажительных предприятий инженеры начинают смотреть как на весьма ценные залежи, то мусорных свалок это коснулось еще раньше. Их разрабатывают путем заготовок вторичного сырья, сбора металлолома и т. п. Остается подумать о рачительной организации и технологии дела. Тут и возникает интересный вопрос — куда, к какой стадии производственного процесса лучше возвращать лом вещей, чтобы терять меньше запечатленного в нем труда?

Известно, например, что на автомобильных заводах старого Форда действовали противоположные конвейерные линии: в то время как на одной собирали новые машины, на другой разбирали по косточкам старые, выкупленные предприятием у владельцев. Производилась, так сказать, оригинальная «заготовка» сырья, сохраняющего высокую ценность и отвечающего профилю производства. Из старого использовалось все до мелочи, даже капли бензина и масла отжимались специальными мягкими тряпками. Рачительная утилизация давала экономию в новом производстве и целиком себя окупала. Это было чрезвычайно четко поставленное безремонтное хозяйствование. Другой вопрос, что в капиталистических условиях оно стало глохнуть и вырождаться. Теперь конструкторы фирм в стране Форда чаще думают, как бы искусственно сократить долговечность продукции, им важно подбодрить спрос, а что там вчерашний труд и материалы! Прессы, хлопающие на автомобильных кладбищах, заменили разборочные конвейеры Форда.

Прошлая картинка привлекает своей яркостью. Но разве не то же самое показывает основанный на обмене ремонт часов или телевизоров? Совершенно ведь различная техника, а решения схожи и целиком принадлежат сегодняшнему дню. Значит, не в туманном далеке, а сегодня начинается революция, с которой массовое производство распространяет свою деятельность на обслуживание и утилизацию отработавшей продукции. Зарождается действительно новый и по-настоящему замкнутый хозяйственный цикл.

\* \* \*

Выше уже упоминалось вскользь о так называемом «прикреплении услуги к товару». Хочется вернуться к этому и в заключении.

Прикрепленные услуги принимают разное обличье. Так, например, гарантийный ремонт — типичная услуга, прикрепившаяся к целому ряду товаров долговременного пользования. Когда предприятие целиком берет обслуживание своей продукции на себя, начинается вообще прикрепление услуги «ремонт». Ее самостоятельность сохраняется, правда, благодаря специальной оплате. Но некоторые экономисты справедливо указывают, что средняя стоимость ремонта может быть включена в продажную цену изделия, а отдельная плата за ремонт исчезнет. Причем бесплатность ремонтов выступает здесь лишь внешней оболочкой нового, а сутью его, действительной прикрепившейся услугой является высокое качество, работоспособность изделия, которая раньше достигалась лишь ценой ремонтных услуг.

Другой вид прикрепления услуги мы видели в швейном деле. Если раньше полноту измеряли только при шитье на заказ, то потом это измерение как обязательный параметр было принято в массовом пошиве. Даже и такая вещь, как мода, — что это, как не вчерашний сервис, который производство принимает на обязательное вооружение?

Перечень таких разнохарактерных примеров можно продолжать долго.

Обслуживание, в том смысле, в котором мы говорим, отличая его от производства, имеет дело с исполнением индивидуальных, нестандартных требований. Одна часть таких требований навсегда остается эпизодическим капризом в спросе, а другая часть находит все больше приверженцев и, гляди, — по мере роста достатка, культуры, запросов — становится новым общим требованием к изделию. Это верный знак, что пора «поворачиваться» и массовому производству, пора ему освободить обслуживание от части хлопот, а бывшей услуге пора «слиться» с товаром.

На зависимость между успехами производства и обслуживанием указывают нередко. В разговорах нам приходилось слышать даже такое парадоксальное утверждение: будь, мол, производство поставлено «по всем правилам», обслуживанию и заботе не останется, конец ему...

Однако цена парадоксов известна — остро, но и только. Бесперспективно не обслуживание, а отставание от спроса. Передав одну свою заботу производству, обслуживание будет искать и находить новые. Оно постоянно исследует спрос, разведывает ту почву, на которую завтра придется вступить производству.



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЦЕЦИЛИЯ КИН

★

## СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО\*

**П**оезд пришел утром, как раз в часы пик. Марсель и Люба встретили меня на вокзале, и полпредская машина, медленно двигаясь в нескончаемом потоке машин, доставила нас на рю де Гренель, 79, по пути забросив Любу на работу в торгпредство. Марсель был очень занят, он сказал мне, что у него напряженный день. Он поднялся со мной в их квартиру, на столе стоял приготовленный для меня завтрак, я могла принять ванну, поесть и, как Марсель полагал, отдохнуть. Он приготовил мне на выбор несколько последних французских романов, поцеловал меня и ушел. Я действительно приняла ванну, поела, но даже не подумала улечься на диван с книжкой. Вместо этого я отправилась бродить по городу.

Мне очень дорога Италия, но чувство, которое вызывает Париж — не вся Франция, а именно Париж, — нельзя сравнить ни с чем. Мне кажется, все, кто побывал в Париже, испытали это чувство, объяснить которое мне не под силу. Я вышла из здания полпредства и пошла, точно не зная, куда иду, но с вполне определенной целью: я хотела непременно в этот же первый мой парижский день посмотреть Нотр-Дам. Я шла пешком, дошла до набережной, медленно шла мимо лавочек букинистов, вдоль серой Сены. Передо мною раскрывался изумительный, неповторимый город, я была молода, жизнь казалась прекрасной, она принесла мне этот несравненный подарок — Париж.

Я шла по парижским улицам с такой уверенностью, словно отлично знала город. Может быть, потому, что все мы по стольку раз перечитывали романы Бальзака, Стендаля, Флобера, Золя, Гюго, — господи, да я просто узнавала какие-то места, или это только казалось так? Редко в жизни мне доводилось испытать чувство такого самозабвенного душевного подъема, такой чистой радости, как в тот апрельский день, когда я, никого ни о чем не спрашивая, дошла до Нотр-Дам, и постояла внизу, и поднялась по винтовой лестнице к Химерам, и могла дотронуться до них рукой. Народу не было, мне некого было стесняться. Не знаю, как это объяснить: ведь все это очень субъективно, но это был один из самых счастливых дней в моей жизни.

Часы шли, я не торопилась. Зашла в кафе, называвшееся «Луи XV», выпила чашку кофе и съела бриошь, отдохнула и опять отправилась бродить по городу, не думая о времени. Я вернулась в полпредство в седьмом часу вечера; меня ждал ужасный скандал: Марсель вообразил, что я попала под машину, он отчаянно сердился на консьержей, зачем они меня выпустили (как будто они могли меня остановить!). Этого мало — из полпредства уже звонили в полицию... Когда я появилась, на Марселе лица не было. Он заявил, что, если это еще раз повторится, он даст телеграмму Кину или сам отправит меня в Рим безотлагательно.

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

Но я была в таком чудесном настроении, что даже особенно не огорчилась из-за всего этого шума. Правда, мне могло бы раньше прийти в голову, что стоило оставить записку или позвонить по автомату. Я никак не хотела вызвать столько волнений, просто так вышло.

Я прожила в Париже целый месяц и за этот месяц успела полюбить его на всю жизнь. Все нравилось мне: серая река, серые здания, частая сетка мелкого дождя, черепичные крыши. Большие Бульвары и очаровательные старые улочки, изумительная деревянная скульптура на дверях Сен-Шапель, и букинисты, такие вежливые, благожелательные и полные чувства собственного достоинства, и парки, и метрополитен, и совершенное отсутствие ханжества: никто не считал неприличным есть на улицах или целоваться, никто ни на кого не обращал внимания — хоть вниз головой ходи.

Было еще одно обстоятельство, вызывавшее во мне самый жгучий интерес: приближались всеобщие выборы, город был увешан воззваниями кандидатов в депутаты, тут было все — предвыборные обещания, какая-то (так мне во всяком случае казалось) неизбежная порция риторики, полемика между представителями разных партий, личные нападки и обвинения, ответы, контробвинения и так далее. В жизни я еще не видала такого и не представляла себе. Одно дело читать описание предвыборной кампании даже в такой блестящей книге, как «Люсьен Левен», а другое — самой часами простаивать, читая все эти афиши, плакаты и воззвания. Переполненная всеми этими впечатлениями, я начинала, кажется, чувствовать себя почти парижанкой, но должна сознаться, что мой интерес к выборам объяснялся не столько тем, что я привыкла, так сказать, «политически мыслить», сколько тем, что предвыборная борьба велась остро, держала в напряжении и захватывала: самая атмосфера, казалось, была насыщена электричеством.

Но тут произошло событие, которое потрясло меня, как и всех нас: президент Французской республики Поль Думер был убит, и убийцей оказался Павел Горгулов, русский, белоэмигрант. Правые газеты, как только выяснилось, что убийца — русский, заявили, что он — большевик, пробовали развязать антисоветскую кампанию. Какие-то хулиганы сорвали флаг с нашего павильона на выставке. В полпредстве, очевидно, предполагали, что могут произойти еще какие-нибудь эксцессы. Наш полпред, Валерьян Савельевич Довгалецкий, был болен. Марсель — первый советник полпредства — держался с великолепным достоинством и хладнокровием. Он был удивительным человеком, способным чуть ли не в истерику впасть из-за чепухи (вот как история со мной в первый день моего приезда), и безукоризненно выдержанный, смелый и решительный, когда речь шла о по-настоящему серьезных и опасных вещах. После Парижа он был первым представителем Советского Союза в Лиге Наций, а потом нашим послом в республиканской Испании. Позже, в Москве, он кое-что рассказывал об испанских делах, рассказывал, как всегда, лаконично и сжато, но все-таки выяснилось, что он оставался в осажденном Мадриде долгое время после того, как правительство переехало в Валенсию. Потом из Валенсии он дважды летал в Мадрид — оба раза через линию фронта. Летать туда он считал необходимым, так как надо было «поднимать настроение» у людей, оставшихся в городе. Можно было добраться до Мадрида иным путем, не подвергая себя прямой опасности, но так лететь было гораздо быстрее, а кроме того, Марсель был человеком такого духовного аристократизма, что презирал опасность и не желал быть осторожным.

Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь» о Марселе написал очень мало и бегло; он, очевидно, недостаточно близко знал его. Это был человек своеобразный и яркий. У него была не совсем обычная биография. Он родился в Варшаве, потом семья переехала в Данциг. Мальчику было, кажется, лет десять или двенадцать, когда он упал, и падение закончилось катастрофой: у него начал расти горб. Если бы родители вовремя обратились к врачам, был бы наложен гипс и т. д., — все бы, очевидно, кончилось благополучно. Но мать проявила полнейшее легкомыслие, а потом — было уже поздно. Марсель, по-видимому, был глубоко

травмирован, он не пожелал оставаться в семье и подростком лет пятнадцати уехал в Англию, оттуда в Америку. Он перепробовал разные ремесла, как-то зарабатывал себе на пропитание, не имея настоящей специальности.

Его интересовали идеи научного социализма, и после Октябрьской революции он решил приехать в Россию, вступил в коммунистическую партию. Он стал работать в Наркоминделе и быстро выдвинулся, но у него начались какие-то трения с Чичериным, который был наркомом, и Марсель уехал на партийную работу, не помню в какую область, и стал секретарем комитета партии в деревенском районе. Когда он рассказывал об этом периоде своей жизни, Кин очень удивлялся: трудно было представить себе Марселя среди крестьян. Однако Марсель сказал, что работал он там хорошо, крестьяне его уважали, советовались и доверяли ему. Позднее, когда наркомом стал Максим Максимович Литвинов, он уговорил Марселя вернуться на дипломатическую работу.

Не знаю, в каком году и как долго, но Марсель побывал в Китае и, в частности, очень подружился с вдовой Сун Ят-сена, Сун Цин-лин. Он как-то вскользь рассказал об этом. Вообще он мало говорил и о делах, и о себе лично. Кин шутливо заметил однажды, что у Марселя «в каждом кармане лежит по дипломатической тайне». Эренбург пишет о Марселе, что у него была любезная и ироническая улыбка. Он вообще был человеком иронического склада ума. Дипломатом он был талантливым, во Франции у него был очень большой личный престиж и авторитет. У него были прекрасные личные отношения с Эррио и со многими другими французскими лидерами. Если Марсель, будучи поверенным в делах (во время тяжелой болезни Довгалева и после его смерти), желал встретиться с премьером или с министром иностранных дел, ему не нужно было прибегать к обычным дипломатическим каналам, достаточно было, чтобы он сказал: «*Chez ami, je voudrais vous voir*»<sup>1</sup>, чтобы свидание состоялось. Литвинов отлично знал о его блестящих способностях и высоко ценил Марселя: не случайно он был первым представителем нашей страны в Лиге Наций.

Чтобы закончить рассказ о Марселе, скажу еще, что он в Париже усердно собирал всякую литературу для Чичерина, который был тогда тяжело болен, совершенно ушел от дел и писал какую-то книгу по истории музыки, точно не помню — о чем он писал. Марсель ссорился с Чичериным, когда тот был наркомом, но проявлял самое деликатное внимание к этому большому человеку, когда тот сошел с исторической сцены.

Наконец я вернулась в Рим. После Парижа он показался мне маленьким, удивительно спокойным и очень «несовременным» городом. Тем не менее я сильнее, чем раньше, почувствовала прелесть Рима. Муся переехала к нам, и мы зажили очень дружно.

\* \* \*

Мы с Кином часто говорили о Муссолини. Однажды Мария прибежала домой перепуганная: они с Левушкой гуляли и увидели похоронную процессию, настолько торжественную, что Левушка громко спросил Марию, кого это хоронят — Муссолини? Наша милая Мария до смерти испугалась: не знаю уж, чего она ожидала, но стала упрашивать синьора Кина, чтобы он строго-настрого запретил нашему *bambino* говорить такие вещи. Кин выполнил ее просьбу. В связи с этим я вспоминаю другую смешную историю: когда мы собирались ехать в Италию, Кин объяснил своему шестилетнему сыну, что мы едем в фашистскую страну и т. д. и т. д. Он так здорово все это объяснил малышу, что тот, едва мы переехали советско-польскую границу, стал вести себя страшно осторожно, — он спросил Кина шепотом: «Папа, как ты думаешь, этот паровоз прицепят к нашему составу или нет?»

<sup>1</sup> Дорогой друг, я хотел бы вас повидать (франц.).

\* \* \*

А теперь, по правде говоря, мне хочется немножко отвлечься от Муссолини и от всей этой темы, хотя все связанное с итальянским фашизмом и вообще с фашизмом продолжает волновать меня. Прошло более тридцати лет, а я не могу думать обо всех этих вещах с так называемым «академическим» бесстрашием.

Да и вообще-то какое может быть академическое бесстрашие! Перебираю итальянские газеты с известием о смерти Элио Витторини — портреты, статьи, некрологи. Какое у него было хорошее лицо. Я никогда не видела его, не переписывалась с ним, знаю его только как писателя и деятеля культуры. Почему же такое чувство, словно ушел из жизни кто-то близкий? Мы давно знали о его болезни, этого сообщения можно было ждать, и все привыкли к тому, что проклятый рак уносит людей — одного за другим. Хемингуэй писал как-то о том, как он молился, не помню точно, за кого, но заканчивалась его молитва так: «И за всех моих друзей, больных раком».

Мне очень больно, что умер Витторини. Я прочла, кажется, все его книги. В первой моей большой статье «Литература итальянского Сопротивления» я писала о романе «Люди и нелюди», в то время как у нас не было еще переведено ничего из произведений Витторини. Начиная с первого номера журнала «Менабо»<sup>1</sup>, я с исключительным интересом и вниманием слежу за этим журналом. Теперь Кальвино остался один, и я думаю о том, как ему тяжело. О «Менабо» мне тоже случилось писать, и даже несколько раз, последний раз в январе 1966 года, а в феврале Витторини умер.

И теперь, когда поздно, ничего не вернешь, мне приходит в голову, что надо было по крайней мере посылать Витторини журналы со статьями, где речь шла о нем и о «Менабо»; кто-нибудь перевел бы ему, а ведь всегда приятно, когда в другой стране внимательно и непредубежденно следят за твоей работой. Вот французский критик Доминик Фернандес написал книгу «Итальянский роман и кризис современного сознания», — он много писал в ней о Витторини, о характере его гуманизма. Конечно, об этом можно спорить, надо спорить, но обязательно с позиций взаимного доверия и уважения — иначе весь этот «диалог» просто не имеет смысла.

\* \* \*

Мы довольно много путешествовали по Италии. Иногда порознь, иногда вместе. Вышло так, что Кин первый раз поехал в Милан без меня. Оттуда он прислал мне открытку: «Видел Миланский собор — пожалуй, я не мог бы его сделать».

В записных книжках Кина есть такая заметка: «В Пизе есть падающая башня. Все смотрят, и никто не поможет». Сейчас, когда башне стремятся помочь архитекторы всего цивилизованного мира, я с улыбкой перечитываю эту шутовскую фразу. Но вернемся к путешествиям.

В Милане мы были по несколько раз. Мне не хочется говорить слова восхищения, которое вызвала у меня и «Тайная вечеря» Леонардо, и многие замечательные картины в галерее Брера, и знаменитый Миланский собор. Из Милана мы ездил в Турин по великолепной автостраде. В Турине или в Генуе мы осматривали какие-то из предприятий «Фиат», но, к большому сожалению, я почти ничего не помню об этом. Смутно помню дорогу для испытания автомобилей на крыше завода. Помню генуэзское кладбище Кампосанто. Некоторые памятники произвели потрясающее впечатление, в частности старушка с бубликами.

Сейчас мне хочется вспомнить о том, как мы с Кином были в Неаполе. Точнее, Кин в первый раз был там без меня, провел в Неаполе несколько дней, по-

<sup>1</sup> «Менабо» («Факсимиле») — журнал по вопросам культуры; основан Элио Витторини и Итало Кальвино в 1960 году. «Менабо» — один из лучших прогрессивных журналов Италии. Теперь он перестал выходить.

сетил Горького, который хвалил его роман, тепло отнесся к нему самому и пригласил его погостить с недельку в Капо ди Сорренто, когда позволит работа. Кин был тронут, но не воспользовался этим приглашением — это было не в его характере. Неаполь меня поразил какой-то почти сверхъестественной красотой. Залив в часы заката солнца был прекрасен до такой степени, что хотелось плакать. Мы провели в Неаполе три дня, три поразительных дня. Однако именно в Неаполе я впервые столкнулась с резкими социальными контрастами, и они произвели на меня тяжелое впечатление. Приведу отрывок из моего письма родным:

«Я впервые в большом портовом городе и не знаю, что из себя представляет какая-нибудь Одесса или Владивосток. Но думаю, что специфика Неаполя, не похожего на наши портовые города, — бесспорна. Это как-то странно звучит, но при всей его прославленной (и неоспоримой) красоте Неаполь показался мне мрачным. Несколько центральных нарядных улиц — да и то архитектура какая-то казенная, не то что в Риме, — а потом чуть-чуть вбок, и начинается анфилада переулков, тупиков, площадей, убийственно грязных, вонючих, зловещих. Вообразите улицу такую узкую, что почти соприкасаются балконы противоположных домов. Через дорогу повешены на просушку груды рваного белья. На мостовой валяются кучи мусора, отбросы овощей, фруктов и рыбы, тут же копошатся десятки грязных, измызганных, лишайных, рахитичных детей: они играют, едят, дерутся, визжат, у многих глазные заболевания, все они смешиваются в пестрый клубок и так и растут на улице. Смертность детей в Неаполе совершенно колоссальная, особенно до двух лет, выживают, очевидно, самые здоровые, но надо на них только посмотреть. В квартирах первого этажа нет окон, двери из комнат выходят прямо на улицу, вы идете, и перед вами раскрыта внутренность жилья: одна огромная кровать, какая-нибудь еще жалкая рухлядь, тут же куры, тут же сидят бабушки — толстые или горбатые старухи, почти страшные в своем дряхлом уродстве.

Кстати — не знаю почему, — в Неаполе на улицах на каждом шагу встречаешь калек или уродов, я не преувеличиваю. Особенно много горбатых и хромых, красивой, опрятной старости не видишь вовсе. Ну, дальше. Тут же перед домами сидят отцы семейств, ремесленники — сапожники, кузнецы. Тут же перед домами женщины, оборванные, неестественно жирные, шьют, или вяжут, или ругаются. И над каждым домом, в каждом углу иконы, всюду мадонна и лампадки перед ней. Висят иконы или статуэтки стоят такие нелепые, примитивные, грубые. А по городу шляется всякая заграничная сволочь и наслаждается местными «колоритными» нравами. Думаю, что для этих туристов часть очарования Неаполя пропала бы, если бы срыть эти клоаки и поместить людей в человеческие жилища и уничтожить эти «живописные» лохмотья. Трудно в письме передать вам, как остро, как отчетливо чувствуешь там все — не политическое только, а моральное — превосходство нашей системы. В Риме такой явной нищеты нет. И сам он так красив, так прилизан, так его украшают и стилизуют, что здесь просто не допустили бы таких форм нищеты, откровенных, настойчивых, как в Неаполе. А запах этого города — смесь всевозможной гнили, разложения, нечистот. Из некоторых переулков мы просто убегали, потому что мне становилось физически нехорошо.

И наряду с этим — господи, до чего же красиво, неправдоподобно красиво: великолепная набережная, сады, море, огромные камни у берега, лодочки, корабли на рейде, лунная серебряная дорожка на темной воде или солнце, расцветившее эту воду золотом и пурпуром».

В Неаполе с нами произошел случай, о котором мне неловко рассказывать потому, что он может показаться выдуманном: слишком уж все произошло «литературно», словно по какой-то схеме. И все-таки я расскажу о нем, потому что это совершенная правда и воспоминание это мне дорого. Мы шли по одному из бедных кварталов, тех кварталов, где в пыли играли дети с больными глазами. Вдруг у меня сломался каблук. Это было очень неприятно, но неподалеку сидел подле своего дома (дома без окон), точнее сказать, подле своей лачуги, сапож-

ник. Кое-как я приковыляла к нему, он сказал, что сейчас же починит каблук, и вынес мне плетеный стул. Я села, и мы с Кином продолжали разговаривать между собой. Сапожник прислушался, спросил, не по-русски ли мы говорим. Оказалось, что во время первой мировой войны он был ранен и лежал в госпитале с какими-то русскими солдатами. Короче говоря, когда он узнал, что мы действительно русские, и не белые, а настоящие, он отказался взять деньги за работу и сказал, что для него удовольствие услужить русской синьоре.

Надо ли говорить о том, до какой степени мы были тронуты. Поблагодарили его от души, попрощались. За углом был магазин. Мы зашли туда, закупили разных яств и хорошего вина, попросили все это сложить в корзинку и показали, кому надо отнести. Когда мы убедились, что мальчишка из магазина отнес корзинку и поставил ее на земле подле сапожника, который, видимо, сначала не понял, в чем дело (нас он не видел), мы сразу ушли. Я не могу забыть все это.

На другой день мы отправились осматривать Везувий. Оба мы были в наилучшем настроении. Смешно как будто, но вчерашний маленький эпизод так согрел душу, что хотелось видеть в нем нечто большее, чем любезность неаполитанского сапожника. Ведь мы не имели никакой возможности общаться с людьми, об их настроениях можно было только строить предположения и догадываться. Да, так вот мы осматривали Везувий. Это было великолепно. Машина довезла нас до того места, которое для большинства туристов считалось концом осмотра, я была страшно довольна и собиралась уже купить открытки со специальной маркой Везувия. Но тут выяснилось, что желающие могут подняться до самого кратера пешком, в сопровождении проводника. Нам сказали, что для дам это несколько трудно, и я, по правде говоря, совсем не горела желанием совершить этот подъем. В горах я никогда до тех пор не бывала, и вообще с меня вполне хватило бы официального маршрута. Кин, разумеется, должен был во что бы то ни стало дойти до конца. Собралась группа мужчин, но в последний момент к ним присоединились две старые англичанки, очень некрасивые и очень решительные. Все было кончено: пришлось идти и мне. Кин, конечно, ничего не сказал, но я живо представила себе, что он всю жизнь станет обвинять меня в трусости, если я спасую в то время, как обе старые леди полны энтузиазма.

Должна сознаться, что подъем показался мне очень страшным. Нас связали веревкой, и мы двигались цепочкой, проводников оказалось целых два — один впереди, другой позади. Трудно представить себе более феерическое зрелище, чем причудливо застывшая лава, внизу — Неаполитанский залив, белый городок Салерно, казавшийся воплощением идиллии. У меня кружилась голова, и я боялась смотреть вниз, но все-таки смотрела и думала все, что, вероятно, думают все о таком зрелище. Наверху, где, если опустишь руку в щель, чувствуешь жаркое дыхание вулкана, я любовалась изумительными красками кратера — никогда я не видала камней таких чистых, ярких и резких цветов. Спускаться было не так страшно, главное же, что я выдержала это маленькое испытание и не стала жертвой насмешек моего иронически настроенного мужа. Побывали мы, разумеется, и в Помпее, и вообще эти три дня в Неаполе были до предела насыщены впечатлениями.

В последний вечер мы ужинали в каком-то ресторанчике совсем близко от моря. Трио певцов, очевидно, сочло своим долгом исполнить для русских гостей не только популярные тогда песни, но и «Санта Лючия», вероятно, зная, что в нашей стране она пользовалась широкой популярностью. Однако я была «просвещенной» и знала уже в то время другие, модные в начале тридцатых годов итальянские песенки.

Из Неаполя мы вернулись до такой степени переполненные впечатлениями, уставшие и довольные, что я, например, долго не могла включиться в обычную жизнь. Между тем приближалась свадьба Марии.

Я писала уже о том, что мы очень любили ее. Она в самом деле была прелестная: добрая, женственная, ласковая, с очень мягким характером, но в то же время знающая, чего хочет. В ней была какая-то внутренняя устойчивость, поло-

жительность, здравый смысл. Ее жених Нелло, который производил очень хорошее впечатление и относился к Марии не только нежно, но с какой-то большой деликатностью, терпеливо ждал, пока наступит срок свадьбы. Вообще же он во всем полагался на ее мнение, все решала она.

Мария объяснила мне, что для брака необходима, так сказать, хотя бы минимальная материальная основа. Конечно, она не употребляла таких неуклюжих слов, она просто перечисляла все, что нужно заранее купить: простыни, наволочки, одеяла, полотенца, скатерти, белье, необходимая мебель и так далее. Пока все это не будет закуплено, нельзя венчаться. У Марии в городе, я хочу сказать в Риме, жили еще две сестры, но я их редко видела и не помню, как их звали. Когда дело обернулось таким образом, что сроки сдвинулись и можно было наконец назначить день свадьбы, Мария как будто даже не волновалась. Стали подыскивать комнату, в которую переедут Мария и Нелло после свадьбы. В этом мы не участвовали, этим занимались сестры Марии.

Я забыла упомянуть о том, что сами мы давно уже не жили на Корсо Умберто. Еще в 1932 году, когда Кин уехал в отпуск в Москву, мы с Мусей пригостили его сюрприз: нашли чудесную квартиру на улице Сфорца Палавичини, 30. Нам было там очень хорошо, и Кин, вернувшись из Москвы, пришел в восторг и расхвалил нас за инициативу. Сфорца Палавичини была прекрасная тенистая улица, и после шумного Корсо нам было там очень приятно.

Мария быстро стала как будто членом нашей семьи, она относилась к нам с беспредельным доверием, очень скоро совершенно перестала стесняться даже Кина, не говоря уже о нас с Мусей, горячо полюбила Левушку. За исключением того случая с «похоронами Муссолини», когда она так испугалась, мы никогда не говорили с ней «о политике». Думаю, что это ее и не интересовало, она не расспрашивала нас о том, какой строй в нашей стране, зато спрашивала про морозы и про то, какие звери живут в наших лесах, и про то, какие блюда в России готовят. Муся научила ее делать русские пельмени, которые любил Кин, и Мария называла их «i pelmeni» — без *i* она не могла обойтись: множественное число!

Мы, естественно, принимали самое близкое участие в делах Марии. Подвечный наряд стоил очень дорого, я спрашивала Марию, необходимо ли так на него тратить; она объяснила мне, и я не могла с ней не согласиться, что свадьба бывает всего раз в жизни и, следовательно, наряд должен быть именно такой. Не знаю почему, но венчание было назначено на семь часов утра. Наверное, в тот день предстояло много свадеб. Для Кина необходимость встать рано была тяжким испытанием: он привык очень поздно ложиться и поздно — около десяти — вставать. Но тут уж деваться было некуда. Мы приготовили Марии подарки: от нас с Кином столовый сервиз на двенадцать персон, очень красивый, а от Муси кофейный сервиз. Кроме того, мы купили ей дорожный несессер (ведь им предстояло традиционное свадебное путешествие — они собирались на десять дней поехать к родителям в деревню). Наконец, Кин, уже по своей инициативе, заказал корзину цветов. Все это готовилось в строгом секрете от Марии: вещи и цветы были доставлены в комнату, которую они сняли, накануне вечером, и их приняла одна из сестер Марии, которая даже не пошла на венчание, потому что надо было приготовить торжественный свадебный завтрак, и все приводила в порядок в комнате. Помню, как тронул меня итальянский обычай: все торговцы в нашем квартале, у которых Мария покупала все, что было нужно для нашей семьи, сделали ей свадебные подарки, хотя бы пустячок какой-нибудь, но никто об этом не забыл. Не знаю, объяснялось ли это тем, что Мария была такой милой и всех располагала к себе, или это действительно обычай. Но как это было приятно!

Накануне свадьбы, вечером, Мария вдруг расплакалась, да как... Мы очень взволновались, но выяснилось, что она плачет просто потому, что ей неожиданно показалось, что приготовлено мало угощения и завтрак окажется недостаточно приличный. Что было делать, мы с Мусей помчались покупать еще всякую вся-

чину и отвезли Мариной сестре, которая ночевала в их новой комнате, точнее, не в этой комнате, а у квартирной хозяйки, потому что в комнате стояла супружеская кровать, а никакого дивана не было. Наша Мария успокоилась. До того вечера она никогда не плакала, я думаю, что нервы у нее были очень напряжены и поэтому любой, самый ничтожный предлог мог вызвать слезы.

В пять часов утра к нам на квартиру явилась портниха. Она надела на Марию белое подвенечное платье, что-то на ней прилаживала и подкалывала. Времени было еще много, но Мария волновалась и решила, что надо сейчас же разбудить Кина. Мы с Мусей были уже готовы и Левушку подняли, а Мария побежала в спальню и очень энергично начала трясти Кина за плечо. «Синьор Кин, — кричала она, — si alza, si alza!» (вставайте, вставайте!). Кин вскопчил как встрепанный. Пришла вторая сестра Марии, еще кто-то пришел, не помню. До церкви было очень близко, минут десять ходьбы, но идти пешком нельзя было ни в коем случае: традиция не позволяла. Все мы уселись в извозчицьи пролетки и почти что шагом направились в церковь. Народу было много, кого-то венчали еще до Марии и Нелло. Когда пришла их очередь, произошел маленький инцидент: Мария во время церемонии улыбнулась нам и священник сделал ей строгое и, я бы сказала, резкое замечание. Но она как будто не расстроилась.

Когда все закончилось, мы расцеловали нашу милую Марию, поздравили Нелло, и все поехали к ним в новую комнату, чтобы позавтракать, а потом проводить новобрачных на вокзал. Поезд уходил в полдень.

В церкви присутствовал хозяин Нелло, владелец кафе, где он работал, и какие-то друзья Нелло. Когда мы приехали и Мария увидела все наши подарки, она опять расплакалась, начались новые поцелуи и объятия. У меня было чувство, что мы выдали замуж любимую младшую сестренку. Мария переоделась в дорожный шелковый костюмчик, тоже сшитый специально для свадебного путешествия, серый в мелкую клеточку. Она была очаровательна.

За столом хозяин Нелло и Кин, как самые почетные гости, были посажены рядом. Хозяин подарил Нелло шикарную самопишущую ручку и карандаш и с этого дня надбавил ему жалованье. У него (хозяина) был, разумеется, фашистский значок, и он вел с Кином серьезную беседу... о сотрудничестве классов. Это было очень забавно. На вокзал он уже не поехал, так далеко его патерналистские чувства не простирались. Мы проводили новобрачных. Было условлено, что к концу их пребывания в деревне приедем к ним на денек в гости и мы. Мария хотела, чтобы мы познакомились с ее родителями.

Мы действительно приехали туда, и как мне обидно, что я не помню ни названия деревни, ничего. Это было часах в четырех езды от Рима, мы ехали поездом. У Марии оказался чудный отец, а мать стеснялась нас и почти ничего не говорила. В кухне висел окорок, и Кину это очень понравилось. Он еще когда-то в Москве шутя говорил о том, как представляет себе «изобилие»: висит окорок, и Кин, не снимая его, отрезает себе ломтик, когда вздумается. Нас кормили и поили вкусным белым вином и жалели, что мы не привезли своего *vampino* (Левушка остался в Риме с Мусей). Вечером пришли соседи; я думаю, крестьянам было интересно познакомиться с русскими синьорами; все они отнеслись к нам приветливо, но немножко, я бы сказала, официально. Мария сияла. Она была счастлива и в довершение ко всему радовалась нашему приезду. Мы переночевали в доме Марии и на следующее утро уехали. Мария и Нелло остались еще дня на два, потом вернулись, и почти все пошло по-старому. Почти, потому что Мария уже не жила с нами, а только приходила каждое утро. В то время мы не знали, что через несколько месяцев нам предстоит разлука.

\* \* \*

В Риме у нас часто гостил кто-нибудь из советских товарищей. Мы жили в Италии почти два с половиной года, и москвичи, приезжавшие в Сорренто к Алексею Максимовичу, потом зачастую оказывались нашими гостями. Но я хочу еще упомянуть о том, как мне самой довелось быть в гостях у Алексея Макси-

мовича. Я однажды совершила длинную поездку по Сицилии вместе с работниками «Петролеи»: поездка была интересной, но не в ней суть. Когда мы приехали в Неаполь, товарищи заявили, что надо непременно проведать Горького. Я тщетно протестовала, мне казалось, что это будет навязчиво, — все равно решили туда отправиться. Нас встретили очень хорошо, Алексей Максимович тепло говорил о Кине и спросил, почему Кин не приезжает к нему (Кин, однако, так и не приехал). Помню, что Горький в разговоре с нами высказывал живое беспокойство в связи с событиями в Германии, с фашизмом.

Но возвращаясь к нашим гостям. У нас жили по несколько недель Бабель, художник Яковлев, профессор Хольцман, крупный специалист по легочным заболеваниям, лечивший Горького, и другие. Это было интересно, но немножко утомительно: я добросовестно водила гостей — и тех, кто останавливался у нас, и тех, кто жил в полпредстве, — по музеям.

Бабель был блестящим собеседником и очень своеобразным человеком. Энергия его была поистине удивительной, он хотел как можно больше увидеть в Риме, и бродить с ним по городу было нелегким делом. Раньше всего я повела его в собор Святого Петра. Я сама туда часто приходила, потому что меня глубочайшим образом трогала и волновала микеланджеловская Пьета. Но я убедилась, что Бабеля больше всего нравилось искусство барокко. Мы несколько раз приходили в галерею Боргезе, и он не переставал любоваться скульптурами Бернини. А когда я однажды повела его в церковь Санта Мария делла Виттория и показала группу Святой Терезы, он пришел в такой восторг, что я даже несколько удивилась, учитывая его обычный скепсис. По-моему, искусство Бернини чем-то глубоко отвечало эстетическим взглядам самого Бабеля.

В это время Бабеля было около сорока лет; мне он казался некрасивым, лоб у него был огромный, даже как будто чрезмерный, очень живой взгляд из-под очков, улыбка приятная. Он отлично говорил по-французски и многое понимал по-итальянски, очень много знал, любил искусство. Все, что он успел написать до тех пор, мы знали чуть ли не наизусть. Когда вышла «Конармия», она ошеломила не только читателей, но и литераторов. Это буйство красок, дерзкая неожиданность метафор, великолепии, переливавшееся через край, поражали. В 1928 году Буденный очень резко выступил против Бабеля, обвинив его в том, что он неправильно изображает Первую конную армию, искажает историческую правду и так далее. За Бабеля горячо вступился Алексей Максимович Горький. «Товарищ Буденный, — писал Горький, — охаял «Конармию» Бабеля, — мне кажется, что это сделано напрасно: сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев»<sup>1</sup>.

Тогда только начал выходить сатирический журнал «Чудак». И вот в № 1 за декабрь 1928 года мы видим две фотографии. Заголовок: «Из литературной жизни» — и подпись под фотографиями: «Газетная полемика о «Конармии», по-видимому, не будет продолжена. Тем не менее чудак счел необходимым заснять участников полемики в моменты, характеризующие их настроения: бодро-боевое (у С. М. Буденного) и упадочническое (у И. Э. Бабеля)».

Кину особенно нравился рассказ Бабеля «Соль» — этой вещью он открыто восхищался и, вопреки своей обычной сдержанности, сказал об этом автору. По-моему, Бабеля это было очень приятно. Бабель рассказывал невероятно смешные истории про Одессу, и это казалось неиссякаемой темой. Рассказывал он здорово, подчиняя себе слушателей, которые неизбежно настраивались на ту же волну. Мне жаль, что я ничего не запомнила, осталось только общее впечатление.

В 1934 году я мельком виделась с Бабелем в Москве, когда приходила с гостевым билетом на Первый съезд советских писателей. Он там выступал. До него выступал Эренбург, который очень остроумно встал на защиту тех, кто

<sup>1</sup> М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 24, М., 1953, стр. 473.

мало и редко пишет,— он назвал имена Бабеля, Юрия Олеши и Пастернака. Как раз в этой речи Эренбург сказал, что к работе писателя нельзя подходить с мерками количественными, что есть писатели плодовые, как крольчиха (так он выразился о себе), и есть другие, у которых беременность длится долго—как у слоних.

А когда выступил Бабель — он отреагировал, разумеется, на «крольчих и слоних», — самым интересным в его речи, на мой взгляд, было то, что он сказал о пошлости: «Пошлость в наши дни — это уже не дурное свойство характера, а это преступление. Больше того: пошлость — это контрреволюция»<sup>1</sup>.

Приезжал Бабель и в Париж в 1935 году, когда там происходил Международный конгресс писателей, но я не видела его. Кин мне говорил, что Бабеля встретили очень хорошо, он был популярен не только у нас, но и на Западе. Меня очень радует большой интерес к нему в Италии. Не помню точно когда, но в то время, когда мы были во Франции, наш друг Гриша Литинский написал мне, как Бабель был в гостях в «Вечерке» (газета «Вечерняя Москва», в которой тогда работал Гриша). Бабель рассказывал о Париже, и каждый рассказ был готовой новеллой. Например, история о том, как парижские извозчики, ожидая седоков, читают газеты, а потом обсуждают новости, выражаясь отличным литературным языком, отпуская чисто литературные остроты и сентенции. Рассказывал им Бабель и о своем визите к Шаляпину, который вышел в каком-то шлафроке и был грустный-прегрустный. Мне жаль, что я мало помню о Бабеле. Блестящий был человек.

В 1933 году в Рим приехал Самуил Яковлевич Маршак.

Я очень хорошо помню, как Самуил Яковлевич впервые появился у нас. Я устала от гостей. По натуре я всегда была гостеприимной, но иногда мне хотелось пожить «нормально», своей семьей. Поэтому, когда Кин однажды сказал мне, что приехал Маршак и хочет прийти к нам, я не проявила никакого энтузиазма. Но дня через два рано утром, часов в девять, раздался телефонный звонок: «Это квартира Кина? Это его жена? Здравствуйте, говорит Маршак. Можно мне приехать к вам в гости?» Мне понравился голос, интонация, доверчивая простота обращения, и я уже не только из вежливости, но от души сказала: «Конечно, можно, товарищ Маршак».

Минут через сорок он был у нас. Я хорошо помню, что это было воскресенье, потому что дома была и Муся. Не знаю, как это случилось, но не было никакой даже мимолетной скованности первого знакомства. Думаю, что это заслуга «товарища Маршака». Признаться, я не знала раньше его имени и отчества и (сейчас это звучит почти неправдоподобно) почти не знала его стихов, хотя у меня был маленький сын. Но в это воскресенье все мы испытали очарование этих стихов. Мне кажется, Самуил Яковлевич всю жизнь не так уж хорошо читал стихи, но все-таки не только мы, но и наша Мария заслушалась. Мария, очень музыкальная, отлично уловила ритм «Почты» и просила рассказать ей, что это такое. Левушка «Почту» знал хорошо, знал и некоторые другие стихотворения. Самуил Яковлевич, впрочем, обращался к восьмилетнему мальчику серьезно, дружелюбно и вежливо и не задавал ему никаких праздных вопросов, в частности, не говорил с ним о стихах, а больше расспрашивал о Форуме, об Аппиевой дороге и т. д. Он провел у нас весь день. Вечером мы должны были ужинать у нашего полпреда Владимира Петровича Потемкина (он сменил Курского, уехавшего в Москву), дом там был организованный, и опаздывать не полагалось. Оказалось, что Самуил Яковлевич тоже был приглашен на ужин. Ну, и все мы опоздали почти на час. Произошло это из-за Самуила Яковлевича, который в последний момент заявил, что ему необходимо побриться — иначе нельзя ехать. Началась целая канитель. Марья Исаевна Потемкина была чрезвычайно

<sup>1</sup> Стенографический отчет. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. М. 1934, стр. 279.

недовольна таким неслыханным опозданием, но виновник так простодушно расказал, как было дело, что она сменила гнев на милость.

Этот день был началом многолетней моей дружбы с Самуилом Яковлевичем.

Мы очень много бродили по музеям. Мне теперь жаль, что не помню в деталях, что говорил Самуил Яковлевич о той или иной картине, помню немного. Помню, что в отличие от Бабеля он оставался равнодушным к искусству барокко, что ему очень нравился Караваджо в галерее Боргезе и там же «Любовь плотская, любовь духовная» Тициана (ему вообще нравились венецианцы — не только Тициан, но Веронезе и Тинторетто). Много раз мы заходили в собор Святого Петра. Самуил Яковлевич любил и торжественную площадь с обелиском и фонтанами, и Пьету, и ватиканскую Пинакотеку.

Иногда вместо меня с Самуилом Яковлевичем ходила куда-нибудь Муся. Первый же их совместный поход в музей ознаменовался тем, что наш дорогой Маршак уронил свои очки, потом наступил на них и раздавил. Муся пришла в ужас: запасных очков не оказалось. Таких историй было много: вечно что-нибудь забывалось, терялось и так далее. Принимая во внимание римскую жару, сирокко и все дополнительные хлопоты, которые возникали из-за рассеянности Самуила Яковлевича, можно понять, что мы иногда пробовали читать ему нотации. Ничего не помогало, приходилось принимать его таким, каким он был.

Тем более что он был очарователен. Ему было тогда сорок шесть лет, у него было хорошее лицо и мягкая улыбка, он представлялся нам открытым, безыскусственным, очень доброжелательным и простым. У него была блестящая память, он читал мне не только сотни стихотворений, но и длинные куски пушкинской прозы. Мне нравился его вкус, его юмор, — помню, как он однажды сочинил длинную итальянскую фразу (почти что целую тираду) и обратился с нею к двум итальянским полицейским, охранявшим здание полпредства и громко разговаривавшим между собою по ночам, мешая ему спать. Смысл тирады был в том, что очень нехорошо беспокоить людей и можно говорить тише и ходить подалее от окон. Самуил Яковлевич уверял, что его красноречие на полицейских подействовало.

\* \* \*

Мне еще ни разу не пришлось даже бегло упомянуть о том, как мы с Кином, атеисты по убеждению и по воспитанию, чувствовали себя, попав в католическую страну. У Кина, как я уже писала, был большой интерес к философии и серьезная теоретическая подготовка, поэтому он и тогда чувствовал себя несравненно увереннее, чем я, во всех этих вопросах. У меня не было никакого философского образования, да, признаться, и особого интереса к этой проблематике не было. Первое время я жила под впечатлением, которое производил внешний вид монахов различных орденов в их разноцветных одеяниях, монахинь с накрахмаленными воротниками и чепчиками — все это было знакомо по книгам и по картинам; но совсем другое дело, когда идешь по улице и сталкиваешься с монахинями каждую минуту, — мне казалось, что это не вполне реально. Потом привыкла.

Я испытала нечто вроде нервного потрясения, когда мы пошли осматривать кладбище капуцинов. Самая идея делать сложные орнаменты из человеческих черепов, берцовых костей, коленных чашечек и т. д. показалась мне отвратительной. У меня все это как-то не укладывалось в сознании. Кин сохранял совершенное самообладание и о чем-то расспрашивал монаха, служившего нам проводником. Тот отвечал спокойно и кротко. Кин спросил монаха, в частности, ожидает ли того самого после смерти подобная участь, на что он с благоговением ответил, что надеется сподобиться этой чести. Я смотрела на люстры из человеческих костей, на скелеты особенно прославившихся монахов этого ордена, одетые в коричневые рясы с капюшонами, и мне было страшно и противно, все это представлялось мне невероятной жестокостью.

Кин реагировал иначе, в соответствии со своим характером и темпераментом. Ему это было даже интересно. Когда мы вышли оттуда, он, желая развлечь меня, рассказал, как какой-то ученый немец спрашивал, что будет в день страшного суда, как эти бедные покойники выкрутятся и соберут свои кости, рассеянные по разным местам. Но на меня этот юмор не подействовал. Ни с кем из наших товарищей, которым я показывала Рим, я на кладбище капуцинов не ходила.

Я была девочкой лет, наверное, десяти, когда мне в руки попала «ужасно интересная» книжка про иезуитов. Впечатление она произвела поистине оглушающее. Многого я, конечно, не поняла, но там были разные драматические сюжеты, в частности распри между Елизаветой Английской и Марией Шотландской и казнь Марии, «Пороховой заговор» и куча других историй, в которых неизменно фигурировали «коварные иезуиты». Не так давно, роясь в старых, расстрепанных, случайно не выброшенных моими родителями книгах, я натолкнулась на эту книжку и мгновенно узнала ее.

Она издана в 1913 году, но язык в ней такой (это перевод с французского), что с трудом представляешь себе, как могли таким языком писать в нашем веке. Называется она: «История иезуитского ордена, составленная по подлинным, отчасти неизданным документам аббатом Гетте, автором Истории Церкви во Франции и многих других исторических сочинений». Наверху значится: «Бесплатное приложение к журналу Душеполезное Чтение». Никогда у нас в семье такой журнал не выписывали и не читали, и просто загадочно, каким образом эта книжка могла очутиться у нас; еще более загадочно, как могла она сохраниться полвека.

Я попробовала перечитать ее. Не смогла, не знаю почему. То ли язык вызывал во мне скуку, то ли написана она очень уж элементарно. Аббат Гетте весьма строго относился к ордену иезуитов. Когда я выросла, мне пришлось кое-что читать по истории папства, католицизма, различных орденов. Самое сильное впечатление произвели на меня книги по истории инквизиции. С этим связано одно воспоминание, относящееся к путешествию по Сицилии.

Мне очень досадно, что я не могу вспомнить, в каком из городов Сицилии — в Палермо ли, или где-то в другом городе — я видела серию портретов деятелей священной инквизиции (работы художников испанской школы). Под каждым портретом была надпись: годы жизни, титул и сколько еретиков истребил этот инквизитор. Эта бухгалтерская точность, это подведение итога жизни инквизитора, эти цифры о количестве уничтоженных благодаря его энергии и настойчивости людей произвели на меня страшное впечатление. Вот не вспомню город, а помню, что эти портреты висели в нижнем этаже, в длинном помещении, в чем-то вроде коридора. Строгие, суровые, иногда красивые, неизменно умные лица — воплощение неумолимой жестокости. Когда в Москве, в шестидесятых годах, мне попала только что вышедшая в Италии книжка Леонардо Шаша «Смерть инквизитора», я живо вспомнила эти портреты.

Превосходная книжка. Я думала тогда о том, какую колоссальную работу должен был проделать автор, чтобы написать ее. В ней меньше ста страниц, она написана в своеобразном жанре, нечто вроде исторического эссе, сделанного на самом высоком литературном уровне. Мне кажется, эта книжка не имела достаточного резонанса в Италии, на нее скупой откликнулась критика. И я не могу удержаться от искушения кое-что сказать о ней.

В основу положен исторический факт. В XVII веке был сожжен на костре дьякон Диего Ля Матина, который, будучи заключенным в тюрьме инквизиции, убил при помощи своих железных наручников инквизитора. Леонардо Шаша рылся в архивах инквизиции, познакомился с множеством книг и документов. Он с удивительной скрупулезностью сопоставляет различные исторические источники, опровергает «официальную версию», согласно которой Диего Ля Матина — еретик, разбойник и убийца, а инквизитор чуть ли не святой. Шаша цитирует множество интересных документов, он мастерски воссоздает атмосферу Сицилии XVII века, описывает нравы и обычаи, подробности сожжения на костре. Основ-

ная идея этой книги заключается, по-видимому, в том, чтобы показать несгибаемого человека, человека огромной духовной силы, которого ничто и никто не может заставить отказаться от его «ереси». А ересь заключалась в том, что Ля Матина допускал возможность, что бог может быть и несправедливым. Я читала все это с напряженным интересом и чувством глубокого уважения не только к гордым и непреклонным людям Сицилии, но и к писателю, который сумел с большим гражданским пафосом, но совершенно без риторики рассказать нам о жизни и смерти Диего Ля Матина.

Мне хотелось бы рассказать о том, как я решила изучить памятники христианского Рима. Вскоре после того, как я прочла «Королеву Марго», «Тараса Бульбу» и речи Муссолини, я купила себе книжку, которой очень дорожила: религиозно-историко-художественный путеводитель, написанный монсиньором Гвидо Аникини. Книга вышла как раз в 1931 году и как будто была создана для меня. Дело в том, что стендалевских маршрутов было явно недостаточно. Помимо всего прочего, Стендаль очень субъективно и пристрастно относился к Италии, и при всем том, что я восхищалась его стилем и изяществом, — далеко не все оценки я могла разделить. Кроме того, мне нужно было иметь именно справочник, именно путеводитель, и я его получила.

По правде говоря, сначала я наивно воображала, будто смогу, пользуясь этим драгоценным путеводителем, в самом деле «изучить Рим». Это, конечно, оказалось совершенной утопией. У меня не было ни времени, ни сил, ни необходимого запаса педантизма для того, чтобы планомерно ходить по всем церквам и осматривать все, о чем точно и обстоятельно, с большим знанием и большой любовью написал монсиньор Аникини. Тем не менее его книга мне многое дала. Я говорю «мне», потому что тут Кин не был мне попутчиком. Он любил Рим, много бродил по городу и по окрестностям с фотоаппаратом, делал первоклассные снимки, но у него был свой принцип отбора материала, несколько близкий (как мне теперь кажется) к эстетике неореализма. Как бы то ни было, он решительно отказался принимать участие в моем «паломничестве», и я осуществляла его одна. Когда в нашей семье появилась Муся, она тоже не проявила интереса к этим моим путешествиям.

Но я осмотрела много церквей, и, смею сказать, с некоторым толком. Начать с того, что я решила побывать в самых старых церквах, и в первую очередь в церкви Санта Мария Маджоре, куда потом приходила много раз (и Кина привела). Она производила неизгладимое впечатление. Что касается Кина, на него несравненно большее впечатление произвела Скала Санта. Эта лестница, по которой, по преданию, поднялся Иисус Христос, — большая святыня; по ней теперь верующие поднимаются только на коленях (а потом спускаются по другой, не святой, лестнице). Я не помню, сколько там ступеней — кажется, двадцать восемь или двадцать девять. Кин смотрел, как по этим ступенькам на коленях поднимались, перебирая четки и читая на каждой ступеньке молитвы, полные старые женщины в черных платьях. Странное дело, почему-то кладбище капуцинов, которое меня просто привело в ужас, Кина никак не задело, только заинтересовало, тогда как Скала Санта и нога на бронзовой статуе Святого Петра, сточенная миллиардами поцелуев, на Кина произвели громадное впечатление. Я была в очень многих церквах и, главным образом благодаря своему путеводителю, осматривала их не бегло, а со смыслом, училась разбираться в архитектурных стилях. Правда, часто церкви были, так сказать, эклектическими благодаря многочисленным перестройкам, смешивались стили, и порою это нарушало цельность впечатления. Но все это было интересно, а иногда и волнующе. Много раз бывала я и на богослужениях. Не могу припомнить, в какой церкви пел изумительнейший хор «голубых сестер».

Мне ни разу не пришлось беседовать с каким-нибудь священником. Мы купили бланк индульгенции на французском языке, и он у нас долго хранился. Мы видели исповедальни, на которых висели таблички с обозначением, на каком

языке можно объясняться, — языков было указано много. Во Франции был случай, когда в поезде мы оказались по соседству с двумя пожилыми монахинями. Сначала они держались очень чопорно, видимо, стесняясь иностранцев. Потом мы стали закусывать, я осмелела и предложила им бутерброды с икрой и еще что-то. Лед был сломан. Они очень мило согласились. сами вытащили какие-то вкусные вещи и стали угощать нас. Им очень понравился Левушка, и всю дорогу мы сердечно разговаривали; мне до сих пор кажется, что им показалось удивительным, что советские русские оказались самыми обыкновенными людьми, с которыми можно поговорить без напряжения и очень просто.

Не знаю, как выразить это чувство, не знаю, отчего так происходило, но всю жизнь я чувствовала себя просто и естественно с людьми любой национальности и любых профессий, за исключением каких-либо представителей бюрократии. Может быть, в этом играло роль то, что мое поколение было воспитано в духе подлинного интернационализма. Благодаря этому, вероятно, я легко находила общий язык почти со всеми, с кем сталкивала меня жизнь. Когда в начале пятидесятых годов я попала в Туркмению (в нефтяной город Небит-Даг, где было очень пестрое по национальному составу население), я чувствовала себя одинаково хорошо и просто со всеми. Я работала тогда в большой автотранспортной конторе, большинство шоферов были туркмены, и я подружилась с ними. Вскоре они стали звать меня «сестра», что означало высшую степень привязанности и доверия. Однажды в Москве заболела моя мама, и мне надо было полететь туда. Об этом, разумеется, мгновенно все узнали. Вечером ко мне явились два шофера — из самых уважаемых людей, степенные, пожилые. «У тебя мать больна?» — «Да». — «А потом ты вернешься к нам?» — «Вернусь». Они меня заверили, что мать моя непременно поправится, а потом очень деликатно сказали, что привезли мне денег, «чтобы ты, сестра, хорошо лечила свою мать». Денег я не взяла, но была тронута до глубины души. Я знала, как искренне, бескорыстно и сердечно эти люди относились ко мне. Когда весной 1955 года я окончательно уехала оттуда в Москву — что и говорить, я была счастлива. И все-таки кусочек моего сердца остался в этом городе, где дул свирепый ветер «афганец», очень напоминавший сирокко, где я мучилась от жары, где мне порою приходилось очень, очень трудно. Так, видно, устроено наше сердце. Ведь вот и Италия, такая как будто далекая, — для меня близкая и любимая земля.

Зимой 1932 года я поехала в отпуск в Союз: Новый год встретила в Москве, а потом отправилась в Свердловск к родителям. Возвращаясь из Москвы в Рим, я остановилась в Венеции, где до тех пор еще не была. Мы условились, что Кин тоже приедет туда. Мы прожили там несколько незабываемых дней. Не помню, как называлась гостиница; перед ней совсем не было тротуара, надо было подъезжать в гондоле к самым дверям. Все это было знакомо по литературе, по живописи, и все-таки все на самом деле выглядело не так. У Блока Венеции посвящены три стихотворения, написанных в 1909 году, чудесные стихи, самая высокая поэзия. Эту высокую поэзию чувствовала я в этом необычайном, неповторимом городе, но было что-то диссонирующее; не знаю, как выразить мои ощущения. Наверное, ничего удивительного не было в том, что кое-где тихие воды каналов были загрязнены отбросами — в конце концов это же городские артерии...

Но все равно — это были удивительные дни: мы не думали ни о работе, ни о политике, ни о фашизме. Площадь Святого Марка, и голуби, и гондолы, и «дзуппа ди маре», и какое-то удивительное чувство отрешенности и покоя. Кин очень соскучился по мне, и мы встретились так, словно не видались очень давно, а на самом деле я была в Союзе всего месяц; мы были одни, вдвоем в сказочном городе. Не знаю, не могу передать, что было на душе. Иногда я спрашивала себя, какие итальянские города нравились мне больше всего. Трудно ответить. Может быть, Флоренция, может быть, Рим, но эти дни в Венеции были особенными и так мне и запомнились.

\* \* \*

Я мало писала о поездках по стране. Между тем мы ездили часто, — кое-что у меня сохранилось в памяти, многое стерлось. Помню, что мне очень хотелось попасть в Сиену, это одно время превратилось в *idée fixe*, и почему-то получалось так, что я туда никак не попадала. Но однажды, во время очередной автомобильной поездки, когда мы провели несколько дней во Флоренции и должны были возвращаться в Рим, я сказала, что хочу захватить в Сиену, больше не могу откладывать, ничего не могу с собой поделат. Мы приехали в Сиену, Кин оставил меня там и, не остановившись хотя бы на два часа, уехал в Рим, у него были там неотложные дела. Он завез меня в гостиницу. У меня не было с собой никаких документов, но итальянцы не формалисты. Я переночевала в гостинице и рано утром пошла осматривать знаменитый Сиенский собор. Я твердила стихи Блока:

Когда страшишься смерти скорой,  
 Когда твои неярки дни, —  
 К плитам Сиенского собора  
 Свой натруженный взор склони.

Мне не хотелось уходить из Сиенского собора и не хотелось уезжать из Сиены.

Мне нравилась легенда: Сениус, сын Ромула, бежал из Рима, спасаясь от преследований Рема, и основал этот город, носящий его имя: Сиена. И когда он принес жертвы богам, прося их о процветании нового города, белое облако поднялось над костром, зажженным в честь Дианы, и черное — над костром, посвященным Аполлону. Отсюда — белый и черный цвета на славном древнем гербе Сиены, а потом (при Каролингах?) слово «*libertas*» — золотые буквы на синем фоне, а потом — уж не помню когда — ко всему этому прибавился белый лев с поднятыми лапами на красном фоне. Если я ошибаюсь, прошу не взыскать — так мне запомнилось, может быть, не вполне точно.

В то время я много читала разных книг по истории Италии, знала о гражданских войнах, знала о чуме. Мне кажется, я не ошибаюсь, что именно в Сиене я видела поразившую меня похоронную процессию: люди и лошади в белых балахонах с щелочками для глаз и для носа. Мне объяснили, что этот обычай остался со времен чумы. Эти похороны — одно из сильнейших моих итальянских впечатлений.

Конечно, я знала и о сиенском традиционном палио (конные состязания, проходящие согласно сложному и красивому ритуалу, берущему начало в средневековье), знала о том, что районы города называются контрада, и о том, как проходят состязания. Но мне не удалось самой увидеть палио — когда я приехала, в городе не происходило ничего экстраординарного. Но все равно он был прекрасен. Я не могла сразу уехать оттуда, послала Кину телеграмму и провела в Сиене целых четыре дня; каждый день ходила в собор, в Пинакотеку и просто бродила по улицам. Сиенская Пинакотека обладала такими сокровищами, что, мне казалось, могла поспорить с самыми прославленными картинными галереями Италии. Многое, конечно, забылось, но что-то осталось не столько в памяти, сколько в сердце, — удивительные сиенские мадонны, такие нежные, что нет слов: Франческо ди Джорджо, Сано ди Пьетро, Амброджо Лоренцетти. Я называю то, что сейчас приходит на ум. Странное это чувство, когда первый (и может быть, последний) раз в жизни попадаешь в какой-то город. Странное, сложное. Особенно сильное, когда подъезжаешь к городу на машине вечером или ночью и, приближаясь, видишь огни. Я испытывала это чувство много раз, и всякий раз оно свежее и неожиданнее — в Италии, во Франции, в Бельгии, в Швейцарии. Были годы — много, много позже, когда у меня не было уже ни мужа, ни сына, я жила одна и припоминала эти города. И картинные галереи припоминала, те, которые любила больше всего, например галерею Боргезе, галерею Дориа, картины в Питти и Уффици, музей Родена в Париже, Эрмитаж...

Но было и другое чувство: постоянно повторяющегося, вновь возникающего

очарования, которое раз от разу становилось как будто все сильнее. Так бывало у меня всегда, когда я приезжала во Флоренцию (я там была много раз) и знала, что вот сейчас увижу пиацца Синьория, вот пройду к понте Веккьо, вот опять буду стоять неподвижно перед картинами Боттичелли. И то же самое — в некоторых уголках Рима, когда дух захватывало от папского герба на какой-нибудь как будто самой обыкновенной стене: гербы с пятью шарами рода Медичи, гербы с орлом и драконом, гербы с пчелами (кажется, Варберини?), или когда подходишь к фонтану с черепахами, или к лестнице, которая ведет от пиацца дель Пополо к Монте Пинчо. Совершенно то же чувство неизменного волнения и какого-то душевного подъема испытывала я всякий раз в Ленинграде около памятника Петру.

Вот я пишу это и ловлю себя: риторика? Честное слово, нет. Я не позволяю себе никаких, как у нас говорят, «красот стиля». И мне все время приходит на память разный смешной вздор, вот хотя бы о Флоренции. Можно ли представить себе более поэтический город? И — очень любимый. А у меня вдруг возникает в памяти мелодия какой-то глупой песенки с совсем глупыми словами...

А теперь надо вернуться к осени 1933 года. В сентябре нам предстояло расстаться с Италией: Кина переводили в Париж. Нет сомнения, что с точки зрения работы заведовать отделением ТАСС во Франции было несравненно сложнее, интереснее и, я бы сказала, почетнее, чем оставаться в Риме. Кроме того, наша поневоле замкнутая жизнь в Риме уже немножко приелась — хотелось окунуться в атмосферу Парижа, встречаться с разнообразными людьми, пообщиться с французской культурой. Еще в начале лета 1933 года начальство сообщило Кину о предстоящем переезде, но дело затягивалось: не могли подобрать нового корреспондента в Рим. Муся хотела поехать в отпуск к себе, в Ленинград. Кин все время удерживал ее, утверждая, что так получится, что мы уедем без нее, но ей казалось, что она успеет вернуться.

Кин, однако, оказался прав. Неожиданно пришло распоряжение срочно переезжать в Париж. Дела итальянского отделения ТАСС были временно переданы кому-то из работников нашего полпредства. Предстояла разлука с Марией, и это оказалось очень тяжело для нас и для нее. После нашего отъезда она должна была перейти на работу к нашему полпреду Владимиру Петровичу Потемкину. Я лишь вскользь упоминала о нем и о его жене Марье Исаевне. Теперь их обоих нет в живых. Это была очень трогательная чета. Марья Исаевна обожала мужа. Он мне рассказал однажды, как во время гражданской войны болел тяжелейшим сыпным тифом и как Марья Исаевна, узнав о его болезни (она не была ни женой его, ни невестой), преодолев тысячу препятствий, приехала к нему и стала за ним ухаживать. После этого он на ней женился.

Владимир Петрович был в довольно официальных отношениях с Кином, но очень тепло относился ко мне и впоследствии считал меня своей ученицей. Как это случилось, я расскажу позднее. Пока что скажу только, что оба они обещали мне заботиться о Марии и всячески ее обласкали, — они знали ее хорошо, так как не раз бывали у нас. Но Мария была неутешной, и я тоже. Все время, пока шли сборы к отъезду, в доме у нас были сплошные слезы: плакала Мария, плакала я. Кин не выносил женских слез, но тут он молчал: понимал, что причина серьезная.

Наступил день отъезда. Нас тепло провожала вся колония. Марии я оставила множество вещей для хозяйства, а она принесла мне скатерть, которую сама вышила. Я ее просила не плакать на вокзале, но она не смогла удержаться. Расставание с ней омрачило наш отъезд.

Больше я никогда не была в Италии. Кин провел там несколько дней в декабре: корреспондент ТАСС все еще не был назначен, а между тем в Рим приехал Максим Максимович Литвинов и Кину поручили эти дни пробывать в Риме. Когда Мария внезапно увидела Кина в столовой у Потемкина, она, нарушая весь ритуал этого дома, бросилась ему на шею, опять-таки с ревом. Эти дни Кин жил в полпредстве. Сохранилась фотография, на ней Литвинов, Кин и другие люди.

Коллеги Кина по Ассоциации иностранных журналистов устроили в его честь прием, а мне послали милую открытку. Она случайно сохранилась, датирована 7 декабря 1933 года. Мне она дорога, так мало осталось у меня каких-нибудь следов этих лет.

На открытке много подписей — кажется, я насчитала девятнадцать. Как мне досадно, что я смотрю на подписи и не могу вспомнить никого из этих людей, — смутно-смутно что-то шевелится в памяти, но ни одного отчетливого образа.

Как я завидую людям с хорошей памятью. Насколько интереснее могли бы получиться и эти страницы, если бы я все хорошо помнила или если бы хоть дневники вела в свое время, что ли... И вот сейчас, когда надо перевернуть страницу и перенестись в Париж, мне жаль расставаться с Италией. О скольких вещах я не рассказала и не сумела вспомнить, а ведь это было, и было мне дорого: как мы ездили на Пинчо любоваться закатом, и на Джаниколо — в честь Гарибальди, и в Тиволи — это буйное великолепие воды, и в Остию — купаться и ужинать в маленьком ресторанчике, и как любовались неправдоподобно красивыми павлинами на вилле, которую подарила Муссолини какая-то американская поклонница-миллионерша (как же называлась эта вилла?). И как однажды Кин привел меня в заведение, называвшееся Библиотека. Там была полная иллюзия шкафов, заставленных книгами в кожаных переплетах, а на самом деле в них стояли не книги, а бутылки с разными винами и ликерами. В залах были расставлены маленькие столики, а где-то — для большой компании — эти столы были сдвинуты. В одной комнате веселились какие-то фашисты (мне почему-то показалось, что это обязательно иерархи), но самым поразительным было другое: три пары за одним столом, три старухи, настоящие «пиковые дамы», декольтированные, раскрашенные, в драгоценностях, и с ними три молодых человека — явные альфонсы. Если бы это была одна пара, я, вероятно, не обратила бы на нее внимания — мало ли что бывает. Но три пары — в этом было что-то гротескное, очень жуткое и очень отталкивающее. В Библиотеке играли на гавайской гитаре. Я с ума сходила от гавайской гитары, она действовала на меня так, что я пьянела. Но в этой обстановке звуки гавайской гитары казались порочными, противоестественными — не знаю, как выразить это чувство. Над всем, что мы видели в этих комнатах, царила эта страшная триада — эти три глубокие старухи, наглые в своих декольте и драгоценностях, эти молодые пошляки, такие ничтожные, мужчины-проститутки...

И — какая нелепая ассоциация, но почему-то она возникла у меня — вдруг вспомнилось, как однажды с балкона палаццо Венеция Муссолини произносил речь, и пошел дождь, и сотни людей, как по команде, вытащили черные зонтики и, стоя под зонтами, слушали дуче. И вспомнилась одна его речь, когда он кричал: «Долой югославский империализм! Да здравствуют лвы Трау!»

Но не на этом надо заканчивать воспоминания об Италии, это было бы несправедливо. Почему я не рассказала о том, как восхитил меня народный праздник в день Сан Джованни (в жизни я не видала такого веселья и такой иллюминации — чудеса пиротехнического искусства!), и как мы вместе с многими тысячами римлян принесли маленькие стульчики и много часов сидели на площади Святого Петра, ожидая, пока над толпой под балдахинном пронесут папу и он будет благословлять народ. Ведь это был святой год, но какой же это был год? 1931, 1932 или 1933? Я не помню. И мы терпеливо сидели там под палящим солнцем и покупали воду, простую воду, которой торговали предприимчивые мальчишки, наверное, такие же мальчишки, что так ловко вбавляли монеты, которые бросали в фонтан Треви. И как я десятки раз приходила в Сикстинскую капеллу и, кажется, наизусть знала «Страшный суд» и роспись стен, но мучилась, задирая голову, чтобы рассмотреть потолок, пока однажды не поступила так, как многие: легла на пол и принялась не спеша разглядывать и могла настоящему насладиться всем этим великолепием.

Боже мой, как много написано, а самые дорогие, самые трудно уловимые воспоминания и ощущения, наверное, не удалось передать. Цветы, удивительные

римские цветы на пиацца ди Спанья, у подножия лестницы, и Колизей при лунном свете, и башня Святого Ангела, которую Кин столько раз фотографировал. И кафе Греко, любимое Гоголем, куда я столько раз приходила, и маленькие трактории, и маленькие кинозалы, где перед началом сеанса выступали певцы, и не дай бог сфальшивить — публика реагировала мгновенно и без всякой деликатности. И приветливая сердечность римлян: как охотно объясняли они иностранцам все, о чем их спрашивали. Однажды мы с Мусей не вполне точно знали, как пройти куда-то, и спросили, — но все же знали достаточно, чтобы понять, что нам дают неправильное объяснение. Нам совсем незачем было сворачивать туда, куда советовал приветливый, словоохотливый горожанин, которого мы спросили. Но он так хотел помочь двум молоденьким синьорам и с таким темпераментом все нам рассказывал, жестикулируя и улыбаясь, что мы не смогли его обидеть и шли в заведомо неправильном направлении, пока он мог видеть нас, и лишь потом вернулись обратно и свернули туда, куда было на самом деле нужно. Швейцарская гвардия в средневековых костюмах у входа в Ватикан, и Гротта Адзура в Неаполе, опускаешь руку в воду — и рука голубая. И окрестности Неаполя (я была там несколько раз), и прогулка на ослах (ох, это была смешная история: мне попался осел с невероятно плохим характером, двигался лишь в том случае, если сам считал это нужным, а то останавливался и начинал объедать кусты — в общем, это было сплошное наказание)...

Я пишу все это и понимаю, что надо поставить точку, нельзя до такой степени злоупотреблять возможностями мемуарного жанра. Но мне жаль ставить эту точку. В Италии закончилась моя юность. Тут дело даже не только в возрасте, а, вероятно, и в жизненном опыте. В Париже все пошло иначе. Я уже не была той девочкой, которая могла, не задумываясь, подойти к группе иерархов и спросить «который Муссолини?» Что-то изменилось в психике, в характере — в отношении к жизни, пожалуй.

Мы не знаем своей судьбы, и только это, конечно, позволяет жить. Разве могла я знать, что судьба готовит мне? Но потом, в самые трудные годы, воспоминание об Италии согревало меня. Мне жаль, что в силу тогдашних условий мы так мало могли общаться с людьми. Но все равно, я чувствовала итальянцев, и мне кажется (может быть, это и заблуждение), что я как-то сроднилась со страной. Думаю, что это именно так, в противном случае сейчас я писала бы свои статьи об итальянской политике и культуре с большим хладнокровием. А я не могу. У меня какое-то личное отношение к людям и к событиям, происходящим в Италии: я радуюсь, возмущаюсь, надеюсь или отчаиваюсь — в зависимости от того, что делается там. Радуюсь каждой удаче: хорошей книге, хорошему фильму, выигранным социальным боям. Возмущаюсь, если сталкиваюсь с жестокостью, лицемерием и предубежденностью, а ведь и это — увы — часто бывает.

\* \* \*

Два с половиной года работы в фашистской Италии дали Кину богатый опыт, и когда в сентябре мы переехали в Париж, он чувствовал себя вполне подготовленным к этой новой, несравненно более ответственной, нежели в Италии, работе.

Было еще одно обстоятельство, чисто личное, которое делало для нас еще более желанным переезд в Париж. Дело в том, что там с мая 1933 года работал Антон. Он был назначен первым секретарем полпредства и исполнял обязанности генерального консула. Начиная с Дальнего Востока у Кина не было друзей ближе, чем Антон. Я тоже очень любила его, и не будет преувеличением сказать, что наш дом всегда был его домом. Когда Антон женился, его жена Соня, добрая и умная, легко вошла в наш круг. И вот теперь они ждали нас в Париже. Кин, верный своему характеру, дразнил Антона, уверяя, что тот «противопоказан для заграницы» из-за своей чрезмерной серьезности, — надо ли говорить, что Антон был отличным работником, и Кин это хорошо знал. Нам было очень

приятно, что опять будем жить в одном городе, видеться, как прежде, почти ежедневно.

В Париже Кин возглавил отделение ТАСС. Оно помещалось на улице Вожирар, 148, — здесь же была квартира, предназначенная для корреспондента и его семьи. Французским языком Кин владел свободно: он легко усвоил разговорную речь в детстве, болтая со своими двоюродными братьями. (Дядя Кина А. Н. Илларионов в 1905 году подвергался преследованиям со стороны полиции и эмигрировал с семьей во Францию, а потом они вернулись в Борисоглебск.) Кроме того, перед отъездом за границу Кин брал уроки французского. В Италии первое время было сложно: мы ехали туда, совершенно не зная итальянского и наивно полагая, что «родственные романские языки»... Увы! Еще в поезде, по пути в Рим, мы тщетно пытались упросить соседей разбудить нас, когда будем подъезжать к «Вениз» (так по-французски называется Венеция). Итальянцы вообще очень благожелательны и снисходительны к иностранцам, коверкающим их прекрасный язык, но «Вениз» — этого уж никто не понял. А откуда нам было знать, что по-итальянски Венеция никакая не Вениз, а попросту Венеция! Таких анекдотов случалось множество.

В Италии у Кина, кроме меня, был всего один помощник, некий синьор Баттистоне, приличный, несколько запуганный, совершенно аполитичный человек; первое время он помогал Кину, переводя трудный итальянский текст на французский. Но в Париже все обстояло иначе, и Кин с первых дней чувствовал себя уверенно. Однако характер и масштабы работы были совершенно иными, чем в Италии. Надо было быстро освоиться с политической обстановкой, с механизмом парламентской игры, с многопартийной системой, разобраться в реально существовавших общественных противоречиях. Кин с головой ушел в работу. Полпредом в то время был высокообразованный, прекрасный человек Валерьян Савельевич Довгалевский, но он тяжело болел и в 1934 году умер. Первым советником, затем поверенным в делах был, как я уже писала, Марсель Розенберг. Он на первых порах очень помог Кину, познакомив его с крупными политическими деятелями: Эррио, Даладье, Влюмом, Дельбосом, Манделем и другими лидерами. Кин — уже без посредничества Марселя — познакомился и подружился с некоторыми товарищами из руководства Французской коммунистической партии и из «Юманите», в частности с Полем Байян-Кутюрье.

Впоследствии, когда объем работы еще более вырос, Кину дали помощника: вначале приехал М. Б. Чарный, потом его сменил Н. Г. Пальгунов. Кроме того, в отделении ТАСС уже много лет работали два французских товарища, коммунисты Буайе и Газо. Нарочно не придумать ситуации, при которой годами работали бы бок о бок такие диаметрально противоположные люди. Буайе считался литературным сотрудником, он читал часть прессы (ежедневно приходилось читать несколько десятков парижских и влиятельных провинциальных газет) и обязан был информировать Кина о прочитанном. Он был овернец, замкнутый, молчаливый, медлительный. Кин с большим трудом вытаскивал из него сведения и однажды, когда уж терпение лопнуло, напрямик спросил Буайе, не может ли тот все-таки хоть немного подробнее рассказывать. Последовал неожиданный ответ: «*Camarade Kip, les paroles me fatiguent*» («Товарищ Кин, слова меня утомляют»). Этот аргумент сразил Кина наповал. Полной противоположностью Буайе был гасконец Газо, бывший рабочий-металлист, исполнявший в ТАСС одновременно обязанности кассира, курьера, агента для поручений. Живой, веселый, остроумный, неизменно благожелательный, Газо обладал блестящей памятью и мог часами рассказывать всякие эпизоды и происшествия. В 1936 году Газо в составе одной из делегаций французских трудящихся приехал в Москву, и мы рады были возможности принять его и показать достопримечательности Москвы, как он когда-то показывал нам Париж.

Я не стану ничего говорить о Париже, потому что все равно не найду нужных слов. Каждый вечер мы бродили по городу, узнавая улицы, церкви, здания, так хорошо знакомые по литературе. Кин много фотографировал, его парижский

альбом был разнообразным и богатым. Мы окунулись в атмосферу, ничем не напоминавшую Италию: в Риме все было чопорно и провинциально, летом, в адскую жару, мужчин без пиджака не пускали в трамвай. В трамваях запрещалось «курить и плевать», а также «bestemmiare Dio e la Patria», то есть ругать и поносить бога и родину. И потом — все было несколько чрезмерно: слишком синее небо, слишком пышные пальмы, слишком желтая вода в Тибре.

А Париж... Единственное, что можно сказать о Париже: Кин всецело присоединялся к словам Маяковского: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва».

\* \* \*

Очень много интересного рассказывал Кину о Париже Шарль Раппопорт, голосом которого говорила, казалось, сама История. В то время Раппопорт представлялся нам глубоким стариком, хотя на самом деле ему еще не было семидесяти. Это была в высшей степени колоритная фигура. Его революционная деятельность началась в восьмидесятых годах прошлого века в России: он принимал участие в подготовке покушения на Александра III. В 1887 году он эмигрировал, за границей участвовал в основании «Союза русских социалистов-революционеров». Однако уже в 1902 году он примкнул к социал-демократии и впоследствии стал одним из основателей Французской коммунистической партии. Раппопорт был доктором философии, ярким публицистом, много лет работал корреспондентом «Известий», русский язык помнил хорошо. С нашим полпредством он, естественно, дружил, бывал там. Кин ему очень понравился, и он стал частым гостем на улице Вожирар. Кин никогда не уставал слушать его рассказы — один другого интереснее. Раппопорт был близким другом Анатоля Франса и Жореса, он говорил нам, что находился за столиком кафе вместе с Жоресом в день убийства. Был Шарль Раппопорт типичным «профессиональным революционером», рассказывая, сам увлекался, иногда переходил с русского на французский, вставляя словечки из аргю. Раппопорт издавал какой-то журнальчик, не помню его названия и, грешница, никогда его не читала. Знаю только, что на издание это он тратил все свои деньги, довольствуясь самым минимумом, чтобы не умереть с голоду, и зачастую также деньги своих друзей, у которых никогда не хватало духа огорчить старика отказом. Товарищи рассказывали, будто именно под влиянием Шарля Анатоля Франс заинтересовался идеями научного социализма и сблизился с коммунистической партией.

Кин неплохо знал историю Франции. Разумеется, он очень много читал по истории Великой французской революции и Парижской коммуны, но, кроме того, в связи с работой над романом «Лилль» он специально занимался историей Третьей республики, — прекрасная книга Зеваэса, так, кажется, и называвшаяся: «История Третьей республики», — была настольной.

Но только приехав в Париж, познакомившись с людьми, много раз побывав в палате, он раскусил суть парламентской кухни. Вот одна сохранившаяся запись, сделанная в присущей Кину своеобразной манере.

«1933. Париж.

Депутаты могут без помехи обсуждать финансовый проект правительства. Внутри парламента идет заседание. В полукруглом здании амфитеатром расположены обитые красным скамьи депутатов. В центре плотной массой сидят депутаты правящей партии, — имеющей в парламенте большинство: радикалы-социалисты. Все это плотная, солидная, упитанная, мордастая и широкозаящая публика, самоуверенная и благомыслящая. Они выдвинуты сюда преуспевающей Францией, рассудительными и спокойными людьми, заповедью которых является: «никаких перемен — спокойствие прежде всего». Они не хотят ни потрясений, ни рискованных опытов справа и слева, они за твердый франк, они за неизблемость устоявшихся, привычных форм жизни. Они хотят бороться с кризи-

сом и вести страну вперед, не двигаясь с места. Смелая мысль — не правда ли? — для огромной массы французского населения, пережившего войну и инфляцию, в этой программе есть непобедимое очарование.

По обе стороны от радикалов расходятся, редея и мельчая, правое и левое крыло. Направо парламент стареет: депутаты становятся все тучнее, лысее, морщинистей; тощие желчные старики сидят попеременно с благодушными патриархами. Обилие склеротических конечностей и апоплексических затылков. В этой тлеющей груди свято хранятся традиции и воспоминания 70 годов, времена маршала Мак-Магона и Национального собрания, рычавшего и вопившего при одном слове «республика», времен «септенната», построившего на Монмартре церковь Сакре Кер во искупление «зверств Коммуны» и проводившего «моральный порядок» митральезами линейных войск.

Впрочем, не следует думать, что они так и остались на старых позициях. Они не кричат теперь «долой республику!».

\* \* \*

А теперь расскажу о том, как сложилась в Париже жизнь для меня лично. Буквально в первый же день после приезда из Италии я была официально зачислена на работу в наше полпредство референтом отдела печати. Работа могла быть средне интересной или очень интересной, могла отнимать немного сил и времени или поглощать человека целиком — все зависело от характера, вкусов, отношения к делу и степени увлеченности того, кто этой работой занимался. Я ушла в нее с головой. Официально круг моих обязанностей сводился к тому, чтобы читать прессу, ежедневно утром делать короткую устную информацию полпреду и его ближайшим сотрудникам о самых главных событиях внутренней политической жизни Франции и международных в интерпретации французской печати, а потом, после информации, читать прессу уже тщательнее и готовить сводку для Москвы. Сводка посылалась примерно раз в месяц диппочтой. До меня она делалась довольно механически: что пишет французская печать о Советском Союзе. Больше ничего. Мне показалось, что это не так уж интересно, и я начала вводить новшества.

Вскоре после того, как мы приехали в Париж, мы устроили Левушку в одной прекрасной французской семье, жившей во Флери Лез Обрэ, вблизи Орлеана, в маленьком домике в поселке железнодорожников. Глава этой семьи был железнодорожный машинист Бесс, во время войны — летчик, член Французской коммунистической партии. У него была славная, милая жена, добрая мать и сын Раймонд, который был старше Левушки на год. Мы были спокойны за нашего мальчика, которому жилось хорошо и спокойно в семье и на свежем воздухе. Он так подружился с Раймондом и ему так нравилось в школе, что он, кажется, не очень скучал о нас. Я столько работала, что не могла бы уделять ему достаточно внимания. Темпы жизни в Париже были совсем иными. Вспоминая о том, как мы жили в Италии, я просто не верила себе: сплошная идиллия, дом отдыха. В Париже день проходил так, — нет, надо раньше описать нашу квартиру: помещение ТАСС, комната Кина, моя комната, кухня и комнатка для нашей работницы наверху. У нас служила красивая и умная молодая женщина Ивонна, с очень трагической судьбой. Она работала у каких-то буржуа, выпала из окна, когда мыла оконные стекла. Ивонна сломала себе ногу и навсегда осталась хромой. Поэтому она не вышла замуж. Она сама мне рассказала всю эту историю, говорила спокойно, как-то примиренно. Ее бывшие хозяева, в доме которых все это случилось, не чувствовали никакой моральной ответственности перед Ивонной и довольно быстро уволили ее после того, как она вернулась из больницы. Произошло все это, когда Ивонна была совсем молоденькой, а когда она пришла к нам, ей было уже за тридцать.

Утром, в восемь часов, Ивонна спускалась из своей комнаты в кухню, и ежедневно повторялось одно и то же: «Ивонн!» — «Мадам!» После этого она

заходила ко мне с утренней почтой, чашкой кофе и бриошью. Я проглатывала кофе, успевая в то же время прочесть обязательную ежедневную статью Пертинакса в «Эко де Пари». Это был поразительный журналист и, по моему убеждению, очень крупный политик. В Париже говорили, что Пертинакс сбив дюжины премьер-министров, потому что те приходят и уходят, а Пертинакс изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год пишет свои статьи по вопросам иностранной политики и формирует общественное мнение. Словом, я была большой поклонницей Пертинакса. Впоследствии мне довелось с ним познакомиться, но об этом — позже.

Прочитав «Эко де Пари», я отправлялась в полпредство на рю де Гренель, 79. Кин в это время обычно еще спал, у него сохранилась прежняя привычка допоздна работать и вставать только около десяти. К одиннадцати утра я обязана была уже знать все основные новости, так как в одиннадцать бывала информация. Наш полпред, Валерьян Савельевич, очень редко бывал в своем кабинете, страшная болезнь уже одолевала его. Поэтому, как правило, собирались в кабинете Марселя. Присутствовали второй советник и секретари полпредства, а также атташе — военный, морской, воздушный. Все знали язык, и поэтому я читала нужные цитаты по-французски, не переводя. Однако, когда приехал новый военно-воздушный атташе Васильченко, оказалось, что он не понимал по-французски, и мне приходилось из-за него переводить цитаты. Все это происходило в очень быстром темпе, и я помню, как однажды мою информацию прервали взрывом хохота. Речь шла как раз об итало-абиссинской войне и, казалось, смеяться было не из-за чего. Но потом выяснилось, что я сказала: «итальянские трупы заняли такой-то населенный пункт». По-французски «les troupes italiennes» — итальянские войска, и я механически перевела слово «les troupes» как «трупы», и меня потом долго дразнили этим.

Я уже упоминала о том, что мне казалось скучным писать механические сводки, и как только я почувствовала себя уверенней и поняла, что владею материалом, я стала придумывать для своих обзоров темы, казавшиеся мне интересными: «Франко-германские отношения», «Франко-итальянские отношения» и т. д. Помню, как я умоляла Марселя читать мои произведения, — он неизменно отказывался: у него создалось впечатление, что «девочка развлекается, ну и пускай», но тратить время на чтение моих докладов не считал нужным. Однако однажды произошло что-то необычайное: Марсель ездил в Женеву для свидания с Максимом Максимовичем Литвиновым, и Кин тоже поехал туда. Во время общего разговора Литвинов вдруг сказал Кину: «Ваша жена пишет интересные вещи». Кин еще оставался в Женеве, а Марсель вернулся в Париж. Неожиданно и очень небрежно он сказал мне: «Покажи мне эту свою писанину». Я даже не сразу поняла, что он имеет в виду, потом очень обрадовалась и спросила, что именно принести. «Ну, за последние два-три месяца». И ни словом не обмолвился насчет Литвинова, — о разговоре с Литвиновым мне рассказал через несколько дней Кин, который всем этим был очень доволен.

Я, кажется, еще не писала, что Кин презирал меня за то, что я не хотела изучать Гегеля и Канта, тогда как он сам увлекался философией. Вообще, если что-нибудь ему не нравилось, он говорил мне: «А вот я тебя в пастухи отдам». Но если что-либо у меня получалось хорошо, тут была формула: «обучил-таки свою старуху» (даже тогда, когда мне было восемнадцать лет). В данном случае он был доволен замечанием Литвинова, которого очень уважал, как и все мы. Что касается Марселя, то он, верный себе, прочитав «писанину», только махнул рукой.

В общем, наша жизнь в Париже ничем не напоминала римскую. Целый день напряженной работы; только вечерами мы большей частью принадлежали себе. Кроме того, множество знакомств. То, что было исключено для нас в фашистской Италии, естественно, оказалось доступным и желательным во Франции. У Кина было больше возможностей, чем у меня, поскольку он был, так

сказать, вольной птицей — журналистом, я же была сотрудницей посольства. Но Марсель сам регулировал это. Благодаря ему я познакомилась со многими видными французскими деятелями, в частности с Ивоном Дельбосом, бывшим впоследствии министром иностранных дел, с Манделем, с Венсаном Ориолем. Мы встретились в Париже и очень подружились с Филоменой Нитти, дочерью итальянского лидера Франческо Саверио Нитти, бывшего до прихода к власти фашистов премьер-министром. После фашистского переворота Нитти эмигрировала вместе со своей семьей. Филомена много рассказывала о своих родителях и о дедушке-гарибальдийце. Она была очаровательна: красивая, женственная, изящная и умная. Уже в последние годы мне пришлось видеть в итальянских газетах фотографии Филомены и ее мужа профессора Бовэ в связи с присуждением ему Нобелевской премии. Мне было очень приятно посмотреть на Филомену. Я очень рада, что она счастлива.

\* \* \*

Не помню точно, когда это было, но как будто уже поздней осенью 1933 года или в начале зимы. К нам в гости приехали Илья Григорьевич Эренбург и его жена Любовь Михайловна. Пожалуй, мы знали почти все или даже все вещи Эренбурга. Кину очень нравились романы «Хулио Хуренито» и «Трест Д. Е.» Но некоторые другие книги Эренбурга, в частности «Любовь Жанны Ней», он активно не любил, не любил и «Тринадцать трубок», говорил, что это «вторично». При всем том он, разумеется, считал Эренбурга необыкновенно одаренным и крупным писателем.

Не знаю, как поточнее выразить мое впечатление от Эренбурга. Пожалуй, правильно сказать, что он меня ошеломил. Он рассказал кучу вещей, одна другой интереснее. Казалось, что в Париже и о Париже он знал решительно все, включая такую изнанку событий, такую подноготную, что уму непостижимо. Он рассказывал, держа слушателей в большом напряжении, как опытный мастер лепить сюжеты. Там была история некоей мадам Анно, которая, если я не путаю, была издательницей. Целая новелла: политика, уголовщина, страсти, предательство, деньги, своеобразный парижский колорит. И все это рассказывалось в какой-то своей, неповторимой, эренбургской интонации, которую я вспоминала, читая «Люди, годы, жизнь».

Эренбурги были у нас, помнится, еще один или два раза за все два с половиной года, а мы у них дома не были, но бывали их гостями в кафе «Клозери де лила», где они, кажется, всегда заканчивали свой день. Однажды Илья Григорьевич читал на вечере в полпредстве главы из романа «День второй»; воспринимали люди по-разному, Кин — сдержанно.

Близкие отношения у Кина с Эренбургом не сложились и, мне кажется, не могли сложиться. Очень уж все было разное: среда, интеллектуальное формирование, биографии. Может быть, у Кина (да и у меня) была известная нетерпимость или пристрастность в нашем отношении к людям.

\* \* \*

Сейчас мне вспомнилось, как мы с Кином были на новогоднем приеме у президента Французской республики. Это было 31 декабря 1933 или 1 января 1934 года, не помню точно. Помню, что в Елисейском дворце набилось, наверное, не меньше тысячи человек: дипломатический корпус, пресса, всякие французские деятели. Там я видела «бессмертных» академиков в довольно нелепых костюмах, очень декольтированных дам в драгоценностях, кучу каких-то непонятных людей, которые буквально брали приступом буфеты. Кин был во фраке, который ему очень шел, и насмешливо поглядывал на всю эту толчею. Там было жарко, хотелось пить, но для того, чтобы взять хоть стакан лимонада, надо было смешаться с толпой, и мы этого не хотели. Никакого президента республики мы так и не увидели, от приема осталось странное впечатление суеты и, я

бы сказала, невоспитанности. Кин комментировал все это очень иронически и презрительно

Воспоминания о Париже — пестрые. Сейчас мне вспомнились парижские белогвардейцы. Вспомнились потому, что некоторые шоферы такси — белоэмигранты — в день всеобщей забастовки двенадцатого февраля 1934 года выступили как штрейкбрехеры, и французы с ними расправились на славу: машины были сброшены в Сену. Это было справедливо и очень здорово, мы от души разделяли возмущение французских рабочих. С белогвардейцами-шоферами приходилось сталкиваться часто. В Риме белых видела только раз. Мы в музее стояли перед божественной статуей Афродиты Каренской, у которой, как известно, нет головы и рук. И вдруг я услышала фразу, может быть, произнесенную случайно, а может быть, для того, чтобы «эпатировать» меня: «А наверное, была хорошенькая!» Я невольно оглянулась на этого пошляка, он захихикал. Больше я в Италии русских белых не видала.

Но во Франции у меня лично было много встреч, причем каждый раз обстоятельства складывались по-разному. Была история, когда я села в машину и сказала: «Рю де Гренель. 79», — на что последовало: «Сволочь не возим!» Практически я была бессильна против этого негодяя, не драться же мне с ним было и не сообщать же в полицию. Были, однако, и совсем другие случаи. Таксисты заговаривали, спрашивали о России, о Москве, чувствовалось, что они тоскуют о родине которую покинули, и продолжают ощущать себя русскими. Однажды таксист довез меня до здания полпредства и ни за что не хотел взять деньги. Я настаивала, он уперся. Сначала он сказал мне, что не может взять: ему так приятно везти «своих» и поговорить по-русски. Наконец заявил, что он член Союза возвращения на родину, а деньги просит меня отдать в МОПР. Кину однажды поручили сделать доклад о празднике Первое мая в этом союзе. Он рассказывал мне, что его встретили очень горячо и что, по его впечатлению, люди там искренне хотели вернуться. Впрочем, он добавил, что много там, наверное, и всяких сомнительных типов, а то и провокаторов.

Недавно были опубликованы интереснейшие воспоминания покойного В. Сухомлина «Гитлеровцы в Париже». Из них мы узнали о том, как отважно и благородно вели себя некоторые русские «белые», погибшие в борьбе против фашистов. Это произвело на меня большое впечатление. Никогда нельзя верить схемам, жизнь неизменно и решительно опрокидывает их.

Наш полпред Валерьян Савельевич Довгалецкий умер в парижской клинике от рака. Все оплакивали его. Практически он уже давно не мог работать, и полпредство возглавлял Марсель. Но хотя все и знали, что состояние Довгалецкого безнадежно, на душе было очень тяжело.

Это была не первая смерть. Раньше умер Анатолий Васильевич Луначарский. Назначенный послом Советского Союза в Испании, он так и не доехал до Мадрида. Он очень тяжело заболел и мучительно умирал, вначале в Париже, потом его увезли в Ментону. До конца он сохранил не только ясность мысли, но и острый интерес ко всему, что происходит в мире. Кин часто бывал у Анатолия Васильевича, рассказывал ему французские и международные новости, он очень переживал трагедию Луначарского.

Гражданская панихида состоялась в полпредстве: Анатолий Васильевич показался мне очень старым, а ведь ему не было и шестидесяти. Я стояла, смотрела на него и вспоминала, как в 1928 году слышала его доклад о Чернышевском — в Большом театре в связи со столетием со дня рождения Чернышевского. Никогда в жизни я не слышала ни до, ни после такого оратора. Он говорил изумительно, держал в напряжении огромную аудиторию. Луначарский говорил почти два часа, ни разу не взглянув в какие-нибудь записи; в театре стояла совершенная тишина, никто не кашлянул, как будто боялись дышать. И когда Луначарский сказал, что вместе с нами в наших рядах идет наш товарищ Николай Гаврилович Чернышевский, в зале началось что-то неопишемое, я не слышала такой овации.

Луначарский был, конечно, человеком яркого, огромного таланта и светлого ума. Сейчас, когда я пишу все это, мне приятно думать, что в Италии живо откликаются на работы Луначарского, цитируют их. Он любил Италию, читал лекции о литературе эпохи Возрождения, о Данте, о Петрарке. И живопись итальянскую знал и любил... Но вот я опять вижу его в гробу: Наталья Александровна Розенель стоит в траурной вуали, и странно, что она такая изящная и нарядная рядом с гробом. И Марсель, глубоко расстроенный этой смертью, тихо говорит мне: «*Notre vie — c'est une sale petite chose*»<sup>1</sup>.

В 1934 году, когда Советский Союз вступил в Лигу Наций, Марсель, как я уже писала, был назначен нашим первым представителем в ней. В это время Владимира Петровича Потемкина назначили послом во Франции, и вскоре, уже в 1935 году, мы встречали его и Марию Исаевну. Опять нас свела судьба, и на этот раз я работала уже непосредственно под начальством Владимира Петровича.

Мне хочется привести еще один отрывок из записных книжек Кина, датированный «1934, Париж»:

«Год начался во Франции вяло. Новостей не было. Газеты пробавлялись мелкой ерундой. В Марселе адвокат Сарре убивал клиентов, растворял их трупы при помощи серной кислоты в ванне и получившийся раствор ведрами разливал в саду своей виллы. Имущество жертв и страховые премии адвокат присваивал при помощи сложного юридического мошенничества. В Ланьи произошла катастрофа: при столкновении двух поездов было убито около 200 человек. В Англии в озере Лох-Несс появилось чудовище с толстым веретенообразным туловищем, длинной шеей и змеиной головой...

Огромная безликая масса читателей газет вяло глотала ежедневное чтиво. Эти новости не вызывали возбужденного интереса. Все было ясно: адвоката отправят на гильотину, в катастрофе в Ланьи виноват стрелочник, чудовище будет изловлено и доставлено в музей или в зоологический сад. Скоро можно будет приходить кормить его морковью и дразнить зонтиками.

Однако накануне нового, 34-го года на серой поверхности газет обозначилось какое-то движение. Мелькнула пара заголовков, правда, вполне невинных, но опытные специалисты скандалов и эксперты сенсаций почувствовали нечто необычное. Профессиональная дрожь пробежала по гибким спинам репортеров. Новость шла кусками, из которых еще трудно было воссоздать все событие, угадывались только его туманные, но огромные очертания».

Кин имел в виду дело Ставиского, имя которого получило тогда мировую известность. Думаю, нет смысла подробно писать об этой колоссальной афере, в которой оказались замешанными многие видные политические деятели, правые и «левые», в том числе некоторые министры. Появилось сначала сообщение о самоубийстве Ставиского, потом выяснилось, что его пристрелила полиция. Разразился невероятный, грандиозный скандал, самоубийства, аресты, разоблачения. Весь режим оказался скомпрометированным. Помню, как понравилась Кину меткая и злая шутка сатирической газеты «*Le canard enchainé*» («Скованная утка»). Дело в том, что в афере Ставиского были замешаны газеты «*Либерте*» и «*Волонте*». Арестованных помещали в старинную парижскую тюрьму Санте. И вот газета предложила заменить официальный девиз республики «*Либерте, Эгалите, Фратерните*» (Свобода, Равенство, Братство) новым девизом: «*Либерте, Волонте, Санте*».

В связи с аферой Ставиского очень активизировались фашистские организации, в особенности «*Боевые кресты*» и «*Французская солидарность*». Они имели свою прессу, свой актив, свои кафе, где ежевечерне собирались, вербовали людей. Помню такой эпизод: как референт отдела печати полпредства, я обязана была следить за всей прессой, в том числе за фашистской. Мы не хотели, однако, выписывать ее по адресу полпредства, и было решено выписывать эти

<sup>1</sup> Наша жизнь — такая жалкая штука (франц.).

газеты и журналы на мое имя по домашнему адресу. И вот через некоторое время я стала регулярно получать повестки с приглашением посетить разные митинги и прочие мероприятия, организуемые фашистами. Кин с присущим ему юмором на все лады обыгрывал эту тему. В то время нас очень интересовала идеология и социальная база французского фашизма, очень многое в точности соответствовало идеологии гитлеровцев; они вербовали себе сторонников среди буржуазной молодежи, деклассированных элементов.

Шестого февраля 1934 года фашистские организации сделали попытку произвести государственный переворот. Они собрались на площади Конкорд, бесчинствовали там, стреляли, жгли автобусы, поджигали правительственные здания. Фашисты намеревались взять приступом палату депутатов, свергнуть правительство и установить режим диктатуры. Войска не дали им перейти через мост, и им не удалось ворваться в здание палаты. Однако правительство испугалось и ушло в отставку.

В этот день Кин, разумеется, не мог усидеть в ТАССе, он хотел собственными глазами видеть, что происходит в городе, и в самом деле увидел многое. Нам, работникам полпредства, строго-настрого запрещалось даже близко подходить к местам, где проходили демонстрации, митинги и другие политические выступления. Но и мы, нарушая приказ Марселя Розенберга (он был тогда поверенным в делах), все-таки не остались в здании полпредства, это было выше человеческих сил. Все мы любили Францию, чттили ее великие революционные традиции, 18 марта, как и тысячи парижан, приносили цветы к Стене коммунаров. То, что произошло в те дни во Франции, было и нашим переживанием, мы волновались вместе с французскими товарищами, ненавидели наглых фашистских молодчиков, возмущались нерешительностью правительства, но верили в народ. И наша вера оправдалась.

Девятого февраля состоялась демонстрация протеста: коммунистическая партия призвала трудовой Париж выступить против угрозы фашизма, за спасение республики. Руководство социалистической партии не поддержало призыва к демонстрации, но многие рядовые социалисты и социалистическая молодежь приняли в ней участие. А двенадцатого февраля, придя к соглашению, коммунисты и социалисты, руководившие различными профсоюзами, объявили всеобщую забастовку. Это было началом Единого фронта. Незабываемые дни, о них можно было бы рассказывать бесконечно много. Но я расскажу только, как Кин организовал передачу информации в Москву 9 и 12 февраля. Мне пришлось быть участницей этой работы, так как Марсель на несколько дней отпустил меня из полпредства, чтобы в ТАССе был лишний человек.

У нас на улице Вожирар было несколько телефонов. С начала года Кин добился возможности передавать в Москву информацию не по телеграфу, а по телефону. И вот он договорился с редакцией «Юманите» и еще с несколькими товарищами, чтобы они каждые двадцать—тридцать минут звонили в ТАСС из различных районов города, сообщая о том, что там в данный момент происходит. Все мы дежурили у телефонов, и нам действительно непрерывно звонили. Мы знали все, знали, что делается на площади Бастилии, на площади Насьон, в пригородах, знали, кто вышел на демонстрацию, где строят баррикады, что делает конная полиция, мы знали, когда пролилась первая кровь, мы словно чувствовали биение пульса великого города и были счастливы, понимая, что фашизм не прошел. Мы принимали информацию, записывали, записи мгновенно обрабатывались и непрерывным потоком по телефону передавались в Москву. У Кина где-то есть фраза: «Свежие, трепещущие под ножницами телеграммы», — я вспоминаю эти слова, думая о том, как блестяще, с какой инициативой, оперативностью и хваткой прирожденного газетчика организовал он работу парижского отделения ТАСС в те незабываемые дни.

Кин глубоко верил во французский народ, во французский рабочий класс. И сейчас мне хочется вспомнить об одном товарище французе, который работал в полпредстве и очень дружил с нами. Его фамилия — Ленканели. Во время пер-

вой мировой войны он, будучи солдатом, вел антивоенную пропаганду, его осудили, сослали на большой срок во Французскую Гвиану, там он заболел туберкулезом. Ленканели вступил в коммунистическую партию, как только она была основана. Он был высокоинтеллектуальным человеком и образованным марксистом. В глазах Кина Ленканели олицетворял все лучшие черты французского народа: ясный ум, трезвость, чувство меры, как-то органически сливающееся с революционным мужеством, юмор, благожелательность, глубокую преданность идее.

\* \* \*

В то время Италия была на редкость непопулярна в Париже. Итало-абиссинская война вызвала взрыв негодования у французской демократической общественности. Если и до того итальянский фашизм симпатиями отнюдь не пользовался, то война привела к тому, что имя Муссолини не произносилось иначе чем с отвращением и гневом. Помню один характерный для настроения парижан инцидент: знаменитая певица-негритянка Жозефина Беккер по какому-то поводу послала приветствие Муссолини. Об этом немедленно сообщили газеты, и ей устроили бойкот: не ходили на ее концерты. До этого она была очень популярна, весь город распевал ее песенку «J'ai deux amours — mon pays et Paris» — «У меня две любви — моя родина и Париж». Я сама ходила слушать Жозефину Беккер и восхищалась ею, как и все, но после такого ее поступка обструкция, устроенная ей парижской публикой, была вполне законной. Я знаю, что Жозефина Беккер впоследствии вела себя благородно: взяла на воспитание многих детей, — что ж, это хорошо, если только в этом не было саморекламы.

Однако надо вернуться к рю де Гренель и к работе, а то я слишком уж подчиняюсь «потоку сознания», как выражаются литературоведы, и все время перебрасываюсь с одного на другое. После приезда Владимира Петровича отношение к моей «писанине» решительно изменилось. Потемкин живо интересовался тем, что я делала, что писала: я не помню случая, чтобы Марсель за чем-нибудь ко мне обращался всерьез: в его глазах я оставалась девочкой, хотя мне уже было двадцать семь. Но Владимир Петрович давал мне много заданий и поручений, его живо интересовала пресса, и он доверял моему умению находить самое важное. Разумеется, я старалась оправдывать его доверие.

Должна сознаться, что я всю жизнь решительно ничего не понимала в технике, мне все это было неинтересно и казалось страшно трудным. Кин называл меня за это «бытовым уродом» и возмущался, что его жена никак не может запомнить даже названия слесарных или столярных инструментов, которых у нас в доме было полно. И вот мне как-то рассказали о том, что в английском посольстве в Париже существует какой-то аппарат, благодаря которому они получают всю информацию, идущую со всех концов света в агентство Гавас. Я не могла, разумеется, понять, что это такое, но была потрясена. С этого дня я начала приставать к Владимиру Петровичу, доказывая ему, что нам совершенно необходимо иметь такой же аппарат. Сразу уж скажу, что речь шла о телетайпе. В то время (не знаю, как теперь) эта штука стоила очень дорого, и на такой экстраординарный расход полпредство должно было получить разрешение из Москвы.

Не помню другого случая в моей жизни, когда я проявляла бы такую настойчивость. В конце концов Владимир Петрович тоже загорелся. Короче говоря, настал торжественный день, когда телетайп был привезен и установлен в холле, напротив моего служебного кабинета. Когда появилась первая лента, я испытала чувство настоящего блаженства. Оторвать меня от телетайпа было очень трудно. Все время шла лента и приносила новости, живые, самые последние, самые интересные. В этом было что-то необъяснимо привлекательное. Не знаю, как выразить то, что я чувствовала: наверное, где-то во мне говорил инстинкт журналиста, я не могла ни думать, ни говорить ни о чем, кроме того, что читала на этих лентах. После конца работы, когда надо было все-таки идти домой, я никак не могла оторваться, заставить себя решительно встать и уйти.

Одна новость казалась интереснее, значительнее другой, это было совсем не то, что читать газеты, где уже произведен какой-то отбор. Это было «сырье», драгоценная руда, первоначальные, исходные вещи.

Потемкин оказался жертвой своего великодушия: долгое время, пока я немножко не пришла в себя, я не давала ему покоя: мне все время казалось срочно необходимым рассказать ему, что я вычитала. Ему, конечно, было интересно, но, видит бог, у него были и другие дела, помимо того, чтобы выслушивать мои реляции. Все-таки он терпел, потому что очень хорошо относился ко мне. Кина и его сотрудников я тоже изрядно донимала. У нас и прежде было заведено то и дело обмениваться телефонными звонками, делясь впечатлениями от газет и событий. Но после того, как я почувствовала себя королевой, владеющей несметным сокровищем — телетайпом, я явно стала мешать Кину спокойно работать: то и дело я звонила и сообщала новости. Так как они, в общем, большей частью были все-таки интересны, то Кин не очень возражал. Первые недели две он даже не сердился, что я застреваю в полпредстве до позднего вечера, но потом стал протестовать. Делал он это в свойственной ему очаровательно-иронической манере: но, как бы то ни было, если у человека есть жена, должна она когда-нибудь возвращаться в лоно семьи или не должна? Уж не придется ли нам разводиться?

Сейчас телетайп стал будничным, если можно так выразиться, явлением. Но в 1935—1936 году дело обстояло иначе, и мало кто, я думаю, обладал возможностью благодаря этому чудесному аппарату чувствовать, как бьется пульс мира.

Утром я приезжала на работу и заставляла на полу клубок лент, выброшенных телетайпом за ночь. А ведь мне надо было успеть просмотреть прессу, чтобы делать свою ежедневную устную информацию. Счастье, что я умела быстро работать. В общем, жизнь шла в каком-то лихорадочном темпе, с утра «Ивонн!» — «Мадам!» и до ночи.

И вот в один прекрасный день посреди работы я вдруг почувствовала, что больше не могу. Не могу читать газеты, не могу читать ленты телетайпа, не могу ни с кем ни о чем говорить, не могу думать о чем-нибудь, хоть отчасти связанном с политикой. И вот я, не сказав никому ни слова, вышла из здания полпредства и отправилась в Лувр. Собственно, я даже не знаю, почему пошла именно в Лувр. Мне смутно хотелось посмотреть тамошнего Веронезе. Побродила по Лувру и вернулась в полпредство. Все это путешествие заняло, наверное, часа полтора. Консьерж встретил меня встревоженно: «Товарищ Кин, где же вы были? Товарищ Потемкин спрашивал вас десять раз». Как на грех, именно тогда, когда мне вздумалось любоваться «Браком в Кане галилейской», я понадобилась полпреду. Иду к нему. Он звал меня просто по имени, я была молодой, а выглядела совсем юной. «Леля, где вы были?» — «В Лувре». В первый момент он несколько удивился: видимо, подумал, что были какие-то дела, связанные с Лувром. Но когда я простодушно сказала, что просто не могла больше работать и поэтому пошла в музей, Владимир Петрович ограничился тем, что попросил меня в таких случаях предупреждать консьержа, «чтобы никто не беспокоился». Я вспомнила, какую панику устроил Марсель в мой первый парижский день, когда я исчезла. На этот раз паники не было, но все же нехорошо было так делать. Обещала предупреждать. Такие вещи иногда повторялись: надо полагать, что я просто зарабатывалась чуть не до потери сознания. Но достаточно было вот так часа на два переключиться, чтобы потом быть в состоянии выдерживать темп.

Говоря о Париже, не могу не вспомнить об одном замечательном человеке, которого все мы глубоко уважали и с мнениями которого очень считались. Это был Шолом Моисеевич Дволайцкий, наш торгпред. Когда мы приехали в Париж, ему было всего сорок лет, но он казался старше. Человек высоко и разномерно образованный, автор нескольких книг по вопросам политической экономики, он обладал той культурой и широтой взглядов и при этом той скромностью

и редкой деликатностью, которые — как заявил мне Кин — должны быть у настоящего большевика.

Мы познакомились вскоре после нашего приезда. Шолом Моисеевич был женат, но его жена Варя, врач Боткинской больницы, не хотела оставлять работу и бывала в Париже только наездами. Таким образом Шолом Моисеевич фактически не имел своего «дома», и очень скоро его домом стал наш. Он проводил у нас почти все свободные вечера, или мы куда-нибудь выезжали вместе. Часто он звонил: «Я приду к вам с одним товарищем, хорошо?» И приходил со своими гостями, никогда предварительно не называя фамилий. К нему люди тянулись: москвичи, приезжавшие в Париж, крупные партийные и советские работники, все знали его и уважали. Из тех, кого он приводил к нам, помню Н. А. Семашко и очень милого Н. М. Гринько, который приходил несколько раз.

Дволайцкий был одним из немногих людей, по отношению к которым Кин никогда не бывал ироничен, и очень прислушивался к его мнению. Однажды, когда Левушка приехал на каникулы из Флери Лез Обрэ, Шолом Моисеевич устроил ему настоящий экзамен по географии и естествознанию и остался вполне удовлетворен. Кин был очень горд, и я тоже. Варя была милая и добрая женщина, я забыла ее девичью фамилию, помню, что их было три сестры и их хорошо знали в Москве — семья с большевистскими традициями, но ничего связанного не могу вспомнить. Судьба ее сложилась так же, как и моя. Я помню, какое страшное впечатление произвел на меня конец: ее досрочно освободили из лагеря и она попала под грузовую машину в первые же московские свои дни.

Шолом Моисеевич привязался к нам искренне. У него не сложились хорошие отношения с Потемкиным и он редко бывал в полпредстве, только по необходимости. Но с нами и через нас он был связан с другими товарищами из полпредства. Он держался просто, очень скромно и естественно.

\* \* \*

Теперь мне хочется рассказать о том, как я познакомилась с Пертинаксом (его настоящее имя было Андрэ Жеро). Марсель как-то раз приехал из Женевы (он приезжал часто) и остановился, как всегда, в гостинице. Он был представителем СССР в Лиге Наций и поэтому ему было неудобно останавливаться в полпредстве. Когда он пригласил меня прийти к нему вечером, чтобы встретиться с Пертинаксом, я очень обрадовалась. Пертинакс оказался человеком средних лет, очень сдержанным и светским в лучшем, а не пошлому значению слова. Меня поразил его монокль, первый раз я видела не на сцене, а в будничной жизни человека с моноклем. Впрочем, потом он его спрятал.

Марсель сказал Пертинаксу, что мадам Кин — большая его поклонница, но при этом не добавил, что мадам Кин читает все статьи Пертинакса, так сказать, в силу служебного долга. И, надо полагать, этому знаменитому журналисту было приятно, что дамы из советской колонии так пристально следят за всеми нюансами в его статьях. Это был 1935 год. В Германии торжествовал нацизм, и Пертинакс, как истинный французский патриот и националист, боялся чрезмерного усиления гитлеровской Германии. Отсюда — логически — он пришел к выводу о необходимости франко-советского сближения и ясно выражал эту точку зрения в своих статьях, которые были образцом логики, четкости мысли и формулировок и свидетельствовали о принципиальности, эрудиции и остром уме их автора.

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что Пертинакс был в то время одним из влиятельнейших журналистов не только во Франции, но и вообще на Западе. Марсель знал его хорошо, и в тот вечер они беседовали чрезвычайно откровенно и дружелюбно. Я не знаю, о чем они говорили до меня (я пришла несколько позднее, чем было условлено), но при мне — о чем бы ни зашла речь — Пертинакс производил впечатление прямодушного и благородного человека. Он высказывался о видных политических деятелях своей страны с определенностью, кото-

рая свидетельствовала о том, что у него не только ясный ум, но и громадный опыт, исключительная пронизательность. О ком бы ни говорили, он не отделял политика от человека. Много лет спустя, вспоминая о том, как язвительно он говорил о Лавале, я удивилась необыкновенной точности его оценки. Нет, разумеется, в 1935 году он не мог предвидеть того, что случилось во время второй мировой войны, но он говорил о Лавале как о человеке беспринципном и мелком. Может быть, не точно в этих выражениях, но за точность передачи мысли ручаюсь. Об Эррио он отозвался с уважением...

Ужин подали в номер. От политики перешли к литературе, — собственно, в этом была виновата я, мне было интересно узнать литературные вкусы Пертинакса. Оказалось, однако, что за современной иностранной литературой он не следил. Так как он не знал американских писателей, не говоря уже о наших, я его почти нокаутировала, и тогда он сказал, что я не представляю себе образ жизни, который он ведет уже столько лет: никогда не ходит в театр, никогда не ходит в кино, отдыхает только во время летнего отпуска. У него нет возможности читать беллетристику, — впрочем, его жена читает много. Он вообще не принадлежит себе. Каждый день он пишет статью для своей газеты. Конечно, это не было отговоркой, я понимаю, что так он и жил в самом деле.

Французскую литературу он знал хорошо. Ему было, очевидно, приятно, что я — иностранка — знала ее и любила и рассказывала ему о том, как много значит французская литература для русской интеллигенции. Но он поймал меня на том, что я не читала ни одной книги Мориса Барреса. Тут он хотел взять реванш и стал объяснять мне, что это был замечательный писатель. Через несколько дней я получила две книги Барреса (не помню какие) с визитной карточкой Андре Жеро. Больше я никогда его не видела. Марсель остался очень доволен этим вечером, а я была ему горячо признательна за то, что он дал мне случай познакомиться с Пертинаксом.

Когда Марсель был еще советником полпрества, а затем поверенным в делах, он часто встречался с Женевьевой Табуи, которая печаталась в газете «Эвр» и тоже была видной журналисткой. Я не была с ней знакома, видела ее однажды мельком, она была тогда женщиной средних лет, англазированной вида, в строгом костюме. Энергия у нее была потрясающая — она постоянно летала то в Америку, то в Египет, то еще куда-нибудь, брала интервью у разных политических лидеров. К Марселю она относилась чрезвычайно нежно: когда уезжала, писала ему почти ежедневно; когда была в Париже, все посылала ему горшочки с кактусами (видимо, это была ее страсть). Марсель был равнодушен к кактусам, а о Женевьеве Табуи отзывался, в общем, хорошо. Я не читала ее книгу, но мне говорили, что в ней она даже не упоминает о Марселе.

\* \* \*

Подсознание. Недавно мне приснился Марсель, такой, каким я его знала, и в то же время не такой. Во сне я все беспокоилась, хорошо ли ему. Он сказал, что хорошо, и еще сказал, что я очень счастливая. Счастливая? Может быть.

Я не могу не рассказать о судьбе Марселя. После того, как его отозвали из Испании, Марсель считался «в резерве Наркоминдела» и должен был пройти проверку партдокументов. Проверял его лично Маленков. Марсель в то время жил у нас на Лаврушинском, мы отвели ему лучшую комнату и старались поднять настроение, но это не удавалось. Всех близких людей Марсель принимал у нас. Однажды произошел такой случай: Марселю понадобились фотографии для каких-то анкет. У него был огромный лист: сто маленьких фотографических карточек для удостоверений — все разные и на одном листе, это он привез из Женевы. Фотографии хранились у одной из его близких. Когда он позвонил ей, что ему нужны две карточки, она привезла весь лист. Он отрезал две карточки и хотел вернуть ей лист, но она сказала, что не возьмет, так

как в автобусах давка и она боится измять фотографии. Это было при нас, в столовой, сразу после обеда. Я тотчас сказала, что она права, карточки могут помять, и лучше я положу их к себе в стол. Так и сделали. Марсель не сказал ни слова. Когда мы с Кином остались наедине, он сказал мне: «Ты видишь, что она уже его продала?» Дня через два Марсель заговорил все-таки со мной об этом инциденте. Я сделала все, чтобы его переубедить, но он был слишком умен и чуток.

Прошло много времени — все это было летом 1937 года. Маленков извездил Марселя до такой степени, что тот изнемогал от обиды. Однажды мы с Кином днем куда-то пошли и, вернувшись домой, не застали Марселя: он переехал в гостиницу. Оказалось, в письме лично Сталину он написал, что больше не может и не желает терпеть все это, отказывается разговаривать с Маленковым. Если ему, Марселю, доверяют, то пусть все это кончат, если нет — пусть так или иначе решат его судьбу. Отправив это письмо, он уехал от нас, чтобы «не компрометировать». Кин был очень задет тем, что Марсель переехал в гостиницу, я просто ревела, но Марсель был очень решительным и своих решений не изменял. Ко всему этому добавилось еще одно дело: Ивон Дельбос, французский министр иностранных дел, прислал от имени французского правительства письмо Советскому правительству. Он писал, что во французской прессе появились сообщения о том, что Розенберг попал в опалу. Так вот, французы просят учесть исключительные заслуги Розенберга в деле франко-советского сближения и т. д. Марселю это письмо показал Максим Максимович, страшно расстроенный этой инициативой Дельбоса, которая могла только ухудшить положение.

Марсель звонил нам утром, едва просыпался, из гостиницы и большей частью сразу приезжал к завтраку. Когда он позвонил утром третьего ноября, я сказала, что очень прошу ни в коем случае не приезжать и потом позвонить откуда-нибудь. Он понял, что случилось с Кином, и тотчас приехал. Я умоляла его не ездить ко мне, но он сказал, что ему поздно искать себе «другие салоны». Он приходил ко мне каждый день, приносил деньги, велел, чтобы я «не снижала жизненного уровня», покупала Левушке фрукты и все такое, сказал, что, если понадобится, продадим его пишущую машинку. Я тогда очень старалась сдерживаться, но при Марселе плакала, не стесняясь. Он уверял меня, что у Кина все обойдется, потому что у него безукоризненная биография. Я вопреки всему ежедневно ждала возвращения Кина.

Мы много говорили обо всем этом. Марсель — один из умнейших людей, которых я знала, но и он ничего не понимал в том, что происходит. Однажды он сказал, что это амальгама: есть какие-то настоящие шпионы, а все остальное — уму непостижимо. Как-то вечером мы шли по Никольской, мимо аптеки Ферейна, было темно, горели фонари. Вдруг Марсель спокойно и очень ласково сказал мне: «Ты знаешь, девочка, ведь и со мной, наверное, случится то же самое». И когда я в отчаянии стала спрашивать: почему же, почему? — он сказал: «По ошибке, как с Витей». Прошло еще какое-то время, и вдруг он не пришел, а позвонил и предупредил, что несколько дней не придет и чтобы я не беспокоилась. В это время он жил уже не в гостинице, а в одном из наркоминдельских домов.

Прошло несколько дней. Он не звонил. Позднее я узнала, что в тот день Марселя исключили из партии; одним из пунктов обвинения была «связь с врагом народа Виктором Кином». В 1955 году я написала в Главную военную прокуратуру просьбу о реабилитации Марселя. Вскоре он был реабилитирован.

\* \* \*

У меня явно не получается рассказ в «хронологическом порядке», но тут ничего не поделаешь.

Мне хочется вспомнить еще два имени: Ильф и Петров.

Вскоре после того, как мы обосновались в Париже, в конце 1933 года, мне позвонил на работу Ильф, которого я раньше в глаза не видала. Он сказал, что он и Петров только что приехали из Рима и привезли мне какую-то посылочку от

товарищей из полпредства. Не могу объяснить, почему, но в тоне я уловила не то чтобы небрежность, но какую-то снисходительную вежливость, а я такие вещи всегда ощущала и реагировала на них соответственно. Я очень вежливо поблагодарила Ильфа и попросила оставить эту посылочку консьержам. Вероятно, он мгновенно понял, что тон был взят не вполне правильный, — он был очень умным и очень тонким человеком. Он спросил, нельзя ли передать мне лично, и я сказала, что это, разумеется, возможно. «Когда?» — «В служебные часы, в таком-то кабинете». Он пришел в тот же день, сказал, что, не спросив разрешения, назначил Петрову свидание у меня, минут через сорок.

У него было очень любопытное, своеобразное лицо, немножко прямоугольное, сосредоточенный взгляд из-под толстых стекол очков, высокий лоб, тонкие брови, пятно на губе, которое его не портило. Разговор был непринужденный, но довольно банальный. Пришел Петров, красивый, веселый, очень открытый и дружелюбный, я его тоже раньше не знала. Он тотчас захотел поговорить по телефону с Кином, сказал ему, что они «напрашиваются в гости». Кин просил условиться со мной, и я пригласила их к нам на следующий вечер. У нас были Марсель, Люба, Антон с Соней, еще несколько полпредских товарищей. Ильф меня немножко удивил: когда мы остались на какое-то время вдвоем, он вдруг рассказал мне о своем разговоре с одной девушкой, о которой я понятия не имела, и спросил, что я думаю об этом. Но я не умела разгадывать психологические ребусы.

Через несколько дней в полпредстве была вечеринка: провожали одного сотрудника, возвращавшегося в Москву. Кин не поехал, а мне было неловко не быть. Ильф и Петров оказались там. Ильф сказал, что он хочет сидеть со мной рядом за столом, чтобы «сплетничать». Мы провели приятный вечер, «сплетничали» (я ему объясняла «кто есть кто»), и я, может быть, выпила лишний бокал шампанского, хотя вообще пила мало. Ильф тоже выпил. Было уже около двенадцати, когда он пошел провожать меня домой. Шел мелкий парижский дождик, приятный и не надоедливый. Не знаю, до сих пор не знаю, что со мной тогда случилось, обычно я не бывала такой бестактной. Факт тот, что я вздумала выражать свое мнение о романах Ильфа и Петрова, хотя Ильф меня ни о чем не спрашивал. В общем, я сказала то, что я думала, и то, что тогда казалось мне справедливым, и высказалась резко: что это книги для советских обывателей, что нельзя всерьез считать такой юмор первосортным, когда на свете существовал, например, Марк Твен, и так далее и тому подобное.

Видимо, эта неожиданная, невежливая и ничем не вызванная тирада произвела на Ильфа впечатление. Он перешел в оборону, и горячо. Он мне сказал, что я сноб, что их книги читают миллионы людей в разных странах и что это — литература, а не второй сорт. Мы уже подходили к дому № 148 на рю де Вожирар, я как-то сразу стала совсем трезвой и чувствовала себя очень неловко. Мы простились, и я, поднимаясь домой в лифте, уже ругала себя за дурость. Кин не спал, он что-то с увлечением читал, и когда я сказала ему, что сделала страшную бестактность, он отнесся к моему рассказу с полным равнодушием: все дело, конечно, заключалось в том, что сам Кин относился к творчеству Ильфа и Петрова тоже достаточно сдержанно.

Утром я поехала на работу в отвратительном настроении. Минут через десять Ильф позвонил по телефону и сказал, что он дурак, что вчера шел дождь, а я была в открытых туфельках, и он не догадался взять такси, и вдруг я простудилась... Такое рыцарство меня тронуло. И когда Ильф спросил, можно ли зайти ко мне, я ответила: «Да хоть сегодня». Он пришел к концу работы, и мы пошли бродить по городу. И так бродили несколько часов, зашли в кафе «Луи XV», в котором я сидела одна в первый день, когда приехала в Париж весной 1932 года. С неделю, наверно, мы ежедневно гуляли по городу.

Мы очень подружились. Они остались в Париже на некоторое время и должны были написать там какой-то сценарий, который в конце концов все же не получился. Потому что он был связан с французской темой, что ли, и у них не вышло. Не помню, сколько времени они прожили в Париже, мне кажется, месяца два. Од-

нажды я немного прихворнула, Ильф пришел встревоженный и принес мне «игрушку»: маленькая деревянная негрятяночка — черное туловище, коричневые лицо и шея, белая шапочка, желтый зонтик в руке. Стилизованная, очень милая. Она и сейчас у меня, хотя немножко покaleченная, висит на стене; в те годы, когда меня не было в Москве, она уцелела каким-то чудом.

С Ильфом всегда было очень интересно разговаривать. Мы много говорили о книгах и о людях, мне всегда было с ним легко и приятно. Его суждения были лаконическими и точными. Он ни в какой мере не был циничным, но, мне кажется, и не был склонен идеализировать людей. Он совершенно не был остряком, у него было для этого слишком много вкуса. Но он выдумывал разные смешные вещи. У меня был чайник, который свистел, закипая. Ильф «обыграл» его и даже спрашивал о нем в письмах. Один раз вышла такая история: я пошла в Лувр, народу было много, и вдруг слышу знакомый голос. Метрах в десяти впереди меня — Ильф и три дамы: наши дамы, из лондонского полпредства и из Варшавы. Ильф «объяснял» им картины очень как будто «профессионально», но на самом деле бог знает что говорил. Я некоторое время шла за ними, незамеченная, и слушала. Это было занятно, я понимала, что он просто развлекается, пародируя некоторых вульгарных искусствоведов. Вечером я начала цитировать его сентенции. Сначала он сказал, что это какая-то мистика, — откуда я знаю, но мгновенно овладел положением. «Опять вы ничего не понимаете, — сказал он мне самым серьезным тоном, — они все равно ничего не запомнят, зато у них останется воспоминание о том, как знаменитый писатель Ильф беседовал с ними об искусстве». Ну как с ним было спорить?

Один раз Ильф сказал вещь, которая меня очень тронула: он поблагодарил меня за то, что я ни разу не спросила о том, как они с Петровым пишут вместе и отчего у него синее пятно на губе. Он сказал это шутливо, но в то же время серьезно. Мне было жаль, когда они уехали, прогулки и разговоры с Ильфом вносили что-то очень приятное в мою парижскую жизнь.

Мы увиделись, когда я приехала в Москву перед съездом писателей. В дни съезда я почти все время была с Ильфом и Петровым, потом уехала на Клязьму, в дом отдыха Наркоминдела, и Ильф приезжал туда ко мне. Первый его приезд был сенсацией (когда выяснилось, кто это такой, обитатели дома отдыха даже разволновались, и я воочию убедилась в популярности Ильфа и Петрова). Он только одну свою книгу подарил мне: «Как создавался Робинзон». Ильф, мне кажется, был рад, когда я хвалила книгу.

Потом мы опять увиделись в Париже, когда они возвращались из поездки по Америке. Ильф был уже очень болен (в Америке у него обнаружили каверну в легком). Петров на этот раз не отпускал его ни на шаг от себя. Мне кажется, это был февраль 1936 года. Они вскоре уехали, а в апреле и мы вернулись в Москву — окончательно. Судьбе было угодно, чтобы мы поселились в одном доме, в одном подъезде: это был писательский кооперативный дом в Лаврушинском переулке. Не помню, когда мы въехали в этот дом, — в конце 1936-го, кажется. Еще не успели поставить телефоны в квартирах, висел один внизу, около лифта. Я помню весенний день 1937 года, я спустилась вниз и говорила с кем-то по телефону. Погода была хорошая, я была нарядная, оживленная. По лестнице спустились Ильф, Петров и кто-то третий. Те двое поздоровались и прошли, но Ильф задержался, подошел ко мне и очень мягко, тихо спросил: «Вы долго будете разговаривать?» Почему же, почему мы бываем подчас такими нечуткими и деревянными? Почему я не почувствовала, что он хочет что-то мне сказать, и не прервала своего телефонного разговора?

Он отошел. Больше я не увидела его. Я не знала, что Ильф обречен. 13 апреля он умер.

\* \* \*

Живя в Париже, мы не теряли связи со своими друзьями в Италии. Приезжала Муся, приезжал «нефтяной король» Альберг, все время приходили письма, мы следили за прессой. Можно было представить себе обстановку и моральную

атмосферу в стране в связи с итало-абиссинской войной. Пропаганда войны, самый характер этой пропаганды носили на себе явный отпечаток стиля, присущего Бенито Муссолини. Не помню, кто напел мне «Фаччетта Нера», — говорили, впрочем, что дуче эта песенка не нравилась. Но весь арсенал фашистской демагогии был пущен в дело. За годы, проведенные в Италии, я так хорошо изучила ораторские приемы Муссолини, его мимику, жестикуляцию, что как будто видела его, когда он провозглашал установление империи. А как мелко и гадко повели себя фашисты по отношению к Хайле Селассие: известно ведь, что итальянской прессе было дано указание ни в коем случае не называть его негусом или экс-негусом, и только рас Тафари. Вполне в стиле Стараче, но думаю, что сам Муссолини унизился до такой мелкой мести, без него вряд ли решились бы на это.

Мы были в Париже, когда в самом начале 1935 года там состоялось международное совещание фашистов из различных стран. В числе их было много немецких нацистов, был пресловутый Квислинг, чье имя стало впоследствии синонимом предательства, были англичане, ирландцы, были, разумеется, и французы и итальянцы, и председательствовал, насколько помню, итальянец. Именно тогда Муссолини объявили главой нового строя и дуче международного фашизма. А первого мая 1935 года Муссолини принял в Риме представителей Международной студенческой конфедерации, которые заявили, что считают его духовным вождем всей молодежи мира. Об этом мы читали и в итальянских, и во французских газетах. Все это преподносилось помпезно.

\* \* \*

Минуя множество личных событий, перехожу к весне 1936 года. Кин настойчиво ставил вопрос о возвращении в Москву: мы прожили в Италии и во Франции почти пять лет, и нам обоим хотелось вернуться на родину. Наконец это было согласовано. В начале апреля мы должны были уехать. Мы уже привезли Левушку в Париж. Прощание с семьей Бесс было трогательным, и весь поселок прощался с нашим мальчиком. Все так полюбили его, и напоследок каждый находил для него ласковое слово, женщины выходили из своих домов, чтобы поцеловать его, а школьный учитель сказал нам, что наш сын станет когда-нибудь большим человеком. Я уже сдала дела в полпредстве и укладывала книги и вещи, когда позвонил Потемкин. Он сказал, что Максим Максимович Литвинов хочет познакомиться со мной и чтобы я на следующее утро к 10 часам пришла к ним (Потемкиным) завтракать. Знакомство произойдет за завтраком.

За то время, что мы жили в Париже, Литвинов был там несколько раз, но у меня, конечно, не было возможности быть представленной ему. Его неизменно встречали и провожали полпред, советники, атташе полпредства, корреспондент ТАСС, оргпред — в общем, те, кому полагалось. Я видела из окна, выходящего во внутренний двор полпредства, как Максим Максимович идет по двору, но никогда даже голоса его не слышала. Теперь мне предстояло знакомство с ним, и я, конечно, была очень взбудоражена. Во время этого приезда Литвинова его сопровождал новый генеральный секретарь Наркоминдела Эдуард Гершельман, славный и одаренный человек, с которым я раньше была знакома в Москве. Я знала, что на завтраке будет присутствовать и Марсель, который приехал из Женевы, чтобы повидаться с нами перед нашим отъездом на родину.

Разволновалась я ужасно. К Литвинову я относилась с безграничным восхищением, и не я одна. Надо ли говорить о том, каким он был замечательным человеком? В те годы любое его публичное выступление превращалось в событие. Вскоре после того, как мы приехали в Париж, в декабре 1933 года, Литвинов выступил на IV сессии ЦИК СССР. Мы читали его речь не только с интересом — это слово недостаточно передает отношение к «папаше» (так, говоря между собой, называли Максима Максимовича по старой его партийной кличке). Точность, лаконизм и безупречная логика его выступлений, смелость мысли и остроумие, огромное чувство достоинства, с которым он представлял нашу страну на международной арене, — все это нам глубоко импонировало. В той речи на сессии ЦИК

Литвинов дал жуткий анализ положения в мире. У меня сохранилась книга «Внешняя политика СССР» издания 1935 года, и я внимательно перечитала ее. Она и сейчас производит очень большое впечатление.

В своем, как он скромно выразился, «сообщении» Литвинов ни разу не прибегнул к штампам. Он дал обзор основных тенденций в развитии международного положения за последние пятнадцать лет, то есть за все годы после Октябрьской революции.

Литвинов сказал, что после первой мировой войны весь капиталистический мир стал на время пацифистским. У побежденных стран отняли все средства для ведения войн. Страны-победительницы «не были до поры до времени заинтересованы в дальнейших войнах». Они попытались было выступить против «новой международной силы в лице советских республик, но для этой войны оружие их оказалось притупленным». Затем Максим Максимович говорил об антивоенных настроениях в среде мелкой буржуазии. Он отнюдь не сбрасывал со счетов психологический фактор, говоря об эре буржуазного пацифизма.

Я отлично помню, как Литвинов осенью 1933 года поехал в Америку. Его сопровождали два молодых талантливых советских дипломата: генеральный секретарь Наркоминдела (фактически это означало: помощник наркома, непосредственно работающий и разъезжающий с ним повсюду) Иван Анатольевич Дивильковский и заведующий отделом печати Константин Александрович Уманский. По пути в США они на несколько дней остановились в Париже. С Уманским я была знакома, и мы были в хороших отношениях. С Дивильковским встретила впервые. Вскоре он был назначен первым советником нашего полпредства во Франции, и мы очень подружились.

Оба они погибли трагически. Дивильковский — девятого августа 1935 года в автомобильной катастрофе. Он сам вел свою машину, в которой находилась его жена и двое маленьких сыновей. Мне тяжело писать о подробностях. Все остались целы и невредимы, а он умер после нескольких часов ужасной агонии. Уманский много лет спустя погиб во время воздушной катастрофы. Я помню, какими веселыми, возбужденными были они оба в те дни. Им предстояло быть свидетелями и даже некоторым образом участниками важнейшего исторического события.

Мне хотелось не опозориться и не ударить в грязь лицом, когда разговор зайдет о высокой политике, — я не сомневалась в том, что такой разговор произойдет. Разумеется, я помнила, что в Женеве когда-то Литвинов сказал Кину несколько теплых слов о моих работах, и это меня немножко обнадеживало, но все-таки этот предстоявший разговор меня очень волновал. Дело было, разумеется, не в том, что меня хотел видеть нарком, а в том, что это был Максим Максимович, «папаша», личность в моем представлении почти легендарная.

Итак, мы сидим за столом, знакомство состоялось. Мне приятно, что прошли первые минуты. Литвинов вблизи не такой, каким он мне казался из окошка. Он старше, у него неожиданная для меня манера говорить. На меня он не обращает решительно никакого внимания и оживленно беседует с Марьей Исаевной насчет каких-то сортов колбасы, в то время как я все это воображала совсем иначе. Все было чрезвычайно прозаично. За столом сидели Максим Максимович, Марсель, чета Потемкиных, Эдуард и я. Марсель мне улыбался, накануне вечером он заглянул к нам и знал о всех моих тревожениях. Владимир Петрович был, как всегда, приветлив и благодушен. Завязался общий разговор, но какой-то бесцветный, о том, о сем. Я все ждала, когда же речь зайдет о политике. Ничего подобного. Никто — ни слова.

Потом заговорили о кино. Мы тогда были все в восторге от фильма Чаплина «Новые времена». Всем было известно, что Литвинов — страстный «киношник». Когда он бывал в Париже, то зачастую смотрел в один вечер два фильма. И вдруг оказалось, что «Новые времена» ему совсем не нравятся и вообще он равнодушен к Чаплину. Это меня очень удивило, я немножко поспорила. Тогда Максим Максимович спросил, видела ли я фильм «Ночь любви» (уж не помню, чей это фильм), на что я возразила, что «на такую пошлятину не хожу». Мне решитель-

но не везло, наши вкусы не совпадали ни в чем. Заговорили о пьесе Корнейчука «Платон Кречет». Литвинов сказал, что смотрел ее с удовольствием, а мне она решительно не нравилась, что я и высказала. Дошло до того, что Литвинов заявил, что, видимо, у него «более простые вкусы». Завтрак кончился, о политике так и не говорили, и вообще никакого умного, интересного и важного разговора не произошло. Я уехала домой очень разочарованная и сказала Кину, что потерпела полное фиаско у Литвинова.

В довершение позвонила Марья Исаевна Потемкина и устроила мне форменный выговор за то, что я так невоспитанно вела себя. Она была очень славная женщина, с большим чувством юмора, но на этот раз она отнеслась к моему поведению за завтраком не юмористически: по ее мнению, на меня что-то «нашло», что я все говорила наперекор, — «он вам в отцы годится, и все-таки нарком», и так далее. Ну, фиаско, и все тут. Марсель целый день не подавал признаков жизни, и некому было даже поплакать в жилетку, потому что Кин говорил, что все это «бабий вздор». Поздно вечером позвонил Эдуард Гершельман и сказал мне: «Максим Максимович передает вам привет и говорит, чтобы вы в Москве не решали вопроса о своей работе, не повидавшись с ним». Не стыжусь признаться, что я была просто счастлива, — так много значило для меня мнение и отношение Литвинова. Что же касается споров об искусстве, мне пришло в голову, что, может быть, Максим Максимович сыграл со мной шутку. Не знаю.

Наконец настал день отъезда. Поезд уходил в семь часов утра, но на вокзале собрались все — от полпреда В. П. Потемкина до консьержей. Цветов принесли столько, что на немецкой границе к нам из-за них придирались таможенники.

Недели через две в Москве я позвонила в Наркоминдел, и уже на следующий день меня принял Литвинов. Он встал из-за своего письменного стола, пошел ко мне навстречу, очень тепло поздоровался, спросил, как доехали, как Кин, как наш мальчик. Он велел подать чай и очень хорошо говорил со мной. Он сказал, что их наркомат — бедный, оклады невысокие и что я смогу гораздо больше заработать в какой-либо редакции. Однако, может быть, мне захочется работать у них? Я от всей души ответила, что деньги для меня — не самое главное и что я очень хочу работать в Наркоминделе. Так мы и порешили, и я была назначена референтом по Италии и по Испании и работала до осени 1937 года. За эти полтора года мне не часто приходилось видеть Максима Максимовича, гораздо чаще — Крестинского. Но всякий раз, когда вызывал Литвинов, я испытывала чувство большого удовлетворения от одного сознания, что увижу его. В 1951 году, когда он умер, я жила в Грузии. Когда развернула «Правду» и увидела сообщение о его смерти, я рыдала так, словно оплакивала не только Максима Максимовича, но и Кина, и Марселя, и Ильфа, и Дивильковского, и своего мальчика, погибшего на фронте. Вся пережитая боль заново поднялась в сердце.

\* \* \*

В Москве Кин некоторое время работал в ГИХЛе, заведовал отделом современной художественной литературы. Потом он был назначен редактором московской газеты на французском языке «Журнал де Моску». Время было тяжелое, Кин, как и многие другие товарищи, не мог понять, что происходит. Он искал душевного удовлетворения, работая над романом «Лилль», отдыхал он в своей маленькой мастерской за филигранной отделкой каравелл и бригов, которые делал с мастерством, поражающим знатоков.

«Лилль» к осени тридцать седьмого года был примерно на три четверти закончен. От всей рукописи сохранилось несколько разрозненных страниц, опубликованных в 1963 году в «Новом мире». Но даже эти небольшие отрывки показывают, как далеко ушел Кин от своего первого романа «По ту сторону». Он сам называл работу над «Лиллем» каторжным трудом. В самом деле, этот смелый по замыслу, сложный, многоплановый роман требовал громадного труда и знаний. Конечно, Кину надо было прежде овладеть философией марксизма, пройти школу политической публицистики, массу перечитать и передумать, пожить за границей,

чтобы справиться с «Лиллем». В записных книжках сохранились некоторые заметки, бросающие свет на стиль и интонацию романа. Вот несколько примеров:

«Война, как «винтэссенция всех несчастий. Мелкие несчастья жизни, собранные в ужасающей массе. Снаряд, начиненный мелкими огорчениями. Машина несчастий».

«Примерный набросок картины: пушечный завод. Объявление войны в Германии — в трамваях, в кафе, на заводе, на улице. Разговоры мертвых (справки петитом). В роте. Убийство эрцгерцога. Появление слухов в пограничных городах. Шейдеман у канцлера. Паника».

«Думали ли эти люди, захваченные поразительной новостью, отданные во власть сенсации, целиком поглощенные фактом войны, ее первоначальным видом: пятнами приказов на стенах, передвижением взволнованных толп, криком газетчиков, — думали ли, что они являются добычей историков? Что они одеты в старомодные, подпирющие подбородки воротнички, что их женщины носят шляпы с огромными полями и платья с тrenaми и перехватами на ногах, что их солдаты одеты в красные брюки и синие мундиры образца 1914 года?»

«О Николае — отзыв кавалериста: «Так себе, пехотный цариска. Вот его отец был не такой. Ему налить стакан водки, намешать туда табаку, перцу, гвоздь положить, он сохнет — и ничего».

«Дать семейно-мещанскую картину жизни Николая II. Может быть, играет на гитаре?..»

«О человеке, умирающем с криком: «Да здравствует Лионский кредит».

«...Первый офицер подал команду: шагом марш! И первая солдатская подошва вступила на бельгийскую почву».

«Обязательно вставить в роман историю французских президентов».

Но откуда взялось название романа «Лилль»? Лилль — это небольшая крепость на франко-бельгийской границе. С ней был связан стратегический план немецкого командования. В записных книжках есть заметка о том, «как лежат, зверя, два плана (германский и французский), как их дразнят, как сотрясается письменный стол». «Лилль», роман о первой мировой войне, получался исключительно интересным. В нем действовали подлинные исторические лица, представители германского, французского и русского империализма, императоры, полководцы, дипломаты, контрразведчики. У Кина была собрана обширная литература, нужная для «Лилля», — документация, мемуары, переписка, книги по теории военного дела, по истории, массовые иллюстрированные журналы за несколько предвоенных лет, очень много книг об официальной и тайной дипломатии.

Хочу привести еще один отрывок из записных книжек Кина, относящийся к «Лиллю»:

«Надо документировать роман. В конце книги дать библиографию, примечания к главам, в которых оговорить: откуда заимствован факт. Возможно, в конце дать эпилог. Например, газовой войны в романе нет. Дать в эпилоге сцену, как человек на заводе ходит у баллонов с хлором. Намекнуть на Марну и т. д. Художественным сценам можно придавать внешний характер отчета. Можно протоколировать сцену. Убийство, как пуля (вес, скорость, число оборотов, деривация), проникает в эпидерму, разрывает кровеносные сосуды, дробит кость. Начальная скорость велика — пуля пронзает препятствие. Далее она уже мнет ткани, увлекает их, прессует и при выходе вырывает огромный кусок мяса. Болезнь дать, как описание проникновения бактерий в кровь. (Поведение бактерий, размножение, борьба организма, проникновение ядов в мозг, — бред, образы бреда.) Описание города. Наряду с обычной эмоциональной образностью дать описание канализации, электрической сети (обязательна техническая литература). Что получается, когда в этот развитой организм попадает снаряд».

Нет надобности, мне кажется, комментировать эту запись. Она одна показывает, как сложен, обширен и оригинален был замысел романа. Не могу без острого чувства боли вспомнить о том, что рукопись не сохранилась. И все-таки да-

же сохранившиеся фрагменты показывают, как широко размахнулся Кин, каким огромным шагом вперед был для него «Лилль». И хочется еще раз напомнить слова Кина: «Надо мечтать о громадном, чтобы получилось просто большое».

\* \* \*

Мой рассказ подходит к концу. Перечла написанное и вижу, как мало удалось рассказать о Кине, — отдельные факты, клочки воспоминаний, и только. И сейчас, когда уже трудно зачеркнуть все и начать писать сначала (а может быть, получится еще хуже?), я думаю обо всем, чего не смогла написать.

Об оружии Кина — одном из самых страстных его увлечений: дуэльные пистолеты в полированном деревянном ящике, старинные кремневые ружья, шашки, обреза, напоминавший об антоновских бандах, наган, великолепный парабеллум и маленький бельгийский браунинг.

О любви к собакам — он отлично дрессировал их и дружил с ними, и всегда у нас были хорошие собаки, но как-то раз Кин и Багрицкий отправились на Трубную площадь и привели оттуда на Плющиху огромного зверя с желтыми глазами, и он оказался не овчаркой, а полуовчаркой-полуволок, делал что хотел и терроризировал всех в доме, кроме Кина.

Об отношении Кина к деньгам: он с самого начала заявил мне, что хочет жить при коммунизме, практически это означало, что если у нас много денег, я могу их тратить, как считаю нужным, а если их нет, я тоже должна сама находить выход из положения. Кин презирал деньги. Но папиросы он должен был иметь при всех вариантах, это входило в «пакт».

О наших ссорах из-за стихов: во многом вкусы сходились, но не всегда. Я, например, очень любила Пастернака, а Кин нет, и я все пробовала убедить его, и вот как-то, стругая дерево в мастерской, он сказал: «Ну, давай своего Пастернака, выбери, что хочешь», и я прочла стихотворение «Ты так играла эту роль! Я забывал, что сам — суфлер», и Кин стал нарочно приставать, чтобы я ему объяснила смысл, а я рассердилась и что-то толковала про эмоциональное восприятие поэзии, а он смеялся, и все равно я его не переубедила — только зря поссорились.

И о том, сколько было в нем неистребимо-мальчишеского, как он пугал меня, образно описывая, что будет делать, если в квартире начнется пожар: совет веревку из простынь и спустит по веревке через окно сына, меня, собаку, а сам не успеет спуститься и погибнет в огне.

И присущий ему артистизм, разносторонняя одаренность: он просто не мог плоско пошутить, у него был абсолютный слух и незаурядные способности рисовальщика, он не переносил плохой работы и высоко ценил мастерство в любой области, мастерство художника, токаря, журналиста.

И как он ненавидел мещанство во всех его проявлениях, не терпел ни мании приобретательства, ни дешевой сентиментальности (это условно называлось «хрупкая радость»), ни мелкого тщеславия, ни оглядки на «моду», все равно — в литературе или в быту.

И сколько в нем было смелости и душевного благородства: он высказывал свое мнение по любым вопросам откровенно и прямо, не считаясь с тем, что это может кому-либо не понравиться (так понимал он долг коммуниста).

\* \* \*

Ему было только тридцать четыре года, когда он погиб. Он был достойным представителем молодой коммунистической интеллигенции, поколения Матвеевых и Безайсов, составлявших золотой фонд партии и Советской республики. Для близких ничего не может смягчить горечь непоправимой утраты. Но жива книга, общий тираж изданий давно перевалил: миллион экземпляров, она вышла в Германии, в Чехословакии, в Болгарии, в Польше, в Югославии, и все это — памятник Кину, еще более значительный, чем мемориальная доска на маленьком домике в Борисоглебске.

А что до меня — если бы можно было начать жизнь сначала и я знала бы все, что должно случиться, все равно я выбрала бы тот же самый путь, ту же судьбу, которую в счастье и в несчастье делила с Кином.

\* \* \*

Когда я начала писать эти воспоминания, когда мне захотелось их написать, я не представляла себе, что это будет трудно, что это будет связано с большой душевной болью. Сейчас окунуться в юность, сосредоточенно вспоминать о дорогих людях, которых давно уже нет в живых, вспоминать о событиях и переживаниях далеких лет — нелегко.

Не знаю, какими словами выразить чувство, которое владеет мною сейчас. Когда умер Витторини, один дорогой итальянский друг написал мне о том, как важна была его *presenza morale* (присутствие). Я это очень хорошо понимаю. Не знаю, как объяснить это: ведь я не религиозна и не склонна к мистицизму, — но мне кажется, что те, кого мы любим, никогда не умирают до конца. И то настоящее, что пришлось каждому из нас пережить, тоже не уходит до конца.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. СУРВИЛЛО

★

## ЗВЕНИТ ТРУБА МЕЩЕРЯКОВА

(О творчестве С. П. Залыгина)

**С.** Залыгин принадлежит к числу писателей, испытавших очень раннее, еще в детстве, влечение к литературному творчеству. Случай не такой уж редкий. Однако испытать влечение к литературному творчеству нельзя, не испытав, не изведав самого творчества на собственном опыте. Откуда же взяться этому опыту, когда не написано еще ни одной строчки? Не написано, но прочитано: творчество изведывается и как соучастие в создании художественного произведения, как сотворчество.

Конечно, так возникшее влечение — еще не пробуждение таланта. Разве только предвещие пробуждения. При таком, книжном, расшевеливании таланта ему потом предстоит еще долгий путь высвобождения себя от зависимости, от книжности.

С. Залыгин, едва научившись писать и читать, написал на календарном листке буквы «БП»: будущий писатель. Потом он начисто и надолго забыл об этой своей детской мечте. Забыл, но писал. Писал, даже печатался, но писателем себя не считал. Когда, после выхода в свет двух сборников его рассказов, его пригласили на обсуждение этих сборников в Союз писателей и приняли в члены союза, было это для него почти неожиданностью — настолько мало он считал себя писателем и настолько прочно забылась его детская мечта. Только очень не скоро — можно точно установить когда: в 1954 году — произошел перелом в его авторском самоощущении, и он наконец почувствовал себя писателем.

Что мешало ему до этого? Видимо, он усматривал, а если не усматривал, то смутно чувствовал какие-то серьезные недостатки в своей литературной работе. Как же?

Два чувства живут в душе бригадира семеноводческой бригады Ксюши (рассказ «Ксюша», 1950): любовь к труду и любовь к трактористу Кузьме. В бессонных мечтах о желанном урожае, ради которого она не щадит ни себя, ни девушек своей бригады, она делится всеми своими тревогами, заботами, планами — с любимым. Но только в мечтах: смелая и решительная в труде, она робка в чувстве и теряется в присутствии тайно любимого. Лишь наедине с собой шепчет: «Кузьма... Ты мне... Я тебя... Да не может этого быть...» Шепчет «не может быть», но верит, уверена в своем счастье с любимым, хотя девушки ее предупреждали, что Кузьма любит не ее, а веселую, разбитную Зину. Урожай она вырастила небывалый, но вместе с урожаем пришел крах мечте о личном счастье. Однажды, когда она любовалась своим полем, здесь же, на поле, у нее состоялся разговор с Кузьмой, и она поняла, что девушки говорили правду. Кузьма и подошел к ней, чтобы попросить Ксюшу взять Зину к себе в бригаду, научить ее работать. Ксюша оцепенела от горя. Посмотрела вокруг. «За ней стоял ее хлеб — густой, колосистый, уже переставший жить ради того, чтобы дать зерно. И это она вырастила такой хлеб!» Переборов себя, она ответила на просьбу согласием. «И Кузьма ушел. А Ксюша еще долго стояла неподвижно. Она думала, что по-прежнему Кузьма остался для нее все таким же, каким был. А она стала другой, стала сильнее... Откуда это?»

Рядом с Ксюшей стоит дед, в те годы кочевавший из одного произведения в другое. Он, воплощение народной мудрости, низко кланяется Ксюше за выращенный ею хлеб и разъясняет, откуда ее нынешняя сила: выра-

щенный ею хлеб вложил в нее свою силу. «Хлеб-то теперь не только что кормит, а еще и растит человека». И еще уточнил: не всякий хлеб, а колхозный, социалистический. «Как бы ты вырастила такой хлеб для себя, либо для меня, или другого хозяина — это еще, как сказать, к добру ли? А коли он взрощен для колхоза, для всего, почитай, народа, — значит, большое достигла ты счастья. Понятно тебе?» В свое время в критике была отмечена и одобрена правильность и значительность идеи рассказа: труд растит человека. Безусловно правильна также идея первенства общественных чувств над личными.

Если бы не знать заранее, что автором рассказа является автор «На Иртыше» и «Соленой Пади», ни за что бы этого не угадать. И если бы не интерес к тому, что писателю пришлось преодолеть на своем пути, не стоило бы о нем и упоминать: так разительны и стереотипны его недостатки и так очевидна его ординарность.

Не менее, если не более ординарен и другой рассказ той же поры — «В своей деревне». В нем также выражена идея первенства общественных чувств над личными, да к тому же с «прибавлением» идеи о руководящей роли города по отношению к деревне. Это рассказ о школьнике Алеше. Секретарь райкома выезжает на машине из райцентра в деревню на открытие сельской электростанции. Он берет с собой Алешу, сына погибшего на войне своего друга, чтобы тот провел день у своей бабушки в деревне.

В пути секретарь райкома и мальчик умиляют друг друга: секретарь восхищается мальчика прописными истинами, мальчик трогает секретаря недоступностью для ума школьника, выросшего в социалистическом обществе, непостижимостью для него представления, что земля и заводы могут быть частной собственностью. Удручающе дидактические страницы подводят наконец к сюжету.

В деревне мальчика ждало потрясение. Он узнал от бабушки, как погиб его отец на войне: он попал в засаду, фашисты схватили его, пытали и, ничего не добившись, расстреляли. Это от мальчика прежде скрывали. Потрясенный Алеша провел ночь в тяжких думах о том, как мучительно тяжело было его матери, молча, оберегая от него тайну, годами хранить ее. «Скорее, скорее бы домой». Он повзрослел за эту ночь, детская жизнь кончилась. Все утро следующего дня терзала его мысль о матери: «Мама, мама!..

Скорее бы прижаться к тебе, почувствовать твою руку на своей голове, заплакать вместе!» Но днем Алеша знакомится с толпой деревенских своих сверстников, обнаруживает их отсталость, ловит их устремленные на него с надеждой взгляды и постигает свой долг: остаться с деревенскими детьми, руководить ими. И Алеша просит уезжающего в город секретаря передать матери, что пробудет в деревне до начала школьных занятий. Вспышка горячей любви к матери, тревога за нее отступают перед сознанием долга.

Надо сказать, что оба рассказа выбраны с намерением показать самые наглядные недостатки раннего С. Залыгина. Они — самые слабые, в них трудно уловить хотя бы проблеск таланта. Но талант у автора был, и в других рассказах того же времени проявлялся, вернее, пробивался сквозь иллюстративность: недаром его тянули в литературу. Был талант, было у тридцатисемилетнего писателя и знание жизни: в ней он принимал активное практическое и разностороннее участие. Был и литературный опыт, к тому времени почти двадцатилетний. Идеи, если их извлечь из рассказов, что при иллюстративности их сделать легко, в своем теоретическом выражении были всегда правильны. Однако знание теории и знание действительности не сложились в правильный метод, который привел бы к успеху. Тот метод, которым писатель пользовался, как это хорошо видно в приведенных рассказах, состоял в том, что одна сторона исследуемого жизненного противоречия попросту убиралась, отбрасывалась. Другая сторона представляла во всей своей непререкаемости и окостеневала. Такова иссушающая сила веяний догматизма и доктринерства, которые в ту пору были распространены.

Теория познается из книг, и книжность — ее величайший враг. Книжной она становится тогда, когда служит не компасом в исследовании жизни, а заменой исследования. Это и происходит с идеей «Ксюши», «В своей деревне». Их идея, пусть безукоризненно правильной, реальная жизнь ни к чему, материал для ее воплощения черпается из книг же: оттуда и дед Данила, и другие персонажи.

По методу — и методика, стиль. Методика состоит в неукоснительном жестком управлении помыслами, чувствами и поступками героев. Ни слова, ни жеста без авторского диктата.

На тропях Алтая аспирант Лопарев, придет время, радостно воскликнет: «Открытие!.. Своя методика! Сила!» — он нашел, как по линиям на срезе пня решить научную задачу. Кандидат наук С. Залыгин, надо полагать, это тоже умеет. Труднее было художнику С. Залыгину: нельзя сделать срез и через посредство среза взглядеться в линии человеческого характера. Не поэтому ли в составе таланта всегда обнаруживается присутствие непосредственного знания? Обнаруживается самим С. Залыгиным. Он обнаружит это, когда займется исследованием состава таланта. Это произойдет в «Соленой Пади». У талантливого партизанского полководца Ефрема Мещерякова, человека часто детски непосредственного, есть своя методика открытий. Он в решающие минуты, когда требуется особое напряжение ума, прибегает к счету: «Раз!.. Два!.. Три!» Так в несколько заходов, «и — что ты думаешь? — вот тут-то и явилось новое решение! Предстало во всей красе — бери его, осуществляй!» Методика, конечно, детская, но бывает ли талант без детскости? Впрочем, Мещеряков всегда перед таким счетом долго и неотступно думал. «Он так долго и трудно к этому сражению приближался, так много о нем думал, что и оно должно было подумать о Мещерякове — высказать о себе какой-то намек... И ведь дождался».

Дождался и Сергей Залыгин. Он тоже очень долго приближался к своему сражению — можно сказать, со времени тех двух секретных букв, выведенных им на календарном листке с детской непосредственностью. Он забыл свою мечту — она его не забыла, она «думала». Если на долгие годы забытое когда-то потом вспомнилось, значит, оно где-то жило, где-то в запасных хранилищах сознания.

Поворотом стал очерк «Весной 1954 года». 1954 год был годом начала борьбы партии и народа за освобождение и развитие народной инициативы от пут, стеснявших ее в предшествующие годы. Своим очерком С. Залыгин вступил в сражение против этих пут. Жанр очерка, повествования о невыдуманных героях, лишал возможности что-либо навязывать героям, сочинять чувства и поступки их, двигать ими по своему хотению. Тем самым он начал сражение за освобождение собственного творчества от пут догматики, сражение за самостоятельное творчество.

Перед героями очерка стояла такая про-

блема, если брать ее узко хозяйственно: выполнять или не выполнять директиву о вывозе на поля навоза не более чем тремя тракторами. Директива исходила из того, что иначе к началу посевной может выбыть из строя весь парк. Герой очерка не подчинился директиве, вывел весь парк. Вот на нем-то, на директоре МТС Назаре Матвеевиче Башлакове, и сосредоточен главный интерес.

«Ему бы все только по-своему», — говорит о нем секретарь райкома. Секретаря это приводит в смятение, он пуще всего боится неожиданностей, неожиданностью же для него является все, что не исходит от директивы сверху. А Башлаков человек весь неожиданный. Неожиданно, например, такое его обыкновение: того, кто его хвалит, он ругает, а хвалит того, кто его ругает. Он то резко протестует против мелкого замечания по своему адресу, то соглашается с серьезным обвинением, «только потеет при этом». Это не капризы и не причуды, он каждый раз объясняет свое поведение, причем так, что с ним соглашаются. Причуды эти объясняются очень строгим и очень деловым отношением к самокритике, нетерпимостью к ее профанированию.

В одной своей особенности Башлаков признается сам: «Я, парень, трудно переносу, когда меня вслух хвалят. Особенно на собрании иной раз, знаешь, как бывает: не за то хвалят, что ты хорошо сделал, а за то, что у других хуже. Пот с меня льется в такое время: мало того, что рубаха мокрая, — в сапогах хлюпают!»

В характере Башлакова сочетаются, таким образом, две черты, противоположные друг другу. Первая, выраженная в словах «делать по-своему», идет от самоутверждения, выделения своего «я»; чувство стыда от похвалы, скромность сопротивляются выделению своего «я», направлены к слиянию «я» с «не-я», с общностью. Как они, эти черты, между собой уживаются?

Башлакову приходится работать в районе, где сельским хозяйством заправляет человек, о котором сказано: «Горло у него как выхлопная труба... Ты ему объясняешь, а он тебе из этого выхлопа в физиомордию раз — и оглушил». Башлакову это ненавистно, он срамит при пародии этого человека: «Когда же, товарищ Колесников, вы нормально научитесь разговаривать с людьми? Это ведь

необходимо для руководителя, как вы сами-то думаете?»

Тем неожиданнее, что Башлаков сам, оказывается, не всегда умеет разговаривать с людьми, что и он не свободен от применения «выхлопа» и слишком часто бывает нетерпелив, резок и груб. Об этом говорит ему зональный секретарь Поздняков, дорожающий не только своей инициативностью, но всецело старающийся пробудить ее в других. Он предупреждает Башлакова о грозной опасности зазнайства. Башлаков смеется: «Пустяки и еще раз пустяки! Со мной этого не будет! Ни в жизни!» — «Подумай! Вот хотя бы над тем подумай, что смеешься сейчас!» Башлаков подумал. На следующий день он, огромный, сильный, теперь смущенный, красный, закрыл всегда раскрытую нараспашку дверь кабинета и попросил Позднякова беспощадно сечь его, если заметит за ним грубость. В борьбе двух тенденций чувство стыда возобладало.

Автор, симпатии которого к герою самоочевидны, никак не склонен проходить мимо всего, что этим симпатиям противоречит.

Первое знакомство автора с героем состоялось при разговоре Башлакова с бывшим директором другой МТС Пислегиним, человеком известным, прославленным, обладавшим огромным опытом. Он вывел свою МТС на первое место, но снят он был за обход законов, за коммерческие махинации. Так не для себя же, говорит он, для своей МТС. Для себя, жестко парирует Башлаков. Он отказывает Пислегину в работе, за чем Пислегин и приехал к нему, и для объяснения причин отказа рассказывает Пислегину о приятеле, с которым некогда хаживал на вечеринки. Удивляло Башлакова: «У него, у бабника, получается так: хоть тебе сто, хоть тысяча честных женщин, среди них есть одна такая — и он ее увидит. Как он увидит ее среди всех, как они друг друга поймут — кто его знает?..» Вот поэтому и отказывает в работе Башлаков Пислегину: пройдохи и жулики бьются «на его запах».

Хорош эпизод, и все, писавшие об очерке, именно его и выделяли в первую очередь. Башлакова хвалили, Пислегина дополнительно разоблачали.

Это естественно: Башлаков в осуждении Пислегина руководствуется глубоко общественными чувствами, Пислегин — личными, эгоистическими, и ничем не может помочь ему ссылка на то, что действовал он в интересах своего коллектива, даже если эту

ссылку принять: эгоизм индивидуальный и эгоизм коллективный — родственники. Но на последующих страницах, ближе к концу очерка, есть эпизод, в котором происходит разговор о Башлакове и Пислегине между секретарем райкома и еще одним директором МТС, новым человеком в районе, приехавшим на сельскохозяйственную работу из города, с завода. Этот человек взял на работу Пислегина, хотя все знал о нем, знал и то, что Башлаков отказал Пислегину. На вопрос секретаря, доверяет ли он Башлакову, тот ответил с неподдельным восхищением: не только доверяет, но любит: «Понимаешь, люблю его!.. Ведь вот сколько я людей перевидал — тысячи, а такого не встречал. Приехал сюда, здесь такого увидел! Здоровый какой! — Краев поднял лицо вверх, будто разглядывал с удивлением и даже завистью воображаемого человека. — Здоровый, да и рыжий же! Киноварь!» Так почему же он поступил вразрез с мнением Башлакова? Краев разъясняет: «Как тебе объяснить?.. У Башлакова душа-то еще кое-где детская. И он боится испортиться. А я не боюсь! Понимаешь, не боюсь — и все! Если хочешь, больше меня учили на заводе партийному отношению к людям».

Все стало выглядеть по-другому. Оказывается, это у Башлакова возобладали личные чувства: мысль о себе, о своей «девственности» стала впереди интересов дела, и кто бы мог подумать — бесстрашный Башлаков боится! Пислегиним же руководило искреннее желание отдать свой опыт, свои организаторские способности интересам дела под контролем Башлакова.

Так решает теперь С. Залыгин проблему отношений между личными чувствами и общественными и так исследует жизненные противоречия, социальные и психологические.

Очерк «Весной 1954 года» появился в овечкинский период сельской литературы, как называет этот период сам С. Залыгин. С. Залыгин готов даже отнести себя как очеркиста к числу «и др.». При Овечкине. Это, конечно, преувеличение. Это преуменьшение своей роли. Сила, энергия, своеобразие, с которыми С. Залыгин устремился по пути, проложенному В. Овечкиным, никак не позволяют отнести его к безымянным «и др.». В плеяде Овечкина он слишком для этого яркая звезда и светит своим светом. Благодетельность влияния Овечкина на него в том и состоит, что оно

не подчинило себе С. Залыгина, а способствовало раскрытию его индивидуальности.

Главную образную мысль очерка — мысль о творческом, смелом, партийно-направленном подходе к решению задач социалистического строительства — необходимо взять с собой в дальнейшее чтение последующих произведений С. Залыгина. Есть предчувствие, что жизнь этой идеи не ограничится пребыванием в этом только отдельном произведении, а войдет в состав идеала, творимого и утверждаемого дальнейшим его творчеством.

Как велико увлечение очеркиста своим героем, можно судить из того, что писатель наделяет его высшей, верховной в его глазах оценкой — доверием ребенка. Одна из организуемых Башлаковым радиопереключек из конторы застала очеркиста в квартире механика МТС, в прошлом сурово наказанного директором. Во время переключки девочка, младшая из многочисленного семейства механика, взгляделась, выглянув из кухни, в озабоченное лицо отца и сказала в кухню: «Маманя! Папаньке обратно от Назара Матвеевича попало! Ей-богу!» Очеркист вышел в кухню: «А вот и ошиблась! Все не попало отцу. Зря говоришь... Тебя как зовут?» — «Аленкой, — и недоверчиво улыбнулась: — Знаю! Не обманывайте!» Мать рассказала очеркисту, что Аленка очень уважает Назара Матвеевича. «Как придет, зайдет к нам, она завсегда к нему на руки. Волосы ему гладит. Рыжий он, ей интересно!» — «Вовсе не рыжий!» — сказала Аленка. — «Не рыжий! Вот!» — и отвернулась. А когда переключка окончилась, посмотрела на отца и сказала: «Маманя, а отцу-то не попало от Назара Матвеевича. Я глянула, не попало ему!»

Эпизод этот в очерке чуточный, как сказал бы Мещеряков, — в нем значения для хода событий чуть-чуть, всего только и ясно, что ребенок почуял в Башлакове родного человека. Но — чу: прозвучал залыгинский мотив. Отныне герои Залыгина будут судимы именем детства.

Так будет и в повести «На Иртыше», и в романе «Соленая Падь». Так происходит и в первом романе С. Залыгина «Тропы Алтая», где суд над героями вершится именем Онежки. Онежка же, хоть ей и двадцать, совершенная девушка. Поэтому она для всех ее сверстников Онежка, а не Онега. «Онега должна быть женщиной статной и с косами. Перед ними же была

девушка — маленькая, толстенная, подстриженная, очень застенчивая».

Если очерк «Весной 1954 года» обозначил перелом в творчестве С. Залыгина, если в нем писатель стал на свой собственный путь, то роман «Тропы Алтая» свидетельствует о том, как сложен и труден этот путь.

Это роман о природе и науке, о природе и людях науки, о благотворном воздействии природы на людей и неблагоприятном — людей на природу. Композиция романа нестройна, части его связаны непрочными нитями, от этого плохо служат целому, и целое от этого расплывчато и смутно. И хотя это роман и о природе, и о науке, и о многом другом, поэтична в нем, если не считать ландшафтов, лишь Онежка и все, что связано с ней. Но Онежка выбывает из романа задолго до его окончания. Так как в соотношении образа Онежки с образами других персонажей романа решается проблема личности и коллектива, то на страницах, где рисуются именно эти отношения, и следует остановиться подробнее.

Ариаднину нить по лабиринтам романа держит в своих деликатных вялых пальцах профессор Рязанцев. Он географ. Его тревожит мысль о судьбе географической науки. Ее роль как науки, изучающей неведомые земли, исчерпана. О Горном Алтае, о каждой его тропе, о каждом растении, минерале собран океан фактов. Умножать их? Новыми и новыми экспедициями и диссертациями увеличивать тяжкое бремя расходов? Как прийти в географии к открытию, к обобщению, к той правде, которую чувствуешь, угадываешь? Мысль о географии как науке, участвующей в грандиозных преобразованиях природы, его пугает: что скажут десять миллиардов человек в 2050 году о затоплении поймы Оби и Иртыша? От мысли о том, что наука сейчас уже и может и должна решать такие вопросы, учитывая интересы и будущих поколений, что она сейчас способна решить и вопрос, где следует и где не следует строить плотины, — от этой мысли он незаметно — или заметно — уклоняется.

Им руководит во всех его — не поступках, нет, поступков он не совершает, — во всех рассуждениях одно требование: беречь и охранять природу, ничего в ней не искалечить, не потерять раз и навсегда, не вызвать упрека потомков за растроченные богатства.

При чем тут Онежка? Онежка тут при том, что она, любящая всех, почитала больше всех Рязанцева. Рязанцев пристальнее всех остальных вглядывался в нее, девушку из таежного леспромхоза, студентку-практикантку алтайской экспедиции, такую послушную, аккуратную, некрасивую, уютную. Но что он увидел в ней? То, что присматриваться было не к чему: она вся на виду. Простота ее его разочаровала. Когда Рязанцеву случалось разъяснять что-либо Онежке и Рите, Онежка видела: он говорит для Риты.

Рязанцеву свойственно тонкое чувство природы. У него яркая фантазия. При отъезде горноалтайской экспедиции из города Рязанцеву попался случайно конверт с именем неизвестной Марии Федоровны Синеокой. В его воображении тотчас возник образ прекрасной женщины с голубыми глазами и русыми косами. В Горном Алтае он встретил одного из бывших своих учеников, директора мараловодческого совхоза, был у него на квартире, поразившей Рязанцева своей чистотой. «Все не только сияло здесь, сверкало и переливалось в лучах солнца, но даже как будто еще излучало радужные оттенки». Когда слышался из соседней комнаты низкий женский голос, ему тотчас же подумалось: она должна быть похожей на Марию Федоровну Синеокою. Так и было: он воочию увидел созданный его воображением идеал величавой женской красоты. В совместной короткой поездке по Алтаю она показывала ему красоту Горного Алтая, она была здешней, алтайской.

Он увидел:

«Блестели камни на вершинах гор и по обеим сторонам дороги, блестели травы, блестело небо. Все блестело, как в доме Елены Семеновны, все на ее дом было похоже: небо — прозрачной синевой, вершины гор — темной, как бы начищенной медью, камни у дороги — блеском слюдяных крапинок».

Он увидел:

«Идя по краю обрыва, она вдруг остановилась, показала вниз на реку, потом подняла розовую руку в коротком рукаве. На руке ее при свете солнца ясно проступали тончайшие, очень короткие волоски, точно такие же, какие были на листьях трав кругом».

Она привела его на лужайку, покрытую, как паутиной, ручейками, которые то слива-

лись вместе, то снова дробились и растекались. Припали к ручью.

«Было что-то опьяняюще свежее в этой воде, в ее чуть-чуть кисловатом привкусе и в том, как приятно было эту воду ощущать в себе, обонять, видеть ее синеву перед собою и слышать, как она журчит вокруг губ...»

Садились на камни, глядели в небо и на горы, на свои отражения в синей воде, снова припадали к ручью».

При чем тут Онежка? Только при том, что ее очень теплые, очень родственные и нежные отношения с природой неинтересны были Рязанцеву.

В противоположность поэтическому восприятию природы, наслаждению ею, блаженству эстетического и телесного ощущения своего единства с ней, свойственных Рязанцеву, — сухим, рассудочным, мертвенным было отношение к природе начальника экспедиции, знатока Горного Алтая профессора Вершинина. В молодости это был блестящий ученый, выдающийся теоретик, талант его получил очень раннее признание. Но на всю дальнейшую его деятельность наложило роковой отпечаток пережитое им в прошлом малодушное отступление перед сложной, требующей новаторского подхода и кропотливого черного труда темой Баррабы. С тех пор прежде яростный сокрушитель ползучего эмпиризма стал ярым приверженцем описательной науки, сводившим смысл своей деятельности к накоплению фактов. Целью организованной им научной экспедиции в Горный Алтай было составление карты растительных ресурсов, а целью составления этой карты, заветной целью профессора было звание члена-корреспондента Академии наук — вот правда, вот та неправда, которая была положена в основу экспедиции.

При чем тут Онежка, непритязательная, скромная, доверчивая девушка? Она при том тут, что стала жертвой этой неправды.

У неправды этой были союзники в экспедиции, то есть такие люди, которые, будь неправда им прямо известна, отнеслись бы к ней с полным пониманием и сочувствием. Это был Реутский, кандидат наук, чиновник от науки, который, на свою беду, полюбил одну из особей типа хордовых, подтипа позвоночных, класса млекопитающих, отряда приматов, семейства гоминид — студентку биологического факультета, прекрасную, очаровательную Биологию, негласную свою

невесту. Союзницей неправды была и она, Рита, жизненной целью которой было покорять, подчинять себе людей своей красотой. Она отлично понимала Вершинина, это были родственные души: оба они жаждали восхищения собой, он хотел, чтобы перед ним преклонялись, ему внимая, она — чтобы поклонялись ей, ею любуясь.

Были в экспедиции и противники Вершинина. Был им его собственный любимый и его любящий сын Андрей. Андрей видел с болью, как мельчает его отец в суетливом тщеславии, и готовился к решительному разговору с ним. Этот разговор должен был состояться «на равных». Для этого Вершинину-сыну нужно было сделать научное открытие. Оно было подготовлено: еще ранее он обнаружил в почве Горного Алтая буро-земы, наличие которых отвергал академик Корабельников, покровитель отца в его стремлении к званию члена-корреспондента. Карта почв Горного Алтая, составленная Корабельниковым, должна была лечь в основу карты ресурсов, составляемой Вершининым. Обнаружение неполноценности этой основы могло удержать Вершинина от верхоглядства и торопливости.

У Андрея была черта, сближавшая его с Рязанцевым: тот воспринимал природу, как светлый дом, этот чувствовал себя на природе, у костра, у реки, в лесу, как дома. Только тот, кабинетный ученый, воспринимал природу, как поэт, этот — как работник: в лесу «он работал, будто удовольствие доставлял и себе, и другим».

При чем тут Онежка? Онежка издали любовалась этой его манерой работать. Они могли бы стать товарищами: ей, простой, было бы очень просто с ним. Она даже подумала, что любит его. Ей было просто так подумать: она любила всех в экспедиции, «как дети любят взрослых». Но Андрей в своих заботах и замыслах не уделял Онежке решительно никакого внимания. Онежка тут была при том, что была совершенно ни при чем.

Был противником Вершинина и аспирант Лопарев, требовавший от науки практических результатов, полезных для сегодняшнего дня. Кстати, он тоже сравнивал природу с домом. Отсылая «заглядывателей в будущее» за жалованием к потомкам, он говорил: «Рабочий построил дом — и тут же за свой труд получил. А за то, что в доме люди будут жить и через пятьдесят, и, может, через сто лет, за это ему и в голову

не придет с них получать. Ясная политграмма?» С Вершининым Лопарев пикировался не только по этому поводу. Чужа и видя неправду, он иронизировал по поводу масштабов экспедиции, исследовавшей природу «по обочинам Чуйского тракта». Будущую карту он называл скороспелкой: Вершинин требовал окончания работ за один сезон.

Однажды Лопарев взял Онежку с собой в маршрут. В горах он велел Онежке спуститься по склону и произвести ряд наблюдений, в число которых входил подсчет хвоинок в пучке лиственниц. Темой Лопарева было доказательство ошибочности утверждений, будто лиственница на Алтае вымирает. С Онежкой при выполнении задания произошло нечто очень для нее важное, вызвавшее сдвиг во всем ее жизненном самочувствии.

Занятая подсчетом хвоинок, она вдруг с необыкновенной отчетливостью вообразила себе, что у нее в руках не хвоинки, а взрослые деревья, она как бы воочию увидела их произрастание на сопке на тысячи лет вперед, она видела это произрастание, она сама жила сотню и тысячу лет, и ей радостно было знать, что лиственница не вымирает, что все больше и больше становится лиственничных высоких и светлых лесов. Это состояние, подумалось ей, уж не открытие ли это?

Это действительно было ее открытием — это было через посредство живого воображения такое непосредственное, образное восприятие темы Лопарева, что ей открылась ее сопричастность науке.

Вслед затем возвращаясь к Лопареву по склону вверх, она сбилась с пути и попала во внезапно надвинувшуюся черную тучу. При свете молнии она увидела, что стоит на краю отвесной скалы, и не менее ярко, чем только что пережитое, ощутила как вполне реальное свое падение, увидела себя распластанной на камнях, мертвой и испытала ужас перед природой — чувство, ею прежде никогда не испытанное, потому что она относилась к природе доверчиво, знала, что жизнь, от которой она ничего не требовала, никогда ничем ее не обидит, не принесет ей несчастья. Только что она держала в своих руках целый лес, чувствовала себя большой, и сильной, и способной к открытию, и вот жизнь жестоко отомстила ей, дохнув на нее смертью. В этом столкновении противоречивых чувств, ею прежде

не изведанных, она открылась себе, она осознала себя как личность, не только слитую с природой, но и противостоящую ей, осознала автономность своего «я».

До сих пор ей, кроткой, незатейливой, готовой всем и всему подчиниться, угрожала опасность самоуничтожения. Теперь эта опасность была преодолена. Это было второе ее рождение. Когда она вернулась к Лопареву, он спросил: «Жива?» «Она оглянулась тогда по сторонам, вздохнула всей грудью после пережитого страха, поглядела на него. «Жива!» И как будто родилась заново.

Позже было третье ее рождение. Это когда она стала задумываться: «А до каких пор я — это я?» А вслед затем о Лопареве: до каких пор он это он? Чтобы понять это, ей не хватало какого-то слова, и ей подумалось, что это было одно и то же слово. Так она родилась еще раз — это было рождение любви. Вот он сидит, всегда деятельный, с огромным ворохом ветвей, обрывает и сортирует шишки лиственницы, ему нелегко держать ветви. Она подошла к нему, долго смотрела, потом сказала: «Михаил Михайлович, давайте я вам помогу». — «Не надо! Обойдусь».

Ее чувство было попросту не замечено. Она сама была незаметная. Жаждущую и имеющую право на участие, внимание, дружбу, любовь девушку оттолкнули родные ей люди. Свою дружбу ей предложила чужой ей человек — Рита. И Онежка ответила ей своей. Сошлись два полярных характера, две взаимоисключающие индивидуальности, два противоположных самосознания: глубоко и органично коллективистское у Онежки и доведенное до крайней степени, до уродства индивидуалистическое. Это были два разных способа существования. Божественную Риту, Биологию, как ни удивительно это, в серенькой Онежке привлекла ее обыкновенность. В глубине ее души жило глубоко скрытое желание приобщиться к обыкновенности.

В этой девушке, страстью которой было покорять всех, жила ненависть к силе, которая называлась: все. В институте она подчиняла себе всех мальчишек, но когда она убежала из колхоза с уборочной, мальчишки собрались и, прорабатывая ее, говорили каждый в отдельности: мы все знаем, какая она способная... мы все поняли, что она эгоистка. С этих пор она и возненавидела всех, возненавидела и втайне пре-

клонилась перед могуществом всех, преклонилась и добивалась превосходства над всеми. Она решила подчинить себе Онежку, но с разочарованием убедилась, что Онежка подчиняется всем, ей же нужно было, чтобы ей одной и чтобы все видели, что ей одной. Когда это произойдет, она восторжествует над всеми и вместе с тем в дружбе с Онежкой приникнет, приобщится к обыкновенности и станет, как все. Прежде всего нужно отколоть Онежку от всех.

Рита попробовала внушить Онежке отвращение ко всем. Она сказала: «Все одинаковы, мало того — все требуют, чтобы никто ничем не отличался, чтобы каждый был похож на всех! Чтобы человек не был особенным!» Онежка спросила: «Ты — особенная?» — «Может быть... Хотя бы тем, что хочу быть особенной.. Разве так нельзя хотеть?» В ответ последовал ошеломивший Риту вопрос: «А если ты особенная только тем, что ничего особенного не видишь в других?»

Разъединяющая сила индивидуализма Риты столкнулась с объединяющей силой коллективизма, живущей в Онежке. Как разрешилось это противоречие, это противоборство, эта дружба? Гибелью Онежки. Рита для отъединения Онежки от всех использовала против объединительной силы ее же свойство — скромность, застенчивость. Когда Онежка пожаловалась на мучающие ее боли в боку, Биологиня сказала, чтобы подчинить ее своей нераздельной власти: «Это у тебя такое, о чем никому не надо говорить вслух... Особенно — мужчинам... И потом, если ты скажешь, что нездорова, подумают, что ты ленишься. Отлыниваешь от работы. Уж так устроены все люди — им обязательно нужно кого-нибудь в чем-нибудь подозревать».

Онежка страдала молча. Однажды она все же отважилась сказать о нездоровье Вершинину. Тот добродушно отмахнулся. Онежка умерла от запущенного гнойного аппендицита.

Смерть Онежки потрясла всех участников. Онежка умерла оттого, что ее никто не замечал, сказал Лопарев. В ответ на попытку Рязанцева успокоить его тем, что он виноват меньше других, так как больше всех был занят делом, он ответил: «Цирк! Гастроли кандидатов и докторов наук! Плата за вход слишком высокая». Скоро он предпринял практические шаги, чтобы покинуть этот «цирк», — посетил тот лесхоз,

директором которого он станет. С институтом он расстанется...

Был потрясен и Вершинин. Он восклицал: «Как ужасно... Почему Онежка никому из нас ни слова не сказала о своей болезни? Никому?!» Опомившись, он наметил некоторые преобразования в работе экспедиции, например удлинение сроков ее завершения. Отрезвление продолжалось недолго — пока он не получил прямого обещания академика Корабельникова о выдвижении кандидатуры его, Вершинина, на звание члена-корреспондента. Тут его вновь захихорадило.

Андрей, потрясенный смертью Онежки, ускорил завершение своего открытия, привез отцу образцы буроземов, отец похвалил его, обещал его открытию дать в будущем ход, но остановить его в стремлении к возжеленной цели уже ничто не могло. Замысел Андрея провалился.

Рита сначала задумала бежать ночью из лагеря, но ее остановил старик алтаец и очень быстро, поразив ее своей патриархальной мудростью, вернул обратно. Потом она хотела покончить с собой, но ей помешал Андрей. Она угадала, что Андрей может ее полюбить, уже полюбил, и это принесло ей исцеляющее торжество. Возвращаясь вместе со всей экспедицией в город на грузовике, она сидела напротив Андрея, «не спуская удивленных и счастливых глаз. Андрей ее взгляд замечал... Может быть, он даже и стеснялся этого взгляда, стеснялся потому, что рядом с Ритой не было Онежки».

Что до Рязанцева, то он, как было сказано, держал в своих руках ариаднину нить, способную вывести из лабиринта путаных размышлений и сумятицы чувств к гармонии. Так и происходит. Елена Семеновна привезла Рязанцева на мараловодческую ферму и познакомила с семейством Шарова. Это могучий человек со сказочной четырехэтажной бородой. Там Рязанцева потчевала чудесная хозяйка Дарья Феоктистовна, стол ломился от здоровой пищи, от огромного чугуна с супом из маралятины, там сам хозяин Ермил Фокич пил стаканами спирт и не пьянел и похвалялся богатырской силой и зоркостью, там сидели за столом дети Шаровых: Степша, Борьша, Дуньша, Федьша, Маньша, Таньша, Саньша, Витьша, Петьша... Там к Николаю Ивановичу Рязанцеву подвели Маньшу, выходящую замуж, и Дарья Феоктистовна как благодетельно испросила у него, хорошего человека,

доброе напутствия. Ибо есть в добром напутствии исконная правда. Рязанцев торжественно выполнил эту просьбу. Как замечательно Дарья Феоктистовна угадала в нем великого мастера добрых пожеланий.

Образу Шарова, по всем признакам, придается значение эстетического идеала, утверждаемого произведением. Порывания к нему были и на предшествующих страницах — в сцене на пасеке, где Рита, очарованная простой мудростью хозяйки пасеки, причастилась блаженству покорности, стягивая сапоги с Андрея, потом в сцене в лесу, где Рита испила народной мудрости старика алтаца.

Такой, так выраженный идеал ничего не меняет в колорите удрученности и растерянности, характерных прежде всего для Рязанцева и создаваемых разбродом в устремлениях всех остальных героев. Откуда эта удрученность и растерянность? Кажется, на этот вопрос можно ответить, не выходя за рамки романа.

В селе Усть-Чара собеседники Рязанцева говорили ему о странностях, происходящих с наукой: «Вот Усть-Чарский район год от года хлеба дает все больше! За счет чего? Площади увеличиваем. А где наука, спрашиваю, если урожайность с гектара только что довоенной осталась. Спрашивается: где же она в ответственное время находится?» «Корову подоить... Тысячу лет человек этим делом занимается, а тут наука провозгласила: «Множественная дойка!» В одном нашем районе двое ученых диссертации писали. Теперь снова совхозы мучают, уже другие. Эти — за двухкратную. Тоже наука. Тоже к двадцатому веку и к спутникам пристегиваются!»

«Тропы Алтая», роман о науке, печатался в 1962 году, за три года до мартовского Пленума.

Устранив из романа Онежку, автор словно бы вынул из него душу и, чтобы вдохнуть жизнь в распадающееся повествование, устремился к народным истокам. Попытка не удалась. К счастью, эпизодов, предназначенных для этой цели, немного: в них патриархальный уклад тщится выдать себя за нравственное здоровье, приверженность к рутине — за народные вкусы, народная мудрость подменяется менторским резонерством.

А образ Онежки народен. Основу образа Онежки, как было сказано выше, составляет пронизанное задушевностью коллективист-

ское самосознание. Но не было выше сказано о задатках талантливости ее натуры. Таким задатком является, например, удивительная цепкость ее восприятия — несомненный залог талантливости, хотя и проявленный пока что в очень малом деле — в поражающей всех способности отыскивать затерянные участниками экспедиции вещи. Таким задатком является также очень интенсивное, ярчайшее ее воображение.

Наполнение образа Онежки порождает непоколебимую и горькую уверенность: загублен талант, загублен равнодушием, черствостью, эгоизмом. Из горечи этого чувства, из всех сопоставлений и противопоставлений образа Онежки с другими образами романа возникает и утверждается образная идея, которая в скудном и узком понятийном выражении может быть определена как идея необходимости бережного отношения к растущим из народа талантам, к душевным богатствам, прячущимся подчас в самом непритязательном обличии. Эту образную мысль, как и ту, другую, что была выражена в очерке, влечет к общему для них, разных, магниту: угадывается, что они обе войдут в состав авторского идеала, ищущего все более полного, все более содержательного своего выражения.

Не следует ли искать более полного выражения творимого писателем положительного художественного идеала в повести «На Иртыше», в образе ее главного героя Степана Чаузова? Соблазн велик: образ Чаузова полон жизненной силы, талант автора в этом произведении развернулся с блеском, доставил эстетическую радость, но исход повести и роль героя в нем таковы, что невольно возникает вопрос: не употреблен ли талант во зло, не вверг ли он в искушение?

Так при восприятии художественного произведения случается. Возникает чувство, для обозначения которого можно позаимствовать у колхозников Крутых Лук выразительное слово. Жадно, с наслаждением вдыхая на уборке сена его аромат, кто-то — Чаузов или, может, Нечай Хромой — сказал: едовитое сено. Так бы, мол, и ел. Произнести это слово трудно: звучит — ядовитое. Богат и свеж аромат повести «На Иртыше» — едовитый, ядовитый? Чтобы определить это, надо, не поддаваясь очарованию, прибегнуть к помощи здравого рассудка.

Здравый рассудок категоричен: правы те, кто повесть порицал. Искать в ней вопло-

щения положительного идеала, в особенности в образе Чаузова, — необоснованная претензия. Степан Чаузов всгал, как он сам говорит, поперек жизни. И даже хуже — если принять во внимание, что сами колхозники противопоставляют жизнь истории. Чаузов стал поперек истории: отказался дать зерно, необходимое для выполнения плана первого колхозного сева, за ним пошло все село. История смела Чаузова со своего пути.

Произошло все это потому, утверждает здравый рассудок, что Чаузов был выразителем внеклассовой общечеловечности, мелкобуржуазного абстрактного гуманизма, противником классового подхода. В доказательство этого здравый рассудок может привести номера длинного ряда страниц.

Чаузов оценивал и судил все происходящее именем детства. Но ведь и кулак, у которого колхозники изыали хлеб, зывал к ним от имени детей: видя, что зерно от него ушло безвозвратно, молил колхозников хотя бы перенести его дом от берега, размываемого Иртышом. Он говорил: «Так ведь, мужички, миром ведь жить-то... Кто там хорош, кто, может, плох, а жить-то миром... Ежели меня Иртыш понесет с ребятенками — как глядеть будете? Не котята они, чтобы забавы ради глядеть на их... Или — как думаете?»

Вот этих самых детей заступником и стал Чаузов. Правда, не сразу. Когда кулак поджег колхозный амбар, он первый бросился тушить пожар, не щадил себя, был на самом опасном месте, задыхаясь в дыму и пламени. Здесь он был истым колхозником. Спустя дни он умаял свой поступок: он-де и на Лисьи Ямки ходил первым биться с соседним селом. «Не от ума же это — скорее с дурусти». Но Павел Печура, единственный коммунист в селе, человек зоркий на людей и хорошо знавший Степана, отверг это: «Не скажи, Степа. Твоя бы изба горела — ты бы ребятишек вытащил, еще бы какое добро, а потом и в сторонку отошел бы. Пожалел бы себя за лопотину, за бабьи хвататы тратить. Один бы горел — один добро свое спасал, один бы и сам спасался. А тут общее зерно горело, а ты, наперед кинувшись, того не забыл, что не один ты, что за тобой и другие в огонь-то полезут. И ведь верно, полезли ведь».

Но об этом напоминал Печура как раз для того, чтобы отлучить его от помощи кулацким делям.

В тот день, когда горел амбар, Степан сам не обращал на них никакого внимания. А они были и на пожарище, и тогда, когда Степан вел толпу к дому кулака, и тогда были, когда спихивали дом с кручи в Иртыш. Мало того: когда, вернувшись домой ночью, он увидел, что на полу его избы на двух тулупах лежит теперь бездомная кулачка Ольга Ударцева с тремя маленькими детьми, Степан зверски запустил пальцы в волосы жены Клашки и тряс ее голову: зачем приютила?

Всю ночь после он не спал, вспоминая свою жизнь с Клавдией. Вспомнил, как убивалась мать, как предостерегала его еще неженатого, от косоглазой девчонки: «Голимая бедность за ей, как жить будешь?». Отец говорил: «Бабу, Степа, выбирать надо с заду. В ее как в кобылу, глядеть надо — в кость, в зубы. Ей работу работать, ребятишек носить-кормить». Степан слушал, считал, что правильно они говорят. Здравый рассудок так говорит. Сама Клашка, объясняя, почему она убегает от него или становится каменной, когда он ее милует, предостерегала его от брака. Говорила, что он — боль ее, что она не его боится, а себя, что, если начнет она его целовать, зацелует до смерти, завлечет его. Он думал: «Не с того мужик мужицкую жизнь должен начинать, не с того, чтобы поддаваться девке, но кори себя не кори — дело такое было», — и вот он лежит рядом с ней, ей бы клясть его, уговаривать, объяснять — она молчит. Была она не как все другие бабы. Другие прибегали ночью в контору, вытаскивали засидевшихся мужиков, обдумывающих тяжкие думы, как жить в колхозе, а он никогда не слышал от нее упрека, хотя бы и утром приходил. «Думайте, мужики, народом. Одному мысли-то эти не под силу. Друг на дружку глядите зорче — кто каков. Вам вместе быть... Мы-то, бабы, еще по своим углам останемся, а вы уже вместе». Думал о том, что она спасла его от беды богатства — не полюбои он ее, жениться бы ему на кулацкой дочке. Думал о том, что привык с ней делиться всеми заботами и тревогами и высказывать то, что в конторе не высказывал, а она всякий разговор с ним кончала словами: «За ребятишек, Степа, болит у тебя сердце? У меня на ребятишек средю обиды не было, завсегда, как покормлю их — сердце от счастья захоленется».

Вот этим своим счастьем, счастьем их

любви друг к другу и счастьем любви к детям, и заклала она его, когда перед рассветом провела рукой по его голове и сказала тихо, спокойно, но так, что он обмер: «Поверь, прошу тебя, Степа! Я тебя сроду верить себе не просила — ты сам догадывался, ночью прошу... Ударцев Лександра зерно пожег — так это же разбой и есть, он, как варнак, после того скрылся, а ребятишки? Неужели ты и ребятишкам враг, дом ихний разорил и со своего зимой выгонись?! Ты же не власть и не чужой какой начальник — сделал, и нет тебя! Тебе ребятишки эти всякий день на пути будут, всякий день им в глаза глядеть! Нельзя нам их с избы гнать, нельзя мне было их и в избы не привести. Поверь ты мне, Степа, не обманывай меня: я ведь за человека взамуж шла... За человека...»

Велика, неодолима сила заклинания Клавдии, из-под его власти Степану не выйти. Непонятная, не признанная им до конца родная женщина преградила в свое время ему доступ в кулачество — не будь ее, он женился бы на кулацкой дочке, зарившейся на него. Да и после женитьбы он мог бы достичь богатства, только для этого надо было изнурить Клашку непосильной мужицкой работой на пашне. Личное чувство, любовь к Клашке, беднейшей из бедных, спасла его от социальной беды, беды богатства. Теперь это же личное чувство толкает его на защиту кулачки и ее детей. Всякое осуждение тому, что он дал приют кулацкому семейству, будет отныне восприниматься им как посягательство на самое глубокое его личное чувство, на его личность.

Здравый рассудок расценит это так: личные чувства вступают в борьбу с классовыми. Классовые чувства, классовый подход Чаузовым отвергаются напрочь.

Однако особенность повести состоит в том, что читается она от первой до последней страницы с большим и все нарастающим чувством симпатии к Чаузову.

Напрасно следователь, Ю-рист, старается поставить Чаузова на «классовую платформу», подсказывая, что в его же интересах объяснить уничтожение ударцевского дома, кулацкого гнездовья, классовыми мотивами, попытку старика Ударцева убить Степана — ненавистью классового врага, а то, что он дал приют Ольге, — благодарностью за спасение. Все это Чаузов отрицает. Да, спихнули дом, но из озорства, не более.

Старика Ударцева он выгораживает. Ольга спасла? Какие же бабы спасительницы, когда мужики дерутся!

Был на допросе момент, когда оба противника, следователь и подсудимый, на какое-то время нашли общий язык: следователь прервал допрос и вступил с ним в простую беседу. Чаузов рассказывал ему о войне с Колчаком. Неисправимый индивидуалист Чаузов не был в партизанском отряде, он сражался с Колчаком почти в одиночку, как бы так на так, сам-друг с одним своим товарищем: организовывал крушение поездов, обстреливал поезда из пулемета. Он сказал, что они с Колчаком с т а к н у л и с ь. Следователь поправил его: стакнуться — значит на русском языке сговориться. «Как сказать... Я вот скажу, что мы с вами седни стакнулись, а вы уже сами понимаете». Следователь усмехнулся, заметно было, что ему это понравилось. Уж не то ли, что они и в самом деле стакнулись с ним в общепринятом смысле слова?

Слово можно было понимать то так, то так, и так, и так.

А как к этому отнесется здравый рассудок? Кажется, припела пора эстетическому восприятию свести счеты с тем здравым рассудком, который все время чинил ему помехи. Это тот здравый рассудок, который требует определенности смысла от отдельного слова и с трудом мирится с превращениями этого смысла в высказывании. Это тот здравый рассудок, который судит об одной странице произведения перед или после другой отдельно, но не может сладить с двумя вместе, а если их сто, вовсе запутывается. Это тот здравый рассудок, который, скажем, гневную реплику Нечая Хромого в рассуждениях о труде крестьянском и труде фабричном по гудку — «...ты сперва отбери от меня мою собственность, чтобы не за что было держаться, а после — гуди в любое время, командовая налево, направо либо кругом марш! Мне без ее, без собственности, любую фигуру выполнить за просто, ровно солдату без скатки. Почто солдату помирать легко? Да при ем — ни избы, ни жены, ни мало-мальского какого телка! Одна вша! Отбери, говорю!» — эту реплику способен рассматривать как кулацкое противодействие колхозному строительству, как подрыв союза рабочего класса и крестьянства, но не в состоянии увидеть в этом высказывании отражение ленинской

мысли о необходимости внимательно учитывать настроения трудящегося крестьянства.

Словом, это тот здравый рассудок или смысл, который, по слову Энгельса, является почтенным спутником в четырех стенах домашнего обихода, но переживает самые удивительные приключения, когда отваживается выйти на широкий простор исследования.

Допрос продолжается. Чаузов и Юрист снова вступили в единоборство. Чаузова вновь охватило чувство колющего недоверия к этому человеку из города. «Ты скажи, какой нашелся судья! Нашелся кто — об мужике думать, мужика учить!» Чаузов посмотрелся на таких учителей «из городских каменных домов, железом крытых, — один наперед другого стараются выскочить. Один был — у Пётры Локоткова останавливался, тот со своей ложкой приезжал, вроде кержак какой, мужицкой посудой брезговал, а доклад о том, как мужику жить, тоже говорил и кулаком по столу на которых одиночников тоже стукал!»

Крутым Лукам не везло: наезжали сюда из города гастролеры «с шумом, да с гамом, да с угрозой». Злило это Чаузова нестерпимо. «Покажи ты ее, правду, коли учен, но после дай ее запомнить, к ней прислушаться... Правда, она же, поди, не стежок либо батожок, чтобы ею один на другого замахивался, в морду ее любому и каждому совал?! Почто ты во мне, в мужике, вражину ищешь, а коли не нашел, то на меня же и в обиде?»

Чувство недоверия и враждебности к человеку из города стакнулось в душе Чаузова с чувствами прямо противоположными — с чувством доверия, глубокой заинтересованности и внимания к словам городского человека, когда слова эти были и по форме подлинно партийными, и содержалась в них ленинская мысль. Такими были разговоры с Митей — уполномоченным, присланным из города в шадринский сельсовет и наезжавшим время от времени в Крутые Луки. С ним у Чаузова возникла дружба, с ним он делился всеми своими тревогами. Тревожило же его больше всего то, что хотя «мужика нарушить». «Почто что, попей в виду, мужик — он земле хозяин. Она ведь как «делала, советская власть: не только что в Сибири — во всем государстве землю оставила за мужиком... Ей все одно, земле, какие тут

слова, Митя, мы с тобой говорим... Ей дай хозяина, чтобы он ее пахал и миловал»

В разговорах с Митей обнаруживается, что личное чувство — глубокая любовь к Клавдии — было не единственным личным чувством, руководившим им. Было еще одно, очень глубокое и органичное и тоже совершенно личное. очень индивидуальное чувство — его отношение к груди. Не только к земледельческому, в котором он был мастер, а и к разному другому мастерству. Стоило приехать в Крутые Луки мастерскому — портному, шорнику, жестянщику, коновалу, — Степан к нему торопится, садится на корточки и глаз не сводит с его рук: боится пропустить секрет работы. И никакими силами оторвать его от этого было невозможно. Бабы над Клашкой посмеивались: «Не приворожила, видать, мужика-то к дому!» Да, тут Клашка была бесстрашна. И ей ничего не оставалось, как взять мастерство и многостороннее умение Степана себе в гордость. Она и гордилась перед бабами, когда они приходили к ней просить залатать дырку на прохудившейся посуде или валеке сделать. Его азартное увлечение всяким инструментом было, как часто ему приходило в голову, еще одной причиной, которая отрезала ему путь к богатству — столько денег он тратил на приобретение инструмента для мастерской, сооруженной в амбарушке. Доходов он с нее не имел, поделки всяким людям изготовлял из уважения. Инструмент, рукоятки к нему он переделывал на свой лад, работал он, как художник, вырабатывая вещь не только для пользы, а и для красоты, и недаром сработанную его руками вещь Клашка гладила словно ребенка и будто ненароком показывала каждому, входившему в избу. Влекло Степана неудержимо и ко всякой машине, машину он чуял, как никто, и когда Митя-уполномоченный заговаривал о комбайне. Степан боялся пропустить слово, и западала в его душу мечта поработать на нем.

То отношение к труду, какое было у Степана, мало назвать трудовым началом крестьянской души: в работу он вкладывал не часть, а всю душу, и был в этой душе проблеск того чувства, которое возрастит коммунизм в каждом.

Степана Чаузова зывали на работу по уборке сена с полей. Он забежал к себе в сени, сорвал с гвоздя гулуп, веревку взял подпоясаться, схватил вилы. Очень неловко

было идти: «в тулупе не побежишь, он за спину через плечо закинутый и с плеча падает. ты его рукой обратно да обратно, другая рука — вилы тащит, а еще по тебе веревка болтается, вроде на кобелишке каком худом. Хозяин с кобелишки шкуру наладил обдирать, а тот едва живой вырвался и с веревкой на шее по деревне тягу дает. Понять нельзя, кто ты есть — мужик ли, или погорелец какой, или, еще сказать, беженец окончательный с самой России прибежал? А ведь привыкать этак-то надо — на колхозный баз со всей своей сбруей и с припасом каждое утро пороть».

Стакнулись чувства. Когда колхозники после несусветной сумятицы у конюшни при распределении саней и коней ехали улицей, произошли никем не указанные самопроизвольные, обнаруживающие инстинктивное стремление к организованности выборы: один дорогу уступил Чаузову, другой — и вот он впереди всех едет. «Ну, ладно, коли так». «И как ехал Степан Чаузов на передней, то как раз с него обратно же все должно было начаться и получиться». И началось и получилось: получилась такая спорая, слаженная горячая работа, что «от каждого пар валил вроде из бани, с полка только что будто бы слезли. Тут Степану было вовсе по душе». Всем было по душе, всех увлек коллективный труд под руководством инициативного и сметливого организатора. все почувствовали себя хозяевами, загорелись нетерпением: «Скорее бы весна, что ли. Попробовать бы этой колхозной-то работы, как же оно все-таки должно получиться?»

Нет, не зря Павел Печура, чистейший, честнейший и бескорыстнейший энтузиаст, понимая, что он не годится в председатели, да и заместитель его годен лишь на первое время, прочил в председатели Чаузова, и не только в председатели, а и в члены партии: через год, рассудил он, быть Чаузову членом партии и он, Печура, первым даст ему рекомендацию. Потому что главная черта в Чаузове — справедливость и устремленность к справедливости.

Печура привез из города предписание: сеять пшеницы гораздо больше того, что наметило колхозное собрание. Колхозникам надо будет добровольно проголосовать и дать семена. Печура знал, что если Чаузов откажется дать зерно, ему это не простится — «Ольгу Ударцеву кормить, а на семена не дать». Он умолял Чаузова не проти-

виться, готов был на колени стать перед ним.

Мог ли Чаузов дать зерно? Мог, оно у него было. Мог, если бы у него его не требовали, в особенности теперь, когда он дал пристанище детям. «Подойти как следоват — с меня на семена-то и в самом деле по этой причине не каждый спросит. Которому и стыдно будет спросить». Мог бы, если бы спросили у него его хозяйского мнения, его согласия. Он говорит Печуре: «Вот обратно — план по севу обязательный из городу привез, а требуешь, чтобы я за его добровольно голосовал? И семян под его дал? А я не дам. И еще скажу: не дам!» Не мог, потому что дать — это значило отказаться от самого себя. Ему не позволяло этого достоинство, достоинство же это не только личное его чувство — это сознание своего общественного значения. «Что другому, может, и можно, то мне нельзя».

Строй чувств, который был раскрыт в образе Чаузова, был высок. В его гуманности, сознании человеческого достоинства, в его отношении к труду, в этих основных в его характере чертах вырисовывался идеал — как прозрение, как богатые задатки народной души. Повесть приобщала к этим чувствам, звала разглядеть в образе Чаузова задатки характера будущего социалистического человека. И вот — эти препятствия, способные вызвать душевную боль: разве в его всеобщей человечности не топятся классовые противоположности, разве его гуманизм не лишен классового содержания?

На вопрос о том, не следует ли видеть в повести в образе Чаузова более полное, более конкретное выражение того идеала, к которому вели и предшествующие произведения С. Залыгина, надо ответить так.

Внимание писателя привлекают ситуации, в которых теми или иными обстоятельствами затруднено или ослаблено непосредственное организационное участие в изучаемом им участке жизни рабочего и подлинно партийного руководства: как при этом народ пробивается к партийной правде? Ведь такая же ситуация, только в значительно большем масштабе, и в «Соленой Пади». Крестьянские массы, крестьянская республика в тылу Колчака оказалась отрезанной от центральной России.

Есть суждение о романе «Соленая Падь» самого автора. Вот оно. «Меня удивило,

что один критик, говоря о «Соленой Пади», высказал мысль, что партизаны искали в войне «себя», свои личности, подобно тому, как искал себя под пулями французов Пьер Безухов. Это наивно. Неверно также представлять дело так, будто главное в романе — борьба Брусенкова с Мещеряковым»<sup>1</sup>.

Не всегда можно полагаться на суждение автора о своей работе. Это как раз такой случай. Суждение его верно и неверно. Верно, что герои романа ищут «себя», свои личности не как Пьер Безухов, но неверно, что они себя, свои личности «не ищут». Они, те или иные индивидуальные персонажи, теряют здесь свои личности и находят, и становятся рабами своей личности, и освобождаются от этого рабства — с ними, с личностями, здесь происходят самые удивительные превращения. Ищет себя и масса, осознает себя, обдумывает себя как «личность».

Не вполне верно также, что борьба Брусенкова с Мещеряковым не главное, второстепенное. Конечно, главное в романе — это крестьянское восстание против буржуазно-помещичьей диктатуры Колчака. Но цели восстания и пути к победе выражены прежде всего в борьбе Брусенкова с Мещеряковым. Они выражают настроения крестьянских масс. Настроения эти противоречивы. Противоречивость их достигает наибольшей остроты в борьбе между Брусенковым и Мещеряковым. И не только между, но и внутри их самих.

Масса обдумывает себя. С этой сцены и начинается роман — со вступления в роман массы. Но прежде предложен угол зрения, под которым следует подходить к событиям, разворачивающимся в романе. Вот он: «Хлеба — на редкость урожайные сибирские хлеба осени девятнадцатого года, — уже тронутые рыжеватой сединой налива: как будто сдвинулись в сторону дальних и диких несеяных-некошенных трав»

Внимание читателя настроено, оно будет искать сдвига в сторону циклопического, стихийного.

Привычным способом выражения стихийности в художественном произведении является безымянное многоголосье. Вот оно.

Народ течет на площадь, где будут судить Власихина.

<sup>1</sup> «Литературная газета», № 45, 1968.

«— Ну, а если я крикну, чтоб стрелили Власихина-то? Я — отчаянный!

— Кричи. Кто тебя послушает?

— А как послушают?

— И очень просто — много нас, крикунишек-то. Посади меня за судью, так я то ли всех казнить велю, то ли освободить. У меня — середки нет!

— Кабы не судили Власихина — вот он бы был судья-я-а!

— Ты гляди, до чего народ дошел: сам власть назначает, сам за себя воюет, сам и судит, кого вздумает. Кто бы допрежь подумал?!

— Странно.. То было — приедет начальник, я и видеть его не хочу. А тут сосед мой Игнашка — комиссар! Власть и властелин! И каждый божий день на меня через мое же прясло гляделки растопыривает. А ведь он мне, властелин этот, два целковых с тысячи девятьсот девятого года, с Моряшихинской конской ярманки должен и не отдает, гал! Ну, как надоест он мне — я его звякну чем? И уже вышло — я не Игнашку, а власть звякнул? Я тебе скажу: мне больше глянется, когда баба рядом, а начальство — где подальше. Ну, пушай покажется на глазах, постращает меня, в казну что отберет, ну а после чтобы я обратно его ни сном, ни духом не видел!

— Не то время. Время — до мировой революции рукой достать. И нынче мы ее, мировую, сделаем, а завтра она нас, мужиков, сделает людьми. В корне изменит нас.

— Кого изменит. над кем — надорвется. У нас на выселке — Микишка Журавлев. Нога деревянная, к службе негодный, а бабу бить, самогонку жрать — это он разве что после третьей мировой бросит. Раньше — от его не жди!

— У этого — нога деревянная. А другой — весь деревянный, с ног до головы и обратно. На вид — человек, а сознательность его сразу не прошибет.

— Деревянному — удобнее жить. Износу нет.

— Все одно когда-то начинать на людей перedefельваться. С добра не начинается это. начинается с беды. Ну, а пуще Колчака беды в Сибири не бывало еще.

— Вот и надо сделать. Власихина Якова шашкой махнуть!

— Ты дурной либо из деревянных?»

Масса, обдумывающая себя. — но в таком случае это уже не стихийность: ведь нельзя

же сказать — стихийность, сознающая себя. Стихийность — это бессознательность.

Все было бы значительно проще, если бы можно было всегда точно сказать: вот стихийность, вот сознательность. Но стихийность, как известно, есть зачаточное проявление сознательности, сознательность в движении масс развивается из стихийности — и преодолевает ее, они и взаимодействуют, и глубоко враждуют, стихийность, то есть инстинктивность, безотчетность, неосознанность движения, свидетельствует о глубине его в массах и прочности его корней, она же является помехой этому движению.

Сравнительно легко в том или ином случае увидеть в стихийности проявление сознательности, труднее — в сознательности разглядеть стихийность, но при чтении «Соленой Пади» придется это делать постоянно.

В голосе — «Власихина шашкой махнуть» — слышится проявление стихийности, но судят Власихина, человека в высшей степени рассудительного, умудренного опытом, советчика крестьян во всех затруднительных случаях, судят его за проявление стихийности — подчинение неодолимому, стихийному чувству, толкнувшему его к преступлению. То, что он совершает преступление против народа, он сознает. И добровольно отдает себя суду народа, но если бы не совершил преступления — судил бы себя сам и жить не смог бы. Он укрыл своих сыновей в далекий, недоступный урман от мобилизации, потому что один из них белый, а другой красный, и отец не мог допустить, чтобы братья воевали друг против друга, но он не мог объяснить, почему увел обоих: ведь младший, тянувшийся к партизанам, не подлежал мобилизации по возрасту. Он только сказал: «Сколько я людям служил — тут не смог. Тут самому себе сослужил, и сразу же против людей это вышло».

Брусенков, начальник главного штаба — гражданской власти Солонпадской республики, — потребовал расстрела Власихина. Никакого другого решения он не допускал, похоже, что он был из «деревянных». Но трудно увидеть в нем выражение стихийного настроения: «То ли я всех казнить велю, то ли освободить У меня — середки нет». Требование казни у Брусенкова — не настроение, а сознательная идейная позиция: казнить, потому что Власихин ставит себя выше народа, он тем самым против важ-

нейшего достижения крестьянской республики — равенства. Казнить, потому что Власихин — крестьянский апостол, очень популярный в народе, и чтобы пресечь его влияние, надо уничтожить его самого. Казнить, потому что он, хотя и говорит о своей приверженности народной власти, в действительности против власти. Выяснилось на суде, что Власихин не признает лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Власихин заявил, что он ставит крестьянина выше рабочего. Довгаль, бывший рабочий, теперь член главного штаба, гневно разоблачил его: в союзе рабочего и крестьянина правда всех правд. Он не потребовал казни, отказался внести такое предложение, но голосовал вместе с народом. А народ после страстного выступления Брусенкова проголосовал за казнь единогласно: мнение «деревянных» восторжествовало.

Это народное решение тотчас же, здесь же, на площади, на которой уже все готово было к расстрелу, легко и весело отменил только что прибывший на площадь, встреченный ликованием главнокомандующий Ефрем Мещеряков. Отменил, едва только узнав, что сыновья были уведены отцом из-за того, что воевали бы друг против друга, а сам Власихин готов сражаться за народную власть. Он тут же зачислил Власихина в свою армию.

С этого момента и завязывается борьба между Брусенковым и Мещеряковым, борьба, которую автор назвал не главной в романе, но в которой выразилось главное.

Пока что в мотивах борьбы Брусенкова заметно ее ложное основание, ошибка: Брусенков с этого момента считает, что Мещеряков посягает на власть — на власть главного штаба, на его, Брусенкова, власть. У Мещерякова же и в мыслях этого не было. Если задаться вопросом, какие настроения народного многоголосья выразились в Мещерякове, то это прежде всего восхищение властью народа, в частности восхищенное удивление тем, что ему, простому мужику, дано, как главному, решать судьбу народа. Как главному, не более. В устройство гражданской власти он ни в малейшей мере не хотел вмешиваться, и на эту ограниченность позиции его, члена партии, указал при первом же знакомстве Петрович, будущий его комиссар.

Освобождая Власихина, Мещеряков не знал о споре по вопросу о лозунге «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Но перед

ним самим поставили этот вопрос — для его идеологической проверки. Мещеряков удивился донельзя: какое это имеет практическое значение? Неужели от него зависит соединение пролетариев всех стран? А если, как ему тотчас же указали, он сам весь зависит от этого «целиком и полностью», то что ж тут обсуждать? Однако, когда ему сказали, что в одном из солонепадских полков есть мадыарские роты, оживился: вот это практическое применение лозунга — мадыары превосходные бойцы. Значит, он в принципе за пролетарскую солидарность? «В принципе — об чем разговор? А когда здесь, в нашей армии, будут воевать мадыары — тем более!» Значит, он готов нести красное знамя по всему миру? «Когда без него люди где не смогут жить — понесу!»

Разногласие устранено? Нет, оно спряталось. Пока что открылась, с одной стороны, ограниченность сугубо практического подхода к вопросу у Мещерякова и, с другой, склонность Брусенкова использовать пролетарский лозунг как жупел.

На самом-то деле этот вопрос имел важный и конкретный смысл для крестьянской республики, хотя этот смысл не высказывают и не осознают вполне противники. Это вопрос об отношении к пролетарской диктатуре и, следовательно, вопрос об отношении к центральной власти. На некоторых партизанских фронтах бывали трагические случаи противопоставления себя Красной Армии.

Брусенков, подозревая у Мещерякова стремление захватить власть, решил убрать его. Так как сделать это не просто и Мещеряков со своими эскадронами опасен, еще более опасна его слава в народе, то он решил заманить его в ловушку, предъявить ультиматум, арестовать.

Потрясенный этим коварным планом, честнейший коммунист Довгаль тщетно пытался переубедить Брусенкова указанием на опасность поражения партизан в предстоящем решающем сражении с белой армией. Вот здесь и обнажились впервые корни борьбы между Брусенковым и Мещеряковым: они — в противоположном отношении Брусенкова и Мещерякова к народу. Брусенков с полной и необычной для него откровенностью сейчас раскрыл свою платформу.

Возможность поражения Брусенкова не смущает: «Пусть, белая! придет! Пусть порушат нас! Это что будет значить? А то и

будет, что война наша с мировым капиталом еще жестче сделается. Еще больше массы осознают свое великое дело! Войдут в революцию с головой, без остатка... Поэтому данный момент чем он кровопролитнее, тем это даже нужнее. И если существует хотя бы малое подозрение, что Мещеряков пусть в день один раз, пусть в месяц однажды, но назад оглядывается либо жертв боится — то и убрать такого надо без сожаления. Нам отклонение каждого из нас от истинной линии страшнее, чем колчаковские банды».

«— Злой ты, Брусенков. Откуда ты? Кто тебя таким сделал?»

— Не злой, а умный. Еще сказать: ученый. Сильно добренькие умными не бывают — запомни это. Сделали же меня мои враги, капитал и сделал меня такого».

Слова Довгалия о том, что он и на своих кровавыми глазами глядит, Брусенков подтверждает: тоже. «И на своих глядя радоваться тоже не приходится. Слишком ее мало, радости этой, в людях. Учение им нужно, и учение без пряника — вовсе другой мерой!»

В глубине души Брусенкова живет неведение в народ и презрение к нему, схожее с тем, какое испытывает к Игнашке его сосед, подавший свой голос в народном многоголосье и испытывающий непреодолимое желание Игнашку «звякнуть». Только народ задолжал Брусенкову не два целковых. Он задолжал ему немедленное, в один день и час во всех странах, выступление за мировую революцию. Нет у Брусенкова веры в народ, в народную власть. Он верит в свою власть: он готов и умеет «звякнуть» своих.

Не испытывал никакой радости Брусенков, глядя на своих, на народ.

Совершенно иначе было у Мещерякова. Он переживал глубокую и живую радость на народе, от народа. Вот переживание этой радости, испытанной им при осмотре оборонительной линии.

Тысячи людей рыли окопы под Соленой Падью.

«И всюду народ кипел. и падала. падала степная пашенная земля из окопов на брустверы, кидали ее мужики блестящими на солнце лопатами, а где так и бабы старались, и ребятишки.

Звон стоял над степью... Кто-то очищал в тот миг лопату о лопату, а еще кое-где сидели около небольших наковален мужики. те звенели безустанно — отбивали притупив-

шиеся на плотном грунте лопаты домашними молотками.

Шел звон от бора до Большого Увала, а вверх — едва ли не к самому солнцу, разгоняя в белесом небе редкие, пугливые облачка.

И голоса человечьи тоже звенели, и гудели, и вздрагивали, налетая друг на друга, и тоже заполняли собою все вокруг — и вдаль и ввысь.

«Шумит-то народишко...» — подумал Мещеряков».

По обе стороны линии обороны убирали хлеб.

«Шло дело.

Тут, должно быть, не глядели, чья пашня, кто хозяин, — убирали артельно. Весело убирали. Будто не перед войной — перед престольным праздником старались: хотели управиться и хорошо погулять.

Будто и окопов тут же рядом не рыли и поля освобождали не для кровавого боя».

На рытье окопов действовала как бы самоорганизующаяся система: никем не назначенные старшие выкликали фамилии, отбивали участки для каждой артели, командовали, кому отдохнуть, кому поднажать. Нерасторопных старших тут же сменяли, заменяли новым, новый оправлял рубаху и начинал распоряжаться.

Очень отзывчив был Мещеряков на энтузиазм восставших масс и остро чувствовал красоту его. В одном из донесений он прочитал нескладное стихотворение, две строчки из него особо ему понравились:

...Навеки историк подчеркнет на  
память  
Храбрость и славу твою!

Еще больше понравилось, еще сильнее его задело сообщение о волостном митинге. «Море голов! — прочел Мещеряков и тотчас представил это море. — А по мере того как товарищ Петрович говорил, настроение все поднималось. Когда же он кончил, раздались голоса: «Все пойдем! Все умрем! Долой Колчака!» Какой царил подъем духа! Сколько энтузиазма... Как величественно, как красиво это восстание!»

То чувство, какое испытывал Мещеряков к народу, не было отвлеченным, его влекло к непосредственному общению с ним, и когда народ окружал его, он и волновался и расцветал: он любил густой народ, разговор с народом получался у него задушев-

ным и дружеским. Но он не терял при этом самоконтроля, и знание меры всегда подсказывало ему, когда нужно остановиться в шутках, чтобы не прослыть зубоскалом.

В разговоре Брусенкова с Мещеряковым, который состоялся перед самой попыткой ареста Мещерякова, Брусенков между прочим сказал ему: «Взять у тебя главнокомандующего — что останется». Мещеряков ответил: после войны будет видно, что и от кого останется. Но о себе знал: управится с Колчаком, придет домой, станет пахать.

В этом же разговоре зашла речь и о Власихине. «Удивительно, как по сей день ты переживаешь Власихина этого? Почему это — не можешь ты без врагов, нужны они тебе, как воздух? И что бы ты делал посреди одних только друзей — угадать невозможно». О суде же он сказал: «Суд был твой. По крайности наполовину — твой. Но ты уже нынче об этой своей половине не поминашь. Говоришь: «Народ! Только он — и больше никто!»

В натуре Мещерякова было глубоко заложено влечение к стихийности. Влекла его к себе и мила была его душе партизанская тактика с ее удалю, лихими внезапными налетами, отчаянностью. Колчаковские полки по всем дорогам, с разных сторон двигались к партизанской Москве — Соленой Пади, чтобы разгромить центр Освобожденной территории. Он понял, что партизанской тактике пришел конец, и все свои помыслы, весь свой замечательный полководческий талант отдал организационной подготовке армии к оборонительному сражению и разработке стратегического плана войны. С партизанщиной он решительно покончил. Но втайне он жалел о ней, его тянуло к ней. Когда он посетил полк красных соколов, он, любясь воинским порядком, строгой дисциплиной, постановкой воспитательной работы в полку, сказал командиру полка Петровичу то ли шутя, то ли серьезно: сильно строгий порядок тоже плохо, не в крови он у русских, скучной войной люди сыты, теперь повоем от собственного сердца, лихо и весело. Да и революция по порядку не происходит. Петрович ответил: дисциплину он строит на сознательности, сознательность — на знании цели, от нее и будет солдат воевать «и гордо, и весело, и лихо».

Задуманная Брусенковым ловушка и арест Мещерякова не удалась. Тогда он подтолкнул бывшего командира соленадской армии, теперь командующего фронтом Креко-

вня издать приказ, которым войска, готовые к сражению, были перед самым сражением выведены из-под командования отлучившегося Мещерякова. Разработанный Мещеряковым план военных действий, в котором несостоявшееся сражение играло решающую роль, рухнул. Он стал воевать без всякого плана, фактически покинув пост главнокомандующего. Начались азартные, отчаянные схватки, и снова удавались Мещерякову победы — победы шальные, ненастоящие.

Мещеряков вступил на звериную тропу. Захватив Моряшиху, он организовал там массовую попойку. Сюда прибыл Петрович со своими мажарскими ротами, чтобы попытаться вытащить Мещерякова из разгула. Он сообщил, что Куличенко, мещеряковский дружок, с двумя полками дезертировал в Заеланскую степь, что нужно спасти Соленую Падь, что нужно преодолеть обиду: «Личность восторжествовала в тебе, и ты стал ее рабом». Петрович прав, так определив то, что произошло с Мещеряковым. Мещеряков стал рабом себя. Он стал рабом своих страстей, низменных побуждений, пьянства, похоти и тем самым противопоставил себя народу, народным интересам. Образумить Мещерякова Петровичу не удалось: «Личность ковыряешь? Что тебе от нее надо? Хочешь, чтобы я воевал, но — без нее? Это невозможно».

Петрович, а затем и Довгаль и в увещаниях, и в гневных своих обличениях выявили глубокую партийную заботу о нем. Немедленных результатов их усилия не дали. Разгул и пьянку прекратило нападение белых. Мещеряков отступил, не стал защищать Моряшиху. Он направился в Соленую Падь, чтобы разогнать главный штаб. Петрович и Довгаль предотвратили разгон, своеобразно самортизировав анархическое неистовство Мещерякова. Дело ограничилось тем, что Мещеряков расстрелял чернильницу как символ бюрократизма, забрызгав чернилами Таисию Черненко.

С того времени, как он спас Черненко от похищения варнаками, он стал испытывать к ней нечто вроде брезгливости. Не потому, что погоня за ее похитителями вызвала отлучку его, во время которой и произошел уход его полков по бессмысленному приказу. Не потому, хотя и были у него основания заподозрить в ней соучастницу заговора. Для него совершенно неприемлема была ее жертвенность. Люди, которым

жизнь немила, ему были глубоко чужды, а уж если это к тому же и женщина, то это уж совсем отравля. Черненко изумлена: неужели он боится смерти? «Так я же не против: того, чтобы живым быть. Не против. А на кой черт такая жизнь, при которой смерти не боишься? На это мне голова дана, и глаза, и уши, и даже оружие: защищаться самому, других защищать от смерти!» Изумлена Черненко: вот так он делает революцию? «Вот так и делаю. И двадцать тысяч мужиков, которые в нашей армии, тоже так делают, из того же расчета: жить, а не помирать. Они воюют не только за себя — это даже скучно, за счастье своих детей — это уже гораздо веселее. Но и двадцать тысяч счастливых вдов после себя оставить, да сто тысяч ребятишек безотцовщины, да сколько еще престарелых родителей, — нет, ни для кого не расчет. Разве что для самого лютého врага».

Жертвенность Черненко привела ее к полной и безусловной готовности стать марионеткой в чужих руках. Черненко потеряла свою личность. Правда, вскоре она вновь обрела ее в чувстве любви к Петровичу.

Когда Мещеряков стал рабом себя, он противопоставил себя народу. Но он скоро снова обрел свободу. Брусенков тоже стал рабом себя и тем противопоставил себя народу. Удалось ли ему покончить со своей несвободой?

На том партийном суде, в который вылилось собрание представителей районных и главного штаба, Брусенков вел себя наступательно, изворотливо и дерзко. Он потребовал снятия Мещерякова и предания его суду революционного трибунала. Мещеряков ни слова не произнес в свою защиту. В защиту его выступили Кондратьев, питерский рабочий, Говоров, матрос — оба они были представителями Луговского районного штаба, самого крепкого, самого устойчивого на всей Освобожденной территории. В защиту Мещерякова выступил Петрович. А Мещеряков чувствовал себя на скамье подсудимых и сам внутренне осудил себя за все. В то время как происходило собрание, уже шел по воинским частям приказ Мещерякова, написанный им собственноручно для воодушевления каждого командира и бойца и указывающий конкретные меры для установления в армии строгой дисциплины и порядка. В этом приказе объявлялось о назначении комиссаром армии Петровича. В этом приказе был пункт, ка-

сающийся гражданского устройства некоторых районов Освобожденной территории, прежде же Мещеряков гражданского устройства не касался. Подписан приказ был: «Главкомандующий ОККА — Мещеряков». С партизанщиной покончено навсегда. Навсегда — но на тот случай, если бы собрание предало его суду трибунала, он тайно приказал ординарцу приготовить тройку коней, чтобы бежать — снова бежать в партизанщину.

Мещеряков понимал, что простить его невозможно, но и обвинить нельзя: он нужен как главнокомандующий.

Он, сам себя осудивший, очень хотел, чтобы совещание прошло мимо его вины — ради предстоящей победы, победы истинной, человеческой. Оно должно было об этом догадаться, сам он этого сказать не мог. Он молчал. Совещание догадалось. Оно видело: Брусенков сам себя судить не может, а главнокомандующий судит себя, он делает вывод «по самой высшей честности» и не уронит победного знамени.

Брусенков все свои поступки оправдывал — и попытку арестовать Мещерякова, и свою роль в преступном срыве решающего сражения, и учиненный им разгон собрания, и самочинный расстрел солонепадского попа, и производимые им конфискации и расстрелы. Он всем своим поступкам придавал самый благородный и высокоморальный смысл. Это он, говорил он, единственно он, и никто другой, организовал главный штаб, центральную власть на Освобожденной территории, революционную, подлинно народную власть. Он лгал: больше всех организовывал и создавал главный штаб Петрович, но он молчал об этом. Главный штаб успели создать потому и в то время, когда Луговской район принимал на себя главные удары врага и истекал кровью, но Кондратьев об этом молчал. Разоблачая Брусенкова, они своих заслуг не выдвигали.

В защиту Брусенкова выступил командир солонепадского ополчения Стрельников. Брусенкова недопустимо заклевать, кричал он Кондратьеву и Петровичу, — Брусенков прав, во всем прав, и в расстреле попа прав. Брусенков стрелял не из личных соображений. Он стрелял «из-за поработанного и попом, и кулаком, и шарем... А когда так — стреляй! Стреляй гадов при каждом случае не божьим именем, а моим! Я благословляю!» Он, Стрельников, попу когда-то

руку целовал. «Все! Срок настал, пожил — все! Дай другому пожить!»

Тут Петрович сказал, что Стрельников не только в прошлом был порабощенным, но и до сих пор им остался! «Через два года после революции. И через десять лет им же останешься — это для тебя хорошо и просто! Вот и Брусенков — а может, он на тебя очень похож? Также — порабощенный? И тот же у него на все ответ: «Пожил — дай другому пожить!» Не признаешься, Брусенков? Нет?»

Брусенков, конечно, не признавался. У него, человека абсолютно бескорыстного, высокие мотивы: он отстаивал власть народа. Так это и было вначале. Теперь Брусенков в своей злобе и человеконенавистничестве никого, кроме самого себя, не представлял. «Ты власти хочешь, больше ничего», — сказал ему Кондратьев. Довгаль думал, что лишь после победы и воссоединения с российской советской властью «сразу будет видно, кто советской власти служит, кто делает из нее службу себе». Но это было видно уже теперь.

Совещание морально осудило Брусенкова. Но быть ему начальником главного штаба или нет, мог решить только Второй съезд делегатов. Именно поэтому Брусенков, час назад противник съезда, стал к концу совещания его сторонником. Принципами он манипулировал с необыкновенным искусством.

Перед съездом делегатов всех районов Освобожденной территории Мещеряков провел сражение за Моряшиху. Ее нужно было взять во что бы то ни стало. Под Моряшихой у Мещерякова был всего один полк: слишком мало для взятия Моряшихи. И Мещерякову пришлось решиться на «арару» — на скрытную засаду из верховых детишек и стариков, лавина которых в решающий момент вырывалась и мчалась с топотом, визгом, рыканьем: «Ур-ра, ур-ра!» Нервы белых солдат всегда не выдерживали, и они в панике бежали в степь. Так в этой войне бывало не раз, но Мещеряков никогда к этому не прибегал.

В бою за Моряшиху он применил «арару» в действительно решающий, определяющий весь исход боя момент. Состояние Мещерякова было ужасное, злоба душила его неистовая, и он с командного пункта сам ринулся в бой, оказался во главе «арары» — и вовремя спас ее от потери и, вероятно,

гибели, спас своей зоркостью, находчивостью, молниеносным правильным решением.

Победа была одержана.

Был момент после боя, когда Мещеряков оказался в плотном человеческом кругу, в человеческой густоте, которая его всегда так волновала. Он произнес речь и вспомнил в ней строчки из донесения:

...Навеки историк подчеркнет на  
память  
Храбрость и славу твою!

Никто не упрекал Мещерякова за «арару», никто не спрашивал, какой же это главком, который сам не управляется, а посылает в бой ребятишек. Это его терзало. «За что и за кого война? За ребятишек она, за ихнюю жизнь и свободу, а когда так — кто же имеет право скомандовать ребятишкам идти в бой?»

В густом человеческом кругу после боя Мещерякову бросилось в глаза, что он стоит между огромным Власихиным и малого роста стариком, тем безымянным воякой, который собирал «арару». «Надоть, значит, надоть», — говорил старик перед боем. Между народным «надоть» и власихинским отстранением своих детей от войны стоял Мещеряков. Власихин сражался в бою, как все. «А самим собою перестал быть, стал, как все, и только», — неясно подумал Мещеряков. Как все, и только.

Мещеряков своих троих малых детей никуда не прятал. Дети и жена неотступно следовали за ним. И было так, что дважды самая крохотная из них, грудная Нина, спасала ему жизнь. В первый раз — еще не родившись. На село, в котором Мещеряков в пути задержался, напали белые, искали его по избам. Он спрятался на телеге между мешками с зерном, покрытыми рядном, на рядно села беременная Дора и, выпячивая живот, завопила на солдат, остановивших телегу при выезде из села: «Брюхатой бабе на мельницу ехать — и то спокую не даете!» Второй случай был почти такой же: она, сидя на телеге, кормила грудью девочку, а под сеном хоронился Ефрем.

Воспоминания об этих случаях терзали Дору:

«И не подлость ли, не низость ли, что хватает у нее совести на это? Зверь гибнет, а детенышей своих куда бы подальше в нору или в кусты прячет, зверю детьми своими от смерти отгораживаться не дано. А люди?

Рубят и убивают друг друга, и жалости нет в них ничуть, а когда жизнь вымалывают — вымалывают ее ради детей и даже бывает — несут дите вперед себя на руках, защищаются крохотным его тельцем».

Это мать так терзала себя, а отец? Отец рассуждал: мужику надо всеобщее, а женщине только свое и свое. Но это он так говорил только. В нем жило и свое и всеобщее: и Ниночка, и воплощенное в детях будущее — не свое, а всеобщее.

Так возникло между Мещеряковым и простым «надоть» безмянного вояки неразрешимое противоречие. Разрешиться оно могло только в страшном душевном взрыве. Не погибнуть бы ему в таком взрыве, если придется прибегнуть к «арару» еще раз! А придется: Петрович готовил «арару» к предстоящему решающему сражению. На самый крайний случай. А крайний случай мог быть.

Колчаковские полки неуклонно приближались к Соленой Пади. Мещеряков всецело был поглощен подготовкой к сражению.

В Соленой Пади шел съезд. Бурлило село митингами и манифестациями. И снова многоголосье:

«— Справедливостъ — до края! На другом не помиримся!

— Завтре же провозгласим на съезде окончательную советскую власть! Хватит нашим штабам неизвестно как называться!

— Товарищ Брусенков будто бы товарища Мещерякова будет сымать с должности! Правда, нет ли?

— Кто там против Мещерякова товарища? Кому жизнь немилая?

— А напротив Брусенкова речь скажет Власихин Яков. Напротив его рассгрелов. Обратно сделает суд.

— У нас большего ума нету, как Брусенков. Уберем — пожалеем. Нас никто стрелять не будет — еще хуже постреляем друг дружку. Как ноне происходит: кто кого стрелил, тот и правый.

— В Европе сильный революционный пожар. Государства пылают, как одно.

— Давно пора! Давно пора всех колчаков со всего земного шару собрать и спалить. Навсегда!

— Европа — Европой. В Соленой Пади ладиться надо. Давайте Кондратьева на место Брусенкова выбирать!

— Моя платформа: чужай главный штаб между собою разбираются. На то оне и

главные. За кого они разберутся, за того и я голосую.

— Оставить как есть. Подлинная советская власть придет — скажет, как сделать!

— Все ж таки сила — народ? Сколь жили — не знали!»

Мещеряков, как ни занят был, не мог миновать народной густоты. И тотчас же его окружали люди, «а он будто бы окружал их, смотрел на людей со всех сторон...».

Здесь и произошел чудоточный случай.

Музыкант оркестра дал парнишке валторну — дунуть. Но ни этот парнишка, ни другие, как ни старались, не могли извлечь звук. Музыканты хохотали, мальчишки испытывали позор. Подошел Мещеряков, перенял трубу, дунул, но и у него не получалось, как ни старался. А потом получилось — отозвалась труба, пискнула высоко, Мещеряков «уже как будто держал этот голос в своих руках и, чуть повернув трубу, пропел ею протяжно и звонко, голос выплеснулся на площадь, и он даже поглядел вверх — хотел увидеть, куда же, на какую высоту голос поднялся». И засмеялись мальчишки весело, избавленные от позора.

Мещеряков важно отошел и все глядел вверх. «Чудоточный случай с этой трубой, — думал он. — Совсем чудоточный, а для жизни почему-то годный. Потому что опять-таки произошел на народе, на глазах у всех? Или потому, что трубный глас вознесся очень высоко, очень был громким?» Мещеряков же давно уже громко не говорил.

Вспоминается: когда Мещеряков месяц назад смотрел на народ, роющий окопы, звон тогда шел — едва ли не к самому солнцу.

В звонкой трубе, в дружбе с парнишечьим племенем летская чистота души Мещерякова звенела.

За всей этой сценой на площади неотрывно следил Брусенков. Подошел к Мещерякову, заговорил. Он уже чувствовал себя выбранным съездом и уже руководил, и, кажется, прощал Мещерякову его заблуждения. Кажется. Он говорил:

«Погляди на народ. Конечно, вся сила нынче в народе. В нем. Хотя и в гражданской, хотя и в военной нашей деятельности. Взять последнее твое сражение за Моряшиху. Прямо-то и честно сказать, как и полагается нам говорить: ведь если бы не арара, не брошенный тобою в кровавый бой народ — старики и ребятишки, — разве вышла бы в тот раз наша победа? Да никогда!

Точно ведь я говорю, товарищ Мещеряков. Неопровержимо!.. Утвердимся нынче голосованием съезда... А тогда и рассмотрим допустимость этой самой арары. И все вопросы — тоже рассмотрим. Ведь по сей день мы как их рассматривали?.. Рассматривали вполсуда. Того меньше — в одну его четверть».

Он уже готовится судить Мещерякова не вполсуда, а беспощадным судом, он уже обращает подвиг народа в служение себе, превращает его в орудие злобы и мести, в средство узурпации власти.

Так он понял бой за Моряшиху.

Бурлил съезд. Кипели страсти — в отпоре анархизму, лозунгу «советская власть без большевиков», лживым посулам колчаковских воззваний и земства, в решениях о земле, о самообложении, в резолюциях и обращениях к крестьянству, армии, бывшим фронтовикам, к иностранцам в Сибири, к интеллигенции — ко всем партиям и сословиям, ко всем сомневающимся и заблуждающимся, ко всем друзьям и врагам.

Остро встал вопрос: считать ли власть в партизанской республике подлинной и окончательной советской властью, как требовал Брусенков, или временной — до воссоединения с Красной Армией и центральной Россией, на чем настаивали Кондратьев, Петрович, Довгаль? Петрович предостерегал: ни в коем случае не противопоставлять себя Красной российской Армии. Довгаль выступил за выборы краевого Совета, но безусловно и только временного. Брусенков против них манипулировал высокими лозунгами единства, обвинял своих противников в том, что они вносят раскол, недоверие друг к другу и неверие в собственные силы. Подумать только: Брусенков за доверие, за веру в народ!

А Мещеряков?

Незадолго перед этим Мещеряков думал, что сражение, которое он ждет, началось, может быть, сегодня, здесь, на съезде. И вдруг Кондратьев неожиданно, без предупреждения, предоставил ему слово. Да и зачем предупреждение: разве Мещеряков не знал, что нельзя уже больше молчать? Мещеряков мысленно просчитал: «Раз, два, три!» — это всегда ему помогало внутренне собраться, всегда, как открытие, вставала перед ним истина, — и произнес свою речь. Он заявил, что партизанская армия борется за подлинную советскую власть, никаких сомнений в этом ни у кого нет, но партизан-

ская армия не объявляет себя Красной и российской — в этом правильный и единственный пример и для гражданской власти. Иначе было бы самозванство. Он предложил выбрать в краевой Совет Довгаль.

Председателем краевого Совета был избран товарищ Довгаль, а заместителем его — товарищ Брусенков.

Противоречие между народом и Брусенковым осталось неразрешенным.

Как могло это произойти? Смертельная опасность угрожала крестьянской республике, колчаковские полки приближались, нужно было единство в отпоре смертельному врагу, Брусенков выступал за единство. «Лис двухголовый», — говорили о нем восхищенно, думая, что хитрость его, жестокость и злоба направлены единственно против врага. Его выбрали.

Довгаль с Брусенковым возвращались со съезда вместе. «Вот так... Так вот... — медленно-медленно выговаривал слова Брусенков. — Да-а... Ну, я думаю, Лука, дела ты будешь принимать у меня уже после сражения. Конечно. после. Да и какая тут предстоит особая сляча? Ты и всегда-то был в курсе моих дел, Лука. Так вот... Вот так... Мы же с тобой сработаемся, Лука? Раз и навсегда?»

«Лис двухголовый» и растерян несколько — не он глава, — и нащупывает путь к единовластию: доверчивость Луки.

Автор этого не говорит, как и при разговоре Брусенкова с Мещеряковым. Противоречие, которое изображается здесь, противоречие между Брусенковым и народом, должно быть раскрыто так, чтобы его нераскрытость осталась сохраненной.

О противоречии, которое раскрывается в образе Мещерякова, противоречии между его совестью, сознанием своей вины и «надоть», мало сказать, что оно раскрывается. — оно разверзается. Как пропасть, готовая поглотить героя.

Произошло ужасное, непредвиденное, катастрофическое, когда Мещеряков увидел в бинокль, что белые цепи гонят вперед себя стариков, женщин, ребятишек. Он понял: сражение рухнуло, будет побоище; рухнул главнокомандующий с его планами и задачами — они не нужны теперь. Все рушилось: воинская честь, воинское умение.

«Задохнулся Ефрем. Заплакал: Ефрем. Дико взвыл и бросил свою мерлушковую шапку обземь, на ледовые искры ледя, покрывавшего рыжеватую стерню, а Гришка

Лыткин поднял папаху и подал ее обратно, а он опять бросил, а Гришка опять поднял, и глядели на эту бессмысленность партизаны из окопов...»

Бессмысленность, безрассудство, безумие. Нет главнокомандующего. Пусть чувства, переполняющие его, высоки, чисты, святы: это содрогнувшаяся от боли совесть, благородство, честь, безмерная любовь; пусть вопят эти чувства в нем: враг толкает его на позор и бесчестие. Выхода нет: нужно принять позор и бесчестие.

Он ринулся на левый фланг, куда надвигались цепи сорок первого полка противника; хотя перебежчик говорил, что этот полк готов перейти к партизанам, но это могло быть провокацией; в Ефрема выстрелили, выстреливший тотчас же поражен ударом винтовки своего же солдата; «Люди! Сорок первый! Кто среди вас за мировую справедливость? Кто за ее — все ко мне!»; его схватили, кинули в воздух, он вырвался, вскочил на коня, нельзя было терять ни секунды; увидел неподалеку Тасю Черненко, она плакала, перед нею лежал раненый или убитый Петрович, услышал плач ее, не то бабий, не то ребячий, совсем детский, хлестнул гнедого; он примчался к спрятанной Петровичем в лесу «араре»; снова жаркие слова, призыв к женщинам, старикам, детям — сегодня надо не испугать белых, а врезаться с тыла и фланга в его живые порядки, потому что там такие же женщины, старики, дети; в его действиях — страсть, не рассудок: но вот он разбивает «арару» на три лавы, указывает им направление и порядок, назначает руководителей, третью лаву поведет он сам — страсть ли, рассудок в его действиях? «Нас в тот же миг поддержит армия из своих окопов, выйдя нам навстречу и в лобовой удар противнику...» — правда, обман, вера, уверенность? Кто даст команду, если нет главнокомандующего? Если есть тысячи солдат, глядевших на него, но нет его на посту, кто даст им приказ?

В лаве мелькнула фигура Власихина. Сын он скрыл от войны в урмани и будто бы даже одержал в этом победу, верх над людьми, только сам сделался крохотный — меньше того старикашки.

Мещеряков уже впереди лавы, шел все рысью, почти наметом, не смотрел, не оглядывался. «Ему нужен был позади, за собою, конский топот, человечьи голоса и дыхание Это было».

И было: армия без главнокомандующего, сама по себе выходила из окопов, полк за полком, под красными знаменами, по своей воле, потому что это была воля главнокомандующего, по воле главнокомандующего, потому что это была ее воля.

Так завершается роман. Это завершение — как мощный взрыв, неизбежность которого предчувствовалась. Во взрыве этом воедино сплелись любовь и ненависть, страсть и разум, духовное и природное, свобода и необходимость, особенное и всеобщее. В пламени этого взрыва с отчетливостью проступили контуры того идеала, к которому вели не только «Соленая Падь», но и очерк «Весной 1954 года», и страницы «Троп Алтая», и повесть «На Иртыше». Этот идеал утверждался и образом Башлакова, боровшегося против пут, связывавших инициативу, и в коллективистском мироощущении простой и доверчивой Онежки, и в богатых задатках души, в тяготении к творческому труду Степана Чаузова, и в народности, в слитности с народом, в служении ему Ефрема Мещерякова.

Художественный идеал, утверждаемый этими образами, их движением, направленностью их развития, их устремленностью, вполне реален, он выведен из самой действительности, и он — общий с политическим, социальным, нравственным идеалом, нашедшим свое высокое выражение в величайшей истине: «Социализм живой, творческий, есть создание самих народных масс» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 57).

Герои С. Залыгина народны, рождены своим временем и нужны ему. Разве могут быть иными образы, выражающие такой идеал?

Характеры, выражающие этот идеал, никаким иным способом, кроме предоставления их самим себе, свободе от авторского диктата, не могли быть созданы. Свобода и независимость достигнуты автором потому, что в их создании ему служила правда, и так как правда не может быть зависимой от того, кому она служит, обрели независимость от него герои.

Творчество С. Залыгина своеобразно. Это своеобразие идет прежде всего от своеобразия его героев.

Своеобразие С. Залыгина особенно проявляется в способах воплощения им и раскрытия жизненных противоречий. В проти-

воречиях, в их разрешении и неразрешенности, в их борьбе и единстве утверждаются нравственные и социальные ценности.

Язык С. Залыгина превосходно служит этой цели — цели выявления и раскрытия противоречий. В способе управления им уже заключено противоречие: авторская речь приобретает особенную яркость, свежесть и непринужденность, когда он ее целиком подчиняет речи героев, просторечию, — так повесть «На Иртыше» вся написана языком героя. Подчинившись ей, он ею управляет, и управляет искусно, до виртуозности.

В воплощении противоречивости ему служит и отдельное слово: «стакнуться», «едовитый», например.

Служит целая фраза: в «Тропах Алтая», например, пасечница, глядя на Андрея и Риту, «о чем-то догадалась, но не догадалась ни о чем». Она действительно ни о чем не догадалась, но догадалась точно.

Служит связь предложений: в ночь перед

боем жена Мещерякова, дежуря у изголовья спящего мужа, измену которого простила и не могла простить, думала:

«Дора глядела на него — боялась. что убьют его завтра. Что не убьют и на всю жизнь он останется такой, как есть. Что не сможет его бросить. Что бросит его. Не знала — разбудить его, броситься перед ним на колени, просить прощения или — проклясть, чтобы он ужаснулся, наконец почувал бы однажды в жизни страх и бессилие, узнал бы, что это такое...»

То ли в отблеске взрыва, раскатившегося и все осветившего в конце «Соленой Пади», то ли в излучении детской непосредственности характера Мещерякова, проявленной до этого, но словно бы вновь проступили начертанные парнишечьей рукой две секретные буквы: «БП». Но теперь они читаются так: большой писатель. Или рано еще? Пусть еще не пора: надежды так велики, ожидания так гребовательны...

Звенит, звенит труба Мещерякова...



Академик В. ЖИРМУНСКИЙ

★

## О ТВОРЧЕСТВЕ АННЫ АХМАТОВОЙ

(К восьмидесятилетию со дня рождения)

1

**Р**усская классическая поэзия и советская поэзия наших дней богаты именами больших поэтов, слава которых распространилась далеко за пределы нашей родины. Среди них мы вспоминаем, как одно из первых и самых несомненных, имя Анны Ахматовой, восемьдесят лет со дня рождения которой исполнилось 23 июня 1969 года.

Долгая жизнь Ахматовой и сохранявшаяся до самого конца этой жизни творческая свежесть ее дарования связывают в ее лице нашу современность с наследием русской поэтической классики, XIX с XX веком. Удивительно, однако, что эта связь с традициями поэтического прошлого не отягчает творчества поэтессы ненужным балластом времени, но, напротив, окрыляет его и делает живым и нужным для современного советского читателя. И не только для читателя советского: известен необыкновенный успех поэзии Ахматовой во всем мире, в особенности за последние годы, известны переводы ее стихотворений и многочисленные их издания и переиздания, статьи о ней, книги и ученые диссертации, ей посвященные. Незадолго до смерти, в 1964 году, Ахматовой была присуждена в Италии международная поэтическая премия «Этна-Таормина», а в 1965 году Оксфордский университет, один из старейших в Европе, увенчал ее почетной степенью доктора.

Это мировое признание поэзии А. Ахматовой тем более примечательно, что в литературе и искусстве на Западе продолжают господствовать различные формы так

называемого «модернизма» (то есть крайний субъективизм содержания и творческих методов), а критика этого направления склонна отрицать в искусстве все, что не носит на себе печати новейших веяний, как «старомодное» и «банальное», как пережиток XIX века.

Между тем стихи Ахматовой никак не соприкасаются с «модернизмом». Простота и прозрачность их художественной формы, правдивость и подлинность чувства, объективность художественного метода, при всем неповторимо личном своеобразии, — эти черты ее поэзии продолжают традиции русского реалистического искусства XIX века, осложненные всем богатством душевных и художественных открытий нашего времени, но лишенные всякого показного «новаторства».

Мировая слава Ахматовой — это победа большого реалистического искусства над господствующим в современной буржуазной литературе Западе модернизмом.

В своих еще не опубликованных мемуарных записях шестидесятых годов Ахматова неоднократно полемизировала с зарубежной и эмигрантской критикой «Иностранцам почему-то хочется замуровать меня в десятые годы». Подчеркивая перелом, совершившийся в ее творчестве во второй половине тридцатых годов, она писала: «Почерк у меня изменился, голос уже звучит по-другому», «Возврата к первой манере уже не может быть. Что лучше, что хуже — судить не мне». «1940 — апогей. Стихи звучат непрерывно, наступая на пятки друг другу, торопяся и замыкаясь разные и иногда, наверное, аллохие». Около этого

времени написаны «Реквием» (1935—1940), «маленькая поэма» «Путем вся земля», особенно характерная для этого переломного этапа (1940), создаются первая редакция «Поэмы без героя» (1940—1942) и большое число лирических стихотворений, в которых любовная тема вытесняется общественной, исторической, народной. Период этот завершается патристической лирикой «Ленинградского цикла» (1941—1944).

Вряд ли можно согласиться с Ахматовой, когда в пылу полемики с критиками, сознательно или бессознательно пытавшимися «замуровать» ее в прошлом, она намеренно подчеркивала пренебрежительное отношение к своим ранним стихам как к пройденному этапу своего творчества. Но, несмотря на непреходящее художественное значение таких классических сборников любовной лирики, как «Четки» и «Белая стая», недаром выдержавших за короткое время первый — девять, второй — четыре отдельных издания, нельзя не признать, что позднее творчество Ахматовой, в течение долгого времени оставшееся незамеченным критикой, представляет новый, притом наиболее зрелый этап ее развития как поэта.

Еще более пагубным для правильного восприятия и истолкования поэзии Ахматовой было рассмотрение ее в узких рамках литературной группы акмеистов, претендующее на «историзм» и прочно укоренившееся во всех учебниках по истории русской литературы начала XX века. Как известно, акмеизм был одной из школ, возникших в русской поэзии 1910-х годов, в период кризиса символизма, в качестве реакции против этого господствующего направления. Вожди и теоретики акмеизма, поэты Н. С. Гумилев и С. М. Городецкий, в своих литературных манифестах (журнал «Аполлон», № 1, 1913) выступили против поэзии, стремившейся к выражению иррациональных, мистических переживаний в символах, намеках и иносказаниях с помощью логически неясных, но музыкально действенных сочетаний слов. «Борьба между акмеизмом и символизмом,— писалось в этих манифестах,— есть, прежде всего, борьба за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету Землю. Символизм в конце концов, заполнив мир «соответствиями», обратил его в фантом, важный лишь постольку, поскольку он сквозит и просвечивает иными мирами, и умалил его высокую самооценку. У акме-

истов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще».

Однако эта теоретическая программа, ориентированная как будто бы на своего рода эстетический реализм, лишь в малой степени адекватна творчеству поэтов, преодолевших символизм, и прежде всего, как неоднократно указывалось, потому, что им недоставало связи с народом и обществом. Сергей Городецкий вообще оказался лишь случайным попутчиком акмеизма, вовлеченный в борьбу против символизма своими литературными неудачами и полемикой с Вячеславом Ивановым и Блоком. Три поэта, определивших творческое лицо группы, были и остались совершенно не похожими друг на друга. Н. Гумилев, ученик Брюсова, Теофиля Готье и парнасца Леконта де Лилля, и после своего манифеста продолжал оставаться преимущественно поэтом декоративной и романтически условной экзотики. Творческий путь О. Мандельштама повел его от мнимой материальности «Камня» (1913—1916) к поэтике сложных и абстрактных иносказаний созвучной таким явлениям позднего символизма («пост-символизма») на Западе, как поэзия Поля Валери и французских сюрреалистов или англичанина Дилана Томаса. Только Ахматова пошла в своей поэзии путями открытого художественного реализма, все более глубокого по силе творческого обобщения, и потому, сохраняя память о поэтических дружбах своей молодости, она могла тем не менее справедливо проводить грань между своими бывшими соратниками и собой в своих мемуарных записях: «Почему этим якобы грамотеям не приходит в голову отметить тот довольно, по-моему, примечательный факт, что на моих стихах нет никакого влияния Г-ва, несмотря на то, что мы были так связаны, а весь акмеизм рос от его наблюдения над моими стихами тех лет, так же как над стихами Мандельштама» (подразумевается «Камень»).

## 2

Всякое большое поэтическое явление, всегда трудно объяснимое в своей индивидуальной неповторимости, легче истолковать путем сопоставления с другими, даже если они не могут претендовать на роль прямого «источника» для творчества поэта.

Другу Ахматовой поэту О. Мандельштаму принадлежит такое, по видимости парадоксальное, сопоставление: «Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и богатство русского романа XIX века. Не было бы Ахматовой, не будь Толстого с «Анной Карениной», Тургенева с «Дворянским гнездом», всего Достоевского и отчасти даже Лескова. Генезис Ахматовой весь лежит в русской прозе, а не в поэзии. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развила с оглядкой на психологическую прозу» («Письмо о русской поэзии», 1922).

Как общее указание сопоставление это справедливо. С тем разве добавлением, что здесь не хватает указания на ту «психологическую прозу», которая по своей лаконичности в изображении душевных событий и состояний более всего напоминает поэзию ранней Ахматовой, — на прозу Пушкина, в особенности на его новеллистику. Между тем предельный лаконизм, удивительная емкость, психологическая насыщенность образа — отличительнейшая черта поэзии Ахматовой, начиная с ее ранних «стихотворных новелл».

Настоящую нежность не спутаешь  
Ни с чем, и она тиха.  
Ты напрасно бережно кутаешь  
Мне плечи и грудь в меха.  
И напрасно слова покорные  
Говоришь о первой любви.  
Как я знаю эти упорные  
Несытые взгляды твои!

Повествование (сюжет) здесь отсутствует, вернее, оно спрятано в поступках и жестах героев. Жесты эти психологически выразительны и заменяют рассказ. Общая мысль в форме сентенции, которой открывается стихотворение, уже заключает в себе все его содержание и вместе с тем нравственную оценку отношений героя и героини. Все это вмещается в рамки восьми стихотворных строчек и исчерпано до конца.

Так и в других «стихотворных новеллах» молодой Ахматовой, с их иногда большим, иногда меньшим повествовательным содержанием, центр тяжести лежит не на рассказе, а на психологически выразительных подробностях поступков, жестов, обстановки:

Везовольно пощады просят  
Глаза. Что мне делать с ними,  
Когда при мне произносят  
Короткое, звонкое имя?

Или:

Как не похожи на объятья  
Прикосновенья этих рук.

Или еще:

Я на правую руку надела  
Перчатку с левой руки.

И в том же стихотворении в качестве развязки действия:

Только в спальне горели свечи  
Равнодушно-желтым огнем.

Вряд ли было бы целесообразно напоминать здесь о тех особенностях поэтики Ахматовой, которые уже были неоднократно предметом специального рассмотрения. В них «прозу» (в том смысле, в котором употребил это слово О. Мандельштам) напоминают бытовая и психологическая обыденность тематики, отсутствие специфических для поэзии романтических «украшательств» всякого рода:

...Не пастушка, не королева  
И уже не монашенка я —  
В этом сером будничном платье,  
На стоптанных наблуках...

Стихи приближаются к «прозе» интонацией интимной разговорной речи, синкопированными ритмами, неполными рифмами и частыми переносами из стиха в стих, «домашним» характером словаря и фразеологии, несложностью синтаксиса. В результате создается впечатление реалистической правдивости и непосредственности рассказа лирической героини о своих переживаниях, потрясающего своей искренностью и простотой.

Одним из признаков художественного мастерства Ахматовой справедливо считали необыкновенную сжатость и лаконичность средств художественного изображения. Большинство ее лирических миниатюр имеют три, реже — четыре строфы, очень часто — всего две. Целая группа ее ранних стихотворений объединялась заглавием «Восьмистишия» (5 №№ в сборнике «Гиперборей», 1913, IX—X; 3 №№ в газете «День», 1914, 29 июня). Восьмистишие было для нее в ту пору чем-то вроде сонета — структурно законченной малой формой лирического стихотворения; три строфы давали уже возможность диалектического развития лирического переживания. Психологические

черты, за которыми стоит душевная повесть, сведены при этом к минимуму экзотичности и к максимальной выразительности.

Но особенно обращает на себя внимание широкое использование «малых форм» — четверостиший, трехстиший и даже двустиший. Они служат средством вполне законченного выражения душевного события или переживания, или афористически законченной мысли, а иногда воспринимаются как фрагмент более обширного целого, читателю неизвестного, а может быть, и ненужного. Образцы, в художественном отношении полноценные, встречаются у Ахматовой уже в ее ранних записях (1912—1914), однако, по-видимому, следуя господствующим вкусам, она первоначально не была вполне уверена в законности их существования в большой поэзии. Первый «осколок» такого рода (ноябрь 1913) попал в печать в последнем (девятом) издании «Четок» (1923) и позднее не переиздавался. Он может служить образцом «открытой формы», по существу, однако, вполне законченной:

Простишь ли мне эти ноябрьские дни?  
В каналах приневских дрожат огни,  
Трагической осени скудны убранства.

Позднее из ряда стихотворений, написанных в разные годы, Ахматова составила в «Беге времени» целый цикл: «Вереница четверостиший» (9 №№, 1945—1963). В черновых ее тетрадях сохранился ряд других, из которых приведем некоторые.

Десятые годы:

Улыбнулся, вставши на пороге,  
Умерло мерцание свечи.  
Сквозь него я вижу пыль дороги  
И косые лунные лучи.

В ноябре 1943-го (Ташкент):

Когда я называю по привычке  
Моих друзей заветных имена,  
Всегда на этой странной перекличке  
Мне отвечает только тишина.

Незадолго до смерти:

А как музыка зазвучала  
И очнулась вокруг зима,  
Стало ясно, что у причала  
Государыня-смерть сама.

Из трехстиший (1960):

И это могла, и то бы могла,  
А сама, как береза в поле, легла.  
И кругом лишь седая мгла.

Во время болезни в Ташкенте (1942):

Если ты смерть — отчего же ты плачешь  
сама?  
Если ты радость — то радость такой  
не бывает.

Неизданное вступление к «Полночным стихам» (элегическое двустишие, 20 августа 1963):

Если бы брызги стекла,  
что когда-то звеня разлетелись,  
Снова срослись — вот бы что  
в них уцелело теперь.

Такие, записанные для себя, наброски встречаются во всех рукописях Ахматовой, в деловых блокнотах, в тетрадях мемуарного и литературно-критического содержания. Задача будущего исследователя — собрать эти крупинки золотого песка, среди которых нередко встречаются настоящие самородки.

### 3

Учителем Ахматовой в краткости, простоте и подлинности был на протяжении всей ее жизни Пушкин. Она любила стихотворения Блока, несмотря на полярность их творческих методов (теоретические манифесты акмеистов были прежде всего направлены против символизма Блока), но отталкиваясь от Блока, она вместе с тем бессознательно и невольно не раз подпадала под чарующее влияние его любовной лирики. В своих заметках она писала: «Блока я считаю не только величайшим поэтом первой четверти XX века, но и человеком-эпохой, то есть самым характерным представителем своего времени...» Она называла своим «учителем» Иннокентия Анненского, который открыл ей искусство передавать простыми, по видимости будничными словами тонкие оттенки лирических переживаний современного поэта. Она впоследствии рассказывала своим друзьям, какое впечатление произвело на нее (уже после смерти поэта) первое чтение корректуры его сборника «Кипарисовый ларец» (1910): «Я сразу перестала видеть и слышать. Я не могла оторваться, я повторяла эти стихи днем и ночью... Они открыли мне новую гармонию» (по записи Л. К. Чуковской). Однако влияние Пушкина с юных лет было тем воздухом, которым дышала ее поэзия.

Стихи Пушкина Ахматова знала наизусть. У нее было свое, очень интимное,



стически современное сочетается в нем, как в архитектуре Ленинграда, с классически прекрасным. Однако даже в царскосельских стихотворениях Ахматовой (таких, как «Царскосельская статуя», «Павловск», и других), в которых прекрасное преобладает, полностью отсутствует та эстетская стилизация под XVIII и начало XIX века, которая имела такое широкое хождение в годы ее молодости среди поэтов, вышедших из школы символизма, учеников Кузмина, или среди художников-стилизаторов «Мира искусства».

## 4

Значение для творчества Ахматовой русской народной поэзии (в особенности женской песни) до сих пор оценено недостаточно. А между тем в народной песне мы неизменно находим параллельно с воздействием Пушкина, а иногда и одновременно с ним (как в ранней поэме «У самого моря», 1914) один из важнейших источников творческого вдохновения поэтессы. Великолепное владение поэтическими средствами русского языка было воспитано в ней не только традициями русской классики, но и постоянным соприкосновением с живой народной поэтической стихией.

Было бы, конечно, грубым упрощением, если бы мы вздумали толковать эту «народность» поэзии Ахматовой как фольклоризм и на этом основании зачислили бы Ахматову в разряд поэтов специфически русского «народного стиля». И все же не случайно «песенки», как особая жанровая категория, подчеркнутая заглавием, проходят через все ее творчество, начиная с книги «Вечер»:

Я на солнечном восходе  
Про любовь пою,  
На коленях в огороде  
Лебеду полю.

В «Беге времени» мы находим целый цикл таких «песенок» — «Дорожная», «Лишняя», «Прощальная», «Последняя», написанных в разное время от 1943 по 1964 год. К этому циклу присоединяются в рукописи еще две: «Застольная» и «Любовная». Две песенки 1956 года включены в цикл поздних любовных стихотворений «Шиповник цветет». Использование тематики и образности женской песни для объективации лирических переживаний поэтессы приводит в одном из лучших образцов этого жанра к отождествлению своей судьбы с судьбою

женщины из народа и только легкая, ласковая ирония отделяет автора от его лирической героини:

## Песенка

А ведь мы с тобой  
Не любились.  
Только всем тогда  
Поделились.  
Тебе — белый свет,  
Пути вольные,  
Тебе зорюшки  
Колокольные.  
А мне ватничек  
И ушаночку.  
Не жалея меня,  
Каторжаночку.

Прямым использованием стиля народных плачей является опубликованное в № 5 «Нового мира» 1969 г. «Причитание», завершающее, как надгробный памятник, героическую лирику ленинградского цикла. Стилизация (свободная и творческая) подсказана была здесь патриотической темой и стремлением поднять ее, подчеркнув ее народное значение. Но таким же народным плачем Мариэтта Шагинян справедливо назвала и стихотворение Ахматовой на смерть Александра Блока (1921):

А Смоленская нынче именинница,  
Синий ладан над травой стелется,  
И струится пенье панихидное,  
Не печальное нынче, а светлое...

Стиль и образность старинного народного причитания свободно используются здесь в соответствии с замыслом торжественного всенародного оплакивания смерти поэта.

Однако определяющее значение для творчества Ахматовой в целом имели не столько отдельные случаи жанровой и тематической стилизации (от причитания до частушки), сколько широкое использование языка и стиля народной поэзии, а тем самым народного восприятия действительности. Народные формы параллелизма и повторений, народная образность («символика»), лексика и фразеология, дактилические рифмы, определяющие метрическую форму народного стиха, — все это взаимодействует с теми оригинальными поэтическими средствами, которыми располагает Ахматова как современный лирик.

Я окошка не завесила,  
Прямо в горницу гляди.  
Оттого мне нынче весело,  
Что не можешь ты уйти...

Или:

И вот одна осталась я  
Считать пустые дни.  
О вольные мои друзья,  
О лебеди мои!  
И песней я не скличу вас,  
Слезами не верну.  
Но вечером в печальный час  
В молитве помяну.

Или еще:

Горе душит, не задушит,  
Вольный ветер слезы сушит,  
А веселье, чуть погладит,  
Сразу с бедным сердцем сладит.

Примеры можно легко умножить: они встречаются как в ранних, так и в поздних произведениях Ахматовой («Реквием», «Поэма без героя»). Ахматова (с годами все более) умеет быть потрясающе народной без всяких «квази», без фальши, с суровой простотой и бесценной скупостью речи,— писала в 1923 году Мариэтта Шагинян. Именно на этот путь вступила Ахматова в последний период своего развития.

## 5

Основное место в лирике Ахматовой занимает любовная тема — так же как в народной песне и в сонетах Петрарки, в лирике Гёте и Пушкина и во всей мировой лирической поэзии вообще. Любовь в стихотворениях Ахматовой — это чувство живое и подлинное, глубокое и человеческое, хотя в силу реальных жизненных причин обычно тронутое печатью облагораживающего страдания. Боль разлуки, неудовлетворенность минутным счастьем всегда связаны у нее с высокой требовательностью к любви. Чувство поэтессы, знающее разных героев, по существу стремится к единственному образу настоящей любви. Поэтому (вопреки довольно распространенному вульгарному мнению) это чувство не легкое и разбросанное, но сосредоточенное, не безответственное в своей мимолетности, а всеохватывающее и внутренне необходимое.

Ты, росой окропляющий травы,  
Вестью душу мою оживи,—  
Не для страсти, не для забавы,  
Для великой земной любви.

Отсюда — высокое благородство, большая нравственная чистота ее любовных стихов.

Новым (вернее, редким в истории поэзии, в том числе и русской) было то, что устами

Ахматовой заговорила женщина. Но стихи «русской Саффо» менее всего были «женскими» или «дамскими» стихами, подобно дешевому рукоделю ее многочисленных, в большинстве своем забытых, подражательниц, над которыми она сама зло посмеялась в «Эпиграмме» (цикл «Тайны ремесла»):

Могла ли Биче словно Дант творить,  
Или Лаура жар любви восславить?  
Я научила женщин говорить...  
Но, боже, как их замолчать заставит!

Как в народной женской песне, в любовных стихах Ахматовой женское чувство, несмотря на противоположность психологической перспективы, такое же общечеловеческое, как в «мужских» стихах Пушкина или Гёте. Недаром, по воспоминаниям близких, «влюбленный Маяковский всегда читал Ахматову» (Л. Брик. Маяковский и чужие стихи. «Знамя», № 3, 1940).

Было бы неправильно, однако, отделять непроходимой стеной интимную лирику Ахматовой от ее гражданской поэзии, утверждая, будто гражданским поэтом она впервые сделалась в годы Великой Отечественной войны. Ее памятные патриотические стихи, созданные в эти годы («Ленинградский цикл», 1941—1944, и другие), являются только вершиной этой чрезвычайно знаменательной линии ее творчества, органически связанной с ее любовью к родине. Уже в годы первой мировой войны Ахматова создала цикл стихов, в которых, без универсально распространенных в то время псевдопатриотических штампов, чувство любви к родному народу и народное горе показаны сквозь призму переживаний простой русской женщины. В свое время широкой популярностью пользовалось и много раз перепечатывалось стихотворение «Утешение» (1914):

Вестей от него не получишь больше,  
Не услышишь ты про него.  
В объятий пожарами скорбной Польше  
Не найдешь могилы его...

К тому же времени относятся два стихотворения, озаглавленные «Июль 1914», стихотворение «Памяти 19 июля 1914 г.» и трогательная, как выражение глубокого личного чувства, «Молитва» (1915):

Дай мне горькие годы недуга,  
Задыханья, бессонницу, жар,  
Отыми и ребенка, и друга,  
И глянцевый песенный дар —

Так молюсь за твоей литургией  
После стольких томительных дней,  
Чтобы туча над темной Россией  
Стала облаком в славе лучей.

Неоднократно цитировались стихотворения Ахматовой 1917—1922 годов («Мне голод был. Он звал утешно...» и другие), знаменующие решительный разрыв с близкими ей в прошлом людьми, ушедшими в эмиграцию:

Не с теми я, кто бросил землю  
На растерзание врагам...

Началу второй мировой войны, захвату Парижа и варварскому обстрелу Лондона немецкими фашистами посвящены стихотворения из цикла «В сороковом году»: «Когда погребают эпоху» и «Лондонцам». Не только личные, но глубоко патриотические мотивы вдохновили Ахматову на создание трагического цикла «Реквием» (1935—1940). В стихах ленинградского цикла рядом с глубоким патриотическим пафосом «Клятвы» и «Мужества», получившим всенародное звучание, обращает на себя внимание, как и в 1914 году, показ общенародного, исторического через личное и интимное: стихотворение, посвященное гибели ленинградского мальчика Вали Смирнова, соседа и любимца Ахматовой, убитого немецкой бомбой («Постучи кулачком — я открою»); стихи о статуях Летнего сада, которые поэтесса вместе с женщинами, оставшимися в городе, укрывает от обстрела врага «свежей садовой землей». Защитники Ленинграда, положившие «жизнь свою за други своя», в стихотворении «Победителям» (1944) — это простые русские люди:

Незатейливые парнишки —  
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,—  
Внуки, братики, сыновья!

В поздней лирике Ахматовой, во многом не похожей на ее ранние стихи, «гражданская тема» в широком смысле занимает не меньшее место, чем тема интимно-лирическая. Все чаще звучат элегические раздумья над своим прошлым, над судьбой своего поколения и своего народа, размышления об искусстве, его задачах и его судьбах, мотивы своеобразной философской и моральной дидактики, сплетенные с личными лирическими воспоминаниями и неизбежно тяготеющие к большим обобщениям и к более широкой эпической форме.

6

Стремлением Ахматовой выйти за пределы мгновения личного переживания и представить его в классически обобщенных объективных формах подсказана была серия ее стихотворений на мифологические, исторические и литературные темы, проходящие через все ее творчество, начиная с «Аппо Доміпі» (1922). Это — «Библейские стихи» («Рахиль», «Лотова жена», «Мелхола», 1922—1961), «Данте» (1936), «Клеопатра» (1940), Дидона («Не пугайся, — я еще похожей...», 1956), «Античная страничка» («Смерть Софокла», «Александр у Фив», 1961). Эти образы «вечных спутников», как бы высеченные из мрамора, в обычной для Ахматовой лаконической форме немногими чертами воспроизводят исторический колорит эпохи: таковы в особенности библейские стихи (архаически-патриархальный фон любовной трагедии в «Рахили») или «Клеопатра», подсказанная известными строками из Пушкина. Но правдивость чувства истории и искусство его объективного художественного воплощения соединяются в большинстве стихотворений со скрытым личным подтекстом, который связывает его с современностью, с переживаниями художника, получившими в нем классическое воплощение. В особенности это ясно в использовании рассказа Вергилия из «Энеиды» о любви Дидоны и Энея, подсадившего поэтессе прошальный монолог Дидоны («Был недолго ты моим Энеем»). Отчаяние покинутой женщины получает торжественно-приподнятое обобщение в монументальной обличительной концовке:

Создан Рим, плывут стада флотилий,  
И победу славословит лествь.

В «Данте» воссоздается суровый образ поэта-изгнанника, великого гражданина и патриота; в «Лотовой жене» — мучительность прощания с родным прошлым, осужденным на гибель:

Кто женщину эту оплакивать будет?  
Не меньшей ли мнится она из утрат?  
Лишь сердце мое никогда не забудет  
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

Одновременно Ахматова стремится выйти за пределы узкой композиционной формы краткого и замкнутого в себе лирического стихотворения. Подготавливая новые издания своих стихов, она озабочена созда-

нием лирических циклов как своеобразной новой структурной формы большого масштаба: в процессе этой работы стихотворения по-разному группируются и перегруппировываются. Любовной темой объединены лирические циклы «Сипуче», «Шиповник цветет», «Полночные стихи»; любовное переживание разрывает в них рамки лирической миниатюры; переключка между стихотворениями по содержанию и общность колорита создают более обширное единство, в котором каждое стихотворение становится частью большого целого. Ташкентские стихи 1942—1944 годов со своей особой ориентальной темой и соответствующим колоритом включаются в цикл «Луна в зените». Стихи гражданские, связанные с темой второй мировой войны, входят в цикл «В сороковом году» (в преддверии войны), «Ветер войны», «Победа», «С самолета» (возвращение на родину). Рассуждения о поэзии (разного времени) составили цикл «Тайны ремесла». Жанровым единством объединены, как уже было сказано, «Песенки» и «Четверостишия». Но между ними также создается переключка — не только по жанру, но по теме и стилю.

Еще более характерна для Ахматовой общая тенденция к эпическим формам. В поэзии русских символистов царила лирика как наиболее адекватное выражение субъективности переживания. Опыты в большом эпическом жанре обычно кончались у них неудачей. Поэма Блока «Возмездие», задуманная как широкое историко-биографическое полотно, посвященное судьбе народа и поколения, осталась фрагментом в результате противоречия между замыслом и художественным методом. «Первое свидание» Андрея Белого было завершено как поэма малого масштаба с лирико-биографическим содержанием.

Первым опытом Ахматовой в стихотворном повествовании была ранняя поэма «У самого моря» (1914), связанная по теме с воспоминаниями детства, проведенного на берегу Черного моря, а по художественной форме — с народным стихом и стилем «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина. В свое время поэма выдержала пять изданий, но позднее целиком не переиздавалась.

«Эпические мотивы» (1913—1916) являются, в сущности, отрывками лирической автобиографии, в которой поэтесса находит для рассказа новую форму, более свободную и широкую, чем ее краткие лириче-

ские миниатюры, стихотворения, — не связанный строфой классический белый стих.

В 1925—1935 годах Ахматова работала над поэмой, также основанной на личных воспоминаниях, но на этот раз общественно-исторического содержания — «Русский Трианон» («Царскоесельская поэма»). Трианон, дворец в Версальском парке, где жила накануне Французской революции королева Мария-Антуанетта, жена Людовика XVI, намечает историческую параллель: время на пороге революции 1917 года, крушения царского режима; старое аристократическое Царское Село, доживающее свой век в праздной самоуспокоенности, противопоставляется грядущим социальным катастрофам, начало которым положила первая мировая война:

И рушилась твердыня Эрзерума,  
Кровь заливала горло Дарданелл...  
Но в этом парке не слышали шума,  
Хор за обедней так прекрасно пел:  
Но в этом парке мрачно и угрюмо  
Сияет месяц, снег алмазно бел.

Ахматовой не удалось осуществить план широко задуманной «царскоесельской поэмы», где упоминались и Распутин, и его поклонница, близкая царскому двору А. Вырубова, которую поэтесса называет «вавилонской блудницей». Возможно, что Ахматова не сумела справиться со сложной социально-исторической темой; возможно и то, что ее стесняла выбранная ею форма стансов (сестины), смущавшая ее близостью к Пушкину. Кроме отрывков, печатавшихся в журналах и сохранившихся в архиве, существуют очень интересные автобиографические материалы в прозе, посвященные Царскому Селу на границе двух столетий и близко перекликающиеся с «Русским Трианоном». Сохранились и два стихотворных отрывка описательного содержания: «Царскоесельская ода. Девятисотые годы» (1961) и «Мои молодые руки» (из цикла «Юность» — о старом Павловске, 1940).

Решительный перелом в поэтическом методе Ахматовой обозначается в поэме «Путем вся земли». Как и стихотворения «Когда погребают эпоху» и «Лондонцам», оно относится к началу второй мировой войны (1940). В «ночных видениях» героини — «китежанки», с которой отождествляет себя поэтесса, — возникают детские воспоминания англо-бурской и русско-японской войн («Цусима», «Варяг» и «Кореец»). Воспоми-

нания о Цусиме всегда оставались для Ахматовой знаменательной вехой ее исторического сознания. Она записывает в своих заметках: «9 января и Цусима — потрясение на всю жизнь, и так как первое, то особенно страшное». С этими потрясающими событиями отдаленного прошлого перекрещивается трагическая картина гибели «старой Европы» в первую мировую войну, проецированная в современность:

Окопы, окопы —  
Заблудишься тут!  
От старой Европы  
Остался доскут,  
Где в облаке дыма  
Горят города...

Новую эпическую форму, наиболее широкую и вместительную по своим масштабам, представляют «Ленинградские элегии», впоследствии названные «Северными». Идея объединить несколько ранее написанных стихотворений, связанных биографической темой и ее трактовкой, впервые возникла у Ахматовой после войны. По ее замыслу в состав «Элегий» должно было войти семь стихотворений, написанных в разное время — от 1921 до 1955 года. В «Беге времени» опубликовано только четыре; три неопубликованных сохранились в архиве в разных списках, одна (вторая по хронологии событий) напечатана в № 5 «Нового мира» 1969 г. Если расположить все семь элегий не по времени написания, а по содержанию, то они представлят нам в такой историко-биографической последовательности: (I.) Предыстория («Россия Достоевского...») — блестящий образец той «исторической живописи» Ахматовой, о которой писал Корней Чуковский («Читая Ахматову», «Москва», № 5, 1964): «Русские семидесятые годы — это стихийное вторжение капитализма в полуфеодальную Русь», сопровождаемое распадом старой дворянско-помещичьей культуры, и первые отдаленные признаки тех грядущих общественных потрясений, которые уже в то время преувидел Достоевский:

Все разночинно, наспех, как-нибудь...  
Отцы и деды непонятны. Земли  
Заложены. И в Вадене — рулетка...

Страну знобит, а омский каторжанин  
Все понял и на всем поставил крест. —

(II.) Детство и юность. Ранняя слава как незаслуженный и роковой дар судьбы.—  
(III.) Семейная идиллия в Царском Селе

накануне первой мировой войны (1913—1914), над которой нависает тень близкой трагической развязки («В том доме было очень страшно жить...»).— (IV, по «Бегу времени» II.) Пятнадцать лет, проведенных в Фонтанном доме (Шереметевском дворце) с Н. Н. Пунным и разрыв с ним (1923—1938).— (V — VI, по «Бегу времени» III—IV.) Элегические раздумья над прожитой жизнью:

Меня, как реку,  
Суровая эпоха повернула.  
Мне подменили жизнь. В другое русло,  
Мимо другого потока она,  
И я своих не знаю берегов.—

(VII.) «Последняя речь подсудимой» («А я молчу...») осталась недоработанной.

С постановкой на предугазанное место трех не вполне законченных звеньев (элегии II, III, VII) становится полностью явным историко-биографический замысел автора. В этом своеобразном элегическом эпосе повествование, охватывающее целую жизнь, насквозь проникнуто лирической рефлексией. Суровый и мужественный тон и сдержанная горечь, подсказанная реальными обстоятельствами жизни поэтессы, как в «Возмездии» Блока, не допускают никаких украшений. Позднего Пушкина, как уже было сказано, напоминает белый стих его элегических раздумий («Вновь я посетил тот уголок земли...»), связанный у Ахматовой с автобиографическим рассказом.

## 7

Творческим синтезом поэтического развития Ахматовой является «Поэма без героя», над которой поэтесса работала более двадцати лет (1940—1962). Ее личная судьба и судьба «ее поколения» получают здесь общую оценку в свете исторической судьбы не только ее современников, но и ее родины.

Первая редакция поэмы, уже тогда состоявшей из трех частей («Триптих»), была начата в Ленинграде 26—27 декабря 1940 года и закончена в Ташкенте 18—19 августа 1942 года. Автограф этой редакции сохранился. За ним последовал длинный ряд работ. В 1956 году Ахматова писала: «В течение пятнадцати лет эта поэма, как припадок какой-то неожиданной болезни, вновь набегала на меня, и я не могла от нее оторваться, дополняя и исправляя, по-видимому,

оконченную вещь». За эти и последующие годы поэма выросла почти вдвое. Самый текст перерабатывался лишь в редких случаях, но были вставлены целые дополнительные куски с новыми темами (Павлова, Шаляпин, многое о Блоке, о старом Петербурге, царскосельская любовная идиллия, образ «гостя из будущего» и др.). Прежние темы дополнялись новыми подробностями, иногда всего одной или двумя добавочными строчками, раздвигавшими податливые рамки «ахматовской строфы» (например, о «Петрушке» И. Стравинского). Был введен новый психологический авторский план, выводящий из «девятьсот тринадцатого года» в современность и в эгегические раздумья над событиями (эти стихи набирались курсивом и первоначально были заключены в скобки). К первому посвящению прибавилось второе, потом третье. К первоначальному концу «Эпилога», посвященному спутнику в полете из Ленинграда в Москву Д. Д. Шостаковичу и его Ленинградской симфонии, присоединилось вытеснившее его впоследствии второе окончание — картина эвакуации на восток, путь через Урал в Ташкент в переломный период Отечественной войны. Тема личных воспоминаний 1913 года и личной судьбы писательницы в 1941 году переросла, таким образом, в историческую и общественную. «Моя бедная поэма, которая началась с описания встречи Нового года и чуть ли не с домашнего маскарада, — смела ли она надеяться, к чему ее подпустят?»

Сюжетным ядром «Поэмы без героя» является ее первая часть: «Девятьсот тринадцатый год. Петербургская повесть» (подзаголовок «Медного всадника»). Прошлое встает перед автором в освещении настоящего:

Из года сорокового,  
Как с башни, на все гляжу...

Новогодний вечер героиня проводит в одиночестве, она сидит перед зеркалом, может быть — это сцена гадания, во всяком случае новогодний сон. В зеркале появляются тени ее друзей 1913 года, они спешат на новогодний маскарад. Современник мог бы угадать под масками их имена, но это не требуется по замыслу поэта. Главные действующие лица — традиционные в маскарадных пьесах того времени (как «Балаганчик» Блока): Коломбина — приятельница Ахматовой О. Глебова-Судейкина, же-

на художника С. Судейкина, известная красавица десятых годов, артистка, танцовщица и певица, бывшая тогда в зените своей славы; Пьеро — «драгунский корнет» (на самом деле гусар), начинающий поэт Всеволод Князев, также хороший знакомый Ахматовой; Арлекин, его счастливый соперник, в котором угадываются черты Александра Блока («Гавриил или Мефистофель», «Демон с улыбочкой Тамары»). Самоубийство в 1913 году двадцатидвухлетнего Князева, не сумевшего пережить измену своей «Травиаты» (так Коломбина названа в первой редакции), взволновало людей, знавших его близко. Впрочем, «эпидемия самоубийств» и другие формы «неприятя жизни» были в то время характерны для морально неустойчивой молодежи из господствующих классов. Незадолго до Князева, в 1911 году, как отмечает Ахматова в своих записках, покончил с собой поэт Виктор Гофман, представитель молодого поколения символистов, с которым она только что познакомилась в Париже. Автор жалеет «глупого мальчика», ставшего жертвой «первой обиды», но вместе с тем не может простить ему «бессмысленную смерть» на пороге больших исторических событий.

Вообще отношение Ахматовой к тому «блестящему миру», который она изображает, двойственное — в особенности к «Коломбине десятых годов», собирательному образу женщины того времени и того круга, как автор пишет об этом в своих заметках. Выступая в роли «рокового хора» трагедии, то есть произнося над своей героиней исторический приговор, она дает этой «петербургской кукле, актерке» характеристику, не лишённую моральной жесткости и иронии, хотя и признает в ней «один из своих двойников». Подобная двойственность эстетического любования и морального осуждения окружающей действительности была характерна уже для молодой Ахматовой и объясняет путь ее дальнейшего внутреннего развития в отличие от многих ее современников и современниц. Известное стихотворение в «Четках», написанное 1 января 1913 года и в черновике озаглавленное «Бродячая собака», с посвящением «Друзьям», а потом в «Аполлоне» получившее название «Cabaret artistique» («Художественное кабаре»), можно рассматривать по теме, образности и даже по размеру как набросок, из которого впоследствии разовьется поэма «Девятьсот тринадцатый год»:

Все мы бражники здесь, блудницы,  
 Как невесело вместе нам!  
 На стенах цветы и птицы  
 Томятся по облакам.

Навсегда забыты окошки:  
 Что там, изморозь или гроза?

О, как сердце мое тоскует!  
 Не смертного ль часа жду?  
 А та, что сейчас танцует,  
 Непременно будет в аду.

Точно так же в «Поэме» «серебряный век», о котором пишет Ахматова, обречен на гибель (подобно старому Царскому Селу в «Русском Трианоне»), и гибель эта уже стоит у дверей:

И всегда в духоте морозной,  
 Предвоенной, блудной и грозной,  
 Жил какой-то будущий гул,  
 Но тогда он был слышен глуше,  
 Он почти не тревожил души  
 И в сугробах невских тонул.

Словно в зеркале страшной ночи,  
 И беснуется и не хочет  
 Узнавать себя человек,  
 А по набережной легендарной  
 Приближался не календарный —  
 Настоящий Двадцатый Век.

Вторая часть «Поэмы», озаглавленная «Решка» (в значении оборотной стороны медали или монеты), начинается с очень прозаического и современного разговора между автором и редактором, разрушающего иллюзию реальности романтических видений «Петербургской повести». Разговор постепенно переходит в объяснение автором своего замысла и метода («у шкатулки тройное дно», «применила симпатические чернила») и неожиданно заключается грандиозной аллегорией торжества настоящей высокой поэзии — сценой сожжения на берегу моря тела утонувшего Шелли и образом его друга Байрона («Георга») с факелом в руке.

Третья часть, «Эпилог», возвращается к исторической современности, в осажденный

Ленинград; прощание с «моим городом», окрашенное эгегическими воспоминаниями, путь на восток через Каму, Урал, Сибирь в суровые дни отступления завершаются предчувствием великой победы:

И себе же самой навстречу  
 Непреклонно в грозную сечу,  
 Как из зеркала наяву,  
 Ураганом — с Урала, с Алтая,  
 Долгу верная, молодая,  
 Шла Россия спасать Москву.

Первая часть «Поэмы» напечатана целиком в «Беге времени» (стр. 309—335). Две последние опубликованы большими отрывками в повременной печати. Архив Ахматовой содержит очень интересный балетный сценарий к «Петербургской повести» с обширным историко-бытовым материалом, не включенным в стихотворный текст, а также многочисленные замечания по поводу истории создания и авторского замысла поэмы.

\* \* \*

Поэтическое наследие Анны Ахматовой далеко еще не собрано полностью. Последнее собрание стихотворений «Бег времени» («Советский писатель». М.—Л. 1965) сделано было под наблюдением автора, с большим вкусом и текстологически точно, однако оно содержит немногим более половины печатного материала. В двух архивах — Центральном архиве литературы и искусства в Москве (ЦГАЛИ) и рукописном отделении Ленинградской Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина — хранится большое число неизданных автографов, как стихотворных, так и прозаических (воспоминания, литературная критика, библиография). «Библиотека поэта» в настоящее время приступила к изданию стихотворений Ахматовой с привлечением неизданных текстов и учетом творческих вариантов. В предыдущем номере «Нового мира» опубликовано шестнадцать неизданных стихотворений.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**К. Икрамов.** От своего имени.— **А. Каждан.** Забытая литература.— **Ст. Рассадин.** Подводя итоги.— **Л. Осповат.** Как становятся Рафаэлем Альберти.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**О. Лацис.** Пути реформы — **А. Петухов.** Бумажные цветы.— **А. Иванов.** Утопизм реакции.— **Г. Сиводедов.** История исторических исследований.

## Литература и искусство

### ОТ СВОЕГО ИМЕНИ

**В. Александров.** Чужие — близкие. Роман. Издательство художественной литературы имени Г. Гуляма. Ташкент. 1968. 295 стр.

Есть такие наивные литераторы, которые, садясь за стол, сразу начинают писать от имени народа или же от имени поколения, начисто забывая первое условие искусства — говорить прежде всего от себя. Писать можно хоть «от первого лица», хоть во втором лице, хоть в третьем, но станет ли твоя книга выражением мыслей и чувств других людей, покажет время.

Роман В. Александрова «Чужие — близкие» начинается прямо сводкой Совинформбюро.

«...За 16 октября уничтожено 28 самолетов противника. Наши потери — 17 самолетов. За 17 октября над Москвой сбито 14 немецких самолетов.

Организованная командованием Красной Армии в течение последних 8 дней эвакуация советских войск из Одессы закончилась в срок и в полном порядке. Войска, выполнив свою задачу в районе Одессы, были переброшены нашим морским флотом на другие участки фронта в образцовом порядке и без каких-либо потерь. Распространяемые немецким радио слухи, что советские войска

были вынуждены эвакуироваться из Одессы под напором немецко-румынских войск, лишены всякого основания...»

Эту сводку слушает маленький одессит Славка. Он чудом спасся вместе с бабушкой с пушенного немцами под воду парохода. А сейчас он в чужом далеком городе в Средней Азии, за тысячи километров от родного дома. Он стоит у ворот строящегося текстильного комбината и слушает черный репродуктор.

«У меня мурашки бегут по спине. Я опускаю голову и вижу, как, придавленные невидимой тяжестью, стоят вокруг меня люди... Они угрюмо смотрят в мокрую, пурящуюся под дождем землю, и все держат в руках свои матерчатые мешочки с железной миской и ложкой внутри.

Вчера вечером бабушка сшила мне такой же из куска старой мешковины. Таким образом и я теперь причислен к рабочему классу».

Вильям Александров пишет просто. В его предыдущих книгах эта простота настораживала. Только постепенно удавалось про-

следить в ней сознательную писательскую позицию. Он шел от рассказов о том, что «и так бывает в жизни», к рассказам о том, «как было на самом деле». По существу это и есть путь к тому, чтобы научиться говорить от себя лично.

Итак, перед нами бесхитростный рассказ про мальчика Славку, про его погибших родных, про бабушку, муж которой убит очень давно, в 1905 году, во время погрома.

Бабушка для всех своих детей и зятьев мечтала о профессии электромонтера. Когда-то, когда в ее родном городе провели электричество, в их дом пришел чисто одетый молодой человек с приятным лицом, с портфелем в руке. Из портфеля он вынул отвертку, покрутил что-то возле счетчика, и во всем доме загорелся свет. Жильцы собрали ему целых пятнадцать рублей. «Какая интеллигентная специальность», — завистливо сказала бабушка и на всю жизнь запомнила того монтера.

И вот теперь четырнадцатилетний Славка долбит пазы в каменной стене вместе с другим мальчиком — Мишкой Хабибуллиным, чтобы проложить электрокабели к текстильному комбинату. Во время обеда они стоят со своими мисками и смотрят, как хмурый мастер Бутыгин раздает работникам затируху.

«Широко расставив ноги в своем обвешанном комбинезоне, он помешивает поварешкой и, прежде чем извлечь ее из бачка, кидает быстрый взгляд вбок на подошедшего. В тот же миг поварешка с плеском вылетает из бачка и опрокидывается в железную миску...

— Погляди, погляди, как разливает, — зашептал Миша, — ловкость рук — никакой мошенства, красивеньким погуще, стареньким — похуже...»

Как ни горько сознавать это, но Мишка прав по отношению к мастеру Бутыгину. Славка вскоре увидит это сам и будет бороться с ним в меру своих слабых сил. Но книга написана не только про это, а и про то, как строился комбинат, продукция которого нужна фронту, с какими трудностями сталкивались люди, трудностями материальными и моральными, которые мы одолели тогда, о которых не должны забывать теперь, называя все это общим словом «трудности».

Славка рубает пазы, тянет провода, устанавливает тяжеленные электродвигатели. Он стоит в очереди за жидким супом и ре-

шает вопрос, как лучше съесть свою пайку хлеба, чтобы меньше чувствовать голод. Он видит вокруг себя много тяжелого и даже просто плохого, но есть в нем какой-то очень верный нравственный компас, заложенный в человеке еще до первых детских сказок и самими сказками, какими-то, на иной суровый взгляд, «сентиментами», о которых мы можем только догадываться, вспоминая свой собственный нравственный опыт. Есть такой компас и у Мишки, есть у Махмуда — парня из пригородного кишлака, попавшего в эту маленькую монтерскую бригаду. В сложных ситуациях эти молодые и неопытные ребята почти всегда, пусть интуитивно, находят правильное решение.

А ситуаций таких в романе множество. Попадает к ним в бригаду странный и нелепый, больной и голодный человек другого мира — Вацлав Сеньор. Он сын капиталиста, иностранец, оказавшийся в Средней Азии вместе с сотнями тысяч других разноплеменных беженцев. Ребята зовут Сеньора Синьором и принимают его, понимают и любят. Есть в романе немец, врач-хирург, антифашист, бежавший из гитлеровской Германии. С ним оказывается куда проще, чем с некоторыми своими близкими, но часто совершенно чужими людьми. Интересно, что раздел между чужими и близкими (автор в названии романа соединил эти слова знаком тире) проходит даже внутри семей. Узбекский юноша Махмуд постоянно угощает своих бригадников урюком — всеобщим эквивалентом ценности тогдашних азиатских базаров. И только потом выясняется, что этот урюк его отец, чужой для него человек, давал ему для продажи.

Тот же раздел четок и в отношениях людей, живущих в одной «карусели» со Славкой. «Карусель» — это комната, радиально разделенная веревками на секторы, где живет несколько семей эвакуированных. Свокорыстие и зависть, мещанское счастье, построенное на слепом эгоизме, осуждены в романе прежде всего отношением самого Славки и его друзей. Они молоды и любят прямые оценки. Тут автор тоже прост, потому что верен своим любимым героям. Но, говоря за Славку и от его имени, автор никогда не позволяет себе забежать вперед или воспарить над ним в сегодняшнем своем всеведении.

Мерой своих поступков, своей совести Славка и его друзья, конечно же, избирают

фронт, фронтовиков, и поэтому так понятна привязанность Славки к тяжело раненному майору Кожину. И естественно, что мальчик, когда потребовалась майору его помощь, должен решать сложные, совсем не детские вопросы, требующие щедрого сердца.

В последних главах книги автор, к сожалению, избрал путь некоторой беллетристической округленности. Есть там и суд над мастером Бутыгиным, и мраморный щиток вместо мемориальной доски, прибитый к столбу, на котором погиб монтер Миша Хабибуллин; дождались люди наконец и второго фронта; и в цех приходит новый бригадир монтеров — человек со шрамом на щеке и в морской робе (тот самый, что спас Славика и бабушку во время гибели парохода в Черном море).

Вероятно, все это происходит от простого сердечного искушения сообщить читателю,

«чем дело кончилось и на чем сердце успокоилось», однако подлинным финалом романа мне кажутся слова: «У ворот комбината я купил, как обычно, кукурузную лепешку, положил ее в свой матерчатый мешок, прошел через проходную — здесь уже говорили про то, что американцы и англичане высадились в Нормандии. А я шел к своему цеху и думал, что надо будет менять ввод — он слишком слабо натянут и замыкает при сильном ветре. Кроме того, надо делать профилактику «японцу» — давно его не чистили, и еще не мешало бы сменить головной подшипник у того, на консоли».

Так думал возмужавший мальчик Славка, и этот образ мыслей был главным для поколения, для времени, это помогало тылу быть на уровне фронта. Об этом и рассказал В. Александров от первого лица и от себя лично.

**К. ИКРАМОВ.**



## ЗАБЫТАЯ ЛИТЕРАТУРА

Памятники византийской литературы IV—IX веков. «Наука». М. 1968. 355 стр.

**XIX** столетие было влюблено в классическую Элладу, в страну свободы, разума и пластического искусства. Византию не знали и, не зная, презирали. Она представлялась царством косности, бессмысленных теологических диспутов, лстивых и коварных внухов, писателей, коверкавших язык Платона и Демосфена. Мы пожинаем плоды этого презрения: до сих пор многие византийские сочинения либо не изданы вовсе, либо изданы из рук вон плохо, как выражаются ученые — «некритически»; до сих пор ни на одном языке нет настоящей истории византийской литературы, и приходится пользоваться выпущенной в 1897 году книгой немецкого филолога Карла Крумбаха — справочником (довольно сильно устаревшим), где литература представлена не как живой процесс, а как механическая сумма отдельных жанров, авторов и произведений; до сих пор византийская литература в наших вузах остается за бортом, ей нет места ни в курсе античной, ни в курсе средневековой литературы.

Вот характерный пример. В 1964 году вышли в Москве три антологии, посвященные поздней античной литературе (II—V века).

Подбор авторов поражаел предвзятой односторонностью: из ранневизантийских писателей (а хронологически ранневизантийский период охватывает IV—V столетия) включены были только те, кто продолжал античные традиции; ни Василия Великого, ни Иоанна Златоуста, ни христианской поэзии, ни церковной истории, ни житий.

А интерес к Византии и созданным в ней памятникам растет от года к году, растет и за границей и у нас. Стали появляться русские переводы византийских авторов: в 1959 году — Иоанн Каменната, в 1960 году — эпос о Дигенисе Акрите, в 1964 году — эпиграммы Паллада Александрийского, в 1965 году — «Алексиада» Анны Комниной и сборник «Византийская любовная проза». И, наконец, первая у нас хрестоматия по византийской литературе, охватывающая, правда, лишь начальные столетия ее истории. Наконец-то нашему читателю стали доступны, хотя бы в крохотных фрагментах, и Иоанн Златоуст и Роман Сладкопевец...

Что случилось? Почему наш современник — кто осознанно, кто ошупью — обращается к Византийской империи, исчезнувшей более пятисот лет тому назад, останав-

ливается в удивлении перед мозаиками византийских церквей и с не меньшим удивлением обнаруживает у византийских писателей и этические и художественные ценности, не безразличные в XX столетии?

Может быть, прогресс исторической науки реабилитировал Византийскую империю и мы недавно открыли, что она была истинно правовым государством, где процветало равенство и были созданы все условия для свободного взлета всевозможных искусств? Нет, конечно. Разгадку растущего интереса к Византии и к византийской литературе следует искать в другом.

Византия была наследницей античного мира. Здесь говорили по-гречески, города носили старые и славные названия — Афины, Эфес, Антиохия, сами себя византийцы называли «ромеями», римлянами, а свое государство — Царством ромеев, Римской империей. И все-таки Византия была отрицанием античного мира. В античности человек прежде всего принадлежал общине-городу, который на востоке Средиземноморья называли полисом, а на западе муниципием. В Византии полисные связи исчезли, открылся путь для упрочения индивидуализма. Стала укрепляться самая мелкая ячейка общества — семья. Бракосочетание сделалось торжественным обрядом, развод был воспрещен, второй брак (после смерти супруга) едва терпели, за третий подвергали церковному наказанию.

Но Византия отличалась и от западноевропейского феодального общества, корпоративного и сословно-иерархического. В Византии корпорации были рыхлыми, «индивидуализированными», неспособными защитить своего сочлена, а сословной замкнутости не существовало. Человек мог подняться с самых низких ступеней социальной лестницы до вершины общественной пирамиды, бывший конюх мог сделаться императором — и вместе с тем он легко мог быть низвергнут, растоптан. Бок о бок с индивидуализмом уживалось здесь ощущение нестабильности, неуверенности.

Византийский писатель XI века Кекавмен, автор назидательной книги «Советы и рассказы», лучше других передал это настроенное постоянной боязнью, царившее при константинопольском дворе. Всех надо опасаться — подчиненных и начальников, собутыльников и случайных болтунов, а пуще всего друзей. Нельзя позволить другу остановиться в твоём доме — Кекавмену кажется, что

тот непременно высмеет заведенные тобой порядки и соблазнит твою жену. Опасно давать в долг, но опасно и брать в долг. Опасно принять участие в мятеже против императора, но опасно и не принять в нем участия: ведь узурпатор может и победить. Молчание, лесть, униженное прислужничество, ложные клятвы — вот опоры, на которых Кекавмен советует строить жизнь.

Византиец потерял античные полисные связи и не обрел феодальных корпоративных связей. Он оказался одиноким в нестабильном мире и, может быть, именно поэтому подчиненным могущественной и чуждой ему силе — деспотической государственной власти, самодержавию (наше слово «самодержец» — калька византийского термина «автократор»).

В античных полисах, в западноевропейских средневековых странах человек — во всяком случае тот, кто принадлежал к господствующему классу, — воспринимал государственную власть как «свою». Он находился «внутри» нее — как член феодальной иерархии, подлежащий суду пэров (равных), или как участник народного собрания, экклесии. Для византийца (на какой бы ступени общественной лестницы он ни находился) государственная власть конструировалась как внешняя, отделенная от него сила, воплощенная в особой личности — божественном автократоре, культ которого составлял существенный элемент государственной религии.

Сама власть здесь своеобразна. Правящий в Константинополе император кажется всевластным: он представляется подданным почти божеством, во всяком случае наместником бога, он окружен невиданной роскошью, одет в пурпур и золото — и эти пурпур и золото никому, кроме императора, не дозволено носить; он назначает всех чиновников и каждого из них может сместить; он верховный судья и, более того, «воплощенный закон»; он верховный главнокомандующий; он может сослать, ослепить, казнить кого угодно и может конфисковать имущество каждого из своих подданных. Он господин, все остальные — рабы. А при всем этом византийская монархия нестабильна, как и все в византийском мире. Царская власть не наследуется, не переходит сама собой старшему сыну самодержца. И наоборот, так просто ее узурпировать, провозгласить нового императора! Узурпаторам за византийскую историю нет числа, а полови-

на константинопольских государей оставила престол не по доброй воле: кто утоплен в бане, кто отравлен, кто зарезан в собственной спальне, кто пострижен в монахи.

А рядом с большими — постоянные небольшие перевороты. У огромной армии византийских чиновников нет официального главы, кроме императора. Управляет сложным аппаратом не тот, кто занимает определенный государственный пост, но фаворит государя, кем бы он ни был. Он может быть главным спальником, охраняющим ночной покой императора, или логофетом дома — по-нашему чем-то вроде министра иностранных дел и одновременно министра почты. Смена фаворита всегда оказывалась болезненной: она вызывалась клеветой, интригой, подсиживанием. Государственный аппарат Византии лихорадило непрестанно.

Как могло случиться, что в этих условиях создалось большое изобразительное искусство и менее известная, но не менее значительная литература? Конечно, оказались и внешние причины. Византия долгие столетия была самым богатым государством Европы, а искусство, как это ни обидно, требует денег: не только мозаичные кубики, но и пергамен стоил дорого. Византия сохранила античное наследие гораздо лучше, чем государства Западной Европы: Гомера, трагиков, Аристофана здесь читали, учили в школах, кое-кто знал наизусть. В Византии существовала профессиональная интеллигенция — не только архитекторы и врачи, но также профессиональные ораторы и поэты. Пусть положение их было незавидным: многие из них жили впроголодь и смертельно завидовали какому-нибудь сапожнику, в кладовке которого хранилась привлекательная пища; многие продавались — за государственную службу, за церковную должность; многие выступали как официозные литераторы; их творчество подлежало цензуре и им всегда угрожало обвинение в ереси. И при всем том именно в этой научно-литературной среде зарождались кружки друзей и в противовес кекавеновскому эгоистичному индивидуализму стала культивироваться дружба. До нас дошла переписка тех лет, полная восторженного прославления «филии», дружбы, для описания которой служили чуть ли не эротические образы «томления», «влечения».

И все-таки дело не только в этих внешних обстоятельствах. Далекое не все приспособ-

лялись так безраздумно и прагматически, как это сделал Кекавмен. Византийский мыслитель и художник, действовавший в эгоистичной и нестабильной среде, подчиненный деспотическому произволу, страстно мечтал о преодолении общественного раскола, о достижении стабильности — обо всем том, что составляло «отрицание» византийского общественного порядка.

Тут приходится коснуться одного нередко поверхностно трактуемого у нас вопроса — о христианстве. Конечно, христианство было официальной идеологией Византийской империи: император ставил себя под защиту Христа, а вместе с тем нормой его поведения было подражание («мимисис») Христу. Конечно, князья церкви влиялись в господствующий класс, а монастыри эксплуатировали крестьян. Но не надо забывать, что в христианстве была и другая сторона: христианство родилось как протест против гипертрофированной погони за «материальным», погони, которая стала отличительной чертой жизни Римской империи и которая сохранялась (вопреки победе христианства над язычеством) и в Византии. Под «материальным» разумелось и богатство, и власть, и слава. Богатство, власть и слава, которые уничтожали человеческое в человеке.

Христианство было санкцией существующего порядка, но могло обернуться и средством его критики. (Не будем только требовать от этой критики классовой сознательности.)

Христианство воспринимало мир разорванным, раздвоенным. Гармоническое единство космоса, свойственное мировоззрению античного полиса, в последний раз защищал живший в V веке неоплатоник Прокл. Согласно Проклу, материя есть в конечном счете порождение божества (порождение, а не творение!). Для христианина, напротив, отделены и противопоставлены земля и небо, зло и добро, ложь и правда, тварь и творец. Стремление преодолеть это противоречие и создает свойственное христианскому искусству ощущение трагизма.

Но сказать так — значит сказать не все. Суть христианства обнаруживалась в том, что оно допускало преодоление космического противоречия. Земля не только противопоставлена небу, но и связана с ним. Бог не только бесконечно противоположен человеку, но и доступен для него — доступен, во-

первых, потому, что посылает на землю второе лицо троицы, которое, воплощаясь, обретая способную страдать плоть, становится богочеловеком; доступен, во-вторых, потому, что с помощью молитвы, смирения, унижения человек достигает возможности чувственно воспринять божественные «энергии», видеть божественный свет. Это и есть «обожение».

Преодоление разрыва земли и неба — чудо и тайна, разумом его не постичь. И вот тут-то обнаруживается первостепенная задача (с точки зрения человека той эпохи) искусства — воплотить в образе то, что недоступно разуму: трагический разрыв и торжество его преодоления. И примечательно: христианство на Западе ставит акцент на трагичности бытия, сосредоточивая и культ и искусство вокруг самого драматического момента евангельской мифологии — вокруг распятия, тогда как византийцы подчеркивают примирение бога с людьми, снятие противоречивости, воплощение бога. Эта мысль — «сочетание небес земле» — определяет традиционный декор византийского храма и систему образов византийской поэзии.

Человечность бога — удивительное чудо, поражавшее художников, живших в эгоистичном и деспотичном мире, топтавшем человеческое в человеке. Под пером Романа Сладкопевца маленький эпизод евангельского рассказа — омовение Христом ног ученикам — приобретает космическую громадность:

Ангелы в страхе изумляются,  
Архангелы крылами закрываются.  
Взирая с небес на непостижного,  
Перед перстью себя смирившего,  
Перед прахом спину преклонившего.  
Гавриил кличет в иступлении:  
— Рати небесные, воззритесь,  
Неслыханному делу подивитесь.  
Простер стопу апостол,  
И моет плоть людскую,  
Кто плоть и мир созидил.

(Перевод С. С. Аверинцева)

Человечность, которой так не хватало в византийской действительности, становилась программой византийского искусства. Человечность, которая приобретала гипертрофированные формы самоотвержения, духовной бедности, смирения. Все смешалось в мифологических построениях: слабость становилась силой, нищета — богатством, подчиненность — величием. Юрдин

вый предсказывал будущее, отшельник приручал льва. В шатком мире византийца художественным идеалом оказывается недвижимый старец, плотно стоящий на обеих ногах, с лицом, представленным в фас, с глазами, обращенными на зрителя, за зрителя. Не готическая взволнованная устремленность ввысь, а успокоенная безграничность (и потому — ограниченность) купола.

Человек всегда в фокусе византийского мирозерцания. По выражению богослова IV—V веков Немесия, он микрокосм, подобие вселенной, соединяющее в себе душу и плоть, небесное и земное. Он центр космоса, ибо небеса обращаются вокруг его обиталища, земли. Он центр исторического процесса, ибо ради него бог нисходит на землю, исполненный любви и сострадания к грешникам. Для него созданы звери и птицы, рыбы и травы, и даже гады нужны, чтобы побуждать его к деятельности, не давать успокоиться. Византийское изобразительное искусство антропоморфно.

Но «человек» византийского искусства — не подражание «твари», а отблеск Идеи. Существование, с точки зрения христианина, разумно и направляется высшим принципом, провидением, Идеей. Задача бытия не выводится из реальности, а строится на отрицании земной реальности, ибо состоит в подготовке себя к смерти, являющейся вместе с тем вратами в жизнь вечную. Искусство, соответственно, состоит не в воссоздании изменчивой и преходящей реальности, но в восхождении к Илее, образ («икона» и значит: образ, подобие) которой обладает большей реальностью в глазах византийца, нежели пошлая реальность видимого мира.

Отсюда вытекают два принципа эстетики — символизм и тяга к стереотипу. Символизм потому, что в каждом явлении действительности раскрывается второй (высший и наставительный) смысл. В «Шестоднев» Василий Великий рассуждает, помимо всего прочего, об образе жизни аистов, которых, оказывается, во время перелетов сопровождают и охраняют вороны. Картинка, конечно, фантастическая и почерпнутая не из наблюдений за птицами, но она «работает», она наставительна. «Все это установлено, — заявляет Василий, — заботой бога о бессловесных существах в назидание тебе, чтобы ты просил

у него то, что нужно для спасения» (*перевод Л. А. Фрейберг*).

Логика символического мышления непривычна для нас. Она строится на внешней, случайной аналогии. Тот же Василий объясняет, почему царь Давид избрал из всех музыкальных инструментов псалтирь. Псалтири, оказывается, присуща благодать свыше. Почему? У других инструментов, лиры или кифары, звуки льются от удара по нижней части струн, псалтирь же — «единственный музыкальный инструмент, рождающий звук своей верхней частью» (*перевод Т. А. Миллер*). Наивно? Пожалуй. Но символика обогащает язык искусства, придает знакам емкость.

Русскому искусствоведу Н. П. Кондакову принадлежит очень показательное противопоставление. Он писал, что младенец Христос у ренессансных художников представлен подлинным ребенком, играющим или спящим. На византийской же иконе младенец — в недетском одеянии, со свитком в руке, с серьезным и сосредоточенным взглядом. Иногда он даже представлен условной полуфигурой, заключенной в медальон. Это — не дитя, это символ Идеи.

Стереотипы, казалось бы, противоречат всей системе византийского мирозерцания с его последовательным индивидуализмом. Но в том-то и дело, что византийский индивидуализм не свободен. Он не освобождает личность, а подчиняет ее — подчиняет деспотизму государственной власти и не менее жесткому деспотизму Идеи. «Не люблю ничего своего» — этот принцип, провозглашенный Иоанном Дамаскиным, определял отношение византийца к творчеству. Творчество — скорее комментарий (к Библии, к Гомеру, к римскому праву), нежели созидание. Герой византийского жителя, «положительный герой» византийской литературы, конструируется из серии стереотипов, восходящих, как правило, к библейскому прототипу. В византийском похвальном слове непременно восхваляется — и непременно в начале — родина и предки героя, царь сравнивается с солнцем, царица — с луной. Те же метафоры и сравнения, те же ситуации и цитаты кочуют из памятника в памятник, искусство состоит не в нахождении новых сравнений и метафор, но в изящном сочетании стереотипов.

Книга, послужившая поводом для моих рассуждений, в известном смысле результат героических усилий. Люди, которые ее

делали, не византийцы. Все они — и представители старшего поколения, как М. Е. Грабарь-Пассек и Ф. А. Петровский, и научная молодежь (С. С. Аверинцев, Т. А. Миллер, Т. В. Попова и другие) — по образованию и интересам античники-классики. Чтобы сделать эту книгу, они должны были отвлечься от привычных занятий, войти в новую область, овладеть другой специальностью. Это не вторжение кочевника, но скорее печальная необходимость: византийская литература, как я уже сказал, не преподается у нас (несмотря на всю ее важность и для истории цивилизации вообще и для древнерусской культуры в частности) и специалистов в этой области нет или почти нет. А труд был немалый! Ведь почти все в антологии переведено заново, кроме фрагментов Прокопия (в переводе С. П. Кондратьева) и двух житий, переведенных еще в прошлом столетии В. Г. Васильевским. Поблагодарим же составителей и переводчиков за смелость первого опыта.

Поблагодарим — и тут же разведем руками. Трудно представить себе более неровную книгу. Слово в христианской системе мироздания, в хрестоматии парадоксальным образом уживаются великолепные переводы и свободные характеристики некоторых византийских авторов с умопомрачительной неряшливостью.

Поэтические переводы С. С. Аверинцева достигают той свободы выражения, которая превращает их в русские стихи:

Мне мерзостен глупец, что суетумдрствует.  
Мне мерзостен, кто всем готов

поддакивать.  
Мне мерзостен невежда, как Иуда сам.  
Мне мерзостен в речах нецеломудренный.  
Мне мерзостен доносчик на своих друзей!  
Мне мерзостен речистый не ко времени.

В переводе гномических одностийших поэтессы IX века Касии Аверинцев точно сохраняет структурный рисунок оригинала; он сохраняет лексическое своеобразие, подбирая слова с чуть-чуть архаичным оттенком, и вместе с тем строки Касии звучат естественно, просто, раскованно.

И столь же раскованно и свободно, словно о хороших знакомых, рассказывает Аверинцев о писателях давней поры. Григорий Нисский — выдающийся философ и богослов, оратор и епископ, а Аверинцев находит для него такие смелые и будничные

слова: «Мальчик, воровавший от молитвы часы для чтения, никогда не умирал в епископе Ниссы». И рядом четкие, лаконичные и умные определения, например: «Для Василия (Великого.— А. К.) писательство — один из способов целенаправленного воздействия на людей; для Григория (Богослова.— А. К.) — главная радость жизни и возможность выразить себя».

Как было бы хорошо, если бы я мог закончить на этом энкомии (так византийцы называли похвальное слово), не спускаясь на грешную землю ляпсусов и ошибок.

Я не хотел бы говорить о составе хрестоматии. Состав всегда довольно произволен, в применении к Византии произвольность тем более естественна, ибо перед нами — первая антология. Но есть один пробел, о котором нельзя не напомнить, — это Евсевий Кесарийский, писатель, стоящий у порога византийской литературы. Это ему принадлежит жизнеописание императора Константина, где он провозглашает, что Истина с большой буквы выше будничной правды и что о злодеяниях великого Константина надо умалчивать из дидактических соображений. Евсевий — создатель своеобразного жанра церковной истории. По мысли Евсевия, история человечества — не совокупность изолированных эпизодов, но целенаправленное, последовательное, прогрессивное движение, подчиненное высшему разуму. Я подчеркиваю это особенно потому, что во вступительной статье (авторы Л. А. Фрейберг и Т. В. Попова) мы с удивлением читаем, что «жанр историографии в основном также свободен от нововведений». Оказывается, Евсевий не просто не включен в хрестоматию, он забыт, ибо церковная история, телеологически построенная, разумеется, совершенно новый тип исторического повествования.

Смущает меня нередко и порядок расположения авторов. Почему Агафий Миринейский, который был продолжателем Прокония, помещен до Прокония? Почему, помимо переводов из Григория Богослова, собранных в одном месте (стр. 70—83), две его эпитафии публикуются совсем в другом разделе (стр. 161—163)? Это разделение тем более странно, что в первом случае писатель назван Григорием Назианзином, а во втором — Григорием Богословом, в первом случае дата его рождения «около 329», во втором точно — 330. Не примет ли нена-

роком читатель Назианзина и Богослова за разных лиц?

И перевод далеко не всегда достаточно точен. Один пример — письмо Василия Великого философу Евстафию (перевод Т. А. Миллер), письмо, занимающее меньше страницы (стр. 65—66). Слово «польза» (opheles) переведено «жемчужина»; если в оригинале говорится о коварстве демона по отношению к Евстафию, то в переводе адресату приписано демонское упорство: «доходил (в греческом законченое действие: дошел.— А. К.) ты в каком-то демонском упорстве». Василий писал, что они оба оказались в одной и той же стране, переводчица поняла: «Ты наконец дома». В оригинале сказано, что бог «удерживает» (tapietomenos) блага, не посылает их людям — в переводе неопределенно: «Решает по своему усмотрению». После слов: «Что к ним привело» — вовсе пропущена целая фраза. Тут уж не удивись, что следующее письмо — Кандиану — озаглавлено: «Кандиану».

В чем дело? Может быть, просто небрежность? В какой-то мере так, но дело не только в небрежности. В основу перевода положено старое, некритическое издание, а переписка Василия, которая выходит начиная с 1957 года (с французским переводом), не принята во внимание. Вообще о новых изданиях, о новых датировках, о новых точках зрения авторский коллектив обычно осведомлен плохо. Казалось бы, на что известный писатель Синесий — о нем и на русском языке есть работы, в том числе советского историка М. В. Левченко, но перевод гимнов Синесия делается не по новому изданию Н. Терзаги, а по старому, некритическому. И Кирилл Скифопольский переведен со старого издания, а об издании Э. Шварца — ни слова.

Давным-давно уже доказано, что византийского писателя Свиды не существовало, а на страницах хрестоматии он нет-нет да всплывает. Давным-давно доказано, что Синесий приехал в Константинополь в 399 году, а в хрестоматии по-старому его приезд датируется 397 годом. Мелочи? Небрежность? Да, но они перерастают в худшие погрешности.

Жизнь Христорда Коптского (правильно: Коптского или Коптосского, от города Коптос), поэта, о котором мы ничего не знаем, смело датирована 491—518 годами. Откуда взялась эта дата? Опять-таки

от небрежности. Христордор был современником императора Анастасия I, и 491—518 годы не жизни Христордора, а правления Анастасия. Но ведь это совсем не одно и то же. На странице 20 тоже досадная небрежность: идет речь о «школе в Александрии, прославившейся еще в I веке н. э. — в ней учили первые теоретики христианства Климент и Ориген». Итак, Климент и Ориген — первые теоретики, учившие в школе, прославившейся в I веке. I веке не следует из этого, что и жили они в I веке? А на самом деле — на рубеже II и III веков.

Только один абзац — об императоре Юстиниане I. Из этого абзаца мы узнаем серию любопытных новостей: что он был «македонянин по происхождению» — на самом деле иллириец; что он был «основателем новой династии» — на самом деле принял престол от дяди; что он правил «двадцать восемь лет» — на самом деле тридцать восемь; что его завоевательные походы, «в общем, были неудачны», — но разве он не завоевал Северную Африку, Италию

и часть Испании? В другом месте авторы превратили Симона Юродивого (по-гречески «салос») в Симеона из Салоса.

А богословские вопросы? Пусть простит меня читатель, но для византиноведения они не безразличны. Их надо излагать точно. По словам авторов, только еретики-ариане «сообщали образу Христа антропоморфические черты». Неверно. Суть ортодоксального христианства как раз и заключалась в признании Христа «совершенным богом» и одновременно «совершенным человеком».

Составители и переводчики познакомили русского читателя с забытой литературой, с авторами своеобразными, не похожими ни на античных, ни на ренессансных писателей. Хочется пожелать им продолжения их труда. Пусть появятся памятники византийской литературы X—XV веков. Но пусть вторая антология будет сделана добротнее, тщательнее, с большим уважением к предмету.

А. КАЖДАН.



## ПОДВОДА ИТОГИ

**Николай Далада. Весенний ветер (Литературные портреты и критические статьи). «Московский рабочий». М. 1968. 296 стр.**

Эта книга, словно торжественное собрание, открывается «Вступительным словом» ее редактора А. Поликанова. Тон «Вступительного слова» ясно говорит, что издательство возложило на книгу особые надежды, выпуская ее в дни, когда «советские люди подвели внушительные итоги, радуясь тем из них, которые поставили нашу страну в авангарде трудового человечества, и размышляя над сложными проблемами, которые еще предстоит решить».

Дальше сказано, что Н. Далада сумел «по-новому увидеть особенности литературного процесса» и высказал «свои оригинальные суждения» именно по поводу наиболее сложных, нерешенных проблем.

То есть можно понять, что издательство «Московский рабочий» как раз и видит в этой книге один из «внушительных итогов» своей деятельности.

Возможно, так оно и есть. Во всяком случае книге Н. Далады действительно присущи некоторые черты итоговых произведений.

Почти на трехстах ее страницах идет речь

о М. Алексееве и С. Смирнове, В. Тендрякове и П. Проскурине, Н. Шундике и В. Фирсове, Вас. Федорове и Вл. Федорове (список неполон). Место многих из этих писателей в литературе указано автором книги с уверенностью оратора, подытоживающего все предшествующие прения.

Не стану спорить с оценками, выведенными Н. Даладой, по причинам, которые будут ясны в дальнейшем. Цель моей рецензии иная — поговорить о профессиональном уровне книги. К тому же непрерываемый тон Н. Далады нередко заставляет немедленно соглашаться с ним.

Можно ли, скажем, не присоединиться к его гневу против тех, кто «с видом знатока пописывает не по кошности русского мужика, да и о том, что воевал этот мужичок трусовато»? Нельзя не присоединиться.

Правда, вначале почему-то хочется узнать: где чигал Н. Далада таких знатоков? В каких органах нашей печати? И существуют ли они вообще? Но потом начинаешь понимать праздность своих вопросов. Ибо

без ссылки на заблуждения «знатоков» победа Н. Далады не вышла бы столь несомненной.

Столь же убедительна расправа с «некоторыми эстетам», которым не нравится то, что Г. Троепольский — сатирик. Тут, впрочем, и сам критик некоторое время колеблется: «Кто знает! Может быть, советскому читателю и в самом деле не нужны сатирические произведения». Но автор мужественно одолевает сомнения: «Только мне думается иначе».

И далее Н. Далада популярно объясняет, что сатира все-таки нужна. Что на это возразишь?

Не любит Н. Далада и бодрячков. Он так и режет им правду в глаза: «Есть такие бодрячки, которые меряют жизнь наукообразными категориями. Новое, дескать, идет на смену старому напролом, в этом — цель и мудрость жизни. Но я против «бодрячков».

И мы против!

Смело выступив против знатоков, эстетов и бодрячков, Н. Далада не забывает при этом воспитывать «неискушенного читателя».

Пересказывая роман А. Иванова «Тени исчезают в полдень...», а в частности эпизод, в котором изуверка живьем сжигает мужа, Н. Далада пишет: «Вот вам женская психология», — может подумать неискушенный читатель».

Но, оказывается, думать так не надо: оказывается, не всякая женщина поступит непременно так, «в данном случае проявилась вовсе не женская, проявилась психология классовой борьбы».

Как-то сразу становится легче. Не так уже страшно за свою жизнь. (Кстати, классовой борьбе Н. Далада дал завидно смкое определение: «которая по своим целям единственная в своем роде, отличная от борьбы зверей за существование...»)

Но даже в тех случаях, когда Н. Далада берется за реальных оппонентов с именами и фамилиями, когда, казалось бы, появляются возможности для спора с ним, — и тут он обездруживает нас своей пронизательностью.

Как бы вы возражали критику, придерживающемуся противоположного мнения? Боюсь, стали бы скучно копать в его аргументации. Или, смешно сказать, взялись бы за анализ материала. Ну и зря. Ничего этого не нужно. Достаточно просто предпо-

ложить, что оппонент ваш «привык видеть на страницах книг мужиков и баб абстрактных» и ему «трудно, непривычно вообразить живого крестьянина-колхозника».

И все. Этого довольно. Доказывать, разбираться не стоит — тем более что это, по справедливому мнению Н. Далады, трудно.

Он так прямо и говорит: «Трудно — да и нет нужды! — пытаться определить, в каком из жанров Смирнов талантливее, в каком — слабее». И логично: зачем же делать то, что трудно? Зачем трудиться, если обладаешь почти сверхъестественным даром знания до опыта: «Статьи «Трудный путь» К. Лебедевой, «Первые уроки жизни» Е. Стариковой, «Воспитание правдой» Т. Смолянской уже своими названиями (!!!) свидетельствуют о том, что их авторы, приступая к анализу повести, не попытались разобраться в ее содержании по существу».

Вряд ли кто-либо другой, кроме Н. Далады, не читая статьи, сумел бы узнать ее содержание; вряд ли уловил бы уже в двух словах названия — «Воспитание правдой» или «Трудный путь» — криминальную поверхность авторов.

Вообще Н. Далада умеет и знает очень многое из недоступного нам. Он может, допустим, заявить: «В литературных кругах на какое-то время утвердилось мнение, будто Владимир Федоров — прозаик затмил Владимира Федорова — поэта...»

Жгучую зависть испытываете к этой осведомленности, к напряженной духовной жизни литературных кругов, занятых «какое-то время» (надо полагать, немалое) такими проблемами, как это затмение...

Говоря о любимых своих писателях, Н. Далада лепит их обобщенный образ, суммируя то, что ему особенно мило.

Проза М. Алексеева «многоцветна, как сама действительность». А. Иванов открывает «сложную и многоцветную панораму жизни». Картина, созданная П. Проскуриным, «разноцветна и многопланова». Б. Шаховский рисует «картины природы во всей ее многоцветности и широте».

Впрочем, многоцветная повесть М. Алексеева еще и «угловата», как «угловата» героиня П. Проскурина. И в стихах С. Смирнова тоже есть «угловатость».

Действие книг разворачивается «на фоне красочных пейзажей и роскошных бытовых картин», «на фоне сельских пейзажей», «на фоне разноголосой, пестрой жизни станицы», «на фоне публицистических отступле-

ний»; характеры героев рисуются «одним штрихом», «несколькими штрихами», «новыми штрихами и черточками», «неприметными штрихами и черточками» или (для разнообразия) «чертами и черточками», «случайными штрихами и набросками».

Естественно, что книги, созданные подобным образом, впитали в себя крайне много сложного и противоречивого. В «Вишневом омуте» М. Алексеева происходит «осознание сложной, порою драматичной противоречивости жизни»; в его же повести «Хлеб — имя существительное» жизнь тоже «сложна и противоречива», как «сложен и противоречив внутренний мир героев». А. Калинин шел «сложным и противоречивым путем». М. Кочневу жизнь открылась «во всей ее сложности и противоречивости». П. Проскурин «попытался разобраться в сложных противоречиях действительности».

В этой угловато-многоцветной, сложно-противоречивой картине, разумеется, не до частностей анализа. И уж, конечно, не до недостатков. Посмеявшись однажды над формулой «несмотря на некоторые недостатки, произведение в целом несомненная удача», посмеявшись и воскликнув: «Воздержимся от банальной концовки», — Н. Далада в иных случаях не воздерживается: «...Просчеты эти на общем фоне повествования скрадываются бесспорными достижениями».

«Однако «Родник у березы», даже при наличии известных недостатков, дышит суровой правдой жизни, правдой борьбы».

Ради полноты картины Н. Далада умеет не только не придавать недостаткам значения, но и обращать их в достоинства.

Например, он недоволен, что критики, хвалившие «Вишневый омут», недохвалили его, замолчав образ «внешне безликой» Пиады: «Мать! Нет слов, чтобы объяснить, кто ты для жизни. Горький тебя громко славил. О тебе писали многие. А здесь, в романе, писатель отметил только твои веснушки и твой маленький рост... Но и такой ты до слез дорога, потому что художник изобразил тебя началом всех начал».

Н. Далада видит самобытность там, где нам может — по неопытности — почудиться очевидная слабость.

Бывает, правда, что поначалу ему чудится то же самое. Когда читаешь очерки А. Калинина, говорит он, «на первых порах испытываешь какое-то смущение. Создается впе-

чатление, будто автор ходит вокруг да около...».

Но нет! Вскоре выясняется, что хождение вокруг да около — признак своеобразия А. Калинина. Н. Далада умело перебарывает свое «какое-то смущение».

Чаще, впрочем, он его и не испытывает. Скажем, вот эти строки он приводит как образцовые: «Впервые по щеке Михаила скатилась скупая мужская слеза». Или того лучше: «Фрося подгибающимися, плохо слушающимися ее ногами робко приблизилась к столу...» Тут как раз, казалось бы, можно и смутиться: «ногами... приблизилась». Но приходится — в который раз! — смирить нашу гордыню и признать: Н. Даладе виднее. Потому что, скажем, много ли вы можете увидеть в других строчках того же самого писателя:

«В один год мальчишки... остались круглыми сиротами. Отцы и матери их померли в тридцать третьем, а старшие братья да сестры, какие остались живыми, разлетелись бог знает куда и не давали о себе никакого знака».

Н. Далада видит в этих фразах вот что:

«Эта почти библейская (!) краткость слога и его необычная мрачная торжественность передают, кажется, и самый воздух того года, в который на приволжской земле не выпало ни капли дождя, и отсутствие давно выплаканных слез, и... героизм народа, выстоявшего против этой беды...» — и обрывает цитату. Спорить нет никакой возможности, тем более что Н. Далада из принципа отвергает метод литературных доказательств, которым вы, вероятно, захотели бы воспользоваться. С убийственной иронией говорит он о критиках, занятых смешным вопросом, «кто из поименованных писателей у кого учился, кто кому и как подражал». Чудаки — «У всех этих писателей один главный учитель — жизнь».

И, что самое важное, Н. Далада не позволяет нам уклоняться от наибуквальнейшего истолкования этой истины. Он пишет: «Жизнь, подобно великому скульптору...» И подыскивает ей достойных учеников: «М. Алексеев, подобно талантливому скульптору...» Или: «Художник, точно искусный скульптор...» (это уже об А. Калинине).

Еще одна многоцветная картина, притом со своеобразной иерархией: великий скульптор жизнь и два ее подмастерья, один искусный, другой талантливый...

Но, щедрый в любви, Н. Далада суров к тем, кто ему не по душе.

То обстоятельство, что А. Калинин ушел от военной темы в пору, «когда только-только взялись за перо те, кого сегодня считают талантливыми баталистами» (как можно понять из дальнейшего, считают напрасно), обличает, с точки зрения Н. Далады, этих баталистов. В самом деле: «Калинин понимал, что, пока писатели будут описывать последние залпы войны, мешане-приспособленцы не преминут укорениться и захватить жизненные позиции».

Горько сетуешь тут на трусоватых баталистов (кстати, кого же имел в виду наш критик — может быть, К. Симонова, Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Быкова?); следуя логике Н. Далады, даже начинаешь подумывать: а не нарочно ли они потакали приспособленцам, расписывая свои «Последние залпы», вместо того чтобы заниматься настоящим делом?

И если так, то, может быть, следовало бы суровее расчитаться с баталистами, не ограничивать намеками? Ведь умеет же Н. Далада быть нелюбезным, не спуская даже классикам.

Например, говоря о сатире одного из современных советских писателей, он попутно замечает, что ей свойственно «чувство меры, даже в гиперболизации (это не гиперболизм Щедрина, фантастический до предела, и не грандиозно-фантастический гиперболизм Маяковского)...»

Так утратившим чувство меры Щедрина и Маяковскому указано их место. И поделом: не утрачивай!

Зато кого Н. Далада любит, так уж любит! Вот какими определениями награждает он одного из любимых своих писателей: «лирик», «душеприказчик обездоленных», «суровый правдолюбец», «реалист и оптимист», «многообещающий наследник и продолжатель лучших традиций», «психолог», который, «подобно талантливому скульптору», «отчетливее проявился в качестве социолога», и т. д. и т. п.

Пушкин, прочтя «Горе от ума», как известно, писал: «О стихах я не говорю: половина — должны войти в пословицу».

С. Смирнову, по мнению Н. Далады, повезло куда больше. Он при жизни получил то, что Грибоедову (или Крылову) только предстояло: «Многие из сатирических миниатюр Сергея Смирнова... уже сегодня (!), превратившись в пословицы и поговорки,

пополнили сокровищницу народной мудрости».

Да и самому Пушкину с его «магическим кристаллом» не угнаться за нашим современником: «Поэзия Сергея Смирнова подобна мастерски отшлифованному кристаллу, пронизанному лучами солнца...»

Красиво? Еще бы. Н. Далада вообще пишет красиво.

Он — поэт. Притом, кажется, в очень определенном смысле. Видимо, он понял буквально язвительные слова Чехова, записанные Буниным: «Поэтами, милостивый государь, считаются только те, которые употребляют такие слова, как «серебристая даль». «аккорд»...»

Роль «серебристой дали» у Н. Далады прекрасно исполняют выражения вроде следующих: «чарующий мир звуков и красок», «чарующий мир некрикливой красоты», «светлые и чувствительные уголки сердца», «утренней свежести краски, трепещущие надеждами». Зато аккорд воспроизведен буквально. И неоднократно: «аккорд звуков, похожий на тот, который во время игры издают внезапно оборванные струны», и вновь «аккорд, изданный внезапно оборвавшимися струнами», и опять «аккорды апофеоза борьбы»...

И еще в одном отношении Н. Далада выступает апологетом изящества. Иные люди, говорил К. Чуковский, стесняются простых слов, таких, как «лес», предпочитая выражаться: «В нашем зеленом массиве так много грибов и ягод!» Н. Далада так и пишет: «Встревоженные мысли... проявляются как разрозненные импульсы разгоряченного и возбужденного мозга».

Надеюсь, читатель понял, почему я с самого начала отказался от спора с оценками Н. Далады, ограничившись разговором о профессиональном уровне книги. Этот уровень как раз и исключает возможность спора.

Когда мы говорим о книге: спорная, — это по крайней мере предполагает существование авторской позиции, аргументов, с помощью которых он свою позицию обосновывает. Состояние книги «Весенний ветер» таково, что о позиции говорить преждевременно. Ее автору еще предстоит овладеть самыми элементарными навыками критического ремесла.

От души пожелаем ему успеха, ибо работы у него — непочатый край.

**Ст. РАССАДИН.**

## КАК СТАНОВЯТСЯ РАФАЭЛЕМ АЛЬБЕРТИ

Рафаэль Альберти. Затерянная роща. Воспоминания. Перевод с испанского. «Художественная литература». М. 1968. 368 стр.

В произведениях мемуарного и полумемуарного жанра, созданных за последние десятилетия писателями и деятелями искусства разных стран, явственно обнаруживается некое новое, общее качество — над ним еще предстоит поразмыслить исследователям. Авторы таких произведений все чаще стремятся не просто рассказать свою жизнь, но и разобраться в том, как эта жизнь превращалась в искусство, постигнуть внутренние закономерности своего творческого пути, поделиться хотя бы некоторыми секретами своего ремесла. Стремление это ощущается в той или иной степени и в «Празднике, который всегда с тобой» Эрнеста Хемингуэя, и в «Мосей биографии» Чарльза Чаплина, и, быть может, сильнее всего в «Автобиографических записках» Сергея Эйзенштейна — книге, одну из целей которой сткровенно формулирует сам автор, ссылаясь на просьбу, высказанную кем-то из его студентов: «Расскажите, как становятся Эйзенштейном».

В том же ряду стоят и воспоминания выдающегося испанского поэта Рафаэля Альберти, существенно отличаюсь от остальных, пожалуй, лишь в одном отношении. Обычно за мемуары принимаются на склоне жизни, «подводя итоги». А Рафаэль Альберти начал свою «Затерянную рощу» сравнительно молодым человеком, лет тридцать назад, в осажденном Мадриде, и работал над ней, с перерывами, больше двух десятилетий. Рукопись книги, первоначально задуманной как повесть о детстве, разрасталась, сопровождая поэта в скитаниях. Так родилась — воспользуюсь выражением О. Савича, покойного друга Альберти, предварившего русское издание «Затерянной рощи» кратким, но, что называется, берущим за душу вступительным словом, — «история о том, как данный испанец данной эпохи пришел к поэзии (хотя сперва кажется, что она сама нашла его), как она завладела им безраздельно, как он навеки погрузил свое сердце в ее необъятное море»...

Смысл заглавия раскрывается постепенно. Возникающий в первой главе образ утраченного детства — роща на окраине приморского городка Пуэрто-де-Сан-та-Мария, в котором родился Альберти в 1902 году,

«печальное место, заросшее белым и желтым дроком», превращается далее в символ всего, что прошло, но осталось, что неозвратно и нетленно. В военные мадридские ночи, в холодной клетушке парижской радиостудии, где поэт-изгнанник зарабатывает на жизнь, переводя сводки французского Верховного командования, в Аргентине, где он наконец обретает приют, — повсюду слышатся ему безмолвные нагоняющие шаги. «Это неотступно движется следом за мной, настигает меня, воскресая в памяти, затерянная роща прожитых лет».

Как и во всяких мемуарах, на каждой странице «Затерянной рощи» незримо присутствует настоящее — тот сегодняшней день, из которого Рафаэль Альберти всматривается в свое прошлое, с позиций которого оценивает и судит пережитое. Но порой настоящее заявляет о себе и самым непосредственным образом, врываясь в повествование то дневниковой записью, то страстным обращением к солдатам Советской Армии, сражающимся против фашизма, а то и таким признанием:

«Как трудно мне пишется! Страничка прозы стоит мне не меньших, если не больших усилий, чем целое стихотворение. Фразы получаются чересчур ритмичными. Во все щели просачиваются стихотворные размеры. Я их изничтожаю, переставляю местами слова, бьюсь, правлю, пересначиваю. Потом перечитываю внимательно и вижу — все это никуда не годится. Ничего не поделаешь. Буду работать над «Рощей», как работал до сих пор».

Действительно, перед нами проза поэта — лирическая, образная, пульсирующая. Переводить такую прозу ничуть не легче, чем стихи. И здесь, нарушая установившуюся традицию, согласно которой о качестве перевода принято, в лучшем случае, говорить под конец, я хочу сказать о блистательной — настаиваю на этом определении — работе П. Глазовой, добившейся, казалось бы, невозможного: книга Рафаэля Альберти звучит на русском языке так, словно на нем она и написана. Работа эта заслуживает специального разбора. Обильный и притом весьма специфический материал, содержащийся в «Затерянной роще»

(история, быт, литературно-художественная жизнь Испании первой трети нашего века), до сих пор еще почти не освоен советской испанистикой. Это потребовало от переводчицы самостоятельного исследовательского труда, лишь частично отразившегося в составленных ею комментариях. К сожалению, рамки рецензии не дают возможности показать, с каким искусством воспроизводит П. Глазова различные речевые пласты: к которым то и дело обращается автор (крестьянская речь, скудный язык обывателей, жаргон столичной богемы, витиеватая лексика литературных мэтров), как бережно и в то же время смело воссоздает она собственный голос поэта, не боясь отступить от буквы подлишника, чтобы тем вернее передать его дух... Все же позволю себе привести хотя бы один описательный абзац, дающий, на мой взгляд, некоторое представление как о стиле Альберти-прозаика, музыкальном и пластичном одновременно, так и о мастерстве переводчицы. Речь идет о поездке в крохотный городок Руте, затерянный в глуши андалузской сьерры:

«Когда я в Руте вышел на перрон, начало темнеть. Во мне еще бежала дорога: бесконечные оливковые плантации; фантастическое видение старинной Лусены, взятой в плен плотной стеной огромных пузатых кувшинов для оливкового масла; врезающийся в небо утес Мартоса, и — внезапно — селения, белые до рези в глазах, будто вписанные яростным, крошащимся мелом в ровные плоскости красной земли и в свинцовые уступы гор. Клокочущая в пейзаже внутренняя борьба просачивалась в воздух безысходной печалью, — и вдруг мрачный заключительный аккорд: откуда-то сверху, из крови агонизирующего заката возник Руте!»

Первые страницы «Затерянной роши» — будто настезь распахнутое окно в мир детства. Семья потомственных, когда-то состоятельных виноделов, теснимых более удачливыми конкурентами. Отец постоянно в разъездах, ребенок — под неусыпным надзором бесчисленных дядюшек и тетушек, фанатичных католиков, чье иступленное благочестие так не похоже на простоудшно-народную веру матери. Но стоит шагнуть за порог дома, а позднее — удрать хоть на час из коллегии незуитов, куда определили учиться Рафаэля, — и все заливают «ликующий прибой многоликой, переливчатой синевы».

Есть в этом мире и веселые рождественские праздники, и андалузские песни, и детские игры в корриду. И все же он выглядит здесь далеко не таким идиллическим и безмятежным, каким предстанет впоследствии в первых стихотворных сборниках Рафаэля Альберти. Две Испании, пока еще не расколотые смертельной враждой, еще не восставшие друг на друга, с колыбели сопутствуют мальчику — Испания поэтическая, народная, жизнерадостная и Испания жадных собственников и угрюмых святош. Обе для него — свои, к обеим прикипел он душой, и недаром даже спустя много лет, в затемненном Париже, он с какой-то щемлящей жалостью вспомнит тех самых дядюшек и тетушек, которые своим истерическим деспотизмом отравили ему столько счастливых минут.

Мы видим, как под перекрестным воздействием этих начал формируется человеческий характер — угловатый, непокладистый, эгоцентричный. И в то же время видим, как «начинают жить стихом».

С помощью ставшей уже триумфом фразы «в детстве все — поэты» не ответишь, почему же все-таки из множества ребятнишек, носившихся по прибрежному песку Кадисской бухты, один только Рафаэль Альберти сумел сохранить свою детскую непосредственность, свою способность заново открывать мир, живущую и поныне в его стихах. Конечно, талант — качество врожденное, но как и в чем начинает он проявляться? Воспоминания Альберти тем и драгоценны, что позволяют угадать будущего поэта именно в этом ребенке, более того — помогают понять, почему он станет именно э т и м поэтом. Художник — в широком смысле слова — предощущается уже в его обостренной впечатлительности, в душевной возбудимости, в цепкой памяти («У тебя есть две вещи, чтобы стать поэтом, — скажет ему впоследствии Гарсиа Лорка, — превосходная память, и ты — андалузец»). Но, пожалуй, ничто так не предсказывает в маленьком Рафаэле будущего Альберти, как его безотчетный интерес к живому говору, звучащему вокруг, ранний вкус к тому, что Пушкин назвал «странным просторечием», приверженность к беззаконным сочетаниям слов, которые будоражат его воображение.

Еще в первые годы жизни застывает в его памяти строка из народной песни, которую распевает, припоывая каблуками,

старый бондарь Федерико перед рождественским вертепом,— слова, обращенные де-вой Марией к ее мужу, святому Иосифу: «Acuéstate en el pozo», то есть — «Отдохни в... колодце». Пройдет много лет, прежде чем, перелистав сборник испанских народных песен, Рафаэль убедится, что поразившая его своей загадочностью строка в каноническом тексте читается попросту: «Acuéstate, esposo» («Отдохни, супруг») и что старый бондарь переименовал ее по-своему, «с чисто андалузским поэтическим чутьем и склонностью к фантазерству». Зрелый поэт сумеет сполна оценить возможности, которые гаятся в подобном переосмыслении слов по созвучию: «Тема повернулась неожиданно. родился новый, яркий вариант песни. Не эти ли искажения — родник неумиряющей свежести и богатства всякой истинно народной поэзии?»

А вот уж и самому Рафаэлю довольно впервые услышать слово «скипидар», чтобы мысль его заработала, поворачивая незнакомое слово так и эдак: «Скипидар! Скипидар! Что за странное слово! Может, я ослышался? Может, не скипидар, а вскипидар? Но при чем тут «дар»? Если бы «вар», тогда понятно: «вскипи-вар».

И все же первым руслом, в которое устремляется природная одаренность подростка, становится не поэзия, а живопись. Характерная деталь: толчок увлечению дает не сама предметная действительность, а ее графически обобщенный образ, глянувший на Рафаэля с красочной афиши Трансатлантической паровой компании, — синее море, белый корабль. Но через копирование этой афиши он придет к самостоятельному открытию природы, и в его альбоме появятся карандашные и акварельные наброски морских пейзажей.

Живописью продолжает он заниматься и в Мадриде, куда в 1917 году перебирается семья, — работает самозабвенно. спешит каждый день, как на праздник, в музей Прадо, где полотна Тициана окончательно утверждают его влюбленность в белое и синее — «два цвета, когорыми еще в младенчестве опонили меня голубые наличники окон и дверей и до блеска выбеленные стены наших андалузских домов, осененных ярчайшей, пронизанной солнцем лазурью»...

А вокруг — чужой мир, заставляющий сердце сжиматься от тоски по родной Андалузии: закопченные кирпичные дома столицы, грохочущие трамваями улицы,

многолюдье и одиночество большого города. Окруженный дремучими обывателями, с головой ушедший в свою живопись, Рафаэль почти ничего не знает о том, что творится не только за рубежами Испании, но и рядом, на мадридских окраинах, откуда порой доносятся выстрелы, — полиция расправляется с забастовщиками. Лишь косвенно входит в его сознание имя Ленина, непривычное слово — «большевики»... «События тех великих лет мелькали, не задевая меня, ничего не говоря ни уму, ни сердцу, но все-таки память отметила их и берегла».

Первые успехи молодого художника не заглушают, однако, иную, подспудно идущую в нем работу. Сызмальства томлящая его тяга к словесной выразительности подкрепляется лихорадочным чтением; чужие стихи вызывают ревнивое желание померяться силами с их авторами, открывающими в эти годы новую, блестящую главу испанской поэзии. И наконец, созерцается исподволь назревавший перелом. Непосредственным поводом к нему служит первое настоящее потрясение, пережитое Рафаэлем, — смерть отца, так и не дождавшегося, пока сын «выбьется в люди». Запоздалое раскаяние, охватившее юношу у гроба, мучительная потребность дать выход страданию, смутное, но повелительное сознание того, что только словами можно заполнить «бездонность этого мертвого — смертью проложенного между нами — молчания», — все соединяется в порыве, который рождает первые стихи Рафаэля Альберти.

Некоторая театральность этого эпизода искупается откровенным признанием: написанные тогда стихи, при всей неподдельности чувства, их вызвавшего, оказались подражательными. В них слышалось эхо интонаций Леона Фелипе — большого поэта, к сожалению, до сих пор известного советским читателям лишь по нескольким (правда, превосходным) переводам А. Гелескула.

Но путь в поэзию начался. Огнь Альберти пишет, как одержимый, — экспериментирует, пробует, отбрасывает решение за решением, все увереннее нащупывая собственную манеру. Память о детстве дает направление этим поискам, помогает молодому поэту миновать на первых порах многочисленные рифы послевоенных «измов». побуждает его учиться у тех мастеров, в чьем творчестве живы: народно-песен-

ные традиции. За какие-нибудь несколько лет Рафаэль преодолевает расстояние, отделяющее его от ранее выступивших сверстников, и выходит в первый ряд того поколения, которому суждено принести мировую известность испанской лирике.

Разностороннее изображение литературной жизни, в центре которой оказывается он к середине 20-х годов, делает «Затерянную рошу» незаменимым источником для всякого, кто хочет знать испанскую культуру нашего века. Борьба и смена течений, дискуссии, журнальные схватки не «описаны» здесь, а представлены в конкретных лицах и судьбах. Целая портретная галерея проходит перед читателем — поэты, писатели, художники; наставники и сподвижники Рафаэля Альберти. Никакого хрестоматийного глянца! Это вполне земные люди, подверженные страстям, нередко соперничающие между собой, а подчас и завидующие друг другу, но в большинстве своем объединенные общим, рыцарским служением отечественному искусству. Одни из них выписаны подробно и объемно, как, например, беспощадно взыскательный к себе и другим мастер поэзии Хуан Рамон Хименес или обаятельный, простодушный, загадочный Федерико Гарсиа Лорка, другие едва очерчены, как Антонио Мачадо, сумрачной тенью скользнувший по страницам «Затерянной роши». Но в каждом — а их десятки! — человек и его творчество выступают в неразрывном единстве.

Едва ли к кому другому из поэтов его поколения слава пришла так стремительно и бурно, как к Рафаэлю Альберти. Первый же сборник его стихов — «Моряк на суше» — еще в рукописи был удостоен Национальной премии по литературе. Окончательно чашу весов в его пользу склонило мнение Антонио Мачадо, назвавшего «Моряк на суше» лучшей из поэтических книг, представленных на конкурс.

В этой книге впервые по-настоящему зазвучал собственный голос Рафаэля Альберти. Тоска по утраченному детству, отроческие мечтания, музыка андалусской речи, лазурь и близна родного Пуэрто — все наконец воплотилось в слова, отлилось в прозрачные, по-народному безыскусные, по-народному лаконичные строфы.

Летняя моя матроска,  
мне в тебе не щеголять,  
и воротника в полоску  
горожанам с перекрестка

никогда не увидать.  
В материнском гардеробе —  
облаченье моряка,  
чтобы он в матросской робе  
не удрал с материка.

(Перевод Б. Пастернака)

Решусь, однако, сказать, что народность первых стихов далась Рафаэлю Альберти слишком легко. Певучий и красочный мир его ранних сборников (за «Моряком на суше» последовали «Возлюбленная» и «Левкой зари») чересчур уж округл и наряден, чересчур замкнут в себе самом. Достаточно сопоставить эти сборники со «Стихами о канте хондо», «Песнями», «Цыганским романсеро» Федерико Гарсиа Лорки, создававшимися в те же годы, чтобы увидеть, насколько глубже постиг Федерико душу народной поэзии. Такое сопоставление вполне закономерно: Гарсиа Лорка и Альберти современникам представлялись вначале чуть ли не близнецами. «Оба вакхических андалусца, — писал Пабло Неруда, — певучие, щедрые, таинственные и народные, одновременно черпали из источников испанской поэзии, из тысячелетнего фольклора Андалузии и Кастилии». Но если в первых сборниках Лорки намечена траектория всего дальнейшего его творчества, если, говоря словами того же Неруды, он «вновь и вновь обращался к своей Гранаде, припадал к своей земле, покуда не ушел в нее целиком, покуда не упокоился в ней», то Рафаэлю Альберти питавший его источник вскоре показался исчерпанным. «Мне приелись мои коротенькие стихи и песенные ритмы, — выжатый лимон, из него больше ничего не высосешь!»

Непрочность корней, по-видимому, и явилась причиной того, что тяжелый кризис, поразивший молодую испанскую поэзию в конце 20-х годов, для Рафаэля Альберти имел наиболее опустошительные последствия. Чувствуя, как уходит почва из-под ног, поэт то устремляется в погоню за яркими словосочетаниями, превращая форму в нечто самодовлеющее, то блуждает в лабиринтах сюрреализма...

Внутренний кризис усугубляется житейскими обстоятельствами — незадавшейся любовью, унижительной бедностью, вынуждающей недавнего лауреата Национальной премии ходить пешком, чтобы не гратиться на трамвай. Недочувшийся бакалавр, оставленный без поддержки родными, которые считают его неудачником, не сделавшим карьеры ни живописца, ни литератора,

Рафаэль готов уже бросить писать, пойти работать кем угодно — хоть каменщиком, хоть подметальщиком улиц... «С ненавистью и завистью смотрел я на благополучие моих литературных сверстников: почти все они вели обеспеченное, спокойное существование — одни на отцовские деньги, другие — состоя на службе; они преподавали в заграничных университетах, работали в министерствах, в библиотеках, в туристских агентствах»...

Рассказывая об этой тяжелой поре, Альберти не щадит и себя. Он вспоминает, как по заказу вино торговца написал рекламную оду: происхождение коньяка, история фирмы, вина марки Домек, заработав таким образом целых пять тысяч песет. Шутливый тон, в котором излагается эта «винодельческая интерлюдия», не способен скрыть острую горечь. В поэте зреет ненависть к обществу, в котором ему не находится места: «Меня обуревала жажда мести, расплаты со всеми и за все. У меня чесались руки подложить динамита, хотя бы фигурально, чтобы рвануло — вздрыз!»

И тут сама действительность приходит ему на помощь. Улицы Мадрида содрогаются от демонстраций против диктатуры Примо де Риверы, доживающей последние дни. Атмосфера полна «пьянящим предчувствием бури», и у молодого поэта открываются глаза на все то, что раньше не задевало его. «Слепо нараставший во мне крик протеста и возмущения, бившийся без исхода в стены внутренней моей тюрьмы, нашел наконец выход яростный выход на улицы, бурлящие студенческими толпами, на оскалившиеся баррикадами бульвары, навстречу жандармской коннице»...

Так Рафаэль Альберти приходит к революции. не только «с небес поэзии», но и «низом» — если не «низом шахт, серпов и вил», то уж во всяком случае низом дырявых башмаков и полуголодного существования.

Последние страницы «Затерянной роши» носят почти конспективный характер. Автор убыстряет темп повествования, опуская подробности, торопясь запечатлеть важнейшие события, завершившие его превращение в поэта улицы, поэта «зари воздетых кулаков». Свержение диктатуры Примо де Риверы, в котором Альберти принимает непосредственное участие — шагает в рядах демонстрантов, собственноручно расклеивает на стенах домов сочиненные им листовки в стихах. Агония монархии, неудача восстания, поднятого Ферминном Галаном, — Альберти пишет романс, посвященный расстрелянному герою, читает его на уличном митинге в Кадисе. А когда, в 1931 году, совершается революция, поэт сочиняет драму «Фермин Галан», постановка которой становится для него решающим рубежом. «Отныне мой путь был вместе с народом, и во имя восставшей мне правды народного дела я был готов на любую жертву, на любое самоотвержение».

Здесь пока что прерываются воспоминания Рафаэля Альберти. Впереди — целая жизнь; о ней еще предстоит рассказать. И как знать — быть может, поэт уже дописывает давно обещанное продолжение «Затерянной роши»...

Л. ОСПОВАТ.



## Политика и наука

### ПУТИ РЕФОРМЫ

Реформа ставит проблемы Составители Ю. В. Яковец и Л. С. Бляхман.  
«Экономика». М. 1968. 196 стр.

Минув первый этап хозяйственной реформы, намеченный сентябрьским Пленумом ЦК партии в 1965 году. Этот трехлетний этап был занят переходом большей части промышленности и транспорта на новую систему планирования и экономического стимулирования в ее первоначальном виде. Сейчас движение новой системы вширь за-

вершается. Она доделывает свою работу в тех отраслях народного хозяйства, где началась ранее, постепенно распространяясь также на строительство, на снабжение и сбыт, на научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, на отдельные звенья аппарата управления. И началась уже работа на втором этапе реформы: ее

развитие идет вглубь. Одновременно придиричиво изучается трехлетний опыт действия новой системы, нащупываются ее слабые места, предлагаются улучшения.

Для экономистов пришло время нового раздумья, новых споров. Как идти дальше, как выполнять решения XXIII съезда партии о дальнейшем развитии новых методов хозяйствования — в этом суть вопроса. Весомый вклад в обсуждение вносит рецензируемый сборник. Составители предупреждают: сборник дискуссионный, среди его авторов — люди разных экономических воззрений. Но это и ценно сейчас, когда меньше всего требуется изрекать истины в последней инстанции, а нужно всесторонне обсудить поставленные жизнью проблемы.

Сборник открывает статья лауреата Ленинской премии академика С. Г. Струмилина. Рассматривая вопросы ценообразования, автор отмечает, что Программа КПСС «ориентирует наше планирование цен на товарно-денежное обращение и полузабытый в советской практике закон стоимости». С. Г. Струмилин напоминает, как в не столь давние времена с высокой трибуны нас учили, что «закон стоимости может быть регулятором производства лишь при капитализме», что внутри страны средства производства выходят у нас «за пределы сферы действия закона стоимости» и что, в частности, воздействие этого закона на твердые цены сельскохозяйственного сырья «не является и не может быть регулирующим». А в перспективе проектировалось и вообще все товарное обращение «путем постепенных переходов заменить системой продуктообмена».

Указав точный адрес приведенных высказываний (И. Сталин, «Экономические проблемы социализма в СССР»), С. Г. Струмилин продолжает: «Эта концепция и в 1952 г. не всем казалась образцом мудрости, хотя оспаривать ее тогда не было еще никакой возможности». Ведь попытка заменить денежное обращение продуктообменом у нас уже однажды предпринималась — в годы «военного коммунизма»: «...на этой почве расцвела лишь разорительная спекуляция миллионов мешочников — этот первый, хотя и совсем незавидный образчик «системы продуктообмена» в СССР».

Очень интересны многие соображения автора о роли прибыли, налога с оборота и других факторов ценообразования — нет нужды все это пересказывать здесь. Отме-

тим лишь весьма решительно и подробно аргументированное предложение отказаться от акцизного дохода. «Бесспорно,— пишет С. Г. Струмилин,— что без водки намного снизились бы налоговые доходы казны. Но зато в еще большей мере возрос бы реальный народный доход».

Проблемам согласования плана и хозрасчета посвящена вторая статья сборника, которую написал лауреат Ленинской премии профессор В. В. Новожилов. Согласование это достигается с помощью методов оптимального планирования. Автор отмечает, что принцип оптимума лежит в основе законов социалистической экономики. Ему подчинен и социалистический закон стоимости. Даже в бесплатном хозяйстве, где экономичность решений проверяется рынком после их осуществления,— даже там закон стоимости обеспечивает известную пропорциональность. Она нащупывается путем учета ошибок, выявленных стихийным рынком,— понятно, с большими потерями. В плановом хозяйстве правильность решений проверяется не после, а до их выполнения, рыночное сопоставление предложения и спроса сменяется балансовым сопоставлением свода планов производства со сводом заказов потребителей.

Практически это можно осуществить с помощью хозрасчетной системы планирования, выдвинутой в свое время академиком В. С. Немчиновым. Ее схему В. В. Новожилов излагает так: «...предприятия должны представлять плановым органам свои предложения об условиях, на которых они готовы выполнить тот или иной плановый заказ на поставку продукции (с указанием ассортимента, качества, сроков, цены). Хозяйственники же и плановые органы в свою очередь размещают эти заказы, отдавая преимущество тем, кто предложит наиболее эффективный вариант производства». Автор показывает далее, как можно, применяя математические методы, приложить этот принцип к разработке не только текущих, но и перспективных планов.

Весьма плодотворна выдвигаемая В. В. Новожиловым идея сочетания двух форм централизации — непосредственной и косвенной. «Косвенная централизация состоит в установлении таких нормативов и оценок для расчета затрат и результатов, при помощи которых местá, руководствуясь максимумом своих результатов и минимумом своих затрат, сами могли бы найти вариан-

ты, наиболее соответствующие народнохозяйственному плану». Такая централизация хороша тем, что подчиняет плану все без исключения местные решения, ибо неподчинение плановым директивам, выраженным средствами закона стоимости, равносильно действию во вред себе, своему коллективу. Это рассуждение помогает разбить распространенный предрассудок, будто реформа ослабляет централизованное планирование. На деле она укрепляет его, перенося центр тяжести на самые совершенные методы.

Много пишут и говорят сейчас о полном хозрасчете. А что это такое? Оказывается, нет даже общепринятого определения полного хозрасчета. Свое представление о нем излагает в сборнике доктор экономических наук Л. С. Бляхман. Краткий очерк истории развития хозрасчета от реформы 1921—1923 годов к реформе 1929—1932 годов и затем к нынешней, третьей реформе приводит его к важным заключениям. Во-первых, он показывает (и это соответствует анализу, сделанному на сентябрьском Пленуме 1965 года), что до недавнего времени существовала система производственных связей государства, предприятий и их коллективов, которую можно охарактеризовать как ограниченный хозрасчет. Во-вторых, из статьи видно, что и полный хозрасчет был у нас успешно испытан (в двадцатые годы), так что нынешняя реформа начинается не на пустом месте. В-третьих, подробный анализ современной практики позволяет автору утверждать, что полный хозрасчет и сейчас еще — дело будущего, хотя первый этап реформы создал важные предпосылки для его внедрения. К сожалению, следующее далее изображение конкретного механизма действия полного хозрасчета не во всех деталях достаточно убедительно, а порой противоречиво. Так, в хозрасчете органов управления (главков) на первое место выдвигается «отчисление в их распоряжение части прибыли предприятий на базе долгосрочных нормативов». Ни эта формула, ни последующее раскрытие ее не содержат гарантий от появления нового образчика формального хозрасчета. Ведь были уже опыты, когда источником финансирования тех или иных органов управления вместо государственного бюджета становились отчисления от прибылей предприятий. Такие механические отчисления, не зависящие от количества и качества управленческих услуг, означали хозрасчет лишь по названию.

Наиболее интересны в статье Л. С. Бляхмана ее специальные разделы: о хозрасчете в научных учреждениях и о сочетании хозрасчета с соревнованием. Первый из этих разделов содержит много теоретических и практических соображений, которые наверняка будут полезны участникам недавно начатого эксперимента по переводу на хозрасчет всех научных учреждений Министерства электротехнической промышленности СССР. Принципиальные положения другого раздела представляют более широкий интерес. Автор пишет: «Краткий философский словарь считает главным в организации соревнования воспитание трудящихся в духе дружбы, товарищеского сотрудничества и взаимопомощи. Это определение дает основания для трактовки соревнования только в качестве морально-этической категории. Между тем соревнование — это и объективная экономическая категория, выражающая присущую социализму форму сопоставления результатов деятельности отдельных производственных коллективов. В итоге соревнования выигрывает общество в целом, но вовсе не всякий его участник, во всяком случае не отставшее по своей вине предприятие». Следующий затем весьма интересный анализ проблемы завершается выводом: «Полный хозрасчет производственных объединений, соревнующихся за наилучшее удовлетворение запросов потребителей — таким представляется хозяйственный механизм, который явится конечным итогом реформы».

Доктор экономических наук Ю. В. Яковец отмечает в своей статье формальный характер хозрасчета, действовавшего до недавнего времени. В результате укоренились, приобрели прочность предрассудка искаженные представления о принципах социалистического хозяйствования: «Предприимчивость хозяйственника, его инициативность в поисках возможностей увеличения прибыли предприятия стали квалифицироваться как «нездоровое явление», противопоставляющее предприятие обществу, плану».

В этой статье рассматривается с разных сторон воздействие цен на деятельность предприятия. В области ценообразования особенно велик груз отступлений от принципов хозрасчета — груз, накапливавшийся десятилетиями. Ю. В. Яковец затрагивает, в частности, проблему предприятий с чрезмерно высокими индивидуальными затратами. «Существование предприятий, нерацио-

нальных с позиций экономического и технического прогресса, подчас оправдывается множеством внеэкономических соображений, которые, однако, чаще всего свидетельствуют о нежелании создавать себе лишние хлопоты. В этом проявляется привычка к экономическому иждивенчеству: государство у нас богатое, оно все выдержит, всех прокормит. Такого рода психология несовместима с новыми экономическими условиями...»

Проблема цен включает и чрезвычайно важный вопрос платности природных ресурсов — его тоже рассматривает автор. Факты расточительства, а то и хищничества в природопользовании широко известны. Это не только всем видное истребление лесов, порча земель, загрязнение воздуха и вод, но и не столь заметные, однако не менее вредные для народа потери при разработке недр. В статье сообщается, например, что по комбинату «Воркутауголь» за десять лет потери угля в недрах возросли с 17 до 40 процентов к объему добычи. Отчего это? Литераторы порой усматривают здесь вину отдельного дурака или бюрократа. Ю. В. Яковец показывает, что корень глубже: во многих случаях для предприятия это — материальная необходимость. Естественные ресурсы экономически не ограждены. Они бесплатны, это единственное, что из производственных ресурсов предоставляется предприятию даром. За расходование всего прочего оно должно платить, должно его беречь, экономить, да еще и в административном порядке отчитываться. И если можно сберечь платное, перерасходовав бесплатное — в хозяйственной деятельности от этого трудно воздержаться. Выход очевиден: сделать расточительное отношение к природе невыгодным для предприятия. Автор полагает, что плата за природные ресурсы должна быть возмещением действительных затрат общества на их охрану, поддержание и подготовку к процессу производства. Такой принцип, вероятно, позволил бы преодолеть теоретические и практические трудности, мешающие решению этой сложной проблемы.

Едва ли не самые острые споры вызывает вопрос о критерии эффективности производства. Кандидат экономических наук А. И. Юдкин в своей статье доказывает, что таким единым критерием — при соблюдении ряда условий — может быть рентабельность. Значение нормы прибыли или

рентабельности как синтетического показателя оценки деятельности предприятия отстаивает и доктор экономических наук В. А. Медведев. Однако его толкование механизма действия новых экономических рычагов не всегда точно. Ссылаясь на опыт Московского завода тепловой автоматики, он положительно оценивает такой, например, факт: «...в плане завода осталось производство некоторых убыточных изделий (например, щетки-пылесосы), имеющих устойчивый сбыт. На заводе решили принять меры к достижению рентабельности этих изделий».

Автору этих заметок приходилось бывать на Московском заводе тепловой автоматики — передовом предприятии, одном из сотни трех пионеров реформы. О щетки-пылесосе там говорили без восторга. Да и как радоваться хорошему сбыту, если он — в убыток? Не экономические, а административные «рычаги» вынудили завод налаживать это невыгодное производство. Планы — как сделать изделие хотя бы безубыточным — там действительно были. Но едва ли можно при волевом планировании достичь тех результатов, какие дало бы решение, основанное на экономическом расчете. Если не лениться поискать — наверняка нашелся бы завод, способный выпускать щетку-пылесос сразу с большой прибылью. И, с другой стороны, нашелся бы предмет ширпотреба по профилю завода тепловой автоматики, рентабельный в его условиях.

Здесь невозможно излагать и оценивать все статьи сборника, но еще одна чрезвычайно интересна. Ее авторы, экономисты Е. С. Вишневецкий и Н. А. Черкасов, затронули проблему, мало освещенную нашей печатью: эффективность внешней торговли в ее связи с эффективностью всего народного хозяйства. Цифры, использованные ими, говорят о том, что во взаимном товарообороте с некоторыми странами большая часть советского экспорта приходится на долю сырьевых и топливных отраслей. Эти отрасли требуют больших капитальных вложений, окупающихся не скоро, — в частности, в топливной промышленности срок окупаемости в пять—десять раз больше, чем в машиностроении. К тому же валютная эффективность вывоза сырья и топлива намного ниже, чем эффективность торговли машинами и оборудованием.

Почему же сложилась столь невыгодная для нас структура экспорта? Ответ на этот

вопрос был дан на XXIII съезде партии в докладе А. Н. Косыгина: причина в обособленности внешней торговли и производства. Авторы статьи убедительными примерами раскрывают этот тезис. Для внешнеэкономических организаций сейчас важен прежде всего объем валютной выручки. Что именно продавать — им почти безразлично. Во что обошлась народному хозяйству экспортная продукция, выгодно ли стране расширять ее производство — эти вопросы отнюдь не относятся к числу главных забот организаций Внешторга. И если преодолеть конкуренцию на мировом рынке оказывается легче всего именно в торговле сырьем и топливом — они не против.

Предприятия, наоборот, мало заинтересованы в валютной выручке. Им важно произвести продукции побольше и подешевле. Экспортная продукция этой цели не всегда соответствует, особенно в обрабатывающих отраслях. Она требует повышенного качества, трудоемкость ее велика. И потому предприятия не слишком заботятся о расширении экспорта.

Таким образом, экономика внешней торговли еще недостаточно служит целям эффективности всего народного хозяйства. Директивы XXIII съезда партии требуют направлять положение, увеличивать долю обрабатывающих отраслей в экспорте. Гарантией выполнения этой задачи мог бы стать приход экономической реформы во внешнюю торговлю. Как это сделать, показано в статье.

В этом беглом обзоре мы не ставили своей целью раскрыть все богатства сборника, все разнообразие высказанных в нем идей. Да это и невозможно. Добавим только одно: сам факт появления таких книг свидетельствует о невозвратном уходе тех времен, которых коснулся С. Г. Струмилин: времен, когда считалось, что всю экономическую науку (и многие другие науки) может двигать один человек. Авторы сборника думают и заставляют думать других. Такое сейчас время.

О. ЛАЦИС.



## БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ

- В. И. Брудный. Обряды вчера и сегодня. «Наука». М. 1968. 200 стр.
- П. П. Кампарс, Н. М. Закович. Советская гражданская обрядность. «Мысль». М. 1967. 256 стр.
- А. Филатов. О новых и старых обрядах. Профиздат. М. 1967. 112 стр.
- Э. Лисавцев. Новые советские традиции. «Советская Россия». М. 1966. 166 стр.
- Е. Нагирняк, В. Петрова, М. Раузен. Новые обряды и праздники. «Советская Россия». М. 1965. 232 стр.
- Г. Геродник. Дорогами новых традиций. Политиздат. М. 1964. 142 стр.

Гражданская обрядность, о которой после непривившихся «звездин» и «октябрин» двадцатых годов не вспоминали четыре десятилетия, в последние годы неожиданно вновь стала предметом пристального внимания. В крупных городах начали открываться Дворцы бракосочетания и Дворцы счастья для отправления в них обрядов торжественной регистрации брака и именнаяречения новорожденных; поборники нового выступили за организацию празднеств, посвященных вручению паспорта, поступлению молодежи на завод, первой зарплате, первой борозде и т. д. и т. п. О новых обрядах и праздниках заговорили радио и телевидение газеты и журналы. Потом появились популярные брошюры — методические

рекомендации, как отметить день присвоения звания ударника коммунистического труда, как по-новому справить свадьбу и похоронить покойника. Во весь голос зазвучал лозунг: «Новые обряды, традиции и праздники — в быт советских людей!»

Чем объясняется это настойчивое стремление утвердить новую гражданскую обрядность? Каково назначение новых обрядов и праздников? Наконец, каковы реальные итоги «всасывания в жизнь» всех этих новшеств? Ответы на эти вопросы дает ставшая уже довольно обширной литература, выпущенная различными издательствами и претендующая на обобщение и научное исследование интересующего нас предмета.

Вплоть до конца пятидесятых годов по-

нятия «обряд» и «обрядность» употреблялись в нашей печати, как правило, применительно к различным религиозным ритуалам. Правда, раздавались отдельные голоса в защиту красивых старинных русских обрядов и традиционных народных праздников, отринутых в первое послереволюционное десятилетие. Но едва ли можно утверждать, что эти выступления оказали сколько-нибудь заметное влияние на появление новой обрядности.

По мнению П. Кампарса и Н. Заковича, возрождение гражданской обрядности и деятельные попытки ее совершенствования объясняются ростом материального благосостояния и культурного уровня нашего народа, естественным стремлением сделать яркими, запоминающимися наиболее значительные события в жизни человека. Еще более определенно высказывается по этому поводу Г. Геродник: «Без традиционной парадности и праздничности наша жизнь стала бы обыденной, вышелоченной, прозаически-серой». Э. Лисавцев в создании новой обрядности видит один из способов преодоления пьянства, а кое-кто даже надеется, что такие обряды, как посвящение в рабочие или в хлеборобы, помогут бороться с текучестью кадров на предприятиях, приостановят уход сельской молодежи в города и рабочие поселки. Складывается впечатление, что иным авторам праздники, обряды кажутся чуть ли не универсальным средством разрешения сложнейших социальных проблем.

Известно, что сила традиций, которые выработаны многими поколениями и прочно живут в народе, необычайно велика. Но в том-то и дело, что обряды и праздники, о которых идет речь, еще не прошли испытания временем, ибо совсем недавно порождены фантазией и волей отдельных энтузиастов.

Для некоторых авторов обозреваемой литературы возможность появления новых обрядов в порядке индивидуального творчества представляется делом вполне естественным, само собой разумеющимся — стоит только постараться. «Создание, становление и внедрение безрелигиозных праздников и обрядов — сложное и тонкое дело», — пишут, например, Е. Нагирняк, В. Петрова, М. Раузен. «Созданием новых праздников и обрядов заняты сейчас сотни тысяч людей», — с удовлетворением констатирует Э. Лисав-

цев. «Удастся нам создать действительно красивые, осмысленные, способные вызвать высокие гражданские и просто человеческие чувства новые традиции, обряды, обычаи — будущее их обеспечено», — уверенно заявляет А. Филатов.

Несколько иначе представляют себе формирование новой обрядности П. Кампарс и Н. Закович: «Современные праздники и обряды — это своего рода разумный синтез современного и традиционного, синтез, соединяющий положительное старое и новое, выросшее из сегодняшней жизни народа». Правда, и здесь форма выражения мысли такова, что она явно предполагает некую сознательную волю, которая возьмет на себя труд отобрать, отделить «положительное старое» от отрицательного, а затем осуществит «разумный синтез». Но так или иначе, авторы не склонны просто отбросить все «старое», да и о «новом» они говорят так, что дают возможность предполагать в них некоторое уважение к естественному, органическому течению народной жизни. Против придумывания и волевого «внедрения» новых обрядов выступает и В. И. Брудный. «Навязывание, конечно, в таком деле, как обрядность, никуда не годится», — пишет он. И далее: «Безрелигиозные обряды возрождаются трудно. Именно возрождаются, а не рождаются». По мнению автора, новые обряды вбирают в себя все лучшее, что содержалось в «безрелигиозных», еще дохристианских обрядах.

Ее следует, однако, преувеличивать различие в подходе к предмету у двух названных групп авторов. И те и другие располагают во многом одним и тем же фактическим материалом. И пишут они иногда поразительно одинаково, порой прямо-таки слово в слово. Вот некоторые примеры.

Е. Нагирняк, В. Петрова, М. Раузен: «...под конец на новый лад поется известная песня «Так будьте здоровы, живите богато».

Желаем, чтоб вы  
Молодели с годами,  
Чтоб дни коммунизма  
Увидели сами!

Хозяева благодарят молодежь за такую честь, одаривают орехами, конфетами, яблоками и в свою очередь желают всего хорошего в новом году» (стр. 149).

В. И. Брудный: «...своеобразный концерт заканчивается современной песней:

Желаем, чтоб вы  
Молодели с годами,  
Чтоб дни коммунизма  
Увидели сами!

Хозяева благодарят за поздравление, ода-ривают щедравальников конфетами, яблока-ми, орехами и в свою очередь желают им всего хорошего в Новом году» (стр. 90—91).

Э. Лисавцев: «Молодежь, окончившую школу, торжественно принимают в ряды тружеников полей, передавая им лучшие традиции колхоза или совхоза. По своему существу этот ритуал имеет много общего с посвящением в рабочие. Отличием является, пожалуй, подчеркивание связи работников сельского хозяйства с землей, воспитание уважения и любви к ней» (стр. 72—73).

П. Кампарс, Н. Закович: «Молодежь, окончившую школу, торжественно принимают в ряды тружеников полей, передают ей лучшие традиции колхоза и совхоза. Практически этот праздник мало чем отличается от посвящения в рабочие. Отличие состоит, пожалуй, в том, что здесь подчеркивается связь работников сельского хозяйства с землей, воспитываются уважение и любовь к ней» (стр. 174).

Э. Лисавцев: «Есть немало примеров, когда День строителя наполняется не только официальной программой, но и элементами большой моральной действенности. Разве может оставить кого-либо спокойным выступление перед строителями детей — новоселов детских садов и школ?.. Или встреча строителей с молодоженами, получившими новые квартиры, беседы с новоселами, с работниками только что построенных предприятий — все это может воплотиться в яркую, волнующую форму» (стр. 75).

П. Кампарс, Н. Закович: «Есть немало примеров, когда, например, День строителя отмечается содержательной программой. Никого не может оставить равнодушным выступление перед строителями детей — новоселов детских садов и школ. Или встречи с молодоженами, получившими новые квартиры, беседы с новоселами, с работниками только что построенных предприятий — все это выливается в волнующую форму воспитания любви к своей профессии» (стр. 168—169).

Подобных примеров можно привести много, но, видимо, и этих достаточно, чтобы понять, что материал, которым пользуются авторы, не особенно богат. Что же касается отмеченной выше разницы в выводах

(Э. Лисавцев называет новые обряды новыми «от начала до конца», П. Кампарс и Н. Закович видят в них «синтез современного и традиционного», а В. Брудный — возрождение древних «безрелигиозных» обрядов), то такая эволюция во взглядах объясняется скорее всего тем, что, несмотря на всю изобретательность «созидателей» и все организационные усилия, «гражданская обрядность» прививается весьма туго.

Впрочем, последнее обстоятельство не обескураживает энтузиастов «внедрения» новой обрядности. У них свой критерий: если люди собираются на новые праздники и принимают без возражения новый обряд — значит, все в порядке.

Бесспорно, многолюдье на празднике — дело хорошее. Но слишком обольщаться тем, что на День урожая или первой борозды сошлось много людей, все-таки нельзя. Дело в том, что эти люди могут прийти сюда не как участники празднества, а всего лишь как зрители организованного представления, прийти, как приходят на концерт, на КВН, на гастроли выездного цирка. И разве мало известно случаев, когда такие праздники срывались, не получались и, как неудавшийся концерт, вызывали у людей чувство досады, неудовлетворенности, разочарования?

Конечно, можно спорить и приводить противоположные примеры, можно с полным основанием утверждать, что праздник празднику рознь и что в новом деле без неудач не обойтись. Но что мы этим докажем? Да, представления могут быть и неудачными. Но к подлинным народным праздникам и гуляньям это не имеет ни малейшего отношения. Истинное народное празднество не может быть «неудачным», не может «не получиться». «Новый год не удался», «масленица не получилась», «святки не состоялись» — само сочетание этих понятий звучит противоестественно.

Здесь уместно заметить, что такие наши праздники, как Первое мая, годовщина Октября, 8 Марта и Праздник победы, тоже не могут «не состояться» и «не получиться», потому что стали всенародными и традиционно празднуются не только на улице, но и в каждой семье независимо ни от погоды, ни от того, есть ли организаторы празднества.

Да, праздники можно создать и организовать. Можно придумать и осуществить церемониал какого-либо обряда. Но органи-

зованный праздник не есть народный праздник в подлинном смысле этого слова. Придуманый «обряд» тоже еще не обряд, а всего лишь инсценировка, спектакль, который, может быть, интересен и даже красив, но не больше. Что же касается «новых традиций», то в самом этом термине уже заложено очевидное противоречие: если «традиция» — значит, не такая уж «новая», а если «новая», то даже при неоднократном повторении только время покажет, станет ли она действительно традицией. С понятиями «народный праздник», «обычай», «обряд», «традиция» нельзя обращаться вольно: они имеют вполне определенный и ясный смысл.

Однако никто из названных авторов не ставит под сомнение жизненность изобретенных и конструируемых обрядов и праздников. Все они горячо ратуют за пропаганду новой обрядности, ее распространение и «внедрение» в жизнь. При этом исключительное значение придается «элементам моральной действительности». Особенно богата ими книга Е. Нагиряк, В. Петровой и М. Раузена, адресованная непосредственно организаторам новых праздников и гражданских обрядов и содержащая подробные рекомендации, как их проводить. В этой книге что ни обряд, то ворох назиданий и символов. Даже заколка на шапке деда-мороза — и та в виде ракеты, а приветственное обращение к родителям в обряде имянаречения содержит вдохновляющий призыв: «Отцы и матери! Берегите детей каждый день, каждый час, свято помня, что с самого первого дня они растут не только для вас, а для всего нашего народа».

Авторы предусматривают, где и в какой именно момент на празднике проводов русской зимы люди должны ощутить «нарастающие интереса, любопытства, праздничного настроения»: оно приходит к ним «по мере приближения к зоне гулянья». А вот самый торжественный момент на празднике урожая: «Лучшие механизаторы, отличившиеся на уборке, ведут свои увитые гирляндами цветов машины, и на каждой красуется гордая цифра высоких показателей».

По мнению Г. Геродника, основное назначение гражданских обрядов — «замена отживающих свой век религиозных обрядов, окончательное вытеснение из быта советских людей религиозных традиций». Четко формулируют эту задачу и другие авторы. Э. Лисавцев даже обсуждает такой такти-

ческий вопрос: «Чем ограничение религиозного влияния путем широкого внедрения безрелигиозных праздников и обрядов лучше пресечения деятельности религиозных организаций чисто административными мерами?»

Атеистическая направленность «новых обрядов», равно как и рецензируемых книг, заслуживает, конечно, самого полного одобрения. Однако стремление чуть ли не каждое из рекомендуемых мероприятий «нагрузить» антирелигиозностью заводит некоторых авторов слишком далеко. Г. Героднику уже сами эти слова — обряд и обрядность — «навязывают нежелательные ассоциации». «Особенно большие терминологические трудности, — пишет он, — возникли у организаторов гражданских крестин. Торжественная церемония отмечает собой начало пути нового человека, а в самом ее названии явно слышится «крест», который навеивает мысли о церкви, о распятом Христе и кладбище. Хотелось бы избавиться от этого нежелательного наследия прошлого». Г. Геродник предлагает свой рецепт, как оградить массы от подобных «нежелательных ассоциаций»: в случае крайней необходимости он рекомендует «заниматься словотворчеством», то есть изобретать для обозначения создаваемых обрядов новейшие современные слова.

Если принять эту точку зрения, то нужно не теряя времени искать идейно выдержанную замену и нашему обычному «спасибо», и такому слову, как «воскресенье», ведь нельзя допустить, чтобы все население страны еженедельно предавалось мыслям о воскресении распятого Христа!..

Сторонник возрождения безрелигиозной обрядности В. Брудный относит к числу безрелигиозных древние празднества — святки, масленицу, семик и другие, — которые христианская церковь «стремилась приспособить... к своему церковному календарю, к своим обрядам и праздникам, усиленно насаждая в них мистику, суеверия». Между тем любой из перечисленных им древних народных праздников был не менее религиозным, чем, скажем, пасха или рождество. Восходящие к дохристианской эпохе политеизма, они представляли собой одну из форм массового поклонения богам и духам с целью их умиловить и задобрить. Отдавать таким праздникам столь решительное предпочтение перед христианскими можно лишь с позиций верующего язычника, но никак не

с позиций атеиста. Другое дело, что на протяжении веков религиозная сущность этих праздников все более стиралась. Тем не менее вплоть до XX века в них сохранилось немало религиозно-мистических элементов чисто языческого происхождения. Наглядным примером тому могут служить хотя бы святочные гадания. С другой стороны, для большинства из тех, кто в пасху ест кулич и крашеные яйца, эти кушанья заключают в себе ничуть не больше религиозного смысла, чем масленичные блины.

Таким образом, предпринятая В. Брудным попытка провести разграничительную линию, которая выделила бы из массы традиционных празднеств праздники, так сказать, доброкачественные, «безрелигиозные», на наш взгляд, не увенчалась успехом. Надеемся, что отсюда читатель не сделает вывод, будто ход наших рассуждений клонится к тому, чтобы, скажем, запретить справлять масленицу, так находчиво переименованную ныне в «праздник русской зимы». Напротив. Пусть люди справляют все праздники, которые им хочется праздновать, и справляют их так, как им нравится и как они привыкли (разумеется, не в ущерб общественному порядку и трудовой дисциплине). Это, думается нам, сегодня не усилит позиций религии — ни языческой, ни христианской, — а, наоборот, ослабит эти позиции, если чем и подкрепляемые, то именно неумными запретами. Ибо на дворе другая эпоха — не девятый век и даже не девятнадцатый, а давно уже двадцатый.

В. Брудный говорит и о желательности возрождения старинных обрядов (разумеется, тоже на новом современном уровне). Как он это себе представляет, можно видеть на примере «новой свадьбы». «Как и положено по старому русскому обычаю, ворота, за которыми живет невеста, — на прочном замке». Сваты низко кланяются людям и спрашивают, здесь ли проживает нужная им «красна девица». На вопрос, зачем они сюда пожаловали, сваты отвечают: за невестой. Тогда собравшиеся у дома говорят, что есть тут такая красна девица, а вот каков жених, еще неизвестно, покажите-ка, мол. Все это сопровождается шутками и прибаутками. Сваты представляют народу жениха, люди, посоветовавшись, стучат в ворота и присоединяются к просьбе свата, чтобы их открыли: «Жених хорош, принимайте гостей!» Ворота открываются. Мать невесты с низким поклоном пригла-

шает сватов и гостей войти в дом. У крыльца разыгрывается такая сцена. Сват жениха подходит к самому порогу и оглашает сватовский «указ», в котором шуточно восхваляются «богатства жениха, его таланты, трудолюбие». От них не отстает невестина сваха». И далее: «Свадебный обряд в деталях может значительно различаться, порой даже в двух соседних селах. Но тем не менее мы угадываем здесь много элементов старинного русского обряда... Здесь и «выбор сватов», и «сватовство», и «дума», и «смотрины», и «смотрение хозяйства», и «приглашение», и «выбор поезда», и «прибытие поезда за невестой», и «официальный акт бракосочетания», и «приезд в дом к жениху» и т. п.»

Действительно, похожего много. Беда лишь в том, что это внешнее, формальное сходство. Традиционный русский свадебный обряд, шлифовавшийся на протяжении веков, при своей удивительной красоте и эмоциональности, не содержал в себе ни одного лишнего чисто развлекательного элемента. Во всех его деталях отражались характерные для той или иной эпохи общественные, социально-экономические отношения людей. Основу старинного обряда составляли серьезные практические соображения: женитьбой сына или замужеством дочери родители обычно стремились укрепить, поднять свое общественное положение или во всяком случае его не ухудшить. С другой стороны, женитьба всегда могла «расстроиться», так как родители невесты любому неподходящему жениху могли дать отказ.

Если взглянуть на старинный обряд под этим углом зрения, станет совершенно ясным глубокий смысл каждого его элемента: и выбора сватов, и сватовства, и смотрин. Но как только мы представим себе, что собирающиеся вступить в брак — современные парень и девушка и что они уже «договорились» между собой, — великолепный старый обряд попросту теряет свой смысл. В самом деле, надо ли разыгрывать весь этот маскарад с приездом сватов, когда вопрос о создании новой семье уже решен и решение это ни от кого, кроме самих жениха и невесты, не зависит? Не пародия ли это? И не глумление ли (невольное, конечно) над историей народа, над бытом наших предков — подобные попытки возрождения древних обрядов, приспособления их к современности?

На быт нашего народа сегодня все эти

изобретения и «возрождения» обрядов и праздников, разумеется (и, можно сказать, к счастью), не накладывают сколько-нибудь заметного отпечатка. С равнодушным спокойствием воспринимает он перенасыщенные «воспитательными моментами» новшества и лишь усмехается, дивясь наивности тех, кто таким способом надеется убить сразу двух зайцев: и украсить нашу «обыденную, вышелоченную, прозаически-серую» жизнь, и заодно очистить сознание людей от пережитков прошлого.

Иные современные авторы стараются доказать правомерность искусственного создания или не менее искусственного «оживления» обрядов и праздников, философски обосновывают (см., например, книгу П. Кампарса и Н. Заковича) их жизненность и перспективность. А между тем в самой нашей жизни идет непрерывный процесс формирования новых, действительно народных

традиций — кристаллизация совокупного опыта миллионов людей, принадлежащих к новым, пореволюционным поколениям. Это процесс глубокий, сложный, и протекает он медленно. Настолько медленно, что лишь через десятилетия становятся видимы и приобретают устойчивые очертания новые кристаллы.

Одних такие темпы не устраивают, другие вследствие слишком поверхностного и беглого взгляда на жизнь вообще не замечают этого процесса. И тогда начинается конструирование новой обрядности, столь широко представленное ныне на страницах нашей печати.

Так ребяташки, которым не хочется ждать, когда распустятся на клумбе живые цветы, украшают ее бумажными цветочками.

**А. ПЕТУХОВ.**

Вологда.



## УТОПИЗМ РЕАКЦИИ

**Л. Г. Захарова. Земская контрреформа 1890 г. Издательство Московского университета. 1968. 178 стр.**

Рецензируемая книга повествует о том, как в восьмидесятые годы XIX века относилась к земству правящая Россией олигархия, «полицейское правительство» Александра III, точнее — о столкновении различных групп правительственной камарильи по вопросу о месте земства в политической системе страны.

Время то было на редкость мрачное. Победив революционное движение семидесятых годов, правительство вступило, по выражению В. И. Ленина, «в беспощадную борьбу со всеми и всяческими стремлениями общества к свободе и самостоятельности...»<sup>1</sup>. При этом политическая реакция, начавшаяся после убийства народовольцами Александра II, на протяжении ряда лет не имела даже намека на какую-либо «положительную программу». Отмечая этот факт, «Вестник народной воли» писал: «Беспрограммность реакции делает политику правительства замечательно бледной и скудной. Одна только тайная полиция живет полной жизнью. Одни репрессии против всяких проявлений свободной мысли ведутся широко и систематично».

Такая «беспрограммность» правительственной политики не устраивала даже реакционеров типа М. Н. Каткова, тосковавших по крепкой власти, которая в конце концов наведет в стране «порядок» и, как говорилось в 1885 году в «Русском вестнике», положит конец «фальшивому положению дел».

«Фальшь» реакционеры усматривали в том, что в структуре общественного устройства продолжали оставаться элементы, которые (во всяком случае потенциально) обладали определенной самостоятельностью по отношению к центральной власти. Созданные в 1864 году земства являлись своеобразной базой либерального движения, выдвигавшего время от времени перед самодержцем идею конституции — хотя бы на манер той, которую он «даровал» освобожденной от турок Болгарии.

Правда, этот русский либерализм семидесятых — восьмидесятых годов, вздыхавший по правовым формам западноевропейских стран, был весьма слаб и робок. Книга Л. Г. Захаровой еще раз убеждает в этом. Даже в моменты подъема движения земцы в своих обращениях к «верхам» неизменно брали «самую фальшивую, рабскую ноту». Пытаясь объяснить эту умеренность русско-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 4, стр. 406.

го либерализма той поры, В. Ю. Скалон, участник земского движения и его летописец, писал: «Земство верило и сочувствовало правительству, и как бы боялось забегать вперед, обращаться к нему с чрезмерными просьбами». Дальше просьбы о том, чтобы «отношение правительства к обществу делалось более доверчивым», земцы обычно не шли, что и послужило одним из аргументов для ленинского вывода о «политической незрелости» русских либералов<sup>1</sup>.

И все же даже в таком виде земство тревожило ретроградов. Ибо само его существование, обладание данными реформой 1864 года правами на определенную, хотя и крайне ограниченную самостоятельность (здравоохранение, школа и т. п.) означало наличие в общественном строе России тенденции к развитию капитализма по демократическому пути. И тот факт, что время от времени земцы поднимали вопрос об «улучшении здания», то есть о реформе всей политической системы по демократическому образцу, говорил об устойчивости этой тенденции, существовавшей вот уже несколько десятилетий, несмотря на противодействующие ей факторы. Контрреформа 1890 года и должна была, по замыслу ее инициаторов, всему этому положить конец. «Земская контрреформа, — пишет Л. Г. Захарова, — наряду с введением института земских начальников была основным звеном реакционной внутренней политики 80-х годов».

Весь материал книги убедительно свидетельствует о том, что замышлявшийся реакцией поворот колеса истории вспять в конечном счете не удался. Подготовка контрреформы, растянувшаяся на ряд лет, шла с большими трудностями, и окончательный ее вариант оказался весьма далеким от первоначальных планов реакционеров (А. Д. Пазухина, Д. А. Толстого и других).

Анализируя обстоятельства подготовки, принятия и осуществления реформы 1890 года, Л. Г. Захарова приводит в своей работе обильные данные для выяснения тех факторов, которые как бы подтормаживали общий реакционный курс правительства.

Прежде всего обнаруживаются расхождения в самом правительственном лагере по вопросу о земстве. Представители одной из групп правящей бюрократии, стремясь искоренить «заразу», направляли все свои уси-

лия к тому, чтобы лишить земские учреждения всякого политического значения; выразители второй тенденции, не получившей, впрочем, достаточного развития, не прочь были использовать земское представительство для реформы государственного устройства. Внутри правящей верхушки нередко вспыхивали споры по самым кардинальным вопросам существования и развития страны. Подробно рассматриваемая в книге Л. Г. Захаровой дискуссия «верхов» по поводу земства и его судеб — одна из иллюстраций этого знаменательного факта.

В этой дискуссии вырисовываются любопытные типы «либеральных бюрократов», в известном смысле противостоящих бюрократам-ретроgrадам. Интересно, что эти либералы от бюрократии выдвигали подчас проекты и предложения, значительно более радикальные по сравнению с теми просьбами, с которыми позволяли себе обращаться к царю «либералы движения». Автор напоминает, например, о П. А. Валуеве, мыслившем приспособить страну к государственным формам цивилизованного капитализма, связать преобразование земства с серьезной реформой Государственного совета, что реально означало бы значительный шаг страны к конституционной монархии.

Мы пока еще очень плохо представляем себе те побуждения, которые руководили такого рода деятелями, иногда — как то было, например, с А. В. Головинным — расплачивавшимися за свой либерализм выходом в отставку. При анализе таких побуждений надо, думается, более решительно принимать в соображение наряду с социально-классовыми также и личностные, нравственно-психологические характеристики политических деятелей, как это сделала Л. Г. Захарова, пытаясь объяснить неодобрительное отношение известного реакционера К. П. Победоносцева к программе Пазухина—Толстого как к «чрезмерно бюрократической». Автор отмечает в этой связи такие черты личности Победоносцева, как присущую ему боязнь решительных перемен и в то же время «исключительно критический склад ума, неумение создать положительную программу, а отсюда и обычное его недовольство существующими законами и порядками». «Отличный критик, но сам никогда ничего создать не может» — так говорил о Победоносцеве Александр III; это свидетельство исследовательница весьма уместно привела в своей

<sup>1</sup> См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 39.

работе. Однако, как бы убоившись такого «субъективизма», Л. Г. Захарова тут же спешит заявить: «Все же разгадка позиции Победоносцева не в свойствах его характера, не в своеобразии склада ума — это только внешнее проявление, следствие причин гораздо более серьезных и глубоких. Боязнь катастрофы, а также отсутствие, по мнению Победоносцева, прочной социальной базы, на которую могло бы опереться правительство при проведении новых законов, — вот те причины, которые побуждали его занять несколько более осторожную по сравнению с Толстым позицию в ходе подготовки земской контрреформы. В позиции Победоносцева, в его колебаниях, в его натуре отразилась вся противоречивость эпохи реакции...» Трудно с этим спорить, но все же, думается, не стоило бы «колебания» Победоносцева целиком выводить из «противоречивости» эпохи.

Однако вернемся к вопросу о том, почему задуманная реакционерами контрреформа по существу закончилась неудачей. Ни противодействие либеральных бюрократов, ни те или иные расхождения во взглядах между самими реакционными деятелями не в состоянии тут всего объяснить. Другая, более важная причина состояла в расхождении, несовпадении целей ретроградной политики и объективных ее результатов.

Да, инициаторы контрреформы 1890 года стремились вернуть страну к крепостничеству, к тем порядкам, которые существовали в России до 1861 года, они пытались предотвратить процесс обуржуазивания земства, сохранить в нем за дворянством абсолютное большинство, определявшееся сословным характером выборов. В связи с этим понятно и стремление Л. Г. Захаровой особенно резко подчеркнуть, так сказать, дворянский характер контрреформы. Характеризуя Д. А. Толстого, одного из ее «авторов», Л. Г. Захарова называет его ярким крепостником, «политические идеалы» которого «уходили в дореформенное прошлое России», неоднократно пишет о том, что контрреформисты имели целью законодательно закрепить политические привилегии дворянского сословия.

Отнюдь не сбрасывая со счета всего того, что говорится Л. Г. Захаровой по поводу намерений реакционеров повернуть развитие России вспять, следует, однако, заметить,

что в социальной жизни дело обстоит гораздо сложнее, чем в сфере элементарной механики. «Движение вспять» здесь обычно оказывается не просто попятным движением, ибо достигнутый исторический потенциал, уровень цивилизации, всегда заставляет с собой считаться (мы, разумеется, не говорим о тех случаях, когда реакция становится на путь прямого уничтожения материальной и духовной культуры). Что касается данного случая, то допустимо, нам думается, было бы поставить такой вопрос: не были ли сторонники контрреформы, внешне представляющиеся (и субъективно являвшиеся) носителями крепостничества и дворянской реакции, — не были ли они выразителями особого рода буржуазной политики? Не были ли они бессознательными провозвестниками такого рода капитализма (ведь Россия-то за протекшие с 1861 года десятилетия уже как далеко ушла к тому времени от «николаевской эпохи»<sup>1</sup>), который бы, приглушая и предельно ограничивая самодельность «чумазных» и «маслопузых», развивался в условиях максимально возможного контроля сверху?

Нам кажется, что в контрреформе 1890 года довольно явственно проступает попытка перевести неконтролируемое, стихийное развитие капитализма на рельсы государственно-бюрократически направляемого буржуазного прогресса. Ибо, докопавшись до самых глубинных основ контрреформы, мы найдем, что самая характерная ее черта состояла в крайнем ограничении любой инициативы снизу. Никакой самостоятельности негосударственным образованиям, вся свобода государству — вот смысл политического проекта Д. А. Толстого, предлагавшего «устранить распадение местного управления на две части, на управление бюрократическое и управление общественное», посредством признания того, что «земское дело есть дело государственное, в котором решающий голос принадлежит правительству, а земские учреждения должны быть учреждениями правительственными, существующими и действующими на почве государственного права».

Очевидно, что расхождение упомянутых выше двух линий в правительственной политике, либеральной и ретроградной, — объек-

<sup>1</sup> См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 81.

тивно, не по целям и намерениям, а по соответствию реальным историческим тенденциям — и выражало столкновение двух возможностей, двух вариантов буржуазного развития России.

Сторонники первой — при всей их непоследовательности — ратовали в конечном счете за развитие по пути демократического, так сказать, «свободного» капитализма по образцу передовых западноевропейских стран. Не то — вторая тенденция. Внешне это феодальная реакция. А по содержанию — попытка сразу перепрыгнуть к «организованному», лишенному анархии производства и развитой классовой борьбы государственно-му капитализму. В качестве средства такого прыжка выступало самодержавное государство. «Шаг назад» к дворянству в условиях, когда существуют, по В. И. Ленину, такие новые исторические моменты, как плутократия, железные дороги, «растущий третий элемент»<sup>1</sup>, наполнялся новым социально-политическим содержанием.

Правда, в реальной действительности эти тенденции не были расчленены столь четко и фактическая политика правительства яв-

ляла собой некую равнодействующую охарактеризованных выше разнонаправленных движений.

Наверно, этнм в конечном счете и объясняется тот отмечаемый в выводах книги Л. Г. Захаровой факт, что осуществление контрреформы 1890 года ни к каким существенным изменениям в социальном строе России не привело. Но это отнюдь не означает, будто сам предмет изучения не заслуживал внимания. И хотя рецензируемая книга предназначена в первую голову, конечно, специалистам-историкам (об этом свидетельствует и ее тираж — всего 1860 экземпляров, — и как бы намеренно обесцвеченный, сухой, «академический» стиль, и частный, сугубо эмпирический характер рассматриваемого сюжета), тем не менее ценность работы Л. Г. Захаровой состоит не только в описании и характеристике сложного механизма подготовки земской контрреформы, но и в подтверждении богатым историческим материалом принципиальной марксистской идеи о тщетности, обреченности реакционных движений. Обратного хода история не имеет.

А. ИВАНОВ.



## ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

**Историография нового времени стран Европы и Америки.**  
Издательство Московского университета. 1967. 670 стр.

**Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки.** Издательство Московского университета. 1968. 600 стр.  
Ответственный редактор обеих книг — И. С. Галкин.

В тридцатые и сороковые годы советская историческая наука делала значительные успехи главным образом по линии исследования отдельных, иногда очень узких исторических событий и фактов. Это было время преимущественно переоценки выводов буржуазной исторической науки и накопления исторических фактов для последующих, более широких теоретических обобщений. Не удивительно, что в эти годы слабо развивалась такая важная отрасль исторической науки, как историография, то есть история самой исторической науки, история исторических идей и учреждений.

Решения XX и последующих съездов партии благотворно сказались на развитии на-

шей исторической науки, ее теоретический уровень заметно повышается. А это неизбежно ведет к росту интереса советских ученых к проблемам отечественной и зарубежной историографии. С 1955 года под редакцией академика М. В. Нечкиной и других стал выходить в свет коллективный много-томный труд «Очерки истории исторической науки в СССР». Однако обобщающего марксистского труда по историографии зарубежных стран нового и новейшего времени не было до шестидесятых годов ни в СССР, ни за границей.

Всесоюзное совещание историков, проходившее в декабре 1962 года, указало на необходимость «обеспечить развитие историографии... что является важнейшим условием повышения уровня научно-исследовательских работ в области истории» Решено

<sup>1</sup> См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 81.

было создать солидное учебное пособие по зарубежной историографии. Реализация этой задачи была возложена на кафедру новой и новейшей истории МГУ, но в работе приняли участие и историки из научных учреждений Москвы и других городов, а также братских социалистических стран—Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии.

В 1967 году был издан объемистый том «Историография нового времени стран Европы и Америки», охватывающий историографию этих стран с конца средних веков до победы Великой Октябрьской социалистической революции. На большом фактическом материале здесь показывается развитие основных направлений, концепций и научных школ в исторической науке за три с лишним века. В 1968 году вышел второй том — «Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки», посвященный развитию исторической науки от Октября до середины шестидесятых годов. Содержание этого тома демонстрирует кризис буржуазной исторической мысли, рост и укрепление марксистско-ленинской исторической науки не только в нашей стране, но и в капиталистических странах. Так, например, немецкие историки-марксисты уже в 1929 году выпустили «Иллюстрированную историю Германской революции». Важно также и то, что в главах о современной западной историографии выявляется дифференциация в среде буржуазных историков и переход лучшей их части на позиции марксизма-ленинизма.

Историю исторической науки авторы показывают на широком фоне развития человеческой мысли — на фоне развития философии, социологии, политэкономии, литературоведения. При этом в отличие от многих буржуазных историков они рассматривают историографию не только великих европейских держав, но и процесс развития исторической науки в малых странах Европы и Америки. Тем самым советские историки еще раз показали образец научного интернационализма.

Необходимо отметить обширную библиографию, отечественную и зарубежную, составленную для каждой главы, — она будет ценным подспорьем в научной работе.

Касаясь отдельных разделов двухтомника, упомянем содержательные главы, посвященные изложению исторических взглядов К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. Убедительно показан тот коренной револю-

ционный переворот, который совершили в исторической науке основоположники научного коммунизма; обстоятельно рассматривается ленинский вклад в науку об истории общества, ленинский этап в ее развитии.

Но не все главы равноценны. Например, в первом томе глава «Французская историческая наука 50—60 годов XIX в.» написана, на наш взгляд, довольно бледно и поверхностно. Автор, Л. А. Бендрикова, частично повторяет то, что в одной из предыдущих глав сказано об историографии Франции первой половины века. Во втором томе внимание читателя привлекают прежде всего разделы о советской историографии. К сожалению, в главе «Советская историография в 1917—1945 гг.» предмет излагается слишком кратко и бегло. Автору этой главы, В. А. Дунаевскому, не удалось дать яркие, индивидуализированные характеристики научно-исторического творчества наиболее выдающихся советских историков двадцатых—тридцатых годов: Н. М. Лукина, В. П. Волгина, Е. В. Тарле и других. Впрочем, это и трудно было сделать на той слишком малой площади, которой он располагал.

Более подробно изложена советская историография новой и новейшей истории Европы и Америки в послевоенный период. Авторы (А. Л. Нарочницкий, И. С. Галкин, И. В. Григорьева, А. Д. Колпаков, Э. Н. Рапп-Лантарон, Е. Ф. Язьков) провели большую собирательскую работу. Следует, однако, пожалеть, что вместо глубокого анализа наиболее существенных трудов советских историков послевоенного двадцатилетия они то и дело становятся на путь почти не комментируемого перечисления авторов и названий, куда вошло и немало работ, не представляющих значительного интереса для науки. Читая эту главу, можно подумать, что в советской исторической науке царит тишь да гладь, нет никаких серьезных проблем и дискуссий. На самом деле это не так (вспомним хотя бы дискуссии о чартизме, о Ноябрьской революции 1918 года в Германии и др.).

Можно заметить и некоторые другие проблемы и упущения. Жаль, что во втором томе отсутствуют сведения об историографии Канады, Австрии и Испании. Не подвергнуты анализу труды международных конгрессов историков. В главах о германской историографии XIX—XX веков не дана развернутая критика немецкой католическо-

клерикальной историографии. А между тем немецкие католические историки—И. Гёррес, И. Кисслинг, К. Бахем и другие—оставили заметный след в историографии Германии и продолжают оказывать существенное влияние и на современную историографию ФРГ. Некоторые авторы двухтомника порой ссылаются на иностранные издания, не указывая на то, что то или иное сочинение имеется в русском переводе, более доступном для советского читателя.

Надо возражать против изложения идей и разбора сочинений одного и того же крупного историка в разных главах—это мешает созданию цельного представления о его творчестве. Целесообразнее было бы сочетать историко-хронологическую последовательность изложения с целостными характеристиками научного творчества отдельных, наиболее выдающихся историков каждой эпохи и каждой страны, не разрывая их по разным историко-хронологическим и проб-

лемным разделам. Точно так же следовало бы в самостоятельных главах дать обобщающие характеристики наиболее важных течений историко-философской мысли, получивших широкое распространение не в одной, а во многих странах.

В двухтомнике имеются отдельные неточности, спорные формулировки и оценки. Однако в целом это издание нельзя не признать серьезным вкладом не только в советскую, но и в международную историографию. Наряду с историками им смогут воспользоваться также и специалисты смежных с историей областей обществоведения: литературоведы, философы, социологи, экономисты, юристы—и просто любой интеллигентный читатель, интересующийся богатой и сложной историей исторической мысли.

**Г. СИВОДЕДОВ,**

*кандидат исторических наук.*

Тула.



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**В. И. ЛЕНИН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТСКОЙ СТАТИСТИКИ.** «Статистика». М. 1968. 136 стр.

«Дельный экономист,— писал Ленин,— вместо пустяковых тезисов, засядет за изучение фактов, цифр, данных, проанализирует наш собственный практический опыт и скажет: ошибка там-то, исправлять ее надо так-то»<sup>1</sup>. Материалы сборника наглядно показывают, как с первых дней советской власти Владимир Ильич добивался, чтобы Центральное статистическое управление было не академическим органом, «а органом социалистического строительства, проверки, контроля, учета того, что надо социалистическому государству знать теперь, сейчас, в первую голову»<sup>2</sup>.

Глава Советского государства учил статистические органы давать регулярные и правдивые сведения, работать четко и оперативно. Считая необходимым нести статистику «в массы, популяризировать ее», он проявлял неустанную заботу о гласности и общедоступности статистических данных. В «Декрете Совета Народных Комиссаров о государственной статистике» специальным пунктом оговорено «издание ежегодников и других периодических изданий, заключающих все важнейшие статистические данные о государстве, а также сборников, обзоров, монографий по отдельным вопросам ведения Центрального статистического управления».

Сборник содержит подписанные Лениным декреты о создании государственных статистических органов, об их структуре, обязанностях, порядке представления сведений, выдержки из его статей, письма, телеграммы. Попытка собрать воедино материалы, касающиеся такой стороны ленинской деятельности, как организация советской статистики, нужна и своевременна. Думается, однако, что имелась возможность сделать сборник еще более интересным. Издательство сообщает, что оно сочло целесообразным расположить материал в тематическом, а не в хронологическом порядке, но от этого каждый документ оказался сам по себе, вне связи событий. Причем, как правило, без пояснений, по какому поводу он появился.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 345.

<sup>2</sup> Там же. т. 45, стр. 156.

Обогатили бы издание ленинские мысли по общим вопросам статистики, высказанные до революции, но имеющие первостепенное значение для организации статистики и в наше время. Однако и в существующем виде сборник, несомненно, полезен, облегчая пользование соответствующими материалами и представляя еще одно доказательство бессмертия ленинского слова.

В. Борнычева.

★

**МИХАСЬ СТРЕЛЬЦОВ.** Что будет снится. Рассказы. Перевод с белорусского Эдуарда Корпачева. «Молодая гвардия». М. 1968. 254 стр.

Сборник рассказов Михася Стрельцова «Что будет снится» — первая книга белорусского писателя, вышедшая на русском языке. Как пишет в предисловии к сборнику Янка Брыль, «проза Михася Стрельцова лирична в самом высоком значении этого понятия... она, безусловно, оттуда, где начинается большая литература».

Большинству героев Стрельцова чуть за тридцать... Наступает зрелость. Человек задумывается над тем, что сделано и что упущено, подводит первые жизненные итоги. А они не всегда утешительны. И писатель чаще всего знакомит нас со своими героями в минуты такого неблагоприятного, честного обнажения своего внутреннего «я». О потерянной с годами способности радоваться чужой радости, болеть чужою бедою сожалеет преподаватель института Логацкий («Голубой ветер»). Клянет себя за пассивность, неумение постоять за правду журналист Юнович («Ждет на вокзале автобус»). Тревожный внутренний голос говорит ловеласу в прошлом и скептику в настоящем Евгению Ивановичу, что жизнь проходит мимо («Свет Иванович, бывший донжуан»). Осуждает себя за минутное легкомыслие лирический герой автора («Осеннее воспоминание»).

Но даже в самом, казалось бы, критическом положении писатель оставляет героям надежду. Можно лишь упрекнуть Стрельцова, что это обновление представляется ему иногда очень уж легким. Правда, сознание своих ошибок — уже шаг к их исправлению. Но только первый. А ведь нужен и второй и третий... Способны ли эти люди сделать такие шаги? Такая уверенность есть не всегда. Слишком трезв и рассудочен Логац-

кий, опустошен и ленив Евгений Иванович, жизненно неубедителен в своем решении Юнович.

Герои Стрельцова — городские жители, но в селе прошло их детство. С тех пор живет в них тоска по деревне, где дорого все: и стук валька на берегу пруда ранней весной, и морозный дымок над колодезем, и запах печеной бульбы. Деревня для них — это покой и затишье, это отдых от работы, вечной пешки, городского шума.

В деревню к родителям едет Петро Шибек, уволившись со службы из-за ссоры с начальством, надеясь, что там все как-нибудь уладится («Снова в город»). Душевное равновесие мечтает обрести в деревне преподаватель Логацкий («Голубой ветер»). «Внезапно почувствовал, что ему не хватает чего-то в городе, сразу показавшемся скучным, неинтересным и пыльным», инженер-плановик Сергей Марусов («Там, где покой и затишье»).

Но деревня не всегда оправдывает доверчивые надежды. В селе — своя жизнь, со своими проблемами и трудностями.

Наиболее характерные стороны творчества Стрельцова — умение уловить и передать тонкие движения человеческой души, романтическая тональность, эмоциональность повествования, неброская живописность слова, образность и свежесть деталей — особенно ярко проявляются в этюдах о природе («Триптих») и в рассказах о детстве («Четвертый год войны», «Один лапот, один чушь»).

Строго, требовательно, но всегда с добрым чувством следит писатель за своими героями. Он не стремится поставить точки над «и», побуждая читателя самого задуматься над происходящим. Это сопереживание помогает протянуть невидимые нити между читателями и героями, делает их образы близкими и понятными.

И. Данченко.

★

**О. ЛАНГЕ.** Введение в экономическую кибернетику. Перевод с польского. «Прогресс». М. 1968. 208 стр.

По меткому сравнению автора книги, экономисты оказались ныне в положении мольеровского господина Журдена, который с удивлением узнал от своего учителя, что он всю жизнь говорит прозой. В сущности, экономисты уже давно пользуются кибернетическими методами, хотя и не всегда знают об этом. Однако сознательное знакомство с методами и понятиями кибернетики ведет к новому, более глубокому восприятию экономических проблем, приводит к постановке новых оригинальных задач.

«Тот, кто овладел искусством кибернетического мышления, — пишет О. Ланге, — сможет даже без детального анализа и расчетов уловить проблемы, существенные звенья в ситуации, связи элементов и направления практического решения, не замечаемые другими. Искусство кибернетиче-

ского мышления обогащает и углубляет интуицию, необходимую и в научно-экономических исследованиях, и в практике руководства хозяйственными процессами».

С интересом мы узнаем из книги О. Ланге о том, что описанные Марксом процессы простого и расширенного воспроизводства могут быть проанализированы на основе общей теории автоматического регулирования. В книге собран материал по использованию методов кибернетики для количественного решения ряда конкретных экономических задач, излагаются вопросы надежности экономических систем и т. п.

О. Ланге использует для анализа экономических систем только один из методов кибернетики — теорию регулирования. Он не рассматривает вопросы применения в экономике других эффективных методов кибернетики: математической статистики, динамического программирования и других. Однако такое самоограничение имеет и свои преимущества — оно придает изложению основательность и цельность.

А. Черепанов,

кандидат технических наук.

Пермь.

★

**Ю. АНДРЕЕВ, Г. ВОРОНОВ.** Багряная летопись. Роман. Лениздат. 1968. 400 стр.

Действие романа относится к тому периоду деятельности Михаила Васильевича Фрунзе (первая половина 1919 года), когда выдающийся советский полководец разработал и осуществил блестящий план разгрома войск Колчака. Это весьма благодарный материал для исторического романа. Однако, читая книгу, приходится все чаще отмечать, что многие ее сцены и эпизоды нам уже хорошо знакомы: например, описание выступления Фрунзе 16 декабря 1918 года очень напоминает речь перед крестьянами оратора-большевика из гайдаровской «Школы», давно знаком читателям и разговор полководца с возчиком, не узнающим своего седока. По шаблону действуют Ю. Андреев и Г. Воронов и в другом: желая оттенить исключительность дарования Фрунзе, они принижают его боевых соратников, причем нередко трактуют ход событий в духе концепций, давно отвергнутых нашей исторической наукой. По воле авторов Чапаев и Фурманов занимаются выяснением вопроса: свойствен ли крупнейшему советскому военачальнику М. Н. Тухачевскому «дворянский гонор»? Сплошь черными красками написан главокм И. И. Вацетис, имевший общепризнанные заслуги в организации военных сил Советской республики, а честный генерал-патриот А. А. Самойло, с первых дней революции вставший на сторону восставшего народа и целые десятилетия достойно занимавший важные посты в Красной Армии, охарактеризован как циник и карьерист. Он принимает Фрунзе, лежа в кровати и именуя его про себя «каторжником».

Откровенно шаблонны в романе персонажи из белого стана, понадобившиеся, ви-

димо, лишь для «исторического фона»: «неуловимый» резидент Интеллидженс сервис, опереточный генерал Авиллов, роковая брюнетка Нелидова, эсерка и отравительница, во всеуслышание заявлявшая: «Мое имя — вот моя Русь!», «Захотела — и беру мужчину» и т. д.

Тяготение авторов «Багряной летописи» к трафаретам объясняется, по-видимому, не только уровнем их дарования, но и недостаточными познаниями в области истории. Даже биографии своих героев изучили они крайне поверхностно. Например, Д. М. Карбышев, до революции только подполковник, именует себя в романе «царским генералом».

Работа над историческим романом требует от писателя большой ответственности, живого чувства историзма, самостоятельного осмысления огромной массы разнородных источников. Забвение этих принципов авторами «Багряной летописи» привело к тому, что их роман лишь умножил список произведений, о которых В. О. Ключевский сказал, что «их заглавия нужно знать, чтобы как-нибудь неосторожно не прочитать самих книг».

**В. Бочков.**

**Кострома.**



**А. ШАРОВ. Приключения Ежиньки, или Рассказ о нарисованных человечках. Детгиз. М. 1968. 24 стр.**

Александр Шаров, известный как «взрослый» прозаик и публицист, умно и живо пишущий о детях, написал сказку.

За горами, за лесами, как это и бывает в каждой уважающей себя сказке, жили два брата — Добрый и Злой. Злой взял и провел черной-пречерной краской линию — «все, что по эту сторону, мое!», и большая часть мира досталась агрессору. Пошел как-то Добрый брат в лес и повстречал ежа. Была зима, ежик замерз, и человек согрел его за пазухой. Но при этом он укололся. И тут-то и начались чудеса. Все стало как во сне — тепло и сказочно: ожили деревья, заморгали синеглазые подснежники. «Просто-напросто» человек стал волшебником.

Но волшебником стать проще, чем выдержать испытание такой ответственностью. Вот, например, укатился карандаш за демаркационную линию к Злому брату, и получил тот волшебную силу: делать живыми рисунки. Но и Добрый брат имел карандаши и нарисовал девочку Ежиньку. Началось сражение темных и светлых сил. Злой брат бурю на море изобразил, а Добрый — остров рисует, а на нем пальмы с конфетами, мороженым, лекарствами. Злой — вулкан, а Добрый — трех храбрых воинов, Злой — Чудовище и людоедов, а Добрый...

И кто вы, думаете, победил? Ну, разумеется, Добрый (в сказках всегда это получается). Дело в том, что он нарисовал Ежинькиным защитникам разноцветные сердца («иначе войны были бы бессердечные»), да еще одно сердце нарисовал «про запас»... Оно-то и решило исход боя. Про-

глотило его в горячке сражения Чудовище и, как ни грозил ему Злой брат, что согрет его резинкой, сказала девочке: «Давай будем дружить!..» И погнало людоедов к самому морю. А там пожалело и спросило: — Не будете больше людоедами? — А мы и не людосды вовсе. Нас только назвали так, чтобы страшнее было. — А воевать больше не будете? — ...Честное слово, не будем!.. — Тогда идите мириться. И помирились».

Сказка, в общем.

Но почему так легко и тепло становится на сердце у взрослого читателя? Почему так радостно хлопает в ладоши ребенок?

Шаровская сказка обладает качеством всепобеждающей человечности. Безоглядностью и нерасчетливостью доброты, которая побеждает именно потому, что в нее верят и Добрый брат и... читатели.

О добре у нас стали писать несколько снисходительно. В лучшем случае как о простительной блажи. А ведь дети должны верить в то, что «старомодные» чувства добра и справедливости сами по себе уже знаменуют победу человека, если он действительно человек. Ребенок, поверивший в силу добра, не вырастет слабым и беззащитным — напрасные опасения! Просто он не с драки начнет утверждение добра, а добром дел и помыслов постарается исключить кулачное решение вопроса. Конечно, до тех пор, пока зло не вынудит его к этому. Но «перевоспитание» людоедов из сказки Шарова подсказывает нам, что иногда «ужасные ужасы», которые рисуют нам злые братья, могут быть попросту... стерты самой простой резинкой. «Не так страшен черт, как его малюют» — говорит народная мудрость. Зло всегда стремится выглядеть страшнее, чем оно есть на самом деле, оно хочет пугать. На том, между прочим, оно и держится. Ему просто необходимо, чтобы люди дрожали от страха.

Вот и выходит, что неверие в силу добра заставляет или бежать, или защищаться, а вера в добро как раз и позволяет трезво видеть и само зло и возможные пути борьбы с ним.

Умную сказку написал А. Шаров. В ней чудеса, но не только. У этих чудес есть поэзия веры. А это не одних детей способно взволновать по-настоящему.

**В. Огнев.**



**И. А. ЛАТЫШЕВ. Японская бюрократия. «Наука». М. 1968. 110 стр.**

Для современной социологии характерен возрастающий интерес к проблемам государственного механизма, миру чиновничества. И это понятно. Жесткая централизация управления в современном буржуазном обществе, бюрократизация всех сфер общественной жизни, непрерывное усиление чиновничьей иерархии, в которой, как в паутине, беспомощно барахтается «маленький человек», — это признается чуть ли не второй опасностью для человечества после

угрозы ядерного опустошения. Небольшое, но емкое исследование И. А. Латышева «Японская бюрократия» во всяком случае не разубеждает в этом.

Япония принадлежит к числу стран (как Китай, Индия и другие), где традиции всевластного чиновничества восходят к древним азиатским деспотиям. Разумеется, сегодня в атмосфере буржуазной демократии чиновнический аппарат значительно модернизировался. Официально государственные чиновники именуются в Японии, как и везде, «слугами народа». Но и до сих пор в японских бюрократических кругах культивируется презумпция превосходства официальных лиц над остальным населением, нашедшая выражение в старинном девизе «Кансон минпи» (то есть почитай власти и презирай простонародье).

И. А. Латышев рассматривает в своей книге только центральный административный аппарат без учета его многочисленных провинциальных разветвлений. Но и нарисованная им картина показывает замкнутость, корпоративный дух японского чиновничества, его особые интересы. Государственным сановникам есть что охранять: канцелярская служба приносит им доход, в несколько раз превышающий средний заработок рабочего.

Автор рассказывает о тенденции японского чиновничества разбухать количественно, плодить всякие комиссии, комитеты и т. д. Требуя себе новые штаты, руководители ведомств и учреждений требуют и увеличения своего бюджета. А получив средства, непременно тратят их, чтобы на следующий год получить не меньше. Особенно это заметно в конце года, когда чиновники «старательно ездят в бесполезные служебные командировки и ходят на банкеты лишь для того, чтобы избавить свои ведомства от каких бы то ни было бюджетных излишков». Рост бюрократии неоднократно вызывал возмущение японской общественности, и правительство после войны много раз пыталось провести реформу по сокращению дорогостоящего административного аппарата. В результате только за 1957—1964 годы этот аппарат... вырос почти на двести тысяч человек.

Раздувание штатов отнюдь не повышает эффективности работы, а скорее плодит бумажную волокиту. Автор приводит известный в Японии термин «мэкурабан» — «слепое подписывание», обозначающий безответственность и равнодушие чиновника к документу. Да это и не удивительно, если, к примеру, чиновник министерства сельского и лесного хозяйства в среднем ставит двести пятьдесят подписей в день.

Конечно, не все подписи оказываются «слепыми»: бюрократы, бесконтрольно распоряжающиеся государственными средствами, не упускают случая ухватить себе жирный кус. Каждый год обнаруживаются сотни незаконных растрат на сумму в миллиарды иен. И это только по результатам расследований официальных органов, не любящих, как известно, пятнать честь мундира. И. А. Латышев подчеркивает, что коррупция в административном аппарате Японии — показатель тесной связи чиновничьей и промышленно-финансовой элиты. Щедро одаривая бюрократов, «проигрывая» им в карги крупные суммы, финансисты и владельцы предприятий добиваются выгодных контрактов и субсидий.

Любопытны соображения автора о влиянии бюрократии на политическую жизнь. В книге приводится симптоматичное высказывание знатока государственной сферы Японии К. Накамура: чтобы достигнуть чего-нибудь в политике, «необходимо во что бы то ни стало опираться на силу чиновничества». Фактически именно чиновничество, профессионалы-бюрократы, а не парламент вершат политику страны. Красноречивы, к примеру, такие цифры: на недавней парламентской сессии правительство внесло 156 законопроектов, в то время как депутаты — всего 78, причем были утверждены почти все правительственные и лишь 11 депутатских законопроектов.

Рост влияния бюрократии и тоталитаризма, говорит автор, вызывает законную тревогу японских трудящихся. На эту опасность постоянно указывают японские коммунисты.

С книгой И. А. Латышева будет полезно ознакомиться нашему читателю.

**В. Ермаков.**



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

- В. И. Ленин.** Избранные произведения. В 3-х томах. Том 2. 826 стр. Цена 1 р. 44 к.
- З. Клишко.** Варшавское восстание. Статьи, речи, воспоминания, документы. Перевод с польского. 280 стр. Цена 91 к.
- Э. Листер.** Наша война (Из истории национально-революционной войны испанского народа 1936—1939 гг.). Мемуары. Перевод с испанского. 328 стр. Цена 97 к.
- Программы и Уставы КПСС.** 424 стр. Цена 1 р. 5 к.
- А. Ранитов.** Анатомия научного знания. Популярное введение в логику и методологию науки. 206 стр. Цена 31 к.

## «МЫСЛЬ»

- Антология мировой философии.** В 4-х томах. Т. I. Часть I и II. Философия древности и средневековья. 935 стр. Цена 3 р. 43 к.
- Т. Бурмистрова.** Национальный вопрос и рабочее движение в России (Ленинская политика пролетарского интернационализма. (1907—1917 гг.). 276 стр. Цена 1 р. 1 к.
- И. Забелин.** Лунные горы. Африканские повести. 342 стр. Цена 83 к.
- Я. Певзнер.** Методология «Капитала» К. Маркса и современный капитализм. 228 стр. Цена 95 к.
- Развитые капиталистические страны: проблемы сельского хозяйства.** Коллектив авторов. 334 стр. Цена 1 р. 20 к.
- В. Романов.** Борьба В. И. Ленина против антипартийной группы «Демократического централизма». 216 стр. Цена 58 к.

## «ЭКОНОМИКА»

- А. Андреено.** Рабочий день и его использование. 80 стр. Цена 21 к.
- В. Белкин, В. Ивантер.** Экономическое управление и банк. 144 стр. Цена 47 к.
- Н. Иванов.** Народно-хозяйственные пропорции, фактор времени, темпы. Вопросы экономики капитальных вложений. 182 стр. Цена 86 к.
- В. Котов.** Планирование реализации продукции, прибыли и рентабельности в промышленности. 206 стр. Цена 69 к.
- М. Розенберг, Г. Моисеенко.** Механизация и централизация учета в торговле за рубежом. 144 стр. Цена 44 к.
- С. Ямпольский, Ф. Хилюк, В. Лисичкин.** Проблемы научно-технического прогнозирования. 144 стр. Цена 50 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- Л. Ахвердян.** Мир Туманяна. Путь поэта. 347 стр. Цена 1 р.
- В. Василане.** Сказка про белого бычка. Роман. Перевод с молдавского. 231 стр. Цена 51 к.
- Д. Джанели.** Поверь мне. Стихи. Перевод с аджарского. 72 стр. Цена 24 к.
- Г. Колесникова.** Сергей Зальгин. Творческая биография. 256 стр. Цена 56 к.

**Д. Кугультинов.** Дальние сигналы. Стихи и поэмы. Перевод с калмыцкого. 214 стр. Цена 69 к.

**К. Кулиев.** Кизилловый ответ. Стихи и поэма. Перевод с балкарского Н. Гребнева. 176 стр. Цена 45 к.

**Л. Лагин.** Голубой человек. Роман. 320 стр. Цена 64 к.

**М. Луконин.** Необходимость. Стихи и поэма. 87 стр. Цена 43 к.

**О. Неклюдова.** Питомцы музы. Повесть и рассказы. 200 стр. Цена 41 к.

**В. Орлов.** После дождика в четверг. Роман. 374 стр. Цена 67 к.

**В. Попов.** Южнее, чем прежде. Повести и рассказы. 204 стр. Цена 34 к.

**С. Сартаков.** Каменный фундамент. Повесть и рассказы. 496 стр. Цена 94 к.

**Н. Смирнов.** Золотой Плес (Повести, рассказы и воспоминания). 392 стр. Цена 81 к.

**В. Смирнова-Ранитина.** Герасим Лебедев. Исторический роман. 400 стр. Цена 74 к.

**А. Сурнов.** Что такое счастье? Стихи последних лет. 136 стр. Цена 36 к.

**О. Туманян.** Стихотворения и поэмы. Перевод с армянского («Библиотека поэта»). 333 стр. Цена 1 р. 63 к.

**Г. Хоткевич.** Довбуш. Историческая повесть. Перевод с украинского. 447 стр. Цена 89 к.

**Четвертый съезд писателей СССР.** 22—27 мая 1967 г. Стенографический отчет. 317 стр. Цена 1 р. 88 к.

**И. Шток.** Ленинградский проспект. Драммы и комедии для театра и чтения. 408 стр. Цена 1 р. 16 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**В. Аннин.** Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 112 стр. Цена 18 к.

**П. Бажов.** Сказы. В 2-х томах. Т. 1. 183 стр. Цена 1 р. Т. 2. 207 стр. Цена 1 р.

**И. Волен.** Песня земли. Рассказы и повести. Перевод с болгарского. 224 стр. Цена 47 к.

**П. Куусберг.** Второе «я» Энна Калма. Роман. Перевод с эстонского. 272 стр. Цена 66 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**В. Бонч-Бруевич.** Ленин и дети. 16 стр. Цена 3 к.

**Е. Брошкевич.** Трое с десятой тысячи. Перевод с польского. 222 стр. Цена 39 к.

**Н. Жданов.** Петроградская повесть. Морская соль. Повести. 254 стр. Цена 51 к.

**Кабардинские народные сказки.** 144 стр. Цена 32 к.

**В. Тельпугов.** Надпись на книге (Рассказы о В. И. Ленине). 32 стр. Цена 6 к.

**Э. Хилдик.** Питер Брейн и его друзья. Повесть. Перевод с английского. 125 стр. Цена 30 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Р. Ким.** Тайна ультиматума. Повести и рассказы. 320 стр. Цена 62 к.

**С. Лем.** Высокий Замок. Роман. Перевод с польского. Предисловие И. Вестужева-Лады. После­словие К. Андреева. 144 стр. Цена 45 к.  
**А. Лесс.** Вторая стихия. 224 стр. Цена 37 к.  
**В. Луговской.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 13 к.  
**А. Маркуша.** Облака под ногами. Повесть и рассказы. 288 стр. Цена 46 к.  
**Н. Нечволодова, Л. Резниченко.** Юность Ленина. Трилогия. 432 стр. Цена 1 р. 20 к.  
**В. Федотов.** Второе лето. Стихи. Предис­ловие Б. Слуцкого. 72 стр. Цена 19 к.

#### «НАУКА»

**И. Беритов.** Структура и функции коры большого мозга. 532 стр. Цена 3 р. 34 к.  
**И. Бернштейн.** Карел Чапек. Творческий путь. 198 стр. Цена 64 к.  
**В. Григорьев, Г. Мякишев.** Силы в природе. 415 стр. Цена 82 к.  
**Жанры и стили литератур Китая и Кореи.** Сборник статей. 254 стр. Цена 1 р.  
**Сервантес и всемирная литература.** 299 стр. Цена 1 р. 51 к.  
**Творчество Леонида Леонова.** Исследования и сообщения. Встречи с Леоновым. Библиография. 548 стр. Цена 2 р. 46 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**М. Бабинов.** На Восточном берегу. Рассказы бывалых людей. 240 стр. Цена 67 к.  
**Х. Гиляжев.** Солдаты без погон. Роман. Перевод с башкирского. 240 стр. Цена 60 к.  
**Г. Гончаренко.** Разгром. Роман. 352 стр. Цена 77 к.  
**Н. Жернанов.** Поморские ветры. Повесть. 192 стр. Цена 46 к.  
**В. Зайцев.** Города — побратимы. 128 стр. Цена 19 к.  
**В. Орлов.** Люди как боги. 288 стр. Цена 85 к.  
**С. Савченко.** Лотошное. Книга о столетней истории сибирского села. 128 стр. Цена 21 к.

#### «ПРОГРЕСС»

**Маоизм глазами коммунистов.** Мировая коммунистическая и рабочая печать о политике группы Мао Цзэ-дуна. Сборник статей. Переводы. 416 стр. Цена 1 р. 52 к.  
**Р. Парсон.** Природа предъявляет счет (Охрана природных ресурсов в США). Перевод с английского. 568 стр. Цена 3 р. 21 к.  
**СС в действии.** Документы о преступлениях СС. Перевод с немецкого. 624 стр. Цена 2 р. 79 к.  
**Ф. Фонер.** История рабочего движения в США. Том 4. Индустриальные рабочие мира. 1905--1917. Перевод с английского. 604 стр. Цена 3 р. 31 к.

#### «МИР»

**Д. Диксон.** Проектирование систем: избрательство, анализ и принятие решений. Перевод с английского. 440 стр. Цена 1 р. 67 к.  
**А. Дорозинский, К. Блюен.** Одно сердце — две жизни. Перевод с французского. 158 стр. Цена 39 к.  
**Р. Мур.** Нильс Бор — человек и ученый. Перевод с английского. 468 стр. Цена 1 р. 38 к.  
**М. Фрэй.** Оловянные солдатики (Зарубежная фантастика). Перевод с английского. 208 стр. Цена 43 к.

#### «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**В. Голощапов.** Расчеты с рабочими и служащими. Сборник официальных материалов. 480 стр. Цена 1 р. 32 к.  
**Н. Загородников.** Преступления против здоровья. 168 стр. Цена 52 к.  
**В. Квашиш.** Гуманизм советского уголовного права. 152 стр. Цена 50 к.  
**Комментарий к Положению о порядке рассмотрения трудовых споров.** 272 стр. Цена 63 к.  
**А. Кузнецов.** Уголовноправовая охрана интересов личности в СССР. 160 стр. Цена 50 к.  
**А. Михлин.** Последствия преступления. 104 стр. Цена 27 к.  
**И. Тишкевич.** Условия и пределы необходимой обороны. 202 стр. Цена 54 к.

#### МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Белорусский юмор.** Сборник сатирической и юмористической прозы. Перевод с белорусского. Минск. «Беларусь». 288 стр. Цена 61 к.  
**А. Дракохруст.** И нет конца тревогам. Стихи. Минск. «Беларусь». 72 стр. Цена 19 к.  
**В. Звягинцева.** Моя Армения. Стихи и избранные переводы. Предисловие К. Чуковского. Ереван. «Айастан». 186 стр. Цена 57 к.  
**И. Минутко.** Очень длинный день. Повести и рассказы. Тула. Приокское книжное издательство. 315 стр. Цена 53 к.  
**Ж. Молдогалиев.** Тургайские напевы Роман. Перевод с казахского В. Острогорской. Алма-Ата. «Казушы». 248 стр. Цена 54 к.  
**В. Найданов.** Современные писатели Бурятии. Литературные портреты и очерки. Улан-Удэ. Бурятское книжное издательство. 182 стр. Цена 38 к.  
**Хозяина чеховского дома.** Воспоминания и письма. Составление и вступительная статья С. Брагина. Издание 2-е, дополненное. Симферополь. «Крым». 231 стр. Цена 51 к.  
**Б. Ясенский.** Человек меняет кожу. Роман. Душанбе. «Ирфон». 567 стр. Цена 1 р. 10 к.

Главный редактор **А. Т. Гвардовский**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорosh, А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Р е д а к ц и я: Малый Путинковский пер. д. 1/2. Тел. 299-81-77.  
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 30.IV 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 8/VII 1969 г.  
 Формат бумаги 70x108/16. 27,33 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
 А 06072. Зак. 1575. Тираж 132.100 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
 имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636